В.Г. КОРОЛЕНКО

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

В. Г. КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в шести томах

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
К. Тюнькина

Иллюстрации художника
П. Н. Пинкисевича

ОЧЕРКИ

Павловские очерки

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАВЛОВСКОМ КОЛОКОЛЕ

Село Павлово лежит над Окой, на нескольких горах и по оврагам. Горы эти дают свои названия разным частям Павлова: Семенова или, как называют ее иногда по-старинному, Семенья-гора, Дальняя Круча, Троицка-гора. На Троицкой горе стоит старая церковь, видная издалека, с пароходов, бегущих книзу по излучинам Оки. Около церкви разбит небольшой садик, в садике находится квадратная площадка с шатровым навесом, заменяющая колокольню. Под этим навесом, на толстой деревянной перекладине, висит громадный колокол, каких не много увидите вы даже и в больших городах.

Небольшая калитка в церковной ограде выводит из сада прямо к обрыву Троицкой кручи, а с этого обрыва видны, как на ладони, Ока, заокские луга с деревнями и самое Павлово.

Раннею еще осенью, приехав в Павлово на пароходе, я ходил с трех часов утра в понедельник по павловским улицам, присматриваясь к картинам и прислушиваясь к разговорам кустарной «скупки», которая происходит раз в неделю и начинается еще при огнях. Тогда цены начали уже сильно «низнуть», как говорят в Павлове, и поэтому картины и разговоры, не особенно

привлекательные и в обыкновенное время, теперь произвели на меня впечатление угнетающее. Когда взошло солнце и огни в скупщицких подвалах погасли один за другим, меня потянуло из этой человеческой свалки в кривых улицах куда-нибудь на простор, в уединение. Я еще не знал Павлова, но случайно пустынные взвозы и кривые переулки вывели меня к собору на горе; тропинка в церковном садике привела к калитке. Переступив ее, я очутился на круче и остановился, восхищенный открывшимся передо мною видом.

Солнце было еще невысоко. Вчера выпал дождь, и луга за Окой в разных местах курились плотными белыми туманами, из-за которых кое-где сверкали окна далеких, тоже кустарных деревень. Ока нежилась в берегах, синея и сверкая искрами далеко под береговыми ярами. По ней грузно сновал паро́м от одного берега к другому, точно большой водяной жук, между тем как легкие лодки мелькали взад и вперед, как комарики И паро́м, и лодки были нагружены рабочим народом. Народ сновал по улицам Павлова, под моими ногами. Кучи кустарей, толпившихся ранее, подобно муравьям у муравейников, около скупщицких подвалов, теперь редели, и муравьи расползались по улицам, по базару, скучиваясь у возов с деревенскими продуктами, у лавок. Гул этой толпы едва достигал сюда, уменьшенный, как и самые фигуры.

Картина была полна жизни, солнечного блеска и оживления. А когда, вдобавок, откуда-то сверху, из ничтожного, едва заметного облачка посыпался вдруг редкий дождик и капли, сверкая, протянулись в синем воздухе золотыми нитками, то казалось, что это радостное, благосклонное утро шутит и заигрывает с бодрою, полною рабочего оживления страной.

Но это была только иллюзия. В действительности, впечатления, которые я принес с собою на Троицкую кручу, были спутаны и неясны. Кустарное село имеет несомненно свою собственную физиономию, и я не мог сказать о ней, по первому впечатлению, что «таких много». Но выражение ее мне как-то не давалось...

Вчера один мой знакомый, живущий в Павлове, восторженный поклонник кустарной формы промышленности, сводил меня к мастеру-ковалю. В доме нам ска-

зали, что хозяин в кузнице, а кузница в саду. И действительно, маленькая, черная и покривившаяся набок кузница едва виднелась среди цветников. Ни одной грядки с картофелем или капустой здесь не было. Все небольшое пространство пестрело цветами, которых запах смешивался с запахом дыма из кузницы. Худой, весь черный коваль, с впалою грудью и непомерно развитыми руками, представлял странное зрелище среди этого цветущего и благоухающего царства.

— Да вот,— сказал он, заметив мое удивление,— никакой более охоты не имею... Иные к вину привержены, кто кочетиные бои уважает, а я больше насчет цветов.

И он с гордостью оглядел свое цветущее царство, а мой знакомый с гордостью посмотрел на него.

— Вы видите,— сказал мой знакомый,— собственная семья, собственный дом и собственный садик с цветами... Здесь есть все элементы, указывающие, что рабочий остался человеком, а не превратился в винт сложного механизма.

Теперь я искал глазами этот садик и не мог разыскать. Не только этого, но и других «собственных» садиков не было видно. «Собственные» дома, правда, виднелись в изобилии, а один из них вскарабкался даже на кручу и виднелся в нескольких саженях под моими ногами. Но что это был за домик! Какая-то игрушка, с крохотными стенами, крохотною крышей, игрушечною трубой, из которой вилась совсем игрушечная струйка дыма, и совсем уже смехотворными оконцами. И таких «собственных» домов, на отшибе, без плетня, без кола, виднелось всюду очень много. Кустарь хватается за последнюю возможность самостоятельной жизни с такими же усилиями, как эти домишки за каждый выступ глинистого обрыва. Но как жить и вместе работать в такой конурке?

И все Павлово, расстилавшееся подо мной по оврагам, по горам и обрывам, производило такое же впечатление. Как мало здесь новых домов! Свежего, сверкающего тесу, новых бревен, которые бы показывали, что здесь строятся, что новое вырастает на смену дряхлого и повалившегося,— совсем незаметно. Зато разметанных крыш, выбитых окон, подпертых снаружи стен сколько угодно. Среди лачуг высятся «палаты» местных бога-

чей, из красного кирпича, с претенциозною архитектурой, с башенками, шпицами и чуть ли не амбразурами... Когда же над этим хаосом провалившихся крыш и нелепых палат взвилась струйка белого пара и жидкий свисток «фабрики» прорезал воздух, то мне показалось, что я наконец схватил общее впечатление картины: здесь как будто умирает что-то, но не хочет умереть,— что-то возникает, но не имеет силы возникнуть...

На площадку, заменяющую колокольню, взошел какой-то молодой человек в черном подряснике, с длинными волосами, и стал раскачивать огромный стержень колокола, собираясь звонить к ранней обедне. Чугунное сердце завизжало и заскрипело в гнезде, причетник с усилием тянул веревку, а под конец сам весь подавался за стержнем. Я со страхом ждал первого удара, думая о том, какая масса звона хлынет сейчас на меня из-под этой громады.

И вдруг какой-то дребезжащий стук, а за ним жалкий, надтреснутый хрип пронесся над моею головой, упал с кручи и замер в лугах, за Окой. За этим ударом последовал другой, за ним третий, и всё такие же жалкие, такие же надтреснутые и хриплые. Тяжело было слушать эти разбитые стоны и выкрикивания меди; казалось, вот-вот с последним ударом большой колокол издаст последний глухой хрип и оборвется.

— Сломан,— сказал мне в промежутке старик, сидевший невдалеке, на скамейке, которого я не заметил ранее,— сломан колокол-те. Оттого и хрипит...

И сам он тоже закашлялся, причем этот кашель, в котором слышалась многолетняя разъедающая железная пыль, удивительно напоминал хрипы колокола.

Я оглянулся. Действительно, внизу в теле огромного колокола виднелась большая зазубрина, от которой кверху змеилась широкая трещина.

Старик поднялся со скамейки, и, между тем как ветер трепал на нем жалкую одежонку, он с досадой махал рукой по направлению к колокольне.

— Ну, будет уж, будет. Чего тут... Так вот и Павлово наше,— сказал он мне, поворачиваясь, чтобы уйти.— Бухает, бухает, а толку мало.

И он опять махнул рукой, закашлялся и побрел шагом человека, которому, в сущности, и идти-то некуда («все толку мало»). А я остался, слушая, как усердствует звонарь, и думая про себя: «Неужели это и есть настоящее впечатление, которого я искал? Неужто этот старик, проживший здесь свой век, сказал правду, и этот грузный, надтреснутый колокол есть настоящий символ, прообраз знаменитого кустарного села?.. Павлово,— один из оплотов нашей «самобытности» против вторжения чуждого строя,— неужели оно тоже бухает без толку, предсмертным, надрывающим хрипом? Как будто в «кустарном» бытовом строе тоже есть своя зияющая трещина...»

Таково было первое впечатление, произведенное на меня кустарным селом.

ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

НА «СКУПКЕ»

I

ДОРОГОЙ.— АВЕРЬЯН И ЕГО СКАЗКА.— НА ПОСТОЯЛОМ

Зимой этого же года я опять отправился в Павлово. На железнодорожной станции в Гороховце мне попался попутчик, молодой виноторговец, недавно открывший в Павлове склад. Мы наняли просторные сани и поздним вечером отправились в путь.

Случайный мой спутник недавно вернулся из Парижа и весь был еще под впечатлением выставки. Он рассказывал о парижской толпе, о веселых французах, которые мчатся по бульварам, распевая шансонетки, о том, как публика, при виде этого дебоширства, только сторонится, благосклонно улыбаясь. Как, выходя с заводов, рабочие устраивают импровизированные процессии, во главе которых подростки, сидя на плечах товарищей, размахивают красными знаменами и все поют, и поют. Как при нем в ресторан вбежал какой-то господин, скинул зачем-то сюртук и, взобравшись на стол, стал тараторить, горячась и жестикулируя. Рас-

сказчик плохо знал язык, но, все-таки, понял, что речь шла о правительстве, и оратор кого-то сильно ругал... Потом отзвонил, надел пиджак и ушел, как ни в чем не бывало. И никто ничего, как будто так и надо.

Даже наши, русские, в Париже «осмелели»: все остались недовольны наградами. Администрация русского отдела, после экспертизы, повывесила в павильонах, рядом с экспонатами, объявления о наградах «медаль де-бронз», «медаль д'аржан» или там почетный отзыв. А наши громадными буквами внизу: «рефюзе», значит не желаем, отказываемся. После этого начальство сколько упрашивало: «Снимите, бога ради! Что такое за срамота: весь отдел в заплатах...»

Каюсь, я не особенно внимательно слушал эти характерные рассказы. Меня укачивало тихое поскрипывание полозьев по мягкому снегу, и туманная, неопределенно клубившаяся даль наводила дремоту. В темноте русской ночи, в русских розвальнях, среди русского кочкарника, покрытого русским снегом, эти рассказы о солнце, песнях и вольном озорстве парижан производили такое несообразное впечатление, как будто среди зимы у меня над ухом жужжит летний комар. Я едва ли даже восстановил бы теперь в памяти эти рассказы человека, лица которого я почти не видал в темноте, если бы впоследствии мне не пришлось много раз вспоминать эти рассказы по контрасту с впечатлениями кустарного села.

Со второй половины пути мой спутник тоже замолк. Ночь была темна, снег едва белел по сторонам, а вдали по горизонту, казалось, клубились неясными очертаниями какие-то дымные столбы, без огней. Это были, должно быть, кустарники и перелески. Такие же темные столбы стали попадаться у самой дороги, но это были уже не кусты, а фигуры и группы людей, с кошелями за спиной. Это мастера из деревень, спешили к утренней скупке и сторонились с дороги, утопая выше колен в снегу.

— Эй, дяденьки, дяденьки! — остановил нас чей-то грубовато-насмешливый голос при одной такой встрече — Не подвезете ли мастера, Христа-ради?..

— Аверьян это,— сказал ямщик с усмешкой в голосе.— Затейливый мужик... Говорун! .

Я попросил остановиться, и сзади нас догнал здоровенный мужик с котомкой за плечами. Он весело скинул со спины кошель, бросил его, брякнув замками, в сани и сам уселся, свесив ноги наружу.

— Вот и отлично, спасибо добрым господам. Погоди, брат ямщик, погоди. Дай мужику цыгарочку закурить.

В его грубоватом голосе слышалась ирония деревенского остряка и балагура. Огонь спички осветил широкое лицо с лохматою бородой и искрящимися насмешкой глазами. Закурив трубочку, он поднес спичку и взглянул мне в лицо.

— Не евреи ли будете?

— Нет, не евреи.

— Эхма! Жалко! А я думал, не моего ли еврея опять мне бог дает.

— Зачем вам так понадобился еврей?

— Продавал я тут одному,— сказал он, ухмыляясь и почесывая в затылке.— Да вишь унистожили его, чтобы вовсе им в Павлове не торговать. Вот теперь и об жиде заплачешь!

Он пыхнул цыгаркой и сказал:

— А по-моему, никакого от них утеснения мастерам не было. Может, где-нибудь в прочих местах... А к нам приехал, купил, деньги отдал,— опять милости просим. Скупщики возненавидели... Он — еврей, за два процента десять верст пешком пробежит, а иным прочим народам пятнадцать процентов подавай, потому что мы на рысаках ездим!

Он докурил трубку, выбил ее об отводину саней и сказал:

— Кто знает, отчего это цена, бог с ней, все низнет! Кто говорит — Москва цены сбила. Конечно, может и это быть. У нас говорится: «В Москве заест,— в Павлове стóпорит». Вот все равно на станке: в одном месте заест,— все колеса станут. А тут еще еврея запретили... Теперь у скупщика они закупают. Ну! Еврею нужен барыш, скупщику барыш, а уж кустарю и полбарыша не осталось. Так ли я говорю, господа?

— То-то вот,— продолжал он, впадая опять в прежний насмешливый тон.— И так можно говорить, и этак можно говорить. А как оно взаправду выходит, мы, дере-

венщина, не смекаем, а павловские господа-мастера и подавно.

Он помолчал и опять заговорил с ноткой насмешки:

— Вы как об них понимаете, о павловских мастерах? Мы так понимаем, что павловский народ вовсе бездушный. Хаживали мы к ним... Думаем себе: все-таки, не нам, деревенщине, с павловскими равняться. Народ несколько, все-таки, пообломанный, а на поверку выходит нестоющее дело. И разговоры у них все про кулачные да про кочетиные бои. Много-много что про диакона заговорят. Дескать, та-акую октаву вытянул,— во! Стекла задребезжали, свечи потухли. А этого, чтобы как следует о жизни своей подумать,— этого нет.

— А вы, деревенские, думаете? — спросил я с любопытством...

— Ну... тоже со всячинкой... Мало и мы думаем, правда это. Известно, мужики — темнота. Иной век проживет и в землю уйдет, ни разу не думавши. Ну, а уж который ежели задумается, так не о кочета́х, да не об диаконе... вот что! Тут уж, господин, мысли пойдут вовсе другие. Деревенский народ не обломан, конечно. Личка на нем не та, а весом-то он потяжеле павловского выйдет.

— Послушай, как тебя? — вмешался доселе молчавший мой попутчик.

— Аверьяном люди добрые звали, величали Иванычем, по прозванию Щетинкин.

— Ты, Аверьян Иваныч, не по старой ли вере?

— Нет. Мы сами по себе. И не люблю я их... У них, господин, книги старинные, с застежками. Ну, много ли их всех-то? Долго ли их перечитать. А новых им не надо. А мы, как бы то ни было, всякую книжку прочитаем, нам эта наша вера дозволяет. Иная книга такое расскажет, что другому, может, и читать-то не надо бы, который без разума человек... А вы, позвольте спросить, к скупке едете?

— К скупке.

— Покупаете?

И опять, раскуривая трубку, он посветил мне в лицо, взглянув с насмешливою пытливостью.

— Нет. Я еду к скупке только из любопытства. Сам не покупаю.

— У нас про скупку сказочка есть...

Он затянулся и, посмеиваясь, покуривая и сплевывая, рассказал следующее:

— Давно дело-то это было. Задумал как-то черт устроить ад на земле, стало быть, на сем свете. Обернулся немцем и подсыпался к графу, который проживал за границей. Что, дескать, людишки у тебя всё одною землей занимаются? Устрой да устрой у себя в имении завод. И доход пойдет, да и почетнее тоже. Послушался помещик, сам остался за границей, а немца послал в имение заводы строить. И построил немец первый завод в Павлове, на Семеньей горе, железо делать.

Вот живет помещик за границей, получает доход хороший. И вздумалось ему как-то раз проведать свои имения и посмотреть, как работают на заводах. А был он доброй души человек. Вот приехал он в Павлово и пришел на завод как раз на ту пору, когда из сварочной печи вынимали раскаленную «сварку» [1]. Глядит помещик: печь пламенем пышет, так что и подойти невозможно, люди в дыму и в копоти. А сварка красная вся, шипит, трещит, окалиной во все стороны так и брыжжет. Подтащили ее крючьями к наковальне, как грохнет по ней стопудовый молот, как пыхнет от нее пламя да искры... С нами крестная сила! И людишек-то из-за огня не видно.

Испугался добрый граф... «Подать немца сюда! Не знал я, откуда у меня доходы...» Глядь, а немец точно скрозь землю провалился.

Завод уничтожили, горно потушили, да искры из-под заводского горна уже разлетелись кругом с Семеновой горы по всему Павлову. Застучали в избушках молоты, завизжали пилы, зашипели паяльники, закипело мастерство и разлилось, как пожар, по всей округе. По деревням-то хоть землю не бросили, а павловцы совсем забыли про пашню.

Прошло сколько-то годов, только опять тот самый черт и загляни в Павлово: дескать, как там народ теперь живет? И видит, живут павловцы отлично; народ кормится, лапти скинули, в сапоги обулись. Наработают сколько кто управится, потом приедут покупатели, купят. А то и сам мастер лошадку запряжет да, благо-

---

[1] Железные остатки, лом, которые сплавляются под молотом в одну массу, опять годную в дело.

словясь, на базар свезет, в Нижний там или еще куда. Сосед попросит, он и соседский товар захватит, продаст, деньги привезет. Так и шло, а, может, и доселе так бы велось или бы и еще как-нибудь...

— Как-нибудь, Аверьян Иваныч?

— То-то что вот. Всё мы как-нибудь, да как-нибудь, ан бес-то скорее нашего спроворит. Стало черту за обиду. Дескать, из-за чего ж я-то бился, этакое неподходящее дело теперь выходит. Стал он думать, как дело на свой лад поправить.

И придумал.

Был в Павлове мастерок один. Работать не любил, а деньги любил. К этому человеку дьявол и подъехал: «Хочешь, говорит, я так тебя поставлю: в понедельник вставать тебе пораньше, а зато всю неделю спи сколько хочешь?» Ну, тот, конечно, рад. Ладно. «Сделай, говорит, себе подвал, чтобы прямо на улицу, да с крепкими затворами».

Сделал.

Вот раз, зимняя ночь-полночь на дворе, первые петухи только скричали, народ спит, будит он мастера. А дело как раз с воскресенья на понедельник. «Вставай!»

Потянулся мастер, вспомнил обещание, встал. «Свети огонь!» Засветил фонарик, пошли на улицу.

Отперли кладовую, а в кладовой-то пусто. Поставили огонь на прилавок, сели сами, сидят. Огонь на пустую улицу светит.

«Что будет? — думает мастер.— Что такое это выдумано: сиди в пустом подвале сложа руки, да чтоб от этого деньги завелись? Чудно что-то». И люди смеются... На другой понедельник мастер и вставать не хотел, да все-таки послушался. А, между тем, слух прошел и стал на огонь народ выползать, все одно мухи на свечку. Первые полезли похмельщики. С воскресенья-то глаза налили, ночь-полночь — уж у них тоска, глотка по рюмке тоскует, надо похмеляться, а не на что. Вот один, другой похватали замки, несут.

— Чем так сидеть, возьми вот замки, за что дашь!.. Смерть наша приходит.

А дьявол под бок толкает мастера: «Бери!»

Ну, и пошло! Мастер неделю спит, в понедельник до зари встает, огонь зажигает, садится в подвале. Народу

показалось хорошо: чем самому возить на базары да с купцами торговаться, пускай же они возят, а мы в то время сколько наработаем...

Вот оно, старики говорят, как скупка началась. А дьяволу что и нужно!.. Теперь вот про себя я вам скажу: охоч я на работу... Неделю работаю, встаю в три часа, ложусь в одиннадцать Стучу молотком, песни пою. Лягу на подушку — камнем засыпаю. А как суббота на исходе, тут радоваться надо, спи, отдыхай в охоту, Аверьян Иваныч. А не спится. Не спится, всю ночь мечешься: что-то будет в понедельник, не упадет ли цена, возьмут ли товар? Как бы не насидеться без хлеба с детишками, на железо бы хватило, да ковалю отдать. Тоже ждать не станет. Настоящий нам ад каждый понедельник на покупке.

Вот, ежели угодно, посмотрите нонче. Где еще до зари, часов, никак, с трех, пойдут скупщики с фонарями, отопрут подвалы, сядут. А мы тучами к ним, как мухи на падаль. «Батюшка, возьми! батюшка, не оставь только!» Мечемся, лезем, друг дружку давим. А кого, спрашивается, тешим? Все его, первого заводчика. Вот вы смотреть станете. Вам со стороны виднее: не увидите ли где его, первого заводчика? Небось толкается тут да смеется... А нам не видно.

Нам не то что *он*, сам Микола угодник приходи, мы и того не разглядим, под бока натолкаем. Сторонись, дескать, наше дело: с товаром к прилавку прем... Эхма, не взыщите с Аверьяна: болтаю я все! Такого мать родила. И отец-покойник, сказывают, такой же был; где бы другому плакать, а мы все смеемся...

— Это что за огни? Павлово, что ли?

— Самое Павлово. Вишь, огней сколько. Говорил я вам: не спит народ,— не до сна под понедельник-то им.

Копыта лошадей стучали по льду Оки. Горы Павлова сливались с сумраком ночи, и огни, казалось, висели на разных высотах в воздухе, надвигаясь на нас. Потом, скользя и спотыкаясь, лошади стали карабкаться по уклону и из темноты выделились и проплыли над нами угрюмые «палаты» с темными окнами.

— Слава тебе, господи, приехали,— весело сказал Аверьян.— Спасибо и вам, подвезли мастера. А сами где остановитесь?

— В гостинице где-нибудь.

— И отлично. Гостиница у нас первейшая, Париж и Лондон. Вот она самая. Тпру-у, милые! Стой, ямщичок...

Лошади остановились у двухэтажного дома.

— Пожалуйте! Париж и Лондон, все к одному месту. А просто сказать,— постоялый двор... Прощенья просим. Ежели взаправду выйдете на покупку, может, еще увидимся,— сказал Аверьян.

— А долго еще до покупки?

Аверьян посмотрел кверху, где, в вышине, слабо виднелось несколько звезд, потом оглянулся по улицам:

— Часа полтора осталось, не боле. Вишь народ набирается.

Действительно, улицы были полны шороха и той особенной нешумливой суеты, которая как будто приглушается покровом ночи. Мимо нас то и дело проходили группы деревенских кустарей с кошелями за спиной. По сторонам улицы стояли сани, хозяева спали на них, а лошади чавкали сено. Невидимый топот, невидимые голоса и возрастающее в темноте оживление вливались из переулков, наполняя глубокую, теплую и сыроватую ночь.

Аверьян, вскинув на плечи кошель с замками, быстро исчез, смешавшись с ночною толпой. Мой попутчик тоже распрощался и стал где-то недалеко стучаться в окно. Мне предстояло разыскивать себе ночлег в «Лондоне и Париже», зиявшем передо мною раскрытыми воротами, в глубине которых, где-то неизмеримо далеко, блуждал одинокий фонарик.

С великим трудом и даже с немалою опасностью поднялся я во второй этаж по узкой лестнице. Передо мной раскрывались внезапно то какие-то пропасти, откуда слышалось тихое чавканье и жалобные вздохи лошадей, то вдруг отверстие в стене ставило меня в непосредственное соседство с наружною пустотой, где белели старые крыши. Где-то все мелькал фонарик, где-то кто-то тихо, но свирепо ругался, где-то стучали копыта лошадей и полозья саней терлись по деревянному помосту. Вообще царило то же движение в темноте наряду со сном, как на улице.

Наконец, при помощи спички, я нашел какую-то дверь, куда и решился войти.

— Ну, что стал, проходи вперед! — не особенно приветливо встретил меня сиплый голос откуда-то из темноты каморки, в которой я очутился.

Я прошел вперед, в такую же каморку. Дальнейшие изыскания привели меня в комнату побольше, но всюду, на лавках, на диване, на полу, валялись человеческие фигуры вповалку. Все это сопело, бормотало во сне и шевелилось при тусклом свете стенной лампочки с закоптелым стеклом.

Постояв несколько секунд в нерешимости, я двинулся назад, так как пристроиться здесь не было никакой возможности.

— Послушайте, там нет места,— робко обратился я в темноту, откуда прежде последовал неудачный совет.

— А? Что? Да ведь это валенщики.

— Ну, так что же, что валенщики, а все-таки места нет,— ответил я, стараясь придать своему голосу возможно более убедительности.

— Они скоро уедут. Да вы кто, евреи, что ли? Ложитесь пока вот сюда.

Кто-то завозился на кровати и на ней уселась какая-то невероятно длинная, похожая на привидение, фигура. Фигура посидела, позевала, потом, как будто окончательно решившись, поднялась, вглядываясь в меня при тусклом освещении из соседней комнаты.

— Евреи будете? Ну, ложитесь, ложитесь с богом на мое место.

Я не счел удобным рассеивать заблуждение, вследствие которого получалась, наконец, возможность пристроить куда-нибудь свою скитальческую особу. Место, куда я лег, не раздеваясь, было согрето моим предшественником, подушка пахла чем-то кислым, а по стенам что-то очень подозрительно шуршало. Но, взглянув, с какими усилиями мой предместник вонзал теперь свою сухопарую фигуру между других тел на полу, в соседней комнате, я нашел, что понятия об удобствах весьма относительны.

Через некоторое время стали уходить валенщики, холодя каморку и хлопая дверями. Потом кто-то, будто во сне, натыкается на мою лежанку, падает вперед, упи-

рается в меня руками и говорит: «Извините-с». Осторожно, ощупью обойдя мое ложе, незнакомец начинает мыться где-то надо мной, и брызги летят мне в лицо. Умывшись, он, в пролете двери, подвязывает очень тщательно щеку платком, и еще через несколько минут я вижу его уже за самоваром, с хозяином помещения, в котором узнаю моего благодетеля. Последний одет в ситцевую рубаху, повязанную шнурком, на ногах — отопки, на шее — высокий старомодный галстук, придающий его фигуре вид отчасти хищный, отчасти же унылый. Они сосредоточенно пьют чай и ведут отрывочные разговоры.

— Кто? — спрашивает подвязанная щека, кивая в мою сторону.

— Еврей.

— До́пустили опять?

— Не слыхал что-то. Видно до́пустили...

Несколько минут они пьют молча. Потом хозяин мрачно ставит стакан и говорит с угрюмою сосредоточенностью:

— Прежде от одних евреев сколько ренты получал: покупаешь ему, укупориваешь, отправляешь. Теперь ничего нет. Вот ноне прилечь негде, набилось народу. Да народ пустой: валенщики! дивиденду от них грош... И что такое? Правительство, например, хлопочет облегчить бедному народу, а тут делается стеснение...

Лихорадочные глаза хозяина сверкают сдержанною злостью. Собеседник, по-видимому мелкий приезжий скупщик, равнодушно допивает из блюдечка.

— Торговцу от них теснота,—говорит он спокойно.— Лучше же русскому человеку получить доход... А, впрочем, наше дело маленькое. Нам хватит. Пожалуйте-ка мне столик. Пора!

Он одевается и уходит со столиком и фонарем в руках, а хозяин уныло продолжает наливать чашку за чашкой, что-то бормоча по временам про себя. Его раздражение усиливается, когда я тоже выхожу к свету и он убеждается, что я не еврей.

Выйдя на улицу, я с первых же шагов натыкаюсь на его бывшего собеседника. Он сидит у стены дома, за столиком, на котором горит фонарь, тщательно закрывает воротником больную щеку и просматривает

взглядом образцы, которые как-то вяло еще подают ему кустари. Они отходят от него с насмешками и остротами.

— Даром огонь засветил!

— Чай, свечка-то копейку стоит!

Несколько таких же столиков с фонарями, точно светляки, виднеются вдоль темной улицы.

Я посмотрел на небо. До свету, по-видимому, еще далеко. Небо было темно, последние звезды исчезли, мелкая изморозь сыпалась сверху, и ветер прорывался с реки в переулки.

Кто-то осторожно толкнул меня локтем. Кучка кустарей стояла кругом, протягивая образцы.

— Где принимать будете? — тихо спрашивал один; видимо, они опять сочли меня за еврея, приехавшего сюда контрабандой.

— Опознались, ребята! — сказал насмешливый голос, по которому я узнал Аверьяна.— Это мой барин, скупку посмотреть приехал, да вот теперь на небо и смотрит: не видно ли, дескать, где-нибудь самого-то главного скупщика?..

— Аверьян сказочку свою, видно, рассказывал,— засмеялся один из деревенских кустарей.

— Рано еще, господин,— продолжал Аверьян.— Без попов обедни не служат, а настоящие-то попы еще не вышли. Это вот,— насмешливо кивнул он на огоньки,— только дьячки да причетники.

— Вышел Молотков, сказывают, вышел! — сказал кто-то, пробегая мимо, и кучка кустарей метнулась за ним. В то же время в другой стороне улицы показался фонарь и за ним, все увеличиваясь и прихватывая за собой встречных, потянулся целый хвост народа.

Фонарь остановился у широкой сводчатой двери подвала. Загремели болты, открылась какая-то темная нора. Скупщик прошел туда, опустил прилавок, перегородивший широкий вход, поставил на него фонарь и уселся, освещенный огнем на фоне этой пещеры. Толпа тотчас же плотно сомкнулась за ним, теснясь и чуть не влезая друг на друга.

Это значит, что «богачи» засветили огни и началась настоящая скупка.

II

СКУПКА, ЕЕ ЛОГИКА И ЕЕ РАЗГОВОРЫ

Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная нора, прилавок, трепетный огонек сального огарка в фонаре, освещающий фигуру за прилавком, и напряженные лица кустарей, напирающих с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, спокоен,— они взволнованы. Он развертывает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает цену за другие Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются выражения: надежды у тех, кто подходит,— страха у тех, чьи образцы в руках скупщика,— вражды на лицах отходящих... «Вот паук, раскинувший свою сеть у входа в пещеру»,— невольно приходит в голову при виде этого человека, сидящего у фонаря за прилавком в середине загороженного входа.

Но с другой стороны,— если бы скупщик не засветил сегодня своего огня, многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или четверо, уныние достигло бы значительных размеров. Если бы не явился ни один, все Павлово принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить работу за недостатком материала.

Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти замки и ножи, а отсюда, из его подвалов, они разойдутся по всему белому свету, попадут в Турцию, и в Персию, и на далекие недоступные рынки неведомых стран Средней Азии.

Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и в переулках, горят такие же огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цену до той степени, до какой только масса будет подаваться. И он должен не отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже, и Москва возьмет у других.

И вот он окидывает толпу острым проницательным взглядом Он ее давно изучил; он видит, как люди жмутся, точно испуганные бараны, и думает, что «нонче народ станет уступать до последнего». Это его не радует и не печалит, он просто принимает это к сведению.

— Рука, что ли, Иван Иваныч? — и кустарь кидает образцы на прилавок.

Скупщик медленно разворачивает и равнодушно отодвигает товар.

— Не рука.

Может быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить свое положение и расшатать положение другой стороны. Для него отодвинутые образцы — несколько гривенников барыша, для кустаря, работавшего их целую неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому огню, а в оставшейся толпе этот эпизод уже посеял некоторую долю неуверенности и уныния.

— Рука, что ли? — спрашивает следующий.

— Почем отдашь?

— По-прежнему, Иван Иваныч, как всегда.

— Без полтины.

— Много дороже слышали...

— Надо было отдавать.

И он опять завертывает образцы и отодвигает их, обращаясь к следующему.

Это он пробует, до какой степени народ подается. Через некоторое время, после нескольких уступок, после того, как кустари обежали другие огни, он уже отлично знает положение сегодняшнего рынка.

Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым он ведет дело давно и с которым пускается иногда в приятельские разговоры.

— Не сойдутся опять образцы у тебя с товаром. Личка [1] у вас плоха,— говорит он.

— Личка у нас ноне, Иван Иваныч, первый сорт. Ноне мы рабочих нажали несколько. Забудут спать-то.

— Почем?

— По шести гривен.

— Уступай, Потапыч, уступай.

— Уступлено, Иван Иваныч, сами знаете, по восьми брали.

— Знаю, что по восьми. Да еще уступить надо. Ноне, сам видишь, до слез уступает народ.

---

[1] Личить — значит обтачивать поверхность ножей на камне перед полировкой.

Уступают до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ему? В общем человек, все-таки, человек, и слеза народа иному скупщику, может быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше уже не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция — пресс... Кустарь — материал, лежащий под прессом, скупщик — винт, которым пресс нажимается. Мне самому пришлось видеть, как во время приемки[1], которая следует за скупкой, торговец взял в руки связку образцов, оглядел их, посмотрел записанную цену и швырнул с досадой в общую кучу.

— Еще упала цена! Всё уступают да уступают. Этот замок полгода назад шел по рублю, ноне вон по шести гривен валят. Из-за чего работают только, дьяволы,— за такую цену отдавать!

— Разве это вам не выгодно? — спросил я, удивленный этою досадой на дешевизну покупки.

Оказалось, что в данном случае, действительно, ему было невыгодно: на прежних базарах он запасся большим количеством товара, и если бы цена поднялась, он продал бы дешевый товар дороже. Теперь цена еще упала, и ему придется, наоборот, дорогой товар пускать по более дешевой цене. Но он, конечно, жмет на скупке так, как всегда; необходимо дожать до последней возможности.

К огню подходит молодой мастер и молча, угрюмо кидает товар на прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него скупщический пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик окидывает его проницательным взглядом и с особенным вниманием присматривается к образцам. Мастер с оттенком презрения наблюдает эту процедуру. Он знает, что образцы у него безукоризненны, что скупщику это известно, что именно потому-то он и не может отдать товар так дешево, как отдают другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее качество товара; форма остается та же, но вес и работа — другие.

---

[1] На *скупке* принимаются от кустаря образцы, к которым привешивается ярлычок с обозначением условленной цены. Во время *приемки* кустарь доставляет условленное количество самого товара.

Он — артист своего дела, гордый своим искусством, один из тех, которые до последней возможности не идут на компромиссы...

— Почем?

— Знаете сами, почем брали.

— Теперь дешевле.

— А как?

— Полтина.

Мастер сам берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет скупщик.

— За полтину этот товар отдавать — солому надо есть. Не научились еще дети у нас.

— Научатся,— говорит скупщик хладнокровно.

Много, конечно, нужно упражняться в жестоком деле, чтобы так спокойно кинуть ближнему такое слово. Но в этой железной торговле вырабатываются и железные сердца, не знающие жалости.

Мне пришлось однажды зайти в дом кустаря. Он сидел, больной, на своей постели, встретив меня каким-то лихорадочно-беспокойным взглядом. Разговаривая, он все посматривал в окна и на двери.

— Вы о чем-то беспокоитесь? — спросил я.

— Беспокоюсь, верно. Баба у меня с образцами послана. Болен сам. Это в нашем деле, господин, беда большая, что бабу послать к торговцу... Запугивают их... Ну, вот идет, кажись, погоди-ка...

В избу вошла молодая женщина, села в изнеможении на лавку и как-то виновато опустила руки на колени.

— Почем? — спросил мужик угрюмо.

— По шести.

— Так и знал. Это, господин, пятаком дешевле самой низкой цены. Говорил ведь я цену тебе?

— Не берет. Нипочем, говорит, завтра этот товар не возьмут, в последнее и брали.

И вдруг, как-то встряхнувшись и вытирая рукавами слезы, молодая женщина заговорила с истерическою торопливостью:

— Да еще дает пять с полтиной и смеется: «Бери, грабь, загребай с меня деньги лопатой».— «Полно, говорю, вам над беднотой над нашей смеяться, Василь Василич! Какая это цена!» — «Да ведь отдают!» — «От нужды отдают, мол. Плачут, да отдают!» — «Какая.

говорит, ваша нужда: в своих домах живете, в калошах ходите, по праздникам белый хлеб покупаете. Вот будет нужда, как в прочих местах уже дошел народ: по пяти семей в одну избу натолкаетесь, на десять человек одна шуба, а о пшеничном хлебе и думать забудете».

Женщина посмотрела на меня и на мужа обезумевшими, испуганными глазами.

Мне нужно было повидать одного знакомого скупщика и сказать ему несколько слов, но кругом была тесная толпа...

Я видел через головы освещенное огнем лицо моего знакомого и надеялся, что меня подвинет к нему общее течение. Но в это время какой-то рослый деревенский кустарь, которого образцы были забракованы скупщиком, стал пробиваться из толпы, прижимавшей его к прилавку. Я видел, как с величайшим усилием он ворочал спиной и задевал кошелем по лицам ближайших соседей. Те лишь беспомощно отворачивали лица, так как рук поднять не могли. Вдруг прилавок затрещал, фонарь на нем вздрогнул, толпа колыхнулась и совершенно неожиданно я увидел почти у самого своего носа красное лицо с вытаращенными глазами.

Оба мы очутились на середине улицы. Кустаря, повидимому, нисколько не смутил этот пассаж, и только узнав меня, он несколько сконфузился.

— А что, Аверьян Иванович,— засмеялся я,— пожалуй, *ему* теперь, действительно, весело смотреть на вас.

— Просим прощения, помяли вас маленечко. Что и говорить: большое ему удовольствие. Не повредил ли, упаси господи, вашей милости.

— Это все пустяки. Но скажите, неужели трудно устроить дело иначе, чтобы всем было легче подходить: по очереди, с одной стороны?

— Да оно, конечно. Суемся мы, все равно, как слепые мухи. Я уж вам докладывал: темнота наша. Однако надо мне бежать к другому огоньку, к Портянкину Сеньке. Давал он по шести с пятаком. Надо отдать пойти, пока не закупился. Сейчас я вас розыщу.

Через четверть часа он, действительно, нагнал меня, и мы вместе пошли по темным улицам, на которых я

насчитал около тридцати скупщицких огней. Из них только пять или шесть принадлежали крупным местным торговцам; остальные светились на столиках, поставленных где-нибудь на улице, под стенами домов. За такими столиками торговалась мелкота, вроде моего знакомого по постоялому двору, а кое-где мастера кустари, присоединяющие к работе за станком также и скупку. Это та часть кустарной массы, где мелкий скупщик еще не вылупился окончательно из мастера. Вот он принанял двух-трех рабочих; ему повезло, он нанимает еще. Сколотив несколько десятков лишних рублей, он начинает скупать товар у других кустарей и в один из понедельников зажигает огонь и садится за столик. Почти все огни, горящие теперь в крупных кладовых, загорались таким образом, на маленьких столиках, прямо из-под горнов кустарей.

Аверьян называл мне имена этих торговцев, сопровождая свои объяснения бесцеремонными прибаутками и крепкими словцами. Вообще, видимо, и он, и другие кустари, кучками собиравшиеся теперь на улицах, после того, как они отдали образцы, относились к этой мелкоте с большим презрением. Впрочем, и из торговцев покрупнее редкого звали за глаза иначе, как Петькой, Васькой или Митькой.

III

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СРАМИТ СВОЕ ЗВАНИЕ

— Этому вот милостивому государю кошку дохлую на прилавок бросили,— сказал Аверьян, останавливая меня невдалеке от одного огня.

Милостивый государь, которому кустари выразили таким оригинальным образом свое внимание, сидел за своим прилавком, сохраняя выражение такого достоинства в лице, как будто ему никто и никогда не бросал на прилавок дохлых кошек. Только когда к огню подходили кустари, которых здесь было меньше, чем у других, и которые, отходя, ругались бесцеремоннее, в его лице и фигуре проявлялась неожиданно какая-то чисто ноздревская подвижность, беспокойная и как будто даже злая.

— Горшок еще с кашей на ворота повесили на днях,— прибавил из темноты какой-то кустарь к сообщению Аверьяна...

— Ну-у?

В восклицании Аверьяна слышался восторг.

— Ах ты, братец мой! Да кто ж это ему, а?

— Да уж кто ни сделал, а сделали,— политично ответил кустарь, придвигаясь к нам и отчасти опасливо, отчасти с любопытством посматривая на меня.

— Приезжие будете?

— Приезжий.

— Торгуете?

— Не торгует он... Посмотреть наши порядки приехал,— перебил Аверьян.— А ты, дядя, не опасайся, говори, ничего.

— Нам что опасаться, наше дело сторона, а что действительно горшок на воротах висел, сами видели.

— С пшеном, что ли?

— Ну, ну!

— Молодцы, ребята! Ну, а он что же?

— Леший его знает. Чай, велел снять да ссыпал куда. Потом нашему же брату опять на треть отвалит...

Аверьян отвел меня несколько в сторону, кустарь, сообщивший о горшке, последовал за нами, а через минуту к нашей группе присоединилось еще несколько человек, освободившихся уже от образцов.

— Этак-то лучше, все-таки,— сказал Аверьян, оглядываясь на отдалившийся теперь огонек.— Как бы не услыхал. Ему ведь я ноне образцы-то отдал.

— Видите ли, господин,— обратился он ко мне.— Теперь вот скупка у нас идет, а вот рассветет начисто, начнется приемка. Понесем товар по образцам сдавать да деньги получать по расчету, сколько кому причтется. Тут вот главная-то у нас путаница и пойдет.

— Товар, что ли, бракуют?

— Бывает и это. А главное в расчете. Променом, вот, донимают да третьей частью. Сейчас, например, разделывает он десять человек, приходится на всех сто рублей да еще там сколько-нибудь. Вот вынимает он сотельный манет и дает одному,— разделывайтесь, ребята, как знаете.

— Это мы так говорим, что *связал* он нас сотельной бумажкой,— пояснил другой кустарь из кучки.— Теперь, чтобы развязаться, надо ему по две или хоть по полторы копейки отдать промену. Редкий у нас скупщик без промену торгует.

Я вспомнил, что уже читал об этом своеобразном явлении павловского рынка. Исследователи останавливались перед ним в недоумении. Действительно, при условии конкуренции между скупщиками, легко сообразить, что в общем, все-таки, масса сделает соответствующую поправку и скупщику, торгующему с променом, станет продавать дороже, чем тому, кто платит без вычета. Эти соображения я высказал и кустарям.

— Так-то оно так,— сказал один.— Да ведь поди-ка каждый раз усчитай, сколько оно там придется. Иной, конечно, смекнет, а другой и ошибется.

— Мутную воду любят, вот что. Намутит, напутляет, да тут счистит пятак, там утянет другой,— глядишь, уж и гривенник. Конечно, не разживется этим, а нашему брату иной раз просто слезы с ними, с путаниками. А то еще так делают, вон как Кульков. Тот уже и рассчитывает с променом. «Вот, мол, вам, ребята, следует столько-то, да промену с вас столько-то. Получите». Да опять ту же сотельную в руки.— Как, мол, так, и промен взял, и не меняешь, такой сякой? — «Да ведь вы уж с меня, дескать, за промен подороже и берете, а денег помельче у меня нет. Ступайте вот к Рогожкину, он вас развяжет!» А Рогожкин, сродник и благоприятель, опять с нас за развязку по полторы копеечки утягивает. Вот этаким способом с нашего брата по две шкуры и спускают.

— Ну, а горшок с пшеном тут при чем же?

— А это опять статья особая. Горшок обозначает другое. Это, господин, насчет *третьей части*. У которых скупщиков свои лавки есть, те при расчете третью часть товаром выдают, чаем там, железом, а Портянкин вот пшеном стал выдавать. Цену-то ставят дорогую, а товар дают самый последний.

— И опять вам это легко сообразить и прикинуть в цене.

— Ну, не-ет. Тут уж ему приволье, тут его не уследишь, все одно щуку в мутной-то водице. Сейчас он, например, чаем выдает. Подите-ка, поспросите по Павлову,

какой чаек; дескать, пьют кустари, в какую цену? Всё по два рубля, не менее-с. И сами скупщики тоже говорят: господами живете. Какая бедность! Чаем всё двухрублевым балуетесь! А вы, господин, этого чаю и в рот, пожалуй, не возьмете, вот он нам какой двух-то рублевый достается. Ну, конечно, надоест. Смекнем тоже, начнем и сами цену выправлять на замках. Глядь, уж у него чаю и нет. «Пшено, говорит, ребята, у меня о-отличное». Ну, отличное не отличное, а все поначалу ничего, есть можно. А как во вкус-то народ войдет, он закупит гнили, да в два-три понедельника в народ и пустит. Смотришь, хворают у нас ребятишки от каши, а наконец того замечаем, уж и куры от этого пшена дохнут. Вот за это за самое и повесили Портянкину горшок.

— Для сраму, значит,—добродушно пояснил из кучки какой-то старичок с серенькою бородкой и моргающими глазами.

— Вы, Аверьян Иваныч, ему, кажись, сегодня образцы сдали?

— Да ведь вы вот не взяли,— шутливо отвечал Аверьян,— кому ж мне и сдавать-то?

— Да это что,— как-то грустно сказал серенький старичок, моргая глазами и улыбаясь.— Промен там или треть — это редкий скупщик не пользуется. А ведь Портянкин этот прямо отъемом еще берет.

— Верно, отъемом тоже... бывает...

— Как еще?

— Что вы все как да как? — резко сказал Аверьян, несколько сконфуженный раньше моим замечанием.— Да просто, как вот на большой дороге,— отнял, да и все тут.

— Закинет товар в кучу,— пояснил старик,— навалит еще на него; потом, при расчете, полтину или семь гривен и не додаст. «Как так? тут, мол, не все».— «Знаю, говорит, что не все, да я тебя, подлеца, сколько ждал, ты все не шел, так вот штраф с тебя. А ежели, говорит, несогласен,— пошел, бери свой товар да убирайся, места у меня не простаивай». А где его разыщешь, в куче? Да и скупка кончилась. Заплачешь или обругаешься, да с тем и уйдешь.

— А то еще на́ гуся берет,— опять после короткого молчания выступил старичок, и на этот раз на его сером лице появилось что-то вроде улыбки.

— Ну-ну,— подтвердили другие.

— На́ гуся, ей-богу, с меня взял. С зятем я был, с Тимошей. Рассчитал нас, ан рубля с четвертаком нет. Неверно, мол, Семен Семеныч. А у нас, господин, обычай такой, что к празднику, к Вознесеньеву дню, гусей мы покупаем. Так вот и говорит: гуся я ноне купил, да гусь-то, говорит, поджарай.

Все, даже и сам старик, засмеялись.

— Поджарай, говорит, а цену я дал за него хорошую, полтора рубля. Так вот на́ гуся с вас теперича я, говорит, и отчисляю. Четвертак еще вам уступки делаю, на бедность на вашу.

— Это уж не со всяким сделает,— сказал, протискиваясь плечом, низкорослый широкоплечий парень, с черными сверкающими глазами.— На меня бы, я б ему, подлецу, в этом случае такого гуся показал... С дураками, господин, этак-то можно.

— Чего с дураками! — заговорило несколько голосов зараз.— Сам больно умен. Небось, ребятишки пить-есть запросят, да как на неделю-то муки да соли не хвата́т, тут и сам накланяешься.

— Не увидит от меня этого,— сказал парень, поводя своими глазищами, в которых горело выражение страшной ненависти.

— А ты послушай, паренек, не знаю, как тебя звать. Я тебе скажу присказку,— сказал Аверьян.— Отхватил как-то котище ухо у крысы одной. Села крыса в норе и плачется. Как тут подбегает к ней мышонок да давай над ней же смеяться. «Эка, говорит, дд-у-ура! Ухо коту отдала. Да на меня бы, да я бы!..» Откуда ни возьмись на те слова котище тут как тут. Сцапал мышонка в рот целиком и держит в зубах, только хвостик мотается. «Что ж ты, миляга? — говорит тут крыса из норы.— Ты бы, чудачок, не дался. Чать, сам-от дороже уха. Ухо мое — куда ни шло...»

Все засмеялись. Парень плюнул и быстро пошел прочь. Старичок как-то передернул плечами и прибавил со вздохом:

— Да, по-нашему так-то: что смирнее, то и лучше.

— Как не лучше, известно лучше,— подхватил Аверьян.— Шел как-то один по дороге. И попадись тут навстречу грабитель: «Давай, говорит, пальто». А мужичок этакой же смиренной был. Снял пальто и говорит: «Спасибо, мол, мне же и легче».— «Вот оно что,— говорит охальник.— А я и не знал, чем тебе угодить. Так скидай же, милый человек, вдобавок, и жилетку...» Однако, господин, пожалуй, и скупке скоро конец, а архиерея вы нашего еще не видали. Пойдем-ка-те, я вам самого главного покажу.

— Это к Дужкину, значит,— сказал кто-то в кучке кустарей, расступаясь, чтобы дать нам дорогу.— Что ж, посмотрите, господин. Ноне он сам сидит.

Мы с Аверьяном пошли вниз по улице. Сверху, над крышами немного светлело, ветер становился пронзительнее, и изморозь крутилась порывистее и сильнее.

IV

СВЕТЛОЕ ЯВЛЕНИЕ НА ПАВЛОВСКОЙ УЛИЦЕ

На одном из углов Стоялой улицы помещается винный склад братьев NN. С одним из них я именно и ехал вчера в Павлово. Склад уже был открыт; из-за горки с разноцветными бутылками, выставленными в окне, яркий огонек светил на улицу, освещая то фигуры проходящих, то одни снежинки изморози, крутившиеся в темноте.

— Эх! Вот где милостивые-то люди живут,— услышал я за собой тихий возглас, когда мы приблизились к складу.

Я оглянулся с невольным изумлением. Говорил маленький старичок с острой бородкой и в женской шали, тот самый, у которого Сенька взял на́ гуся рубль с четвертаком, уступив ему четвертак на бедность. Теперь глаза смиренного человека умиленно смотрели на освещенные окна и стеклянную дверь винного склада братьев NN.

Я невольно посмотрел туда же. У прилавка стоял мой вчерашний спутник, молодой еще человек лет тридцати, в пальто и мягкой шляпе. Два приказчика, почтительно наклонившись из-за прилавка, о чем-то разгова-

ривали с хозяином. Оба были одеты прилично и обладали спокойными манерами сознающих свое достоинство «городских» сидельцев. По стенам стояли рядами бутылки разных цветов, величин и калибров,— каждая за бандеролью,— и вся картина ярко освещалась несколькими лампами... Контраст с подвалами скупщиков, правда, был значительный, но я все-таки продолжал с недоумением оглядываться, разыскивая глазами — к кому бы здесь могло относиться название милостивых людей...

Не было сомнения — «благодетели» стояли у прилавка винного склада, и я испытал невольное разочарование Восклицание смиренного человека пробуждало во мне надежду, что, наконец, среди этих жестоких картин я наткнулся на «светлое явление». И вдруг — в качестве светлого явления — чуть не кабацкая стойка!

— Вино, что ли, дешево продают? — спросил я не без некоторой жесткости в голосе.

Смиренный человек потупился.

— Быва́т, конечно, и винишко тоже покупа̀м,— сказал он своим угасающим голосом, смиряясь еще более...— Тоже когда,— и выпьем грешное дело... Бывает это, что говорить напрасно.

Очевидно, мысли смиренного человека направились в сторону «самообличения». Но из объяснений Аверьяна я понял, почему виноторговля братьев NN составляет в Павлове «светлое явление»,— до известной степени совершенствующее павловские понятия. Стоит, например, нескольким мастерам, «связанным» одним сотенным билетом по тому способу, как описано выше, зайти в виноторговлю, и их «развя́жут» бескорыстно. Это восхищает мастеров, за это косятся торговцы, лишающиеся грошового барыша, а главное, сознающие некоторую деморализацию, вносимую этим примером.

— Уж мы и то удивляемся,— пояснил смиренный человек.— Возьмите, мол, с нас хошь, скажем, полтину, мы ничего, мы со всяким удовольствием, потому — прочим надо отдать полтора, а то и два...

Глаза смиренного человека улыбнулись, и он прибавил с радостным изумлением:

— Не-ет. Не берут! Конечно, нижегороцкой народ образованной! У нас, говорит, не меняльная лавка! Есть, говорит, в выручке — разменяем. Нет — не взыщите! А

ни за что деньги брать — это надо самим срамиться и хозяина срамить. Мы, говорит, не согласны...

Я невольно опять посмотрел в окна склада. В это время в лавку вошли двое покупателей,— какой-то молодой человек в пальто, вероятно из торговцев, и деревенский, крестьянин, приехавший на базар с возом. Младший приказчик с спокойным изяществом обратился к мужику, который вошел первым, и, сняв с прилавка посуду, подал покупателю. Старший принял деньги и выдал сдачу.

Все это было мне так знакомо и так обычно: мало ли приходилось видеть винных складов и магазинов с такими же вот сидельцами, и таких же хозяев, вроде моего вчерашнего спутника. Но теперь я глядел на все это с павловской Стоялой улицы, и все представлялось мне в каком-то новом свете. Я вспомнил рассказы вчерашнего моего спутника о Париже... Теперь сам он казался даже и мне представителем какого-то другого мира... Как будто здесь, на этом самом месте должно бы, по-настоящему, стоять «царское кружало» времен по крайней мере Алексея Михайловича... Эти ряды бутылок, обезличенные, заранее обандероленные и ждущие такого же безличного покупателя, эта спокойная вежливость вместо хищной настороженности и готовности вступить с покупателем в ожесточенную борьбу, которая теперь целым рядом поединков между каждым скупщиком и каждым мастером кипела на всем протяжении кустарного села,— вот что, очевидно, отличало этот обильно освещенный уголок от остального Павлова, выделяя его из общего фона.

— Ну, идем, что ли! — вывёл меня из задумчивости Аверьян, не понимавший, конечно, моего настроения.— А то опоздаем!

И его дюжая фигура нырнула в темноту. Смиренный человек, кинув умильный взгляд в сторону «милостивого» учреждения, последовал за нами.

V

ЧЕЛОВЕК, СОБЛЮДАЮЩИЙ СВОЕ ЗВАНИЕ

Скупка кончалась. Кустари, сдавшие образцы, беседовали кучками на улицах в ожидании приемки. У огня

Дмитрия Васильевича Дужкина народу было несколько больше, чем у других. Но и здесь в освещенное пространство то влетали вдруг целые кучки темных силуэтов, то опять так же быстро снимались, и огонь светил с косогора на улицу полным светом. По большей части это приходили мастера, обегавшие уже остальные огни и возвращавшиеся сюда, чтобы отдать за предложенную ранее цену.

— Ну, вот глядите,— сказал мне Аверьян, осторожно останавливая меня за рукав в затененном месте, куда не хватал огонь с прилавка.

Но в это время последние фигуры перед огнем опять исчезли, и из-за прилавка к нам повернулось сухое лицо с вытянутым носом, тонкими, но широкими и характерно сжатыми губами и небольшою бородкой, странно торчавшею от самого горла. Два черных выразительных глаза уставились в меня чутко и пытливо. Мне стало неловко от этого пристального взгляда, хотя я и не знал, действительно ли он видит меня в темноте, или просто повернулся на шорох. Аверьян тоже как будто смутился. Он отодвинулся от меня, стянул горстью шапку с головы и выступил на свет.

— Возьмете, что ль, образцы у меня, Митрий Василич?

В тоне шутника мастера я не мог разобрать, заискивает он у скупщика или насмехается над ним. Может быть, даже — для меня он насмехался, для того, к кому обращался,— заискивал.

Голова на тонкой шее повернулась к нему, в него уставились черные глаза, глубокие и страстные, и скупщик сказал сдержанно и сухо:

— Проходите мимо, не требуется.

И опять с какою-то странною торопливостью, точно два насторожившиеся зверька, глаза его перебежали в мою сторону.

Аверьян отошел, почесывая в затылке, между тем как к прилавку опять подходили рабочие.

— Сердится все, вот уж которую неделю,— говорил он мне, останавливаясь невдалеке и озабоченно оглядываясь назад. Было заметно, что гнев этого человека с лисьим лицом и острыми глазами беспокоил даже беззаботного Аверьяна.

— Ну, да нам тоже больно-то и наплевать. Не привыкать нам, Щетинкиным, к ихнему гневу

Он тряхнул головой и прибавил уже с прежним веселым оттенком в голосе:

— Отца-покойника годов десять и к прилавку не допускал.

— За что?

— Все за язык. Больно говорить востры Щетинкины эти, зубасты. Покорность любит Меня, говорит, мастерством не удивишь, я, говорит, себе из последнего мужика мастера сделаю, а лучшего мастера ни в грош поставлю У меня своя наука .. Да,— сказано Дужкин, так Дужкин и есть... Гнет не парит, сломает — не жаль. А уж ежели через руки его прошел, так весь век из его рук и смотрит И то сказать,— прибавил кустарь со вздохом,— нашего брата не научи, мы и хлеба, пожалуй, есть не станем.

— Так вы бы, Аверьян Иваныч, язык попридержали . Пошли бы тоже в науку

— То-то вот, говорил раз гусь свиненку: почет нашему брату, сказывают, на барский стол на блюде носят. А свиненок и отвечает: тебе пускай почет, а уж мы таковские, и в грязи поваляемся. Отец-покойник, бывало, в сердитый час примется меня трепать. «Оверька, говорит, каторжный! Когда я тебя, проклятого, научу, чтобы ты хорошим господам уважил? Держи, подлая душа, язык за зубами». А я ему: «Ладно, батюшка Этак же, читал я в книжке, учил старый рак своего подросточка: «Что ты, окаянный, все задом пятишься? Ступай передом».— «Ну, мол, тятенька, прогуляйся сколько-нибудь сам, а я уж за тобой не отстану...» Сам таковский был. Сам сколь, бывало, ни укрепляется, все не выдержит. Раз было совсем в милость к Митрию Василичу попал. А, наконец, загнул-таки словцо.. на десять лет после того к Дужкину и ходу не было

— Что же такое он сказал?

— Приносит раз образцы Так и так, Митрий Василич, возьмите-ка замочков.— «Ладно, мол, Иван Елистратыч. А как цена?» — «А вот как,— отец отвечает,— по семи гривен». «Нет, дорого, ноне на двугривенный меньше».— «Невозможно, мол Мне обида, а вам, пожалуй, много лишку этак сойдет». Ну, это еще ничего. На

это слово Митрий Василич отвечает: «Вы, говорит, мастера и все этак: торговец грабит, торговец лишку берет! А того не сообразите, что торговцу побольше вашего и требуется».— «Это как?» — отец спрашивает. А между тем, народу круг прилавка много... «А вот как,— говорит Митрий Василич,—отвечай по правде: ты за сколько душ подати несешь?» — «Ну, мол, за три, что дальше-то?»— «И те, небось, в недоимке?» — «В недоимке, мол, не потаю».— «А я за пятнадцать вношу в правление полностью, и недоимки на мне не бывало. Что ты скажешь на эти слова?»

У отца борода торчком стала, да сам, все-таки, боится ответить.

— Вот что, говорит, Митрий Василич, сказал бы я тебе слово, да ты рассердишься.

— Не осерчаю.

— Ан осерчаешь!

— Говорят, не осерчаю.

— Побожись!

Побожился при народе Потому что,— насчет слова любопытен он до крайней степени.

Ну, отец и говорит:

— Умный ты человек, а на этот раз я тебе ответить могу. Теперь я стану спрашивать, а ты отвечай...

— Ну, мол, хорошо. Я тебе завсегда отвечу.

— Много ль годов ты у меня замки покупаешь?

— Да лет, мол, с десяток будет.

— Так. Две части даешь деньгами, а третью железом из лавки?

— Верно.

— Почем железо ставишь?

— По рублю по восьми гривен.

— А сам по многу ли в Нижнем покупаешь?.. Хоть говори, хоть не говори, сами знаем: по восьми гривен стоит тебе с провозом. Значит, по рублю лишку тебе на каждом пуде сходит. Ну-ка, прикинь на счетах, сколько тебе с меня за десять-то лет сошло? Вот мои и подати!.. Тебе я их вношу полностью, а в правление еще не донес.

Промолчал, только еще желтее стал Да десять годов после этого отца к прилавку и не допускал... Вон он какой, Дужкин, Митрий Василич И заметьте: с того ли отцова слова, с другого ли чего, а только промену не стал

брать, ни из третьей части не торгует. Купит, деньги отдаст, в расчете никогда не обидит. На это, нечего говорить, аккуратен.

Он помолчал и прибавил:

— Звание свое соблюдает! Скупщиком не велит звать. «Торговец павловского изделия»... Сам срамников не одобряет. «Бестолковые, говорит, выгоды на грош, а, между прочим, сословие срамят».

VI

ОДНА ИЗ ФОРМ ПАВЛОВСКОГО КРЕДИТА

— Однако, господин, прощенья просим. Мы тут с вами болтаем, а люди уже и товар сдают. Вон уж и Портянкин огонь погасил. Идти надо.

— Рано еще, гляди,— сказал смиренный человек.— Чай еще станут по домам пить...

— Чего рано тебе! — раздался вдруг около нас бойкий женский голос.— Чего тебе рано, тебе все рано!.. Только вот стоять на улице да зубы скалить. Ну, ну, пошевеливайся! Сдал, что ли, образцы-то?

И бойкая жена смиренного мужа, протиснувшись плечом между мной и Аверьяном, схватила смиренного человека за рукав и стала теребить из стороны в сторону.

— Сдал, что ли, образцы-то? Говори, говори, мучитель!..

— Сдал.

— Весь товар продал?

— Весь.

— Ну, слава те господи, владычица небесная!.. Что ж ты торчишь, коли так? Ступай, ступай... К Овсянкину еще надо...

— Да, ты того... Аннушка,— роптал смиренный человек, слегка упираясь.— Еще настоишься на холоду, что ты, бог с тобой, торопишься?

Аверьян, с большим вниманием наблюдавший эту сцену, толкнул меня локтем.

— Эй, тетка! — крикнул он вслед расходившейся бабенке.— Много ли под тебя Овсянкин дает, под этакую бойкую?

— Да уж много ли, нет ли,— обернулась баба, скаля белые зубы и не выпуская в то же время из рук покор-

ного мужа,— а все мы чего-нибудь стоим, бабы-те. Вас вот, небось, пьяниц и в залог не принимают.

— Закладывать бабу повел,— мотнул головой Аверьян в сторону удалявшейся пары.

И он объяснил мне, в чем дело.

В один из прошлых базаров смиренному человеку не удалось сдать свой товар за сколько-нибудь подходящую цену. На этот случай в Павлове есть два-три благодетеля, готовые выручить человека за скромное вознаграждение в размере двух процентов в неделю. Один из таких благодетелей, Овсянкин, к которому сейчас направились супруги, оказал кредит смиренному человеку, конечно, под обеспечение того же непроданного товара. Теперь, сдав образцы, мастеру предстоит взять товар у ростовщика, сдать его скупщику, получить деньги и расплатиться со своим кредитором. Но так как должник, очевидно, не пользуется особенным доверием благодетеля, то последний не отдает ему товара, пока не получит долга. Из этого безвыходного положения павловская практика нашла, все-таки, выход: смиренный человек оставляет под залогом .. свою законную супругу. которая дожидается на холоду, у крыльца ростовщика, пока муж сдает товар и рассчитывается с скупщиком.

— Этакой-то залог еще вернее,— прибавил Аверьян.— Поди-ка он теперь, замешкайся или наипаче — в кабак,— сохрани господи, заверни! Да она ему, на холоду-то настоявшись, голову за этакое дело сорвет. Что, небось, господин, вам это удивительно? — спросил Аверьян, поглядывая на меня исподлобья иронически прищуренными глазами.— Я чаю, в прочих местах вы про этакое дело и не слыхивали?

На этом мы распрощались с Аверьяном. Он отправился к Портянкину, а я пошел на свою квартиру, на постоялый двор. Совсем уж рассвело, хотя солнце всходило неизвестно где, за туманными холодными облаками. Я был уже на лестнице, по которой с таким трудом взбирался ночью, когда над Павловым раздался первый хриплый удар большого колокола.

Мои нервы были напряжены частью от бессонницы, частью от зрелища этих своеобразных форм кустарного быта, так свободно распускающихся на павловской почве, наряду с цветками в «собственных садиках» кустарей.

Поэтому я быстро взбежал наверх, разыскал свою дверь и, отказавшись от самовара, кинулся на диван в опустевшей комнате, где ночью спали валенщики. Мне хотелось тотчас же заснуть, пока еще в голову не полезли назойливые мысли обо всем, что я только что видел.

Но, едва успев задремать, я опять внезапно проснулся, как будто кто назвал меня по имени.

В комнате, тщательно прибранной после ночного беспорядка, было совершенно тихо. Тикали часы, где-то за дверями женщина убаюкивала ребенка, напевая вполголоса песню. Очевидно, меня старались не беспокоить; тем не менее я понял, кто меня разбудил от начинавшейся дремоты: удары большого колокола один за другим глухо толкались в тусклые окна, и стекла в старых рамах как-то жалобно звенели в ответ.

Я зарылся с головою в подушки. Но и тут как будто от стен или откуда-то из-под полу все бухали надтреснутые, больные звуки.

И вместе с ними в голове толпились фигуры, сцены, разговоры скупки, толпились беспорядочно и назойливо, как это бывает в бессонницу. И, наконец, как это тоже бывает иногда, я пришел к неожиданному, но вместе неотразимому заключению, состоявшему в том, что мне необходимо познакомиться с Дмитрием Васильевичем Дужкиным.

VII

ЛЕГЕНДЫ О БЛАГОДЕТЕЛЬНЫХ СКУПЩИКАХ

Мы видели, как балагур Аверьян объяснял происхождение скупщицкого сословия: первый огонек в первом скупщицком подвале зажжен врагом человеческого рода, который теперь, в холодные зимние утра, после воскресенья, простирает над скупкой свои темные крылья, смотрит на смятенные павловские улицы, на которых мечется испуганный народ, на огни у входов в подвалы, слушает взаимные покоры и проклятья, любуется делом жадности, вражды и раздора, плодами своей выдумки. А надоест на улицы любоваться — взмахнет лукавый темными крылами, летит на Троицкую, на Семенову гору, где в домах тускло светятся всю ночь огоньки,

где «напуганные» бабы ожидают мужей, где у домов благодетелей-закладчиков дрожат заложенные дети...

Один павловский старожил, человек, стоящий по уму и развитию выше кустарной массы, рассказывал мне эту историю более реально:

— Был в давние годы в Павлове Белозеров, знаменитый по округе боéс [1]. А в то время в Павлове жили свободно, больше достатков было, и веселились больше, утешаясь кочетиными да кулачными боями. А за замками покупатели наезжали из Москвы и из других мест сами; замок был в цене, за мастерами покупатели ухаживали: пожалуйста, мол, сделай ножей или замочков. «А сколько тебе, добрый человек, надобно?» — «Да дюжин, что ли, хоть двадцать».— «Что больно много? Будет тебе половину, другим тоже нажить сколь-нибудь надобно... Вот как, по преданию, тогда разговаривали мастера. Наезжали московские купцы в Павлово, хлеб-соль с мастерами водили и, между прочим, уважали кулачные бои. Любит московский купец хорошую «стенку». Белозерова они полюбили и стали выписывать в Москву. А потом один купец, Егоров, и научил любимца: покупай павловский товар да вози сюда. Он и стал покупать. Давно это было, еще до француза. После француза кинулись за Егоровым другие... И долго фамилия Белозеровых стояла во главе павловской скупки...

Как бы то ни было, вскоре после того, как один за другим загорелись скупщицкие огни, почувствовали павловцы, что где-то и в чем-то дали они крепкого маху. Исчез от их глаз покупатель, перестал появляться в Павлове, заслонили его стеной свои доморощенные «скупщики», и быстро над деревянными домами поднялись каменные палаты... Пожар от мелких искр, разлетевшихся с Семеновой горы, разливался все шире и шире, ставились горны, укреплялись тиски, и пилы заводили свою скрипучую песню по деревням, по селам, по мелким поселкам. Забыли кустари то время, когда покупатели наезжали к ним, и кланялись, и просили. Теперь сами они слетались уже на огни скупщиков, как слепые мухи на пламя свечки...

И все свои невзгоды мастер олицетворил в скупщике.

---

[1] «Боец» — особенность павловского говора.

Далекий рынок, с его меняющимися настроениями, с его колеблющимся спросом, безличный, бесстрастный и стихийный, как океан, исчез от глаз. Между ним и кустарным селом стала фигура соседа, скупщика, юркого, пронырливого, вечно настороже, готового воспользоваться малейшим промахом, неудачей, нуждой... Он явился для Павлова представителем того процесса российской коммерции, которая давно уже выработала известное правило: «Не обманешь — не продашь».

Кустарная масса помнила, что там, назади, где-то недалеко, оставлена какая-то возможность иного «мирского» уклада. Так, порой, когда дорога впереди становится все уже и неудобнее, сбившийся путник смутно вспоминает, что недавно было распутье, и начинает догадываться, что он выбрал не то направление. Но вернуться уже трудно... Масса темна, мудрено ли, что все свои беды без исключения она тотчас же приписала скупщику.

На берегу Оки, спускаясь своим грузным подножием к самой воде, стоит огромное белое здание, состоящее из двух корпусов, связанных поперечною галереей. Балконы этого дома свесились на реку, а нижняя часть без окон, с тяжелыми воротами, приспособлена как будто к защите от каких-то нападений, может быть, от нападений весеннего половодья, когда волны буйно плещутся в стены, а, может быть, и от чего другого... От здания веет старинной, грузною основательностью, презрением к пустым украшениям и какою-то мрачною опасливостью... Не строят теперь таких палат павловские богачи, и старинное хмурое здание как будто посмеивается над вычурною претенциозностью соседних новейших построек с башенками и лепными карнизами.

Теперь павловские старики смотрят на эту старинную хоромину и вздыхают...

Это — акифьевские палаты. Богаты и славны были Акифьевы и высились над всеми остальными богачами, как высится теперь над селом их старинное жилище. Много молотков стучало, много работало горнов, и пил, и рук мастерового народа, созидая это богатство. По Павлову и окрестностям, говорят, ходили даже акифьевские деньги, и не поминают теперь стариков Акифьевых иначе, как добрым словом: «Вот были торговцы, вот были коренные благодетели народу!» При ком стояли высо-

кие цены? — при Акифьевых. Кто расплачивался с мастеровыми, не утягивая трудовых копеек? — Акифьевы! Кто помогал в нужде мастерам, «подошедшим», как говорят в Павлове, от болезни, пожару или иного невзгодья? — все они же, Акифьевы! Когда в голодный год торговцы стакнулись и подняли цену на муку до рубля пятнадцати копеек, Акифьевы выписали из дальних мест огромную партию хлеба и пустили ее на базар. Акифьевы рубль — и торговцы, хочешь не хочешь, до рубля подаются. Акифьевы восемьдесят пять, торговцы тоже восемьдесят пять. Догнал старик таким способом цену до шести гривен. «Ну, мол, теперь, ребята, сами покупайте».

Вот какими рисует Акифьевых народная память, когда Акифьевы отодвинулись в прошлое.

На Троицкой круче, которую я описывал уже в начале моих очерков, несколько раз впоследствии приходилось мне сидеть в тихие вечера со стариками мастеровыми. С Троицкой кручи хорошо смотреть на село, на реку, на дальние села и на синие леса, дремлющие в дальних туманах... Хорошо отсюда старикам смотреть своими тусклыми глазами и вглубь воспоминаний. И, прежде всего, эти воспоминания останавливаются на белом акифьевском доме.

— Выйдет, бывало, старик на крылец, на ту вон галдарейку, что над водой свесилась, выйдет божий старичок ранним утречком... А вдоль по берегу, вон туда далеко, до самой Дальней кручи, все его поленницы дров лежали... «Погляди, говорит, Аннушка,— а хозяйку его Анной Митревной звали,— погляди: вон птички божьи мою пшеничку клюют». Хе-хе-хе! Птички божьи — это людишки, беднота павловская, дровишки у него грешным делом потаскивают. Ничего! Только с телегой не езди, а на руках волоки... не препятствовал... «Птички, говорит, небесные...»

А, между тем, в свое время не было здания, которое павловцы разнесли бы с таким удовольствием, как акифьевские палаты... Жаль, что у нас на Руси прошлое так быстро исчезает из глаз и стирается в памяти. Теперь только смутные обрывки устных преданий об этой борьбе, первой борьбе кустарной массы с первым напластованием скупщицкого сословия, носятся в тумане

прошлого... А, между тем, было это не так давно: не далее тридцатых годов XIX столетия. Однако все же сохранились еще некоторые эпизоды этой истории павловского раздора. Вспоминают старики о том, как Флягин, Черников, Цветов и еще несколько павловцев, наиболее решительных представителей бедноты, во главе с умным и настойчивым Капустиным, дерзновенно ворвались в акифьевские палаты, вымеряли все стенки, описали мебель, имущество и промысла всех богачей и представили все это в помещичью контору... Было это во времена крепостного права. Говорят, что помещик убедился этими своеобразными жалобами мира, оскорбленного нарушением равнения, и Акифьевым, Балашевым, Емельяновым, Рябининым грозила беда, если бы не заступилась контора, которую скупщики купили. Дело на этот раз повернулось на сторону богатеев, а семеро самовольных приставов, производивших «буйственным и непорядочным обычаем» опись, попали даже в арестантские роты.

Но пример был показан, и за первой волной двинулась другая. Эта была спокойнее, ровнее, тише и подкатилась незаметно, но зато вернее...

На этот раз за Акифьевых принялись другие слои павловского общества. Это были крупные мастера и богатые торговцы, остававшиеся крепостными, а значит, и членами павловского мира, между тем как Акифьевы давно выкупились и приписались к нижегородскому купечеству. Может быть, тут были и те самые торговцы мукой, с которыми боролись Акифьевы, может быть, просто маленькие капиталы рвались на простор из-под давления крупных, как бы то ни было, новые враги Акифьевых соединились с беднотой, взяли на себя ее дело.

И пошли по Павлову новые раздоры, забухало кустарное село новым междоусобием. Акифьевские палаты представляли из себя нечто вроде уединенного форта в обширном городе, занятом неприятелем, а так как стоял он на купленной земле, то павловский мир решил: лишить скупщиков воды и не подпускать никого из палат к берегу... Взвыли Акифьевы, взвыли сродники их Долгановы, и Рябинины, и Емельяновы, а мир, подбиваемый Белозеровыми, Личковыми, Калякиными, стоял на своем: вдоль берега Оки расставлены были миряне с крепкими дубинами и гоняли от воды скупщицких людей.

Присмирели богатые палаты. Темною ночью, украдучись, ползком пробирались их люди с кувшинами к реке и быстро убегали в раскрытые на тот случай ворота... Но воды, добываемой таким образом, не хватало. Надумали тогда отправлять свою бочку далеко, на Дальние кручи, за границы села, где никто не вправе был воспретить им подъезд к реке. Тогда мир решил не допускать провоз воды по улицам. И вот, однажды, когда Долганов сам вез лагун воды для своих домочадцев, павловцы напали на него, опрокинули лагун и вылили воду... Приведенный в отчаяние, Долганов кинулся на колокольню и ударил в большой колокол... И забухало Павлово сплошным набатным звоном... Надеялся, должно быть, Долганов поднять одну половину мира на другую, рассчитывая на самую бедноту, которую задабривали подачками, ворованными дровишками и дешевым хлебом. Но напрасно гудел с Троицкой кручи отлитый Акифьевыми же колокол: по улицам бушевала враждебная гроза, а робкая беднота оставалась в домах.

В сороковых годах, наконец, Акифьевы уступили, и так называемые «купцы» покинули или, вернее, были выселены из Павлова. Уехали Акифьевы и их сродники, а на прощание Емельянов сказал павловцам:

— Вспомните нас, дураки! Для этого дела нужны руки, да головы, да еще капиталы. Руки у вас остаются, а головы и капиталы унесем мы с собою из вашего села в другие места.

Вздохнули павловские миряне, но... замки и ножи надо было, все-таки, продавать, а рынок, разросшийся широко, как море, был незнаком и далек от павловцев, так же, как море. И тотчас из среды того же мира поднялся на очищенном месте новый скупщицкий слой.

Увидали павловцы, что променяли кукушку на ястреба Акифьевы были уже сыты. А теперь на их месте закипела жадная, неотъевшаяся еще толпа, освобожденная от акифьевской конкуренции и принявшаяся за то же дело. Далеко назади осталось распутье, где еще была возможность сохранить цельность мирского уклада. Павловский кустарный мир кует, рубит, строгает и слаживает замок за замком от зари до глубокой ночи... Но куда этот замок поплывет, в какие земли, к каким народам, про то кустарь не знает...

А так как к тому времени кустарное производство разлилось еще шире, и в разных городах замок столкнулся с замком, и нож встретился с ножом, и стало им все теснее, то кустарь и падение цен от конкуренции опять отнес целиком на счет новых скупщиков. Новые богатеи опостылели пуще прежних, а к прежним несутся сочувственные вздохи. . «Были коренные благодетели!..»

Некоторые древние старики вспоминают еще и теперь, как в их молодые годы ходили по домам акифьевские клевреты и тихо, озираясь, повещали бедноту, что приехал Николай или Василий Алексеевичи,— шли бы ночью к акифьевским палатам. Бабы брали саночки и, будто за даровыми дровишками или щепой, прокрадывались к реке. Тут, на льду, меж пустыми зимующими барками, как воры или контрабандисты, прикрывшись рогожами, чтобы не выдал их огонек, принимали бывшие владыки павловского рынка замки и ножи, прибавляя против цен, уставленных новыми скупщиками. Кустари кланялись и вздыхали, проклиная «смутьянов».

Нигде в такой мере не сохранился прежний характер наших старинных городов и пригородов, как в этом кустарном селе... Чем-то древним веет на вас в этих узких и кривых улицах, от этих мрачных палат, от этого резкого деления на «бедноту» и «богатеев», которое вы встречаете здесь на каждом шагу. Так и кажется, что попал в семнадцатое или даже шестнадцатое столетие... Загудит вдруг набатный колокол, и подымется «конец» на «конец», улица на улицу, гора на гору...

Настоящая старина, с голытьбой и богачами, с самодурством, с наивно-грабительными приемами торга и даже с кабалой... Только та старина была своевременная, так сказать, свежая. А в Павлове старина залежавшаяся, затхлая, сохранившаяся каким-то случаем в затененной яме. С павловской улицы и нижегородская виноторговля кажется чем-то вроде светлого явления...

VIII

ИЗ НОВОЙ ИСТОРИИ

Пришли шестидесятые годы, приближалась воля.

В одной из узких павловских улиц, позади собора и варыпаевских палат, построенных в «патриотическом»

стиле последнего времени и украшенных золотыми орлами, есть небольшой каменный домик, старинной, грузной и основательно неуклюжей стройки, с деревянным флигелем на улицу. Совершенно случайно пришлось мне узнать, что этот домик, ничем особенным не кидающийся в глаза, отличающийся одинаково как от претенциозных «палат» богачей, так и от деревянных лачуг кустарной массы, играл когда-то в истории Павлова хотя не громкую, но своеобразную роль.

На стене во флигеле, где теперь живет вдова его бывшего владельца, умершего в 1879 или 1880 году, висит его портрет: чрезвычайно интеллигентное лицо, мыслящий взгляд, черты мягкие и несколько расплывчатые,— такова была наружность павловского крепостного крестьянина Елагина. На полках, покрытые пылью, лежат его книги. Я развернул несколько из них,— это были: «Новая Элоиза», «Дух законов». А на стене, рядом с портретом Елагина, среди старинных гравюр, изображающих эпизоды из «Павла и Виргинии», висел прекрасно исполненный портрет Роберта Оуэна...

Своеобразная история этого крестьянина кустаря, читавшего Руссо и Вольтера, преклонявшегося перед Оуэном, уходит от нас и как-то сразу покрывается полным мраком. Его бумаги, которых было много, разошлись, как кажется, по лавкам, с весовым хлебом и селедками, его сын уехал куда-то в Америку и там умер... И память его живет еще только в сердце простой малограмотной женщины, которая вышла за вдовца Елагина еще очень молодой и теперь среди нужды тяжелых будней с грустью и некоторым благоговением вспоминает о том, что целая полоса ее жизни прошла рядом с другою жизнью, непонятною и далекою от ее настоящего.

Просты, бесхитростны и слишком скудны ее рассказы. Я узнал из них, что у Елагина был в Павлове кружок единомышленников, с которыми он делился, в глухую полночь крепостного рабства, своими мечтами о воле. Они уходили из Павлова на дальние кручи, в леса и овраги, окружавшие Павлово,— читали и слушали страстные, запретные речи. Здесь они читали и обсуждали первые вести о воле, занимавшейся дальним еще рассветом над Россией. На Руси давно уже пели петухи и занималась заря, но в павловской глухой яме стояла

еще тьма, и самые газеты считались чем-то предосудительным и запрещенным.

Но воля, все-таки, подошла, озарила она и недоумевающее Павлово... Елагин вынул из тайников свои книги, а его запрещенные речи стали раздаваться свободно. В маленьком белом домике собирался теперь по вечерам небольшой елагинский кружок, здесь обсуждались новые вопросы, вытекавшие из нового положения, читались газеты. Свет из елагинских окон светил далеко за полночь на темную улицу, и долго, вызывая недоумение в запоздалых прохожих, неслись неясным жужжанием горячие споры. А наутро новые вести, новые взгляды и мнения расходились по селу, возвещая о том, что старое кончилось...

Ближайшими членами елагинского кружка были, между прочим, Федор Михайлович Варыпаев и Николай Петрович Сорокин, два человека, которым вскоре суждено было занять видное место в истории павловского буханья. Тогда это были два единомышленника и друга. Вскоре им суждено было сделаться смертельными врагами...

Федор Михайлович Варыпаев, член когда-то известной в Павлове, но потом обедневшей семьи, начал карьеру за замочным станком, с молотком и пилою в руках. Заодно с беднотой он всю неделю стучал и пилил от зари до зари, а в понедельник, с кошелем за спиною, метался от прилавка к прилавку, пробираясь к огням... Лукавый «заводчик», ширяя в темные часы над скупкой, видал в толпе метавшихся людишек также и эту могучую фигуру, и ненависть к скупщикам осталась в ней на всю жизнь.

После долгих лишений, тяжелой борьбы, может быть унижений, Варыпаев пробился на дорогу. Благодаря уму, вкрадчивости и энергии ему удалось завязать непосредственные сношения с Москвою. «Ах, подлецы, ах, подлецы! — говорил по этому поводу скупщик Белозеров.— Этак они скоро с Америкой пересылаться начнут!» Посягательство Варыпаева скупщики сочли посягательством чуть ли не на божественный порядок.

Но делать уже было нечего,— Варыпаев ускользнул от их влияния; его мастерская расширилась, потом разрослась в фабрику; он вывел свою ладью на широкую воду и в этой ладье увез с собою на простор свою не-

нависть и стремление к мести. Рослый, широкоплечий богатырь, он обладал неопределенным, высматривающим и, в то же время, ласкающим взглядом, из-за которого порой только, точно из-за мглистой тучи, сверкала неожиданная молния... Голос у него был тихий, почти детски слабый, в котором, однако, чувствовалась возможность угрожающих нот... Говорил он мало, сдержанно, неохотно.

Очень скоро кустарная беднота почуяла в его сердце отголоски своей ненависти и наметила его, как своего будущего избранника.

Николай Петрович Сорокин, наоборот, происходил из зажиточной семьи и имел родственные связи с богачами. Добродушно-лукавый, шумливый, самолюбивый и экспансивный, он любил и умел поговорить, знал отлично законы и охотно выказывал это знание. В его характере были тоже черты настойчивости, упорства. На своем знамени вначале он поставил слово «крестьянин», разумея под этим всю совокупность бывшего крепостного павловского мира в его отношениях к помещикам. Отсюда его либерализм, его искреннее одушевление, заставлявшее многих считать Николая Петровича Сорокина страдальцем за интересы крестьянского мира. Но теперь уже ясно видно, что Сорокин боролся, претерпевал гонения и бескорыстно, страстно, упорно стоял до конца за интересы павловских богачей в той, впрочем, их части, которая совпадала до известной степени с интересами крестьянства вообще... Как бы то ни было, шестидесятые годы подходили к концу среди легких схваток двух партий. Как прибывающая волна, растет в массе новое настроение. На сходе, собиравшемся не в полном составе, по назначению старшин, уже раздаются протестующие голоса. Однажды старшина Прядилов, выведенный из терпения непривычным сопротивлением, крикнул непокорному сходу:

— Что вы понимаете, орда!

Сход колыхнулся и зашумел. «Как, мы орда? мир, по-вашему, орда?» — и мастеровые буйно кинулись к старшине. Мировому посреднику удалось кое-как восстановить согласие...

На смену шестидесятым годам наступали семидесятые. Туман, поднятый падением крепостного уклада, рас-

сеивался, положение борющихся партий определялось все более и более...

Вдова Елагина рассказывала мне, что в это время Иван Петрович Елагин, перед самыми выборами, горячо убеждал своих друзей отказаться от кандидатуры. Сам он решительно устранился от борьбы и того же требовал от других, в особенности от Варыпаева. «Обществу нужны свежие, сильные люди,— говорил он,— а мы с тобой попьем чайку в комнатах, да идем пить чай на балкон... устарели мы, не годимся...»

Может быть, силы крепостного мечтателя, действительно, ушли на грезы о воле среди глухих потемок да на беседы,— и по себе он судил о других. Может быть, он предвидел, что его кружок способен только еще более разжечь, а не утишить пламя этой вражды, разделяющей павловский мир,— вражды неосмысленной и потому неисходной. Может быть, он тоже думал о павловском колоколе, бухающем надтреснутым звоном, и о том, что колокол нужно перелить с новым металлом, а павловскому миру нужны новые идеи и новые люди, которых в нем нет налицо.

Варыпаев будто бы дал требуемое обещание и согласился содействовать полной законности выборов, отказавшись от честолюбивых замыслов. Между тем приблизился сход 1871 года, от которого ведет свое счисление «варыпаевская партия»... Здесь загадочный человек впервые развернул свои силы.

Предстояло решение важных дел, и главное из них было окончание сделки с помещиком. Вопрос этот сильно затянулся, между прочим, из-за усадебных и лавочных мест на площади. Спорные места не представляли для бедноты ни малейшего интереса,— их оспаривали у помещика отдельные лица из общества, понятно, принадлежавшие к «богачам», и из-за этого тормозилась самая сделка. Опеке малолетнего владельца эта затяжка была выгодна, так как до заключения сделки доходы с оброчных статей поступали в пользу вотчины... Зато общество много теряло. Составлялись один за другим проекты выкупа, но примирить столкнувшиеся интересы было довольно трудно.

Сколько можно рассмотреть в тумане, окутывающем этот узел павловского раздора, кажется, что две павлов-

ские партии решились заключить перемирие, нечто вроде компромисса. Решено было, что места выкупает общество. В чью пользу? В свою,— толковал Варыпаев и беднота. В нашу,— говорили про себя торговцы. Для заключения окончательной сделки созван был сход, на котором вновь произошло бурное столкновение...

Несколько слов о том, что такое павловский сход.

На верхушке одного из семи павловских холмов есть старое, в высшей степени ветхое и облупленное здание. Это не что иное, как общественное павловское управление, своим жалким, до неприличия ободранным видом свидетельствующее о полном пренебрежении к внешности. Впрочем, и внутренность этого общественного здания немногим лучше,— общая печать некоторой затхлости и запустения тяготеет над ним, отличая его местными, чисто павловскими чертами.

Позади дома — большой двор, покатый к зданию, обнесенный заборами, поленницами дров, сараями, из-за которых смотрят во двор окна соседних домов. У здания — крыльцо с деревянным навесом, ведущее в правление. Сход собирается на этом дворе. Когда более тысячи домохозяев сомкнутся плотною кучей голов, когда на ветхом крыльце появятся сельские власти и с высоты станут «вычитывать» толпе указы или постановления, толпа загудит и мир закачается, точно море под дыханьем ветра,— вам опять кажется, что вы присутствуете при чем-то не нынешнем, необычном и старинном.

Как и на скупке, меня поразило здесь то, что павловская практика не выработала самых простых и самых удобоприменимых приемов. Как на скупке всякий стихийно пялится вперед, пробираясь к огню, лезет на соседа, давит его и толкает, так и здесь вся толпа жмется к ступеням, откуда голос слышнее и легче достигает до слуха властей на крыльце.

— Согласны, согласны! — гудят одни

— Несогласны, несогласны! — кричат другие, и это «согласны, несогласны» сливается вместе, переплетается, смешивается, стоит в воздухе сплошным гулом. Как это никому не пришло в голову, что удобнее опрашивать мнение отдельно,— сначала тех, кто согласен, и уже после — кто несогласен? Может быть, впрочем, это и приходило многим в голову, но ни одна из партий, стоя-

щих у власти, не считает удобным именно для себя применить это простое средство, которое повело бы к значительно большей ясности результатов голосования. Теперь эти результаты извлекаются, так сказать, слухомером из общего галдения; понятно, что неточностью этого приема пользуется тот, кто может... Когда же раздаются протесты, то нет ничего легче, как выставить протестантов бунтовщиками. Обе партии, каждая в свое время, пользовались этим политическим ходом против своих противников.

Сход, о котором идет речь, представлял именно такую картину. С крыльца кинуто было толпе, для выбора в уполномоченные, три имени: Варыпаева, Сорокина и Соколова.

— Согласны, согласны!..

— Несогласны! — загудела дружно толпа, покрывая сравнительно редкие голоса.— Одного Варыпаева!.. Соколова и Сорокина не надо!..

— Пиши: согласны,— сказал председательствующий Соколов.

Через четверть часа толпе, беспокойно волновавшейся и шумевшей, был прочитан приговор, в котором утверждалось избрание Варыпаева вместе с двумя представителями «богачей», которые, понятно, должны были получить перевес.

Толпа колыхнулась и кинулась к крыльцу. Старшина и писарь скрылись.

Поднялось волнение. На этот раз мир, казалось, прорвет плотины покорности, дело становится нешуточным.

Шумный сход разошелся поздно, и по селу пошли сразу два приговора; обе партии для подписи поднимали спящих с постелей. Но бумага «варыпаевцев» вся покрылась именами, тогда как у противной партии не набралось и половины.

В это время в Павлово приехал мировой посредник Беклемишев, и обе стороны кинулись к нему, требуя одни — усмирить бунт, другие — восстановить права большинства.

— У нас больше грамотных,— говорило правление.

— Чем же мы виноваты,— возразила беднота,— го-

ловы у нас такие же, а руки неграмотные... Неужто из-за этого мы безгласны?

Обе стороны засылали к посреднику своих предводителей. От бедноты явился Варыпаев и стал просить созвать сход для избрания старшины, которому вышел срок.

— Вы уже назначили кого-нибудь? — спросил посредник.

— Сход назначит,— ответил Варыпаев смиренно и глядя на посредника своими непроницаемыми, покорными глазами.

— Однако все-таки...

— Может быть, станут просить старого, не знаю...— и глаза Варыпаева стали еще мягче, еще непроницаемее.— Главное, надо соблюсти закон.

— Это верно,— заметил посредник.

В это время пришел Белозеров, самый видный из представителей противной партии, и посредник обратился к нему с тем же вопросом.

— Назначили кого-нибудь?

— Назначили,— наивно ответил тот.

— Вы назначили? — усмехнулся посредник.

— Мы назначили.

— А не сход?

Белозеров удивленно и наивно взглянул на посредника...

После некоторых переговоров сход объявили на ближайшее воскресенье... В этот день к воротам приливали все бо́льшие толпы народа. Пожарные и десятники не успевали проверять билетов, которых у многих не было.

— Народ как град посыпался,— с тревогой жаловались посреднику.— Идут без билетов, сломают ворота.

Посредник велел открыть ворота для всех, народ хлынул широкою толпой, и двор перед правлением, в первый еще раз после многих лет, увидел павловский сход в полном составе.

Это была уже полная победа бедноты. При имени Варыпаева в избирательный ящик посыпалась масса шаров. Они падали одни за другими, и звук падения становился все глуше. Но вот к ящику подошел суровый «богач» Белозеров. Его шар громко застучал в пустом неизбирательном ящике. На дворе раздался хохот.

Варыпаев был выбран подавляющим большинством.

— Мир не один человек,— сказал он на следующий день Елагину.— Мир выбирает, надо слушаться, надо послужить миру.

С этих пор между друзьями водворилась холодность. Елагин до конца держался в стороне и, быть может, не раз перед его спокойным взглядом потуплялись взгляды дельцов, выдвинутых новым бурным периодом павловской истории. А фигура Варыпаева надолго появилась на павловском горизонте.

В 70-х и начале 80-х годов имя Варыпаева пользовалось широкой газетной известностью, и павловское буханье того времени отдавалось по всей России. Газеты были полны описаниями павловской «классовой борьбы», и павловские «вопросы» разделяли газетные лагери.

За Варыпаева стояли консервативные газеты, за Варыпаева был «патриотизм», «благонамеренность» и вся беднота. Варыпаев имел влияние в Петербурге, там слушали с удовольствием павловского старшину-демагога, являвшегося в последнее время в шитом бархатном кафтане, говорившего вкрадчивым голосом «простые» речи, в которых охотно признавали «голос простого русского человека». Влияние это в губернии сказывалось уже сильнее, а в родном селе это был неограниченный, почти самодержавный властитель, которого твердая рука чувствовалась во всех мелочах общественной павловской жизни.

Плохо приходилось противникам Варыпаева. Тогдашние газеты полны описанием случаев, когда их хватали не в меру усердные становые и исправники и сажали в кутузку без всяких других оснований, кроме того, что они заведомо неблагонамеренные, тогда как Варыпаев признанный патриот. Либеральные мировые посредники с трудом выручали этих несчастных из мрачных узилищ, где они содержались вместе с ворами и мошенниками... Один из бывших друзей Варыпаева, впоследствии самый настойчивый из его врагов, Сорокин, описал в одном из журналов историю своей борьбы с павловским владыкой. Кончилась она для него очень печально. Два раза собирались подписи для ссылки его в Сибирь, но оба ра-

за «общество» отступило перед явною несправедливостью этой меры. В «Московских ведомостях» появилась громовая статья П. И. Мельникова, направленная против Сорокина. Он обвинялся в том, что будто бы «обивал пороги министров с карманами, набитыми запрещенными изданиями»... Варыпаев представлял из себя в то время знамя патриотизма и благонамеренности. Сорокина сослали административно...

Так было ранее. Теперь обстоятельства круто изменились. Варыпаев, одряхлевший, поседевший, больной — не у дел и под судом [1]. У кормила павловского правления стали богачи. Скупщики имеют в нем важное решающее значение, а «неблагонамеренными» стали теперь варыпаевцы. Бывший всесильный владыка живет уединенно, не вмешиваясь в дела, отягченный обвинениями врагов и... благословениями голытьбы на Троицкой, на Семеньей и на других горах кустарного села, где стучат молотки и дымятся горны в кузницах. Да, тяжелы могут быть эти благословения человеку с загадочным взглядом и бурным прошлым, стоящему у края могилы, если только, положа руку на сердце, он не может сказать про себя, что в этом мутном для постороннего наблюдателя лабиринте интриг, столкновений и борьбы ему служило путеводною нитью посильное стремление помочь этим людям, благословляющим его, бессильного и гонимого.

Может ли сказать это Федор Михайлович Варыпаев?

Я не знаю. Я знаю только, что это время было временем самого пламенного раздора, что оно запятнано несправедливыми гонениями, что в борьбе пускались в ход всякие средства, что эти годы отмечены сбивчивостью, темнотой и неясностью в делах, что они омрачены жесточайшею смутой и озарены кровавым заревом страшного пожара, что коренные вопросы павловского быта даже не ставились борющимися партиями, что из тумана, в котором бьются эти партии, слышится то же надтреснутое, болезненное буханье, лишенное гармонии и смысла, что, наконец, павловское общество не вышло из него более счастливым, спокойным и богатым...

Теперь тишина и порядок. И среди этой тишины и порядка ведутся речи о том, чтобы превратить Павлово

---

[1] Позже был освобожден из-под следствия.

в город. Тогда замостят центральные улицы, зажгут фонари, длинные кузницы вынесут за черту «города», на окраины, и в светлой думской зале скупщики, в полном порядке, поведут речи о нуждах бывшего села кустарей...

IX

МЕЧТЫ

То, что я хочу теперь рассказать, происходило в самый разгар павловского буханья, вскоре после страшного павловского пожара, истребившего половину села. По селу ходили самые чудовищные слухи, самые невероятные взаимные обвинения, над пособием, выданным от правительства, кипела жестокая свалка...

Была ранняя весна. Она недавно еще взмыла весенним половодьем, взломала льды, подтопила кручи и горы и залила широко, далеко поемные луга на заречной стороне. Кустарные села и деревни в окрестностях Павлова казались островами, плававшими в прозрачном тумане над гладью разлива.

На небольшой круче села Тумботина, отделенного половодьем от глинистых павловских гор, стоял молодой человек Он недавно еще протащился несколько часов по самой ужасной дороге, продрог, потерял калошу и узнал, что в Тумботине придется еще ждать перевоза.

Серединой реки неслись последние поредевшие льдины, павловские горы, широко раскинувшиеся над рекой, синели в легкой дымке, в ясном небе причудливо вырезались куполы павловских церквей, домишки кустарей лепились по склонам, отсвечивая далеко стеклами своих окон, над водным простором свободные чайки взмахивали круто изломанными белыми крыльями, а далеко под самым берегом, в низинке, где кустарное село сбегает к реке, маленькие фигуры людей мелькали и суетились около первого еще в этом году парома.

Молодой человек смотрел на все это и забывал скучную дорогу по грязи, забыл о том, что он продрог и промок... Первый паром должен был доставить его в родное село, куда он вез с собою новое дело...

В жизни каждого человека есть свой весенний праздник, когда душа парит, как птица над буйным разливом,

а все мелочи и неприятности будней стряхивает с себя, как легкие пушинки, которые ветру удается выхватить из ее крыльев. Этот праздник — то время, на которое работала юность, когда все, о чем мечтал, к чему готовился, что мелькало в золотом тумане юношеских грез, вдруг выплывает из этого тумана и раскидывается перед восхищенными глазами так близко, так ясно, как Павлово раскинулось перед глазами Николая Петровича Зернова. Взмах крыла,— или, выражаясь реальнее, первый паром,— и вот неопределенная юность с ее мечтами уже назади, а впереди подвигается, и ширится, и идет навстречу самая жизнь, к которой так долго готовился, которую так страстно желал...

Николай Петрович Зернов, стоявший весной 1872 года, на страстной неделе, в виду Павлова на Тумботинской круче, был именно в таком положении.

Николай Петрович Зернов и его друг, связанный с ним общим делом, Фаворский, оба родились, получили первые впечатления и выросли в кустарном селе. Отец Зернова был местный почтмейстер, отец Фаворского — протопоп. Таким образом, судьба давала возможность двум мальчикам, игравшим на кручах Павлова с чумазыми мальчишками кустарей, получить основательное образование и заглянуть в свет подальше того, что видно с самых высоких павловских гор. В то время, как товарищи их раннего детства давно уже стучали молотками в убогих мастерских, бились с «нызнувшими» ценами и проталкивались в темных улицах к скупщицким огням, Зернов и Фаворский учились в гимназии и затем оканчивали курс — один в технологическом институте, другой — в университете по юридическому факультету.

Но оба они не забывали родного села. Оба с детства видели собственными глазами и собственными ушами слышали тяжелое, надтреснутое павловское буханье. С детства они привыкли различать в нем знакомые оттенки, с детства вырастали в их сердцах симпатии и антипатии среди разделенного смутой павловского мира.

Образование расширило их кругозор, но не истребило симпатий. И вот теперь оба друга, юрист и технолог, несли обратно в родное село свои знания. Юрист и технолог являлись сюда основателями двух учреждений,

с которыми связали свою деятельность в лучшую пору своей жизни. Связь была так крепка, что вместе с нею порвалась у одного из друзей самая жизнь.

Дело было маленькое и скромное, называлось оно «устройством в селе Павлове складочной артели» (Зернов) и «ссудо-сберегательного товарищества» (Фаворский). Дело было очень прозаичное и негромкое, но друзья смотрели на него как на зернышко первого посева, как на дело будущего.

Оно било в самую суть вопроса: если возможно умиротворение павловских раздоров без окончательной гибели самой кустарной формы, то это решение и эта возможность лежит именно там, где его искали в семидесятые годы многие «верующие» люди и в их числе «два павловских студента».

Это было дело веры, дело любви и примирения. Зернов и Фаворский являлись в Павлове третьей партией, пускали в ход новую идею, мечтали образовать такой островок, куда могли бы спастись все утомленные бестолковою борьбой, которой не виделось конца. Старые партии действительно утомили уже Павлово и — увы! — еще долго суждено было им утомлять несчастный кустарный мир. Они походили на двух человек, схватившихся в узком проходе. Побеждал то один, то другой, то одному, то другому приходилось плохо, но оба, все-таки, не двигались ни на шаг.

Зернов и Фаворский мечтали, что они укажут настоящую, более просторную дорогу. Заблудившийся в потемках павловский мир они, видевшие дальше, чем можно видеть с павловских гор, хотели понемногу вернуть к распутью, оставшемуся далеко назади и с которого он свернул на ложную дорогу. Они хотели уничтожить или, вернее, обойти ту стену, которая отделяла мир кустарный от остального божьего мира. Они хотели вывести из-за нее кустарей и указать им этот мир, широкий, разнообразный, заманчивый, с его далекими перспективами, с его изменчивыми запросами.

Дело состояло в том, чтобы дать плоть и кровь тому «как-нибудь», которое смутно мелькает перед Аверьянами. Нужно было организовать новую ячейку *производства*, связать ее со *сбытом* живою нитью, и когда эта живая связь примется и окрепнет, сказать ей: теперь живи

ви и множься и покрывай кустарный мир. В тебе живая душа этого мира, больного и умирающего.

Вот что стояло за маленьким делом, которое вез с собой молодой человек, ожидавший на Тумботинской круче первого парома.

Все способствовало, казалось, практическому начинанию двух идеалистов, потому что в то время была вера, а формула всякой веры: «на земли мир, в человецех благоволение» — казалась основным законом жизни. Трудностей не боялись, скорее грешили излишним пренебрежением к трудностям. Все, что загромождает сущность вопроса, тогда устраняли, как легкую шелуху, и, разыскав мыслью «основные причины», брались за них в предположении, что устраненные детали вовсе уже не существуют.

Все, что я написал в этой главе, заимствовано мною из старого письма. От потемневшего листочка бумаги, взятого из беспорядочной, неразобранной груды таких же старых листков, пахнуло на меня этой весной; там описан и этот разлив, и первый паром, и ожидание Николая Петровича Зернова в виду родного села...

«Здравствуй, дорогой мой А. Е.,— так начинается это письмо.— Ну, вот я и в Павлове... Как встретила меня мама, ты можешь себе представить,— самого тебя не раз встречали так же... В каждом движении столько любви, столько беспредельного обожания... И, право, совестно и больно, что в сердце, занятом другим, не находится столько же ответной любви...»

А дальше, после описания трудного переезда и грязи и ожидания парома, идут подробности встречи с друзьями и знакомыми в Павлове. И тут же непосредственно — мысли, толки, предположения об ожидающем деле, о надвигающейся практике и ее прозаических мелочах. Пятидесятикопеечные еженедельные взносы тяжелы для кустарей, членов артели... Есть параграфы, которые надо будет устранить... Торговцы хихикают, принимая во внимание незначительность капиталов артели сравнительно с их капиталами, и, не стесняясь, высказывают на стороне те препятствия, на которые артель неизбежно натолкнется при ведении дела. Они соглашаются, что со

временем для артели дело будет выясняться все более и более, но до тех пор артель, не имеющая, по уставу, права покупать чужие изделия и пополнять ими свой «ассортимент», уже разлетится на этом камне. Мастера, которых изделия необходимы, могут и не попасть в члены артели, тем более, что их постараются «придержать», и т. д., и т. д.

Это уже — проза и практика житейской борьбы, которая охватила с первого же дня новое дело... Против мечтаний об основном законе жизни, о мире и благоволении выступает суровая рать стройно сомкнувшихся жизненных фактов, выступают «экономические» законы, в своем благоразумии короткой данной минуты претендующие на вечное, незыблемое значение.

Но, кроме экономических законов, предстояли еще и другие трудности. К слабому детищу мирного идеализма тянулись уже более опасные объятия борющихся партий, стремившихся завербовать к себе юного новобранца... Между тем, дело это должно было стать делом не борьбы, а мира; не ненависть, а примирение вносилось в павловскую жизнь этим начинанием. И Николай Петрович Зернов твердою рукой постарался на первых же порах оградить нейтральность своего детища. Ни главнейшие из скупщиков, ни сам всесильный уже в то время Варыпаев не вошли в состав артели, и это произошло не по их собственному желанию...

С тех пор прошло почти двадцать лет... Двадцать лет, это почти половина жизни. Что же случилось с молодым человеком, стоявшим на Тумботинской круче? Каково продолжение нашего романа? Как кончился идеалистический опыт, чему он нас учит своею удачей или своими ошибками? Каковы его окончательные и неопровержимые выводы?

Может быть, при первом столкновении с действительностью, мечты разлетелись, как хрупкое стекло, и никакого романа не вышло? Или он вступил в борьбу с суровым экономическим законом, во имя утопии, и суровый закон неопровержимо доказал свою силу, а мечтатель смирился и побрел за другими по избитой дорожке? Или, наконец, молодая идиллия перешла постепенно в благоразумную зрелую прозу: мечты никогда не осуществляются целиком, действительность оборвала лепестки

у цветка юности, но из-под них вынырнул скромный плод, маленький и некрасивый, но все же заключающий в себе семена дальнейших всходов?

Ни то, ни другое, ни третье... Зернова нет уже на свете, и, вместо романа, передо мною беспорядочная груда пожелтевших бумаг, в которой мелькают разрозненные цифры, отдельные замечания, вписанные твердою рукой, дружеские и деловые письма... Но все это обрывается, как внезапно лопнувшая струна...

В Павлове было две партии. Зернов не примкнул ни к одной, и потому обе с затаенной враждой смотрели на новое начинание. Зернов не вступал в борьбу за Варыпаева с «богачами», он не трогал «скупщиков», но самая идея, на которой покоилось скупщицкое сословие, подвергалась нападению. С другой стороны, он не заступался за «богачей», не ратовал против варыпаевского влияния на сходе, но клал основание учреждению, которое било дальше варыпаевской оппозиции «богачам» и звало бедноту под новое, менее боевое, но более обещавшее знамя...

Как бы то ни было, в тревожное время, когда Павлово еще не успокоилось после пожаров и раздорного буханья, когда по селу ходили самые тревожные слухи, вызванные бестолковою демагогической борьбой, кто-то пустил против Зернова «шип по-змеиному» в виде ложного политического доноса...

Время было тревожное. Произвели обыск. У Зернова не нашли ничего; «недоразумение» длилось недолго, однако достаточно для того, чтобы дело Зернова сразу завяло. Кружок Зернова, на время разгромленный и деморализованный, или отсутствовал, или потерял значение, а в это время разнуздалось и пошло врозь все, что прежде сдерживалось рукой организатора в неокрепшем деле.

Прошлым летом, в доме одного мастера, держащегося теперь совершенно в стороне от всяких общественных дел, я встретил старушку... Это была самая обыкновенная старушка с чулком в руках и с тем особенным выражением строгого спокойствия на лице, которое иногда встречается у таких старушек. Не знаешь, чему приписать это выражение: может быть, ей надо считать петли и она сосредоточена на этом счете, а может быть и то,

что тяжелое горе и горькая скорбная дума о жизни наложили эти морщины, придали неподвижность этому взгляду.

От хозяина я узнал, что это — мать Николая Петровича Зернова, приехавшая в Павлово прямо с похорон сына. После своей неудачи он жил еще более десяти лет, даже служил где-то на железной дороге. Но все, знавшие его прежде, видели, что это уже не жизнь, что в ней недостает главного нерва. Когда же, вдобавок, у него умерла жена,— заметное и прежде нервное расстройство перешло в настоящую острую душевную болезнь.

Судьба порой особенным образом заботится о своих любимцах, со вкусом истинного художника располагая все аксессуары так умело, что образ выступает наиболее цельно и ярко. Такую трагическую заботу проявила она и относительно Зернова. Любовь и заботы близких людей успели победить болезнь, сознание его прояснялось, он выздоравливал. Но в то время, когда, однажды, он сидел в Петербурге у окна, из четвертого этажа против его квартиры выбросилась на мостовую женщина. Николай Петрович вскрикнул и с этой минуты не приходил уже в сознание...

ОЧЕРК ВТОРОЙ

СКУПЩИК И СКУПЩИЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ

X

СКУПЩИЦКИЙ ЮМОР

Светлый, летний вечер. Солнце освещает покатую улицу, меж крыш мелькает река, с другой стороны виднеются горы с лачугами. Дымятся кое-где кузницы. Из раскрытых окон несется на улицу визг пил и стук молотков. Рабочий день еще не кончен, до понедельника далеко.

На лавочку перед воротами своих палат садится Осип Иванович Портянкин, крупный скупщик и торговец. Это человек толстый, с несколько оплывшими чертами лица.

Глаза его, скользящие вдоль спокойной улицы, светятся ленивым юмором.

Действительно, Осип Иванович большой юморист.

Как-то в лавку Осипа Ивановича зашло «начальство». Производилось официальное «исследование» по поводу заявления о бедствии в Павлове, и начальство с учеными целями присутствовало при скупке и приемке. Осип Иванович, по своему обыкновению, рассчитывался при посредстве «промена» и «третьей части».

— Не надо бы промену брать,— сказало официальное лицо.

Осип Иванович посмотрел на него ироническим взглядом и сказал спокойно:

— На роду мне написано брать с них, подлецов, промен. Ничего не поделаешь.

— Ты бы хоть меня постыдился.

— Не стыдимся мы денежку наживать. Да и что нам тебя, ваше благородие, стыдиться?

Говорят, начальник, уже в силу своей особенной профессии видавший всякие виды, потупился и слегка покраснел под этим твердым взглядом павловского юмориста.

Таким же взглядом смотрит он теперь вдоль тихой улицы, по которой ласково скользят солнечные лучи, золотя мураву на косогорах, наседку с цыплятами, разгребающую железный мусор и опилки, воробьев, купающихся в мягкой пыли. В этом взгляде из прищуренных заплывших глаз так и сквозит какая-то дремлющая, несколько циничная насмешка. Как будто этот человек знает что-то нелестное и об улице с ее тихим покоем, и о наседке, и о воробьях, и даже о солнце, льющем свои золотые лучи. Они одинаково светят и на беспечного воробья, и на кошку, которая тихо крадется под забором, сверкая на глупую птицу жадными глазами. Мгновение — и глупая птица уже в ее лапах, и мягкая пыль обагряется глупою птичьею кровью.

Осип Иванович отлично знает, что гораздо лучше быть хищником, чем жертвой.

Кроме того, он уверен, что все думают так же, но только одни хотят и умеют занять это удобное положение под солнышком божиим, а другие тоже хотят, но не умеют.

У него есть и умение, и желание.

И вот почему его умные глаза светятся или, вернее, лоснятся этим насмешливым довольством, и вот почему под этим взглядом порой становится так неловко.

Обежав вдоль улицы, взгляд Осипа Ивановича падает на противоположную сторону. Там, на такой же лавочке, у таких же ворот, оказывается сидящим другой павловец, молодой скупщик Александр Семенович Чайкин, в просторечии называемый Лёской, который смотрит на Осипа Ивановича таким же «павловским» взглядом.

Глаза соседей встречаются, и обоим становится не по себе, как будто каждый подглядел что-то в другом. Они отводят глаза, но через минуту обоих тянет опять посмотреть на противоположную сторону.

— Что, радуешься,— спрашивает равнодушно Осип Иванович,— дядьев-то обокравши?

Чайкин так же равнодушно отвечает:

— Что тут! какие мы еще воры! А вот у кого лошади по неделе не распряжены стояли, помнишь ты, Осип Иванович?

И молодой «Лёсынька» напоминает старому «Ваньке» один из эпизодов его собственной биографии.

Разговор, с его тонкими намеками, понятными одним павловцам, мгновенно пресекается. Противники чувствуют, что оба достойны друг друга, и оба одинаково твердо и не потупясь встречают эти шутки. А это, действительно, только шутки. Через минуту, пыхтя и отдуваясь, выходит с подсолнухами в кармане супруга Осипа Ивановича и садится рядом с мужем.

— Переходи-ко-те к нам, Ликсей Семеныч,— говорит она Чайкину.— Вместе веселяе.

Чайкин, как ни в чем не бывало, переходит через улицу, и... начинается беседа откровенных павловских мудрецов о других таких же мудрецах, умеющих устраивать дела...

Вот, например, к старику Акифьеву или Долганову является с ирбитской ярмарки молодой приказчик. Дела шли превосходно, вышла, как говорят в Павлове, настоящая «упайка», товар «шел ходом», и приказчик сдает при отчете крупную сумму.

Расчет покончен, старик отворяет стол и кидает туда дрожащею рукой пачки денег. В это время приказчик, не

говоря ни слова, кладет перед ним еще одну пачку в три тысячи.

— Это что? — спрашивает хозяин, вскидывая глазами на потупившегося приказчика.

— Это-с,— скромно говорит тот,— еще сверх того. . Позвольте сказать: утаил, да совесть взяла. Не будет ли милости вашей, для награждения добродетели

Скупой старик быстро сгребает пачку и щелкает замком:

— Нет, нет... Не умел взять без ведома, не взыщи, не дам! Глуп, глуп, Ванюша ..

И он окидывает Ванюшу взглядом сожаления Оказывается, что «глупый Ванюша» украл не три, а целых тринадцать тысяч... и впоследствии сам становится скупщиком и конкурирует с бывшим хозяином ..

И вспоминая такие истории, лежащие в основе скупщицкого накопления,— собеседники благодушно смеются..

Однако надо быть справедливыми и к скупщицкому сословию. Всем известно, что среди рабочих есть лентяи и пьяницы; однако существенная черта того коллективного типа, который носит название рабочего, вовсе не то, что он пьянствует и ленится, а то, что он трудится и производит. Для характеристики рабочего класса мы должны обращаться не в кабак, а в мастерскую,— не к тем, кто, главным образом, пьянствует, а к тем, кто, главным образом, работает, и по их положению судить и делать те или другие выводы

Очевидно, то же, думал я, нужно применить и к скупщику. . Толкаясь среди базара, глядя на эти картины отсталого строя, слушая гневные или цинические рассказы о проделках павловского капитала,— я думал все-таки, что должна же быть и другая сторона явления. Пока нет других форм обмена,— скупщик выполняет эту необходимую общественную функцию... Он является единственным посредником между мастером и потребителем, и явление нужно посмотреть в этой его сущности и притом в наиболее сильном ее проявлении.

С этим решением, как помнит читатель, я и заснул на постоялом дворе, в туманное зимнее утро после скупки. И в моем воображении носился образ Дмитрия Васильевича Дужкина, человека, соблюдающего свое звание.

XI

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Слыхали ли вы когда-либо об экономическом человеке?

Экономический человек выдуман учеными людьми собственно для научного употребления и изготовлен по чисто отрицательному рецепту. Для этого взяли обыкновенного человека и у него, как лепестки у махрового цветка, оборвали и отбросили прочь все душевные свойства, все побуждения, все невинные глупости, все страсти, чувства, стремления, кроме простейших стремлений к стяжанию богатства, к так называемой экономической выгоде.

Если бы этот человек размножился и заполнил землю, это было бы большою потерей в экономии природы, но от этого очень много выиграла бы политическая экономия Человеческая природа проиграла бы оттого, что все ее цветки, вся игра ее красок, все благоухания сразу бы исчезли. Но экономическая наука покрыла бы все остальные знания, стала бы наукой наук, приобрела бы точность и пророческие способности астрономии: все неуловимое, все бесконечно сложное и потому бесконечно беспорядочное движение в человечестве сразу стало бы упрощенным и стройным, все мы задвигались бы по одинаково описанным, определенным орбитам, и законы человечества стали бы непреложны и непререкаемы, как законы тяготения.

Вот что, собственно, прельщало некоторых ученых людей, мечтавших уже о весьма точной гармонии подлежащих несложному учету сил и интересов... К счастию, не все мечты, рождающиеся в иных даже очень ученых головах, осуществимы...

И, однако, экономический человек, все-таки, существует. Нет такого образа, нет такого намека на образ в запасе человеческой мысли, которые бы не поторопилась уже гораздо ранее, когда-нибудь, где-нибудь осуществить вечно творящая природа. Таким образом, задолго еще до того, как перед взглядами ученых людей обрисовался во всей полноте идеал экономического человека, сам экономический человек, сухой и лишенный всех излишних украшений, уже слонялся по белу свету среди

остальных детей общей матери, смотрел кругом своим острым взглядом, зловеще сверкавшим на все яркие лепестки и роскошные придатки жизни...

Только неисправимая мотовка-природа, любящая цветы, переливы и благоухания, стремящаяся к излишеству и сложности форм, вместо их упрощения, всюду, где только появляется это благоразумнейшее, по-видимому, из ее детищ, брезгливо отворачивается от него и протестует: вокруг него все тускнеет, омрачается, вянет и усыхает, и даже самое богатство обращается в сухой, костлявый, истомленный неутомимым голодом призрак...

Впрочем, это только присказка. Дело идет просто о некоторых чертах из биографии Дмитрия Васильевича Дужкина...

Жил-был в Павлове кустарь Василий Иванов, по прозванию Дужкин.

Это было еще в то время, когда мастерам жилось посвободнее, нож и замок шли с рук порядочно, мастерство не шло на убыль и цены держались довольно крепко. Чаще тогда слышались в Павлове песни, мастера покупали себе хорошие шубы, женам дарили платки и узорные ситцы, утешались по праздникам кулачными боями, в домах стены распирались от толпы, глазевшей на бой кочетов, да, правду сказать, не раз к празднику беспечные мастера прихватывали и будней, а «расход вели по приходу». Мастерство всегда в руках, думали они, и не чаяли, не гадали о черных днях и невзгодах.

Василий Иванов не отличался особенными талантами, работал самый простой нож, не требующий никакой ловкости или сноровки. Но зато при продаже торговался так, что выводил из терпения самых терпеливых скупщиков, и не имел никаких личных слабостей. Никогда не видали его в кабаке, мимо всяких гулянок он проходил с суровым видом осуждения, появляясь только в церкви по праздникам да на базаре в понедельник. Все остальное время он работал в своей мастерской. Одевался бедно, жил скупо и всякую копейку откладывал, урезывая себя, даже в то сравнительно обильное время, во всем самом необходимом.

— Нас у него было двое,— говорил мне об отце Дмитрий Васильевич,— я да братец старший,— покойник теперь. Любить он нас, полагать надо, любил. Ну, а

жалел... маловато. С осьми лет уж мы у него с молотком познакомились. Скричат вторые петухи — будит, а ложились часов в одиннадцать. И если по-нынешнему об нем говорить, так надо сказать — скупой... Ну, а в старину говорили — бережливый. Баловства мы от него не видали. Чаем нас поил раз в неделю: после вечерен в субботу. Брату, как он больше помогал, четыре чашки, кусок сахару. Мне, как я помогал меньше, две чашки, полкуска. Теперь вот господа кустари изволят жаловаться: чай плохой торговцы отпускают... И многие господа кустарей жалеют, о кустарях многие господа заботятся. Бедные, несчастные... Ба-лов-ство-с!.. Об нас, позвольте спросить-с, заботились? Нас, позвольте спросить, жалели собственные родители?.. Две чашки, полкуска-с!.. Вот как!

На лице Дмитрия Васильевича, когда он произносил эти слова, было какое-то странное выражение: жалел ли он о своем детстве, проведенном в железных тисках беспощадной наживы, или с сыновнею нежностью вспоминал сурового родителя, который умел любить, не жалея?.. На бледном лице рассказчика проступил крепкий румянец. Такой румянец и на таких лицах вспыхивает не сразу, но зато долго не угасает. Он перекрестился на икону и закончил твердо:

— И посейчас благодарю своего родителя, царствие небесное, что научил уму-разуму, как надо на свете жить...

И затем продолжал свой рассказ.

Посредством этой системы, путем неуклонной энергии и истинно геройских лишений, отец скопил первую тысячу ассигнациями. Прибавив последний рубль к накопленным ранее, он поставил свечу своему угоднику в церкви, крепко помолился, еще крепче подумал сам и позвал старшего сына для совета. Мастер-кустарь задумал открыть свою торговлю.

Это был шаг очень серьезный.

— Думаете, сразу пустил в оборот всю сумму? — спросил у меня Дмитрий Васильевич, лукаво улыбаясь при этом воспоминании.— Как бы не так! Не-е-т... Старинные люди не любили пыль в глаза пускать. В старину любили потихоньку, да чтобы крепче. Подумали они, потолковали с братом, потом сняли тихонечко лавчонку

нехитрую, попросили у соседа лошадь с телегой да, благословясь, в Нижний... Купили на пятьсот ассигнаций железа и с господом... открыли торговлю, клёпань да проволоку мастерам по мелочи продавать. В старину, милостивый государь, это не так легко зачиналось, как ныне, это дело в старину было серьезное-с.

Я легко представил себе, что это, действительно, было дело серьезное. При взгляде на сына, рассказывавшего мне эту поэму отцовской наживы, я читал даже в его лице историю неприветного детства. В глазах горел огонь, на щеках стоял крепкий румянец, обнаруживавший железную натуру отца. Но в сухих чертах, во всей тощей фигуре из одних костей и сухожилий, сказался непосильный ранний труд и лишения. Он напоминал растение крепкой породы, выросшее в глухом углу, без тепла и света.

Понятно, что первый шаг к выделению старика Дужкина из своей среды, к переходу из мастеров в торговцы, среда эта встретила не особенно дружелюбно. «Дужкин с молотком распрощался, Дужкин выходит в торговцы! Тысячник, миллионщик!» — иронизировали павловские Аверьяны, саркастически кланяясь новому торговцу, пуская ему вдогонку насмешки и остроты. Среда вообще мирится с существующим фактом превосходства, но не терпит и ненавидит такой факт, возникающий у нее на глазах.

Старый Дужкин шагал обдуманно и осторожно. Попрежнему, задолго до свету, он зажигал рабочую лампочку, задолго до свету подымал заспавшегося ребенка, который не смел ослушаться и, прощаясь с обрывками золотого детского сна, как и у других детей полного грез, тщательно скрывал от сурового отца горькие слезы. Не всюду у мастеров светились окна в те часы, когда светились они у начинавшего торговца Дужкина, когда за его станком стучали уже три молотка.

Потом, под благовест к ранней обедне, Дужкины шли в свою лавку, и бледный мальчик с черными глубокими глазами помогал здесь отцу или брату до вечера. Вечером до одиннадцати часов опять работа, а там короткий сон и опять оборванные грезы.

Да, мало жалости встретил Дмитрий Васильевич Дужкин в свои молодые годы!.. Суровая рука «эксплуа-

ческого человека», не знавшего слабостей родительского сердца, не давала развернуться ни одному лепестку в юной душе, беспощадно вгоняя ее в колею наживы, вырабатывая ее по своему суровому образу и подобию.

Между тем, торговля шла хоть тихо, но верно вперед. И вот, однажды, опять старик помолился в церкви, опять заперся со старшим сыном и говорил с ним всю ночь; сын отпрашивался и даже плакал, а отец сурово приказывал и настаивал. Василий Дужкин, уже ранее занявшийся мелкою скупкой для ближайших рынков, решил снарядить старшего сына в путь на дальние рынки, в Польшу и Украйну. Сам он был уже слишком стар и не мог бы вынести трудного путешествия с возами; но его энергия искала еще нового применения, хотя бы в сыновьях. Он обдумал все дело, а сын должен был привести его в исполнение.

— Ну-с, милостивый государь,— рассказывал мне Дмитрий Васильевич с сверкающими от восторга глазами,— это дело зачиналось еще посерьезнее. Теперь, конечно, когда все поставлено, любой приказчик его оборудует. А тогда все равно что Америку открывали И опять родитель покойник отделил на это дело половину капитала, а другую оставил в старом, уже испытанном деле. И поехал старший брат с возами в Польшу, а с братом я, а с нами еще приказчик, человек бывалый и верный, каких теперь верных людей, по совести вам скажу, тоже что-то не открывается.

Поехали и... проторговались.

Поздно ли приехали, или по какой другой причине, только товар не пошел, денег затрачено много, и все понапрасну. Брат, который и ехал уже со страхом и со слезами, совсем пришел в отчаяние. Он знал, что значат напрасно потраченные деньги, и боялся показаться отцу на глаза после неудачи.

Но тут выручил верный человек. «Что ж, Семен Василич,— сказал он,— теперь уже одно: либо весь капитал топить, либо весь выручить. Под лежачий камень вода не потечет. Айда, а там авось и в Харьков к ярмарке поспеем». И двинулись они опять со своими возами с Польши на Украйну.

Что страху набрались, что передумано, что богу намолились, едучи с возами по полям, шляхам и по степям

Украйны, в жаркие пыльные дни и в звездные росистые ночи. Что будет, что подаст господь?.. Страшно неведомое, новое дело... Просыпаясь в телеге, в глухую полночь, мальчик слышал не раз тихий и сомневающийся говор брата и успокоительные замечания бывалого приказчика. Впрочем, младший Дужкин еще не понимал всей серьезности положения. Он только расправлялся, как захиревший цветок, вынесенный на свежий воздух, вдыхал полною грудью веяние степного ветра, слушал разговоры степи с чарующими ночами юга, и в его душе слагалось что-то, чего он не знал в мастерской, что мелькало только отрывками в грезах недоконченных снов в суровом родительском доме.

Да, вот почему и теперь у Дмитрия Васильсвича лучший хор певчих из всего Павлова, а, пожалуй, мог бы даже соперничать с архиерейскими. Этот лепесток так и остался в душе необорванным...

Украйна и харьковская ярмарка выручили. Убыток весь наверстался, и старику привезли еще, хотя и незначительный, барыш. Главное, степные шляхи были уже проторены дужкинскими колесами, и вскоре в Польше и в Харькове открылись две дужкинские лавки. В Польше торговал приказчик, в Харькове брат с Дмитрием Васильевичем; отец оставался в Павлове, порой наезжая в Харьков и в Польшу.

Тут-то, в харьковский период жизни, Дмитрию Васильевичу пришлось пережить тяжелые искушения, грозившие разрушить все плоды сурового отцовского воспитания. Точно захиревшее растение, выросшее под железным колпаком и вдруг вынесенное на простор, на солнце и на волю,— молодая душа стала расправляться и даже играть неожиданными переливами.

Началось это, вероятно, еще тогда, когда мальчик шагал с детскою беззаботностью за скрипучими возами по широким шляхам; когда чудные зори умирали за темнеющею степью, когда безбрежный небесный шатер загорался огнями и синяя ночь веяла на землю миром в человецех и благоволением. Там, у красных огней, от которых темнело небо и невольная жуть падала на сердце, среди чумаков, с их вольною поэзией и чудными ночными рассказами, у ребенка рождалось желание чего-то нового, другого, чего он не знал за станком, чего не могла

дать ни лавка, ни нажива, ни самая счастливая торговая удача.

И вот, тайком от старших, мальчик смастерил себе скрипку и сначала робко, потом все смелее, в свободные часы, где-нибудь на задах или в далеком огороде, пробовал в звуках излить неопределенные чувства, теснившиеся в душу, которая невольно раскрывалась навстречу. И порой, наверное, ясно звучало в этой душе то, что теперь Дмитрий Васильевич бесповоротно признал одним баловством: «на земли мир, в человецех благоволение»...

XII

ДУЖКИН И ДОРОШЕНКО

В Харькове Дужкины наняли лавку у богатого помещика и домовладельца Дорошенка. У последнего был сын Борис одного возраста с Дмитрием Дужкиным. Теперь, по прошествии многих лет, лавка или, вернее, магазин кустарных изделий Дужкина находился в том же доме, и жизнь двух мальчиков, а теперь взрослых людей, Дужкина и Дорощенка, протекала двумя близкими параллельными линиями.

Дом, где жил сам Дорошенко, находился напротив, и Митя, сидя в лавке среди железных замков, под железным надзором отца и брата, смотрел, как его сверстник,— потомок славного рода, баловень семьи,— начинал свое счастливое существование. К нему ходили учителя, из открытых окон летними вечерами неслись звуки музыки.

— Я поигрывал на самодельной скрипочке, Дорошенко тоже играл на скрипке,— говорит с ироническою улыбкой Дмитрий Васильевич.— Только я самоучкой, а к нему ездили лучшие учителя. Потом его отдали в гимназию... а я свою гимназию проходил: за прилавком замки продавал...

Мальчики встречались изредка на улице, видели друг друга из окон в окна. Но молодой Дорошенко долго не замечал даже существования молодого Дужкина, тогда как тот отлично знал молодого Дорошенка. Все, что прельщало его противоположностью с железными тисками наживы, с узким и суровым режимом мастер-

ской, лавки, железной торговли,— все, что манило неопределенными грезами в степях,— все это теперь получило определенный образ. Ему хотелось, во-первых, иметь такую же скрипку. Вначале он чувствовал, что молодой Дорошенко далеко уступал ему, самоучке, разыскавшему мелодию по слуху на дрянном инструменте. Но прошел год, и «ученый» музыкант далеко обогнал своего соперника. Мальчику хотелось тоже учителя. Были ли с его стороны робкие просьбы в этом смысле, были ли попытки молодой жизни пробиться из железных тисков, или он затаил все это в себе, не пытаясь даже осуществить мечту,— не знаю. Но только и теперь еще в страстно сверкающих взглядах Дмитрия Васильевича, когда он насмехался над гимназиями, мне чудилась когда-то, давно, отложившаяся в глубине души, подавленная драма неудовлетворенных стремлений.

— Да-с... Он в гимназии обучался, а я-с... я свою гимназию проходил... за прилавком-с... Потом он — в университет, а я... с возами, по матушке России, в Польшу да в Украйну... Стало быть, тоже университет, только по другой части. Хе-хе-хе...

Дмитрий Васильевич много, горячо и охотно говорил мне о своем воспитании, об отце, об его системе, об ее непреложности, о вынесенных из опыта взглядах на жизнь, на образование, на людей, на кустарное дело. Но на этом периоде своей биографии он останавливался мало и неохотно, так, как говорится иногда о неприятной болезни. Тонкая улыбка пренебрежения играла у него на губах, и все, что я пишу о степи, о скрипке и о юных порывах, только промелькнуло в этом рассказе.

Как бы то ни было, все это несомненно было, оказало свое влияние и наложило известный отпечаток на дальнейшую жизнь. Долго ли «это» продолжалось, сказать трудно; однако, когда умер отец и братья разделились, «это» еще не совсем смолкло в душе молодого павловского торговца.

Между тем, Борис Платоныч Дорошенко вернулся из-за границы, где он изучал... кустарный вопрос. Молодой, блестящий, талантливый, он открыл в Харькове ряд публичных лекций по этому вопросу, и лекции эти производили настоящий фурор. Время было либеральное, после недавней «эмансипации» перед обществом

раскрывалась перспектива дальнейших реформ, такая же заманчивая, как баловнические грезы дужкинского детства, а порой и такая же неопределенная. Во всяком случае, всюду в воздухе, как основная нота, как господствующий тон всех стремлений, звучал все тот же призыв: на земли мир, в человецех благоволение,— который теперь кажется Дмитрию Васильевичу баловством из самых опасных.

— Бориса Платоныча Дорошенка изволили знать?— говорил мне Дмитрий Васильевич Дужкин, с глазами, сверкающими каким-то ироническим восторгом, между тем как на его губах змеилась насмешливая улыбка.— Вот уж кого любо было послушать! Нас же ругает: и башибузуки-то мы, и турецкие зверства делаем, и в египетском рабстве кустарей держим... И мы же заслушивались, сидя в публике, и даже сами, поверите ли, хлопали в ладоши. Человек знаменитый, красноречивый, личность фигурная! Публика плещет руками, барыни платками машут, восторг! Собственные мои приказчики мне же уши оборвали: «Вот, мол, Митрий Васильевич, как бы и у нас в Павлове надо. А то все вы по старине, все по старине, а на одной старине далеко ли уедешь?.. Вот Борис Платоныч как по науке рекомендуют...» Хорошо! Стал уж я у собственных приказчиков за последнего человека!..

Дмитрий Васильевич замолчал и некоторое время сидел, барабаня пальцами по столу и как будто вглядываясь в свои воспоминания об этом времени.

— Да-с,— сказал он, продолжая улыбаться тонкими сухими губами.— Тоже ведь были и мы молоды, а я,— должен вам объяснить,— по своему характеру даже весьма пылок был. Тоже хотелось эти самые, знаете ли, артёлки заводить, господ мастеров благодетельствовать. Только как я практический человек, то меня, спасибо им, сами почтенные господа мастера отпугали, и даже, могу сказать, довольно скоро. Потому что, не хвалясь скажу, голова у меня, милостивый государь, не опилками набита. Да-с... Если не скучно послушать, я вам могу рассказать, как это у нас вышло.

Я, конечно, был очень рад выслушать эту любопытную историю. Дмитрий Васильевич пристально посмотрел на меня и неожиданно спросил:

— Кто я, по вашему-с? Как вы меня назовете? Скупщик и фабрикант. Так ли-с?

— Конечно.

— А Полетава Семен Семеныча знаете?

— Знаю.

— Ему какое будет название? Мастер? Кустарь?

— Да.

— А он двадцать человек рабочих держит. Почему же так, что он кустарь, а я не кустарь? По-моему так выходит, что ежели я фабрикант, ежели я сок выжимаю, то и он, Семен Семеныч, то же самое делает, в аккурат. И даже по понедельникам огонь засвечает и, по силе возможности, делает покупку. А не в понедельник, то на неделе покупает. Стало быть, тот же скупщик. Так ли я рассуждаю, по-вашему?

— Пожалуй!

— Хорошо! А ежели кто пять рабочих содерживает, это как? Ведь ежели от меня далеко,—у меня, скажем, их двести—то от Полетава вовсе близко. А все он будет кустарь? Это бы дело надо маленько разобрать. Теперь я вам про того же Полетава скажу. Иду я этто по улице, к музею [1], скажем, например, посмотреть: какие такие умные люди в музее еще более ума набираются... И идет со мной рабочий, с фабрики моей. Хорошо! Попадается теперича встречу Семен Полетав. И сейчас шапку в одну руку, другую здороваться ко мне... «Здравствуйте, Дмитрий Василич, как в своем здоровьи пребываете?» А рабочему моему, который рядом идет, и головой не кивнул. Почему? Не такой же человек? Так это еще, милостивый государь, теперь-с! А дайте-ка в настоящую силу войти, он тогда станет вроде Ивана Грозного!

Он засмеялся своим дребезжащим смехом, между тем как глаза его сверкали, и продолжал:

— Теперь еще вот что я вам скажу: вот у нас цены низнут, процентов на двадцать упали... А у меня на фабрике плата все та же. Хвалиться не стану,—не из милости это делаю,—из расчету. Я всякого к себе на фабрику не поставлю, хоть будь он семи пядей во лбу. Я народ тоже сортирую, у меня с выбором каждый при-

---

[1] В Павлове существует музей образцов, открытый отделением технического общества.

нят. Иной раз из дальней деревни выпишу, мужик-мужиком, стать у станка не умеет. Ничего, выучу, к делу определю, если только человек по разуму подходящий. Так мне каждый раз цену им менять не приходится. Хорошо! Теперича у каждого, например, моего ко́валя — молотобоец или подручный меньше с них получают, а только плату я назначаю сам. Так что ж вы думаете? Не боле вот недели назад говорят мне мастера: «Обидно нам. Мы теперь себе подручных найдем: народ бедствует. За два рубля с охотой пойдут». Слыхали? «Мука, говорят, дорога́ стала». Так! Вам муки надо! А им, говорю, не надо?.. Вот видите: пусти-ка любого, да он вот как на своем же брате поедет, что на кляче!

Он улыбнулся еще язвительнее и перешел к рассказу:

— Был тут у меня один... Иван Михайлов. Руки у него очень порядочные, голова глупая была, а уж голос... просто цены тому голосу нет. А я большое пристрастие имею к пению. И теперь еще, как услышу пение стройное да задушевное, — слезы на глазах, душа в умилении. Ну, а в те времена, конечно, и душа была помягче, и все такое-с. Так вот, по такой-то причине этого я мастера побаловывал: и не нужно бы когда замков его брать — беру. Только ходи ко мне на спевки, да чтобы в церкви аккуратно... И бывал я, знаете, в разных там местах... Конечно, не как господин Дорошенко, а все же видел кое-что, доводилось! И все, бывало, смотрю, как люди делают, до чего люди доходят, и нет ли чего по нашему делу полезного. И вижу я в одном месте: штампа! замочная! Стук — и готово, стук — и готово! Скоро, чисто, аккуратно, отчетливо! Ах ты, господи, думаю себе, я не я буду, а в Павлове у себя эту штуку заведу. Первым делом — штампу введу заграничную, а около заграничной штампы совокуплю артель. А? Штука-то какая? Там господин Дорошенко пока еще говорит, а уж мы и на практике проведем это самое дело. Вот-с, надумавши это, тихим манером подошел к штампе, посмотрел клеймо: где, мол, такая штука делана. Замочек тоже добыл для образца. Отлично! Привожу штампы к себе, в Павлово.

Вот, думаю, как мне надо сделать: призову мастера из лучших, изготовим мы матрицы или, сказать попросту, формы, выучу одного штамповать, потом примусь за

другого, там за третьего. И вот этаким манером, потихоньку да помаленьку, без шуму, составлю артель. Наштампует один клёпани, сколько надо,—ступай, отделывай, а в то время припущается к штампе другой. И пойдет у меня около этой штампы круговая работа. А там, мол, посмотрим.

Только вот беда-то в чем. Требуется, прежде всего, форму сделать, потому что штампа одна сама по себе еще не действует, а надобна к ней своим порядком для каждого предмета матрица или форма, вещь опять особая. Ну, да ведь наш русский мастер, да еще кустарь,— слава те, господи!—блоху, и ту, сказывают, подковал. Вот отлично! Призываю к себе слесаря одного. «Так и так, можешь?» Показываю замок, объясняю. «Этакой, говорит, штуки, да чтоб я не сделал. В момент! Давай, хозяин, задаток!»—«Задаток, говорю, задатком, что ни возьми, да только сделай!»

Ну, делал, делал — не сделал. «Штука-то, видишь ты, говорит, не наша, с хитростью»,—сам затылок чешет. «Эх, говорю, Степанушка-а! Видно, хлопать-то больно легко. На вот тебе деньги сполна, за всю работу, да смотри, чтоб никому ни словечка, что мы с тобой осрамились. Ведь засмеют». А уж у нас так повелось: чуть что новенькое, да еще, храни бог, не удалось, Аверьяны одни проходу не дадут, засмеют... А я этого не люблю.

Призываю, поэтому, другого. «Сделаешь?»—«В самом превосходном виде, лучше заграничного. Это что! Это нам ничего не составляет!»—«Сделаешь ли, смотри?»—«Говорить не о чем, сделаю».

Не сделал. Путлял, путлял, недели с три провозился. Сработал махину, только разве орехи давить. Ах ты, господи! Уж у меня сердце за это время накипело. И что, мол, это вы за народ за такой. Все у вас только изо рту течет: нахвастаете, а на деле оправдать не можете!

Ну, наконец-таки, нашелся! Татарин, машинистом в Гороховце служил,—слесарь первейший! Зазвал я его к себе с базару. «Садись, Василь Василич,—все ведь они по-нашему Василь Василичи,—водки хочешь?—пей, закуски хочешь?—жри! А вот и дело: сделаешь аль нет?»

Посмотрел прежнюю работу, помолчал, подумал. Ну, слава те, господи, хоть не хлопает зря, думаю себе. Авось, выйдет толк.

— Ладно! — говорит. — Пятьдесят рублей дашь, сделаю.

Дело-то, положим, пяти рублей не стоит... Ну, да бери, Васенька, только не выдавай!

Недели три мучил, злодей,— выпить крепко любил, даром что магометовой веры. Приедешь к нему, думаешь: не готово ли, а он, заместо этого, пьян валяется, лыка не вяжет. Ах, мухи тебя заешь! Ну, все-таки, принес, наконец, приладил матрицу к штампе, раз, р-раз! Просто точка в точку!

Отдал деньги, да еще сверх уговору напоил пьяного, да на своей лошади домой отправил...

После этого призываю Ивана Михайлова, стало быть, уже по другому делу, насчет артёлки. Начнем с богом!

— Ну, сладенькой ты мой, вот какая штука! Давай, станем учиться!

Выучился мой Иван Михайлов, пошла у него работа как следует, замок новенького фасона, идет хорошо, и цену я ему даю тоже хорошую. Теперь надо мне другого приучать.

Только, между этими делами, примечаю: начинает что-то мой Иван Михайлов портиться. Просто сказать, зазнается мужик. Дескать, и голос у меня, и в церкви я надобен, и на штампе стукать умею,— самый, значит, я первейший человек. На спевки не ходит, пьян напьется, грубить начинает, а я все терплю, все, заметьте себе, терплю! Захар Васильевич, староста церковный, тот даже удивляется на меня: «Вы, говорит, молодой человек, еще обращения настоящего с этим народом не знаете. Теперь бы, по-нашему, весьма полезно ему в шею хорошенько накласть! Послушайтесь опытного человека. Самое теперь время, а то, пожалуй, упустите, потом уж и поздно будет!» А я: «Что вы это, Захар Васильевич? Нельзя этак грубо. Что̀ мы здесь, на кулачном бою, что ли? Надо по нынешнему времени иначе. По настоящему времени надо словом убеждения!»

Вот призываю милого дружка: «Ванюша, нехорошо, голубчик! Образумься несколько. Ведь это же выходит довольно с твоей стороны безобразно!» Вот мой Ванюша после этого так уж поправился, что в церковь пьяный вкатился, старосту скверно обругал, мне язык кажет.

Еще бы малость, так, пожалуй, от хорошего убеждения меня же ударил бы. Как раз бы потрафил.

Ну, тут уж я маленечко опоминаться стал, действительно. Драться, все-таки, не стал, потому что, по-моему, глупые это люди, которые дерутся. А призвал его к себе, тихонько да вежливенько: «Иван Михалыч, господин Шупов, получите с нас расчет, да уж больше, сделайте милость, к нам не ходите. От наших ворот имейте поворот!» — «Как, да что?» — «Ничего-с, только мы вам, а вы нам более не нужны. Получите следуемое сполна».

— Да я, говорит, больше не буду!

— Дело ваше, как хотите, так сами себя и ведите, мы с вас воли не снимаем. А только,— говорю я ему,— послушай ты теперь, что я тебе говорить стану, да запомни, за-апомни! Я вашего брата мастерового весьма знаю, и манера ваша мне известна: шапки ты теперь на улице передо мной ломать не станешь. Бог с тобой, не надо. А вот зачнешь меня на улице остановлять, да срамить на народе, да проходу не давать. Ну, этого не делай! Не ругай ты меня, Иван Михайлов, я тебе говорю: ни в глаза!.. От нужды никто не застрахован. В нужде я тебя достану, в нужде ты от меня кровавыми слезами заплачешь...

Дмитрий Васильевич перевел дух. Даже теперь, когда он передавал эти подробности, его голос дрожал и понизился до шепота. Я посмотрел в худое лицо, пылавшее страстным гневом, и испугался за беспечного певца Ивана Михайлова...

— Ну, послушался, понял! И действительно, с этих пор я своею дорогой иду, он своею. Шапки не снимает, да и не ругается, больше все куда-нибудь в переулок норовит. Стал я немножечко стороной у мастеров поспрашивать: «То-то, мол, Ванька меня, чай, теперича костит?» — «Нет, не было этого, не слыхивали».

А, между тем, наковальня от штампы так у него и осталась. Я ничего, ни слова об этом, что-то будет дальше. Приходит раз к прилавку, несет замки: «Не возьмете ли?» — «Не требуется нам на этот раз, не взыщите». В другой — то же самое: проходите мимо!

А на ту пору и подойди нужда! Да не такая, как теперь, а уж именно что настоящая нужда, от какой нужды упаси господи! Цены базар от базару все нйзнут, да все

нйзнут. Месяц назад по рублю кои замки покупал, те уж по восьми гривен. По восьми возьмешь, через неделю уж по семи целую гору накидают. Мы и то закачались маленько, и с капиталами. А простому рабочему народу— зарез!

Вот еще в начале этой самой истории идет мой Иван Михайлов, тихий да смирный.

— Вот, мол, Дмитрий Васильевич, принес я вам наковальню вашу,— из ума она у меня вон, только теперь вспомнил.

— Это, говорю, хорошо, что вспомнили. Это обозначает, что есть еще в вас сколько-нибудь совести. Это я похвалю.

— А замочков не возьмете ли у меня?

— Замочков мне ваших не надо.

А сам примечаю: подается мужик, отмяк, в настоящее чувство входить начинает. Хорошо-с.

Вот и подошла, наконец, самая коренная нужда, бедствие, туча, наказание Давидово. Сами мы даже испугались, народ ревом ревет, детишки пухнут. Идет опять Иван Михайлов и голову повесил.

— Не надо ли, мол, замочков?.. Возьмите, Дмитрий Васильевич.

Смотрю я на моего Ванюшу: только, мол, от него и будет, или еще что-нибудь скажет?

— Да что уж! Бери, ради Христа! Прости, Митрий Василич. Ввек сам не буду, детишкам закажу, даже до седьмого колена, чтоб имели всякое почтение к тому человеку, который превыше...

И смотрю я: из глаз у мужика слезы ручьем.

Н-ну! это дело другое-с!.. Взял! И нужды в тех замках не было, а взял. Потому что, понимаете ли вы это,— замок не нужен, так человек нужен. Человека я себе по гроб приобретаю.

— Так-то, говорю, Ваня.— Уж не Иван Михайлов! Которого я человека приближаю, все уж полуименем зову.— Ты, говорю, Ваня, понимай! Потому что и в священном писании сказано: богатство порождает добродетель, бедность уничтожает. А еще сказано, и ты понимай, что это правильно: всякий человек должен кому-нибудь покоряться... Понимаешь! Кому-нибудь, а уж должен покоряться. Ты вот сейчас мне покорился, а я, ду-

маешь, никому не покорствую? Нет, и я покоряюсь, покоряюсь, Ваня! Гнусь вот как, побольше еще, чем ты теперь передо мною... Потому что я тебя, Ваня, умнее!..

С этого самого времени приобрел я себе мужика; работает у меня на фабрике за первого работника и на клиросе даже за регента действует, когда придется. И много еще, после того случаю, я дураков таких захомутывал. Теперь о глупостях о своих и вспоминать забыли. «Спасибо, говорят, Митрий Василич, что научил нас, глупых, уму-разуму».—«Спасибо и вам, и вы меня тоже научили, как надо с вами, ребятушки! Потому что у каждого человека свое дело, свое и понятие. Вы свое от меня узнали, я от вас свое!..»

XIII

ПОБЕДЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Суровый родитель мог спокойно почивать в своей могиле. Молодые глупости, все эти бреши и изъяны, нанесенные душе его сына чужедальнею стороной, заманчивым простором божьего мира, музыкой, гимназиями, университетами, лекциями Бориса Платоновича Дорошенка,—все это рассеялось... Родимое село опять захватило своего питомца и поставило его в колею. Душа отряхала ненужные придатки, возвращаясь к выполнению отцовских традиций, простых, незатейливых и суровых.

Однако что-то там было еще назади, что влекло если не симпатии молодого скупщика, то его ревнивое внимание. Он продолжал с затаенным интересом следить за карьерой своего соперника, занимавшегося тем же делом, с теоретической его стороны. Проходя *свою* гимназию и *свой* университет, колеся по России, Польше и Украйне, он закалился, высох на солнце, затаил все, что прежде рвалось наружу, но все же прикидывал *свой* опыт, *свои* познания к тому, что говорил, что писал его красноречивый, образованный соперник. Это была своего рода борьба, в которой одна борющаяся сторона даже не знала о своей роли... Своя профессия попросту и без затей стала для Дужкина от этого еще дороже...

— Вот я вам случай на этот счет расскажу из собственной моей практики. Приезжал к нам сюда корреспон-

дент один. Долго ли прожил у нас, коротко ли, а обругал всех. И обругал, я вам доложу, на славу, хлестко. Скупщики — разбойники натуральные, башибузуки турецкие, на святой Руси болгарские зверства делают. Хор-ро-шо-с. Прочитали мы, молчим,—не впервой, привыкли!

Только попадись эта газета в Твери молодому купцу. Отец денежки копил, а сын в университете обучался. Старик умер, сын прямо из университета—за дело. Капитал агромаднейший, хочется и образование свое показать, и главного приказчика себе подыскал, который окончил курс гимназии.

Вот прочитали они газету и возмутились. Ка-ак! В России болгарские зверства! Мы этих скупщиков в лоск уложим!

Призывают для начала одного приказчика, из простых, настоящих, который из мальчиков лямку тянул, и посылают к нам, в Павлово, с таким расчетом, что, дескать, купить на тысячу рублей товару, а между тем временем и присмотреться, как нас уничтожать, с которой стороны за нас, за разбойников, приниматься... А как я еще с стариком дело имел, то и послали парня этого ко мне, с письмом: дескать, имеем нужду в павловском товаре, так помогите. И список составили, и даже проставили цены, по своим соображениям, по ученым, чтобы и кустаря как-нибудь, сохрани господи, не обидеть.

Отлично. Посмотрел я список, подивился про себя. Однако, как это дело не мое,—помог. Купили, укупорили, отправили. Через сколько-то времени едет приказчик опять, и опять список,—товар другой, цены другие. «Ну, что, мол? Как расторговались?» Ухмыляется парень: «Плохо». — «Хлебнули шилом патоки?» — «Маленько. Рублей на шестьсот убытку».—«Так. А кто у тебя хозяин? Никак из университета?»—«Так точно».— «А главный приказчик?» — «Гимназист». — «Отлично. Стало быть, университет да гимназия. А мы с тобою люди простые, не ученые, не балованные?».— «Где нам-с».—«Ну, так давай-ка ты список сюда». Да по списку этому карандашом чирк, чирк — и захерил все. «Ну, давай теперь мы с тобой свой список составим, не по ученому, а по простому нашему разуму. Вот за это — и дороже можно дать, потому что товар теперь в ходу,

а этого вот и даром, ежеле дадут, не бери,— ненадобен, нипочем».

Купил ему таким способом весь сортамент, присланные деньги извел, да еще от себя на такую же сумму прибавил. Вези, друг милый, да поучи маленько ученых людей!

Через небольшое время опять ко мне парень на двор, с письмами да с поклонами. «Велели кланяться, благодарят за наставление, просят впредь наукой не оставлять».— «Поняли, значит?» — «Как не понять, помилуйте-с. То убыток был, своего не выручили, а теперь в полгода с барышом растоварились».— «То-то мол, скажи, пусть газет не читают. По газетам хорошо разговоры разговаривать, по наукам лекции читать, а торговое дело надо по старине вести, как люди ведут...»

Дмитрий Васильевич помолчал, нервно побарабанил пальцами и резко повернулся опять ко мне.

— То же самое и Борис Платоныч, господин Дорошенко. Слушал я его, слушал,— ну, а как стал свой университет проходить, и думаю: погодите, Борис Платоныч, высоко летаете, куда-то сесть придется...

И действительно, после смерти отца дела красноречивого противника скупщиков пошатнулись. А тут под рукой хорошо изученное «дорогое» кустарное дело, а тут под рукой и помощник, тихо, смиренно, с затаенным горьким смехом в душе предложивший свои «непросвещенные», скромные услуги. И вот опять теоретический университет попадает под руководство университета «практического». «Фигурная личность», блестящий оратор, громивший скупку и поселявший сомнения даже в скупщицкой душе, Борис Платонович, уронивший Дужкина даже в глазах его собственных приказчиков, очутился, наконец... хотя и не прямо, не непосредственно, но все же очутился за скупщицким прилавком, и трепетный огонек у входа в мрачные пещеры осветил также и дорошенковскую долю этой операции.

Дмитрий Васильевич отплатил своему сопернику истинно по-христиански: он берег его интересы так ревниво, как не берег даже своих; при каждой новой удаче бывшего оратора на губах скупщика являлась такая радостная улыбка, как будто барыши приходились на его собственную долю. Нет, за себя он не мог радоваться

такою радостью. Тут была доля старого чувства, тут отдавалась дань юности, ее задавленным стремлениям, ее горькой зависти, ее нравственным унижениям и глухой борьбе. Скупщик отдавал ученому барыши по счету на бумажки, а себе брал у прежнего Дорошенка, у красноречивого оратора, у строгого проповедника, иные барыши, без счета. Он говорил себе с торжеством, что *он*, а не *они* правы, что *они* пошли *его* путем, значит, путь этот верен, что его родитель не напрасно вырвал суровою рукой из юного сердца трепетавшие в нем когда-то ненужные придатки и обманчивые грезы! Это было торжество и вместе оправдание,— оправдание и давно умершему экономическому человеку, лежавшему в могиле, и новому экономическому человеку, который выходил теперь на свой путь уже без малейших сомнений, даже без малейших остатков горечи, превратившихся в сознание удовлетворения и торжества...

И вот в один прекрасный день, почтительно, но с явною улыбкой, немолодой уже Дужкин взглянул в глаза немолодому Дорошенку и сказал своим жестким голосом:

— А что, Борис Платоныч, помните ли вы ваши прежние речи? Пожалуй, ведь и сами теперь... тоже болгарские зверства производите?

Оратор сдался. Он зачеркнул все, что говорил когда-то в том самом городе, в присутствии того самого человека, который теперь пристально смотрел ему в глаза.

Была как-то кустарная выставка в Харькове... Выставка не удалась, все лезло врозь, экспоненты остались недовольны, недовольна осталась публика, недовольны газеты. Триумфатором вышел один Дмитрий Васильевич Дужкин. Он получил награды, почетные отзывы, его товар обратил на себя всеобщее внимание, и, наконец, в том самом городе, а может быть, даже в той самой зале, где некогда раздавались громовые речи против «египетского рабства» кустарей,— теперь Дорошенко торжественно сознался в своих прежних заблуждениях. Нет, благородное скупщицкое сословие является необходимым звеном в кустарном организме. Это — просвещенные коллекторы, совершенствующие производство!

И Дмитрий Васильевич, разгорячившийся от молодых воспоминаний и недавнего торжества, смотрит мне в

глаза, и взгляд Дмитрия Васильевича как будто спрашивает у меня, молчаливого слушателя этой драмы: «Ну, чья же школа лучше?»

XIV

О ТОРГОВОМ ДЕЛЕ И БАЛОВСТВЕ

— А Николай Петрович Зернов? — спросил я как-то невольно.— Ведь и Николай Петрович тоже... из университета?

Дмитрий Васильевич привскочил со стула.

— Что ж такое Николай Петрович? — позвольте спросить. Ничего и не вышло.

— Да; но отчего?

— Отчего? А вот я вам скажу отчего.

Он нервно взял стоявший на столе стакан и поставил его передо мной, крепко стукнув донышком.

— Видите: стакан. Не велика штука, нехитрая, какие тут узоры,— вон грань одна, больше ничего. Так. А тридцать лет назад делался этот стакан с кромочкой. Значит, тогда спрос один был, теперь спрос другой. Дай вам теперича стакан с кромкой, вы скажете: нет, не желаю, дайте мне новейшего фасона. Верно?

— Верно.

— Так тò стакан. А теперь возьмите замок,— тут сколько сортов, да сколько фасонов!.. Сейчас вот медная штучка приделана, только и есть разницы. А, между тем, эта штучка пускает замок в ход, от этой штучки поплывет этот замок рекой, а уж другой который-нибудь остановляется. Так ли я говорю? Ведь на это есть спрос, штука весьма, скажу вам, капризная! Вот я о себе, не хвастаясь, скажу: по Харьковской да по Московской губернии все знаю, настоящий профессор. Чуть маленько один товар позамялся, уж у меня ушки на макушке,— отчего? Другой опять тронулся шибче,— какая причина? Сейчас соображаю: тут попридержу, там повыпущу! Потому что в том мы полагаем свою выгоду и места эти нам стали известны... Сколько теперь этого железного товару через руки прошло. Ведь он, замок-то, всякий бывает. Есть замок по рублю за штуку, а есть замок по сороку копеек десяток. Опять есть замок с секретом, а

есть и такой, что возьмите вы их десять, только один отпирается. Значит, в одно место требуется одно, в другое место — другое.

— Куда же, однако,— спросил я,— может требоваться замок, который вовсе не открывается?

Дмитрий Васильевич посмотрел на меня взглядом снисходительного превосходства и сказал не без некоторого пафоса:

— Россия, милостивый государь, государство агромаднейшее... тут всякая дрянь сойдет!

И, не останавливаясь дальше на этом предмете, продолжал с увлечением:

— Так вот-с! Которому человеку это выгодно, кто этим с малых лет занимается, тот может все уследить. А другому как узнать? Вот и говорю я Николаю Петровичу: «Не выйдет у вас».— «Нет, выйдет». Ну, хорошо, я об себе не стал утверждать, пусть я не понимаю, а только говорю, что не выйдет. И не вышло!

Почему не вышло?.. А вот почему-с. Был тут, например, мастер один, Рябов по фамилии. Делал замок, называемый рябовский, и был тот замок «введенный». Хочешь не хочешь, а без рябовского замка торговать невозможно, потому что придет оптовый покупатель, спрашивает: «Дай ты мне, говорит, на пятьсот рублей чего хочешь, да на пятнадцать целковых рябовского замка». Не дашь, и остального товару не продашь, в другое место покупатель уйдет. Работа, что говорить, чистая была, известная, и свое клеймо!

Вот приходит раз этот Рябов, приносит замки. Я и говорю: теперь, Михайло Петрович, вашего замка у меня довольно, а надо мне вот какой, скажем хоть, для примера, балагурский.

— Как так? — говорит.— Мне, говорит, балагурский не столь уже выгоден. На своем я сорок копеек получаю, на балагурском четвертак. Какая же мне надобность? Не желаю.

— Как хотите,— говорю,— а покамест должен я пережидать с вашим замком.

На следующей неделе тащит опять свои. Делать нечего, человек нужный, беру.

— Сделайте одолжение, Михайло Петрович, приносите мне балагурских.

— Не желаю.

— Воля ваша, неприятно мне это, да уж хоть разладиться с вами, а больше теперь брать не могу.

Потому что уж я замечаю: замялся этот замок, задерживается в лавках. Думаю, может, на короткое время стал, а там и опять пойдет; ну, а бывает и то, что вовсе из моды вышел. Значит, мертвое дело. А мастер только свистит.

— Наплевать! У нас теперь артель. В артель сволоку. И то давно зовут.

— Как вам угодно. И нежелательно мне с вами расставаться, а больше мне не под силу.

Ну, и ушел в артель. И горюшка себе не знает: наделает и сдает свои замки, наделает и сдает. А там все берут да все берут. Навалил груду, а, между тем, замок этот на рынке и вовсе стал, кончилась мода, а они и не заметили. Набрали всякого добра много, возят с места на место: на ярмарке торгуют, в Москве, в Петербурге, в Урюпине шилом патоки хлебнули... Наше дело требует сноровки, где шажком, где ползком, где и поклониться. Вот я вам опять-таки случай расскажу, со мной и дело-то было. Приезжает каждый год в ярмарку купец из Сибири, Кабалов, ежели слышали. И каждый год все на тысячу рублей у меня товару берет; не то, что павловским товаром торговлю ведет, а так, между другими предметами и наш годится. Только раз и говорит мне этот купец: «Ваш мне товар ни шьет, ни порет; ни барышу от него настоящего, ни убытку: возьмешь его — сойдет, пожалуй, не возьмешь — и без него обойдется дело. Уж и то думаю, тысячу рублей не на другое ли что оборотить?» Намотал я эти слова на ус. На следующую ярмарку, жду-подожду, не является ко мне приказчик ихний Плохо дело,— на тысячу рублей не продать, тоже изъян. Иду к самому в гостиницу. «Спит, через час приходите». Прихожу через час — на биржу уехал. Я на другой день. «Принимают?» — «Спит, приходите через час».— «Ничего, я в передней обожду, человек небольшой». Сел, сижу себе смирненько. Вот, слышу, проснулся, оделся, через малое время выходит в пальто. Увидел меня, кивнул только головой.

— А, это вы?

— Я-с. По делу.

— Некогда, завтра приходите.

— С нашим удовольствием.

Наутро опять та же история: «Приходите послезавтра»,— а продежурил я у него на этот раз уже два часа. На третий день, как увидел меня на месте, так даже удивился

— Все ходишь? — говорит.

— Хожу, по приказанию вашему.

— Я, говорит, думал: ты обидишься и ходить бросишь.

— Помилуйте, говорю, молод я еще на людей обижаться, которые более меня стоют.

Посмотрел на меня старик, усмехнулся, протянул руку:

— Видна, говорит, птица по полету. Вы, говорит, молодой человек, имеете ум. Люблю умных людей. Не угодно ли со мной в гостиницу отправиться, там и о деле потолкуем.

Отправились, столковались. И до настоящего времени, вот уже двенадцатый год, все берет товар. И не надо бы иной раз, а берет. Вот как наше дело идет-с. Всякое дело своего ума требует, а в нашем деле ум требуется покорный.

Да это и во всяком деле так-с... Да это и во всей жизни так. Страх — начало премудрости, это сказано недаром. Умный человек сам себя в страхе держит, сам на себя покорность налагает. Глупого человека чем удержишь? — нуждой-с! А без страха один разврат, непокорство, баловство! Товарищества, артели, помощь бедным... «Куда это вы, господин мастер, спешите?»—«Иду в артель деньги получать». За что? Для чего? — Баловство одно! — закончил Дмитрий Васильевич, стоя передо мной и страстно сверкая своими глубокими черными глазами.— Баловство! Потачка! Рубь сберечь — вот чему народ учить надо.

— Но из чего же сберечь, Дмитрий Васильевич?

— Из чего?

Дмитрий Васильевич посмотрел на меня глубоким взглядом.

— Из чего? А вот из чего-с! Я вам сейчас расскажу из чего-с.

XV

О МИШАНЬКЕ, ПРАВЕДНОМ СТЯЖАТЕЛЕ

— Все-таки был я, милостивый государь, счастлив и от бога взыскан, что мне еще и в нынешний век люди попадались. Настоящие. Стар-ринного закалу, негордые, имеющие разум, который дается от бога. Вот я вам про такого и расскажу.

Был тут, не в дальнем селе, ко̀валь один,— много лет на меня тот человек работал. Мужик хороший, аккуратный, дело из рук не валилось, пьяного я его не видал, в глупостях этих, которые теперь в народе встречаются, тоже не замечал никогда. Ну, и тоже надо сказать, много лет и добродетели в нем настоящей не замечал, потому что настоящая добродетель все одно, как червонец на дороге. Сколько раз мимо пройдешь, и ногой, пожалуй, наступишь, и не видишь. А случай подойдет, он вдруг блеснет и объявится...

Так было и тут.

Приходит раз мужичок этот ко мне, сдал клёпань, веселый.

— Ныне, говорит, Митрий Васильич, радость у меня.

— Что такое?

— Вы меня, Митрий Васильич, знаете, не пьяница я, в карты не играю, как иные прочие, баловством тоже никаким не занят. Бабу мне бог послал — золото! Работали мы, работали, труждались, можно сказать, неустанно, добились до настоящей суммы, которую себе положили. Вот они — получил теперича от вас последнюю десятку; сколько годов мы ее, родимую, дожидаемся! Теперь я, Митрий Васильич, обеспеченный человек: избу строю, кузница у меня станет в огороде новая, дров, углей — на год запасу. Теперь я, говорит, сам себе господин.

Посмотрел я на него. Не понравились мне, признаться, его похвальные речи.

— Это все, говорю, хорошо. Дай тебе бог. А только, Мишанька, говорю, ты не загордился ли? Этак же один говорил: «Построю житницы... душе моя, яждь, пий, веселися». А господь слушает да говорит про себя: «Погоди-ка, гордый человек, я тебя ноне ночью возвеселю».

Потому что богу это неугодно, что человек сам себя от страха освобождает.

И что ж вы думаете? Прошло сколько-то времени, приходит ко мне тот Мишанька, обливается слезами.

— Вот, говорит, Митрий Васильич, какое дело вышло. Исполнилось по вашему слову, посетил меня господь за грехи: дом сгорел, кузница новая сгорела. От нее и огонь пошел. Пал огонь на поленницы, да на уголь,— запас весь как есть пригорел, синь-пороха не осталось; сами с бабой еле живы от господа убежали, струмент, и тот не пощадила сила господня. Потому что посетил нас в самую полночь... Теперь беднее я бедного, вот перед вами весь тут, как меня видите.

Плачет! Да и заплачешь. Подумайте сами: сколько лет копил, и все в один миг прахом пошло.

— То-то, говорю, Мишанька. Раненько возликовал. Видно, хочет господь тебя испытать горькою долей. Приемли, Мишанька, со смирением.

— Да, уж видно, говорит, его, батюшку, не переспоришь. Возьмите меня, Митрий Васильич, к какому ни то делу. Сделайте милость.

— Что ж, говорю, приставить, конечно, можно, отчего не приставить. Только как у тебя даже и инструмент господь отнял, то, видно, уж тебе не в мастерах быть, а в сторожа ко мне идти.

Заплакал мужик. Подумайте: мастер, век в своей кузнице на себя работал, а тут в сторожа! А делать нечего, спорить не стал. Нужда!

Приставил я его двор караулить, два рубля сорок в неделю, бабе тоже дело нашлось. Два сорок, на своих харчах! Много ли денег-то?.. после прежнего-то достатка?

Хорошо. Вот приставил я его и посматриваю, как мой Мишанька смиряться будет, как сам себя поведет. Ничего! Караулит усердно. И смиряется... Прежде в комнатах у меня сиживал, чай вместе пивали, а теперь на чернорабочем положении, у ворот с дубинкой сидит; а увидит хозяина издали — встает, шапку в руки. Вижу, мужик с понятием. И на стороне тоже прислушиваюсь: не ропщет ли? Нет, ничего не слышно.

Только начинаю вдруг замечать одно обстоятельство. Всю неделю мой Мишанька укрепляется, по субботам

слабеет. Раз прохожу — плачет сидит у ворот. Что такое, думаю, а сам, конечно, виду не показываю. Другой раз вижу,— уже и баба с ним,— выбежала из стряпущей, села рядом с мужиком — разливаются... конечно, потихоньку. И так у них пошло: как суббота, да смеркнется, гляжу: они за свое: сидят рядышком и плачут... Долго я понять не мог... Ну, наконец понял.

В комнате, где мы разговаривали с Дмитрием Васильевичем, сгустились сумерки, а свечей еще не приносили. Мне видны были только общие, неясные очертания его фигуры; он то вставал, то нервно ходил по комнате, утопая в дальнем углу и затем приближаясь ко мне. Теперь он стоял передо мною, и его бледное лицо, с черными глазами, пятном выступало из темноты. Его голос как будто отмяк. Рассказ о Мишаньке, о его смирении, о субботних слезах, видимо, доставлял этому человеку некоторое эстетическое волнение...

— Понял я! Уразумел, в чем дело. Вспоминал мой Мишанька благополучную жизнь в своем дому, на своей воле. Церковь-то у нас под боком. Вот как смеркнется да заблаговестят, ему и вспомнится, как, бывало, в прежнее время, молот под печку, инструмент сложит, приоденется, да к вечерне, да свечечку к образу Михаила Архангела.

А теперь нельзя! Карауль!.. Вот поэтому-то всю неделю мужик укрепляется, а в субботний вечер, как суета стихнет, рабочие разойдутся,— у него на сердце накипит и подымется. Церковь видна: в окнах огни светятся, из домов народ потянулся, колокола бом да бом, бом да бом! А ты, сторож, сиди у ворот, потому что нет своей воли, нет свово дому, и должен ты, сторож, чужие вороты караулить...

Вот и сидит, дела справляет аккуратно и плачет...

Застал я раз Мишаньку на этаком случае,— не успел он и слез обмахнуть,— да и говорю: «Что, Михаил Мосеич?.. Прискорбно вам у меня служить, так ведь мы не держим. Люди вы вольные!»

Встал он, поклонился. Попросил прощения... Я догадываюсь, да не подаю вида... Что будет дальше?

Проходит этак с полгода. Мишанька мой караулит, по субботам поплакивает с бабой, но уж украдкой. Только в один день, праздничным делом, говорит мне прислу-

га: «Михайло пришел, просит его допустить». Я, грешный человек, подумал: «Ну, зароптал Мишанька иль прибавки станет просить». Да нет-с, ошибся!

— Вот, говорит, Митрий Васильич, господин хозяин. Много доволен вашими милостями. Пособил мне господь от милостей ваших сберечь двадцать пять рублей, четвертной билет. Извольте принять от меня на сохранение. У вас целее будет.

Видали? Из двух-то сорока в неделю четвертной билет! Ну, думаю, Мишанька,— человек ты, видно, настоящий... Однако виду не показываю, взял билет, спрятал. А ему на бумажку номер выписал. О расписке — ни слова.

Еще сколько-то времени прошло, опять четвертной билет. И все, заметьте, на том же положении, и все ведь по субботам тихонько плачет. Взял я и этот билет, положил к прежнему в пакет, а на пакете написал: «Сии деньги принадлежат Михаилу Моисееву». На всякий случай: в животе и смерти бог волен.

Ну, еще через пять месяцев, опять билет,— стало быть, это уже составилось семьдесят пять рублей. Как принес он мне эти деньги, я отворяю столик, вынимаю прежние.

— Помнишь, Мишанька, номера?

— Помню,— говорит.

— Посмотри, те ли?

— Они самые.

— То-то. Я твоих денег в оборот не пускал, как при тебе положены, так и лежали все. Да и никогда я таких денег не потревожу, такие для меня деньги... святые-с.

Дужкин остановился. В темной зале стояло некоторое время молчание.

— И долго он у вас караулил таким образом? — спросил я.

Дмитрий Васильевич не ответил.

Сумрак в неприютной палате скупщика все сгущался, Дмитрий Васильевич ходил по комнате и опять говорил. Видимо, он увлекался изложением заветных взглядов, и слова, жесткие, точно отчеканенные, определенные и суровые, так и лились у него с языка. Но я уже не вслушивался... Я понял Дмитрия Васильевича, и подробности его программы не могли уже сказать мне

ничего нового... Это была обыкновенная программа экономического человека.

Когда внесли свечи,— его речь как-то сразу оборвалась... Казалось, свет отрезвил моего собеседника, и в его пытливом, пристальном взгляде я прочитал что-то вроде тревожного вопроса: уж не высказал ли он слишком много?

Я стал прощаться.

— Прощайте-с...— сказал Дмитрий Васильевич, провожая меня до дверей.— Да! вот мы так и думаем об этом деле... Теперь опять появились эти глупости в нашем селе, может слышали? Ломбарду просят... И человек нашелся, который им прошения пишет... рефераты читают в Москве, в Петербурге... Что ж! Мы тоже не без языка, тоже можем кое с кем потолковать. Говорил уж исправнику: вы знаете ли, кого мы тут в Павлове имеем? Весь даже затрясся, как услышал. «А! То-то, спохватились, да не поздно ли?»

— Однако, Дмитрий Васильевич, неужели такая страшная вещь — прошение от кустарей, что это может беспокоить исправника?

— Замечаем мы: с этих самых пор, как завелся этот музей да прошения, народ волками смотрит...

Мы попрощались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда я вышел из ворот дужкинского дома и прошел несколько шагов по улице, от забора отделились вдруг две темные фигуры и подошли ко мне.

В одной я узнал Аверьяна. Деревенский остроумец, зачем-то оставшийся до вечера в Павлове, пожимался от холода и имел угрюмый вид.

— Что, наслушались дужкинских речей? — сказал он, догнав меня и идя рядом.

— Наслушался,— ответил я.— Да и есть чего послушать: человек умный.

— Колй не умный! — сказал Аверьян.

Со стороны небольшой фигурки, вприпрыжку бежавшей за нами, послышался вздох. По этому вздоху я узнал смиренного человека.

— А, и вы здесь?

— А то где же? — грубо перебил Аверьян.— Сколь времени дожидались. Видно, у скупщика чаем вас подчивали, да, видно, сладко...

— Да вы зачем же ждали? Мне почем было знать.

— Будет вам уж по скупщикам ходить. Пошли бы нашу бедноту посмотрели. Мы бы вот и свели вас куда надо... Идете, что ль?

Мы пошли кривыми переулками и взъемами и скоро вышли в поле, на какую-то гору. Ветер вздымал струйки сухого снега и крутил их в воздухе, перекрывая холодные звезды. Последние огоньки крайних избушек как-то сиротливо светили на широкий пустырь, угрюмо расстилавшийся в морозной дали. Мы подошли к какимто рытвинам, ямам и развалинам.

— Вот тут первый завод ставлен, от него и ямы остались,— сказал Аверьян.

Я остановился в невольном раздумье. Так это Семенья гора, а это первый очаг павловского производства? Здесь стоял первый заводский горн, здесь громыхал молот, здесь добрый помещик видел своих людишек в аду и думал их вывести, потушив заводские огни?

Резкий ветер, налетавший из клубившейся морозною пылью пустой и темной дали, не позволил мне предаваться долгим размышлениям, тем более, что Аверьян уже шел по направлению к ближайшим огням и нетерпеливо звал меня за собой.

Через несколько минут он исчез, согнув свою могучую спину, в какой-то лачуге, и вышел оттуда с небольшим человеком, в огромной шапке, в таких же огромных валенках и в переднике. Человек этот почтительно поклонился, поздоровался со всеми за руку и предложил мне себя в провожатые.

Затем мы начали свой обход.

Я не стану утомлять вас подробностями. Сам я, обойдя несколько домов, где меня встречали очень радушно, а иногда с какою-то безотчетною надеждой, попросил у Аверьяна пощады... Но неумолимый Аверьян шел из дому в дом, от лачуги к лачуге, развертывая передо мной картины одну безотраднее другой...

Прежде всего мы подошли к крохотной избушке, лепившейся к глинистому обрыву. Таких избушек в Пав-

лове много, и снаружи они даже красивы: крохотные стены, крохотные крыши, крохотные окна. Так и кажется, что это игрушка, кукольный домик, где живут такие же кукольные, игрушечные люди.

И это отчасти правда... Когда мы, согнув головы, вошли в эту избушку, на нас испуганно взглянули три пары глаз, принадлежавших трем крохотным существам.

Три женские фигуры стояли у станков: старуха, девушка лет восемнадцати и маленькая девочка лет тринадцати. Впрочем, возраст ее определить было очень трудно: девочка была как две капли воды похожа на мать, такая же сморщенная, такая же старенькая, такая же поразительно худая.

Я не мог вынести ее взгляда... Это был буквально маленький скелет, с тоненькими руками, державшими тяжелый стальной напильник в длинных, костлявых пальцах. Лицо, обтянутое прозрачною кожей, было просто страшно, зубы оскаливались, на шее, при поворотах, выступали одни сухожилия... Это было маленькое олицетворение... голода!..

Да, это была просто-напросто маленькая голодная смерть за рабочим станком. Того, что зарабатывают эти три женщины, едва хватает, чтобы поддерживать искру существования в трех рабочих единицах кустарного села. Но жизнь все-таки тлеет, и все-таки под ее влиянием и здесь, в крохотной избушке, старое старится, молодое растет. Но только голод и непосильная работа страшно уравняли старое и молодое; одни глаза девочки, смотревшие мягко, жалобно, с безмолвным вопросом и как будто с немою просьбой о пощаде, сразу указывали возраст этой крохотной кустарной работницы.

Такой детский взгляд выносить очень трудно. Старики много знают или. . уж очень много забывают. Наконец, старики, так или иначе, погрешали уже против жизни. Но дети неповинны в ее неправдах, и потому у них сохраняется какое-то странное инстинктивное сознание или, вернее, воспоминание о своем естественном праве. За что они страдают? Где тут правда? Когда такой глубоко сознательный детский взгляд устремляется на вас и в нем светится раннее страдание и этот упорный вопрос, вам нечего ответить, и вы невольно отворачиваетесь,

чтобы только избегнуть этого безмолвного, тяжелого упрека...

Эти три существа работают с утра до ночи, занимаясь отделкой замков. Нищета есть везде. Но такую нищету, за неисходною работой, вы увидите, пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь городского нищего. протягивающего на улицах руку, да это рай в сравнении с этою *рабочею* жизнью!

— Вот она в корню у меня,— указала старуха на старшую дочь. Та отличалась от обеих тем, что гораздо более походила на живого человека, хотя ее лицо тоже было бледно и нездорово. Тем не менее она отдавала даже некоторую дань кокетству, если не одеждой, которая была так же бедна, то хоть прической, по-городскому, с челкой...

Пусть осуждает, кто может!

Я отдал девочке несколько денег и вышел, отвернувшись, чтобы не видеть жалкой улыбки, странно заигравшей на этом ужасном лице. Но я, все-таки, унес ее взгляд с собой, на темную павловскую улицу.

Я не привожу вам цифр их работы и заработка. Кругом — на окнах, на лавке, на стенках — я видел груды отделанных по-белому замков, а только что описанная картина говорит о результатах этой работы красноречивее, чем могли бы сказать самые точные цифры. Если же кто заподозрит меня в преувеличении, то описанная мною избушка, да и много таких избушек, стоит все на том же месте. Сто̀ит только спросить вдову Пряничникову (она же Блударева) — на Семеньей горе. Мне не раз приходилось жалеть о том, что я не живописец, но никогда я не жалел об этом так сильно, как в этот раз. Да, достаточно было бы нарисовать эти три фигуры, и, может быть, мне незачем бы было тратить так много слов на изображение павловского кустарного строя.

Выйдя из этой избы, мы подошли к большому, двухэтажному темному дому. Мрачное старое здание село передними подгнившими венцами, как обессилевшее животное, упавшее на колени. Окна уже врастали в землю, а крыша наклонилась вперед.

И опять дети!

Нащ провожатый отворил дверь, и мы вошли в сени. Огня нигде не было видно, но откуда-то из темноты слы-

шался несмолкающий детский плач. Удары в запертую дверь прозвучали резко и громко, отдаваясь в верхней нежилой части старого дома.

Послышалось быстрое шлепанье босых детских ног, остановившееся у двери. Голос другого, плачущего ребенка не смолкал. Он то всхлипывал, то «заходился» от неудержимого плача.

— Тятька, ты? — спросил из-за двери мальчик, по голосу лет пяти.

— Отопри!

— Да ты кто?

— Иван Афанасьев.

— Не знаю я. Тятьки нету. Ах ты, господи!.. Молчи ты, Митенька, молчи.

Ноги зашлепали быстро в глубь избы, и слышно было, как мальчик уговаривает братишку. Через минуту опять он подбежал к двери.

— Вы здесь еще?

— Здесь.

— Не пущу я. Тятька ушел.

— Куда?

— Пальто в залог утащил.

— Зачем без свету сидите?

— Свечка догорела. Мамка пошла свечку просить, да вишь долго не идет. Боюсь я.

И голос мальчика тоже вздрагивает. Но в это время маленький опять заливается, наш собеседник бежит к нему, а мы стоим в нерешительности.

— Мамынька, темна-а...— слышится горький плач.

— Молчи, вот тятька придет.

— Темна, темна-а... А, мамынька, темна-а-а...— продолжает заливаться тоненький жалобный голос, и этот крик я опять уношу с собой на улицу, пускаясь дальше за Аверьяном.

Мы подходим к третьему дому. Изба просторная, светлая, на стенах обои, небольшое зеркальце, кровать с занавеской. Но навстречу мне сверкает испуганный взгляд, очевидно задавленного судьбою, пришибленного человека. Узнав, зачем мы пришли, он успокаивается и из мастерской приглашает нас за перегородку, где у стола сидит его жена и ковыряет шилом громадный ва-

ленок. Она полой кафтана стирает пыль со стула и приветливо приглашает нас садиться. Женщина еще молода, и на ее лице из-под бледности и печали проглядывают следы красоты. Во всей квартирке еще видны следы недавнего достатка.

— Что вы это делаете — для себя или по заказу?

— Лю́дям на̀сторону. Вот чем кормиться пришлось,— говорит она, стараясь улыбаться. Сначала улыбка эта действительно освещает лицо, но тотчас же губы молодой женщины вздрагивают, и смех покрывается плачем.

Над этою семьей висит неотвратимая невзгода: недавно в доме, в передней избе, где мастерская, рухнул потолок. Это происшествие, надо заметить, очень часто теперь в кустарном селе: я был в Павлове раза четыре, и из них два раза в мою бытность проваливались потолки. Стоит, стоит, да вдруг рухнет. Обвалилось в одном месте, там в другом, там в третьем...

На этот раз задавило мальчика и сильно ушибло хозяина. Его испуганный, пришибленный взгляд — это взгляд человека, которому грозит долгая болезнь, при невозможности работать, то есть гибель, потому что в кустарном строе нет даже слабых попыток обеспечить рабочего от случайности. Настигло человека невзгодье— и гибель идет на семью неотвратимыми, неумолимыми шагами. А кругом такие же избушки, грозящие таким же падением, только жмутся от страха и ждут своей очереди!

На полу, в куче тряпья, наваленного у перегородки, что-то зашевелилось.

— Что это у вас в рунье́? [1] — спросил Аверьян.

— А это Марьюшка-дурочка. Вчерась пришла.

— Дурочка это, в руньях лежит и стонет,— говорит мой провожатый, указывая на груду тряпья с таким видом, как будто я, сторонний человек, могу и не понять объяснения женщины.— Она дурочка, в полях больше находится. Да, видно, познобилась.

— На колокольне ночевала,— говорит женщина, кидая по направлению к «рунью» взгляд сожаления.—

---

[1] Рунье — старое тряпье.

Что делать, не выгонишь... Самим бы есть нечего, а жалко.

Губы ее опять слегка вздрагивают. Муж бессильно разводит больными руками.

— Да вон поди ты! Еще лечит меня, даром что дурочка. Покушай, говорит, мелку, мелку покушай. И кушаю, а то доктора совсем отступились. Вишь, дом был развалённой. Все прикапливали маленько,— вот поправим, вот поправим. А он, видишь, не дождался, да и упал... О господи!

Несмотря на всю тяжесть положения, в этой семье живет еще какая-то надежда, и центром ее, как кажется, является эта бодрая, красивая женщина, зашивающая валенок и призревшая дурочку. На что эта надежда? На здоровые руки жены, на дурочку, от лечения которой мужу становится легче, да на бога... От людей трудно ждать помощи инвалиду труда в кустарном селе...

Наш путь из этой избы лежал опять мимо темного дома, поэтому мы опять завернули в сени, надеясь, что хозяин уже вернулся. Но надежда не оправдалась; в окнах не было огня, и из глубины опять слышался плач:

— Мамынька, темна-а, темна-а...

Описывать ли дальше наш обход по Семеновой горе? Описывать ли эту бедноту за станками, этих голодающих людей, детей, плачущих в темноте, этих кустарных стариков, с горбами на правых лопатках, со впалою грудью с левой стороны, с отупевшим, испуганным взглядом?

Я думаю, довольно. Я не хочу терзать читателя, как терзал меня безжалостный Аверьян. Я и без того боюсь уже, что меня заподозрят в тенденциозности и преувеличениях.

Поэтому я спешу оговориться. Да, таких домов — меньшинство, пожалуй, незначительное. Да, такие картины вы встретите не на каждом шагу. Но они есть, и вы их все-таки встретите немало, и этого, мне кажется, довольно потому, что это *нищета трудовая*!

Наконец, истомленный безотрадными картинами, раздав уже все бывшие при мне деньги и чувствуя себя совершенно беззащитным, я наотрез отказался следовать за мучителем Аверьяном.

Мы стояли на льду реки Тарки. Холодная изморозь все сеялась сверху, мелькая сеточкой на диске полной луны, вставшей над горами. На нас с крутого обрыва глядели кустарные домики, разваленные крыши, какие-то бревна, торчавшие в хаотическом беспорядке.

Смиренный человек, как и я, смотревший на эту картину, глубоко вздохнул и сказал, обращаясь ко мне:

— Ох-хо-хо. То̀ слепой и жалится, что зги не видать!..

А затем, помолчав, прибавил:

— А что я, позвольте сказать вам, Владимир Глахтионыч, думаю... Я думаю, не те ли времена идут, о коих временах сказано: живые позавидуют мертвым?

— Перебой первородный,— подтвердил провожатый, тоже глядя кверху, из-под своей лохматой шапки, на причудливую картину кустарного села, в этом месте как будто валившегося на нас с беспорядочных обрывов.

Мы постояли молча. Я понимал настроение кустарей: ведь здесь для них весь божий мир. А их мир покачнулся и грозит падением. Мудрено ли, что им это кажется чуть не настоящим светопреставлением...

— Ну, полно каркать,— первый прервал наступившее молчание Аверьян.— Вы лучше вот что: пойдем-ко-те еще в одно место, где маленько повеселяе.

Я согласился и конец вечера провел в сравнительно достаточной рабочей семье. Здесь меня угощали чаем за столом, где хозяева сидели вместе с рабочими. Набралось еще постороннего народу, и мы долго толковали о судьбах кустарного села. Семенова гора — почти сплошь всё варыпаевцы. Старики рассказывали о бывшем старшине и о борьбе его с богачами, и у молодежи сверкали глаза при этих недавних еще воспоминаниях... До сих пор, все-таки, жив еще этот павловский раздор, до сих пор это самое чувствительное место, на котором тлеют павловские страсти.

Рано утром, задолго до света, я опять ехал, лежа в санях, по той же дороге, на которой несколько дней назад встретил Аверьяна. Только теперь огоньки Павлова, его горы, купола церквей и лачуги на обрывах остались сзади, а навстречу мне надвигалась, клубясь, развертываясь, отступая и колыхаясь, неопределенная тьма зимней ночи. И в этой тьме виднелись мне опять картины,

разговоры, сцены кустарного быта... Аверьян с его сказочкой, «лукавый заводчик», ширяющий на своих крыльях над смятенными улицами, трепетные огни у входа в подвалы, суровые фигуры скупщиков и жмущиеся к огням толпы кустарей... Затем — смиренные кустарные человечки, могучая фигура павловского старшины, бухающий колокол, суровые стяжатели, лучшие из представителей скупщицкого принципа, и бедный Мишанька, тихо плачущий по субботам у ворот дужкинского двора, в виду сияющего огнями божьего храма ..

1889-1890

В голодный год

Наблюдения и заметки из дневника

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В конце февраля 1892 года, в ясный морозный вечер, я выехал из Нижнего-Новгорода по арзамасскому тракту. Со мною было около тысячи рублей, отданных добрыми людьми в мое распоряжение для непосредственной помощи голодающим, и открытый лист от губернского благотворительного комитета, которому угодно было, с своей стороны, снабдить меня поручениями, совершенно совпадавшими с моими намерениями. Таким образом, при своей поездке я предполагал совместить две задачи: наблюдение и практическую работу. Для того и другого я, как оказалось, очень наивно, отвел себе один месяц...

Вместо одного — три месяца пришлось мне провести в уезде, не отрываясь от этой затягивающей работы, и затем опять вернуться туда, до нового урожая... Теперь передо мною мелко исписанная книжка. Это — мой дневник: факты, картины, мысли и впечатления, которые я, усталый и порой глубоко потрясенный всем, что доводилось видеть и чувствовать за день, заносил вечером, по старой профессиональной привычке, в эту истрепавшуюся дорогой книжонку, где-нибудь в курной избе, в гостинице уездного города, в помещичьей экономии. Восстановляя их теперь, я надеюсь, что они не лишены не-

которого интереса. Пусть это неполно, сбивчиво, необработано и нецельно. Зато — это прямое отражение той самой жизни, которая, со всеми своими парадоксами, проходила перед моими глазами...

Я знаю, чего ждет читатель от корреспондента из голодных местностей, в особенности от корреспондента-беллетриста: сгущенной яркой картины, которая сразу заставила бы его, городского жителя, пережить и перечувствовать весь ужас голода, растворила бы его сердце, заставила бы раскрыться его кошелек... Я знаю умных людей, приезжавших из столиц и с удивлением замечавших, что, например, в Нижнем-Новгороде на улицах не заметно никаких признаков, по которым можно бы сразу догадаться, что это — центр одной из голодающих губерний. Такие же умные (без всякой иронии) люди привозили из деревень в Нижний-Новгород самые противоречивые и спутанные известия... Даже на месте, в волостях, только привычный глаз отличит по первому взгляду голодающую деревню от сравнительно благополучной. Ребятишки катаются с гор на салазках, курится над трубами жидкий дымок, в окна глядят на проезжего равнодушные лица... А где же самый голод?

Я знаю, что, прочитывая мои листки, читатель будет, пожалуй, не раз спрашивать с таким же удивлением: а где же голод? голод, который должен потрясти, ошеломить, вывернуть человека наизнанку? «Голод, это — когда матери пожирают своих детей»,— писал еще недавно один господин. При Борисе Годунове матери, действительно, ели детей; на базарах, по свидетельству историков, продавали порой человеческое мясо; три женщины в Москве заманили мужика с дровами во двор, убили его, разрубили на части и посолили... Вот голод!..

С этого времени мы прожили почти три столетия, но и тогда напрасно было бы подозревать каждую мать в пожирании детей, и не каждый мужик с дровами подвергался опасности быть убитым и съеденным, а если бы тогда были корреспонденты, то и им пришлось бы отмечать факты далеко не на каждом шагу. Человеческое воображение устроено таким образом, что все исключительное, выходящее из ряда, запечатлевается в нем сильнее и ярче. Когда нынешнее бедствие отодвинется в прошлое, то наверное, оглядываясь на него мы увидим

над общим уровнем мрачные памятники, символы, которыми народная память отметит современную невзгоду. Дай бог, чтобы в конце девятнадцатого века они не были так ужасны, как три века назад. Надо, однако, помнить, что это именно только символы, траурные кресты, которыми отмечены крайние грани бедствия, а главная масса народного горя, сущность явления не в них. Поменьше свирепости, господа!.. Нужно, наконец, научиться признавать и видеть народное горе и бедствие там, где ни одна мать не съела еще своего ребенка... Я не имел несчастия присутствовать при агонии голодной смерти и не намерен нарочно разыскивать эти картины и терзать ими нервы читателя.

А голод, в его настоящем значении, я все-таки видел и хочу рассказать здесь, что именно я видел, как люди голодали, как людям помогали или отказывали в помощи, какие при этом возможны ошибки и отчего они происходили...

В течение двух предыдущих лет, странствуя приблизительно теми же местами, я, случайный наблюдатель-беллетрист, имел случай отметить грозные признаки. С какою-то систематическою беспощадностью, которая невольно внушает суеверную идею сознательной преднамеренности и кары, природа преследовала человека. По иссыхающим нивам то и дело проходили причты с молебнами, подымались иконы, а облака тянулись по раскаленному небу, безводные и скупые. С нижегородских гор беспрестанно виднелись в Заволжье огни и дым пожаров. Леса горели все лето, загорались сами собою: огонь притаивался на зиму в буреломах и тлел под снегом, чтобы на следующую весну, с первыми сухими днями, вновь выйти на волю и ходить пламенными кругами до новой зимы. Помню, как в течение целых недель из Нижнего видны были на горизонте над лесами огненные столбы в вышине, над густой пеленой темного дыма. Днем дым клубился, как мглистое море, а ночью будто невидимые руки подымали к небу зажженные факелы...

Голод подкрадывался к нам среди этого зноя и дыма, среди этой засухи; он был у нас, ходил по деревням уже два года, но мы его не замечали, потому что еще ни одна мать не съела своих детей. Статистическое бюро губернской земской управы получило в том го-

ду более семисот сорока корреспонденций от местных жителей из сел и деревень. Кроме обычных рубрик для цифровых ответов, каждая карточка, посылаемая корреспонденту, имела уже значительное место для особых отметок. Листки вернулись обратно, сплошь покрытые «особыми отметками» самого мрачного свойства. Деревенская интеллигенция, независимая в своих мнениях по данному вопросу и не заинтересованная в том, чтобы все казалось «благополучно», первая почуяла надвигающуюся грозу. Она не привыкла делиться своими мыслями и опасениями, не имея для них привычного исхода. Когда все семьсот сорок четыре ответа были сведены в одно целое, получилось ужасающее изображение падения хозяйства, промыслов, инвентаря, а с весны истекшего года из-под всего этого проглянул уже страшный облик настоящего голода...

Вот картина, в которой простодушная речь одного из корреспондентов губернской управы, сельского священника, возвышается порой, под влиянием приближающегося бедствия, до истинного воодушевления. Заполнив цифрами соответствующие рубрики карточки и обращаясь к изображению близко известного ему быта, корреспондент пишет, между прочим:

«В заключение, по поводу недорода хлебов в нашей местности и лесных пожаров, как священник, проповедник евангельской истины, скажу следующее: недород хлеба ощущается третий год, идет беда за бедой на обывателей земли за беззакония. Явилась гусеница, ест хлеб саранча, едят черви, доедают жуки, погибла жатва в поле, истлели зерна под глыбами земли, опустели житницы, не стало хлеба. Стонет скот и падает, уныло ходят стада волов, томятся овцы, нет для них пажити... Миллионы деревьев, десяток тысяч лесных дач погорели. Огненная стена и столбы дыма были кругом. Кто виновник всего этого? Хотя сверкали полосы молний с неба во время гроз, но не жгли и не убивали...

Слышится голос пророка (Софония 1, 2—3): «Все истреблю с лица земли, говорит господь: истреблю людей, скот и зверей, истреблю птиц пернатых и рыб...» И сколько погибло пернатого царства во время лесных пожаров, сколько рыбы в прудах от мелкой воды и от тяжести льда, а равно и от мочки мочал»...

Остановившись на время, чтобы высказать несколько совершенно основательных соображений по частному вопросу о мочке мочал в прудах, корреспондент продолжает опять в прежнем тоне:

«Скрылись от предел наших лоси, убежала куница, погибла белка. Заключилось небо и стало медяно, нет росы, пришли засуха и огонь. Погибли плодовые травы и цветы, нет ни малины, ни черники, ни клюквы, ни морошки, ни брусники, все торфяники и болота выгорели и погибли.

Землемерная вервь,— восклицает он в заключение,— куда ты идешь? Измерить долготу и широту пожарища-пустыни. Где ты, зелень лесная, свежесть воздуха, аромат бальзама соснового леса, которым исцелялись больные? Все погибло!»

Я привел эти выдержки, как чрезвычайно характерные и рисующие настроение живого человека, в душу которого заглянул ужас надвигающегося бедствия. Семьсот сорок четыре местных жителя разнообразных профессий в семистах сорока четырех почти единогласных отзывах нарисовали картину, впечатление которой обобщил автор цитированных строк. «Что чувствую, то и говорю,— пишет он в конце, вспоминая внезапно, что он не ветхозаветный пророк, а русский бесправный человек, подлежащий административным воздействиям и пишущий вдобавок на официальном бланке,— о чем спрашивают, то и отвечаю: прошу за откровенное слово не подвергать меня ответственности». Опасение на этот раз, пожалуй, напрасное, то, что чувствовал автор ответа, чувствовали с ним вместе почти все, кому доводилось видеть вблизи нивы и деревни.

Замечательно единодушие в этом отношении, которое водворилось на короткое, впрочем, время. «Бедствие ужасно, необходимы самые широкие и быстрые меры»,— говорил с необычайным одушевлением в губернском собрании председатель васильской уездной управы А. А. Демидов. В июле на экстренном уездном земском собрании в Лукоянове необходимая цифра ссуды была исчислена в 4700000 р. (для одного уезда!). Я привожу эти два случая, как наиболее характеризующие настроение того времени, когда «урожай 1891 года» был еще на полях и всякий мог его видеть. Это печальное

зрелище убеждало всякого. Еще за несколько месяцев перед тем тот же председатель васильской управы, А. А. Демидов, известный местный ретроград, возражал против всякой помощи с той самоуверенностью, которая присуща подобным господам: «Господа! мы давно уже слышим это нытье и печалование о нужде и грозном голоде. Мы слышали это уже и прошлой весной в нашем уезде. Знаете ли, как мы распорядились (с ударением и расстановкой): не дали ни зерна, никто не умер, и поля оказались засеянными». И вот, этот же самый человек и в той же зале сам уже бьет тревожный набат, и теперь все, конечно, верят, что бедствие идет ужасное, тем более, что, как оказывается, не все поля оказались засеянными и в прошлом году...

Да, это был какой-то испуг. Чудовищную цифру в четыре миллиона с лишком для Лукояновского уезда высчитали и отстаивали в земском собрании двое влиятельных гласных, земские начальники гг. Пушкин и Струговщиков. Нужно признаться, что статистические приемы господ земских начальников были ребячески наивны. Признав полный неурожай, они отрицали наличность каких бы то ни было запасов, и потому могущих прокормиться собственными средствами считали не более одного процента. На остальные девяносто девять процентов населения была рассчитана ссуда по тридцати фунтов, прибавлены семена, и вот перед собранием встала чудовищная цифра, от которой в Нижнем пришли в ужас. К счастию, губернская управа располагает статистическими данными, более точными, и статистическое бюро быстро свело размеры лукояновской нужды до более благоразумных пределов (600 тысяч). Интересно, однако, что первоначальные тревожные сведения энергично поддерживались земскими начальниками, с *уездным предводителем М. А. Философовым во главе.* Последний в письме своем к начальнику губернии особенно подчеркивал «расстройство хозяйства и истощение запасов в предыдущие годы». «Можно безошибочно сказать,— писал он 1 июня 1891 года,— что если помощь не придет своевременно, то, кроме голодной смерти, преступлений и пр.,— ожидать ничего нельзя» [1]. Но еще интереснее, что

---

[1] См. журнал Нижег. продов. ком. от 8 марта 1892 г.

те же лица явились вскоре главными деятелями в уездной продовольственной комиссии, которая приобрела такую известность именно отрицанием голода. И во главе ее выступил опять... *тот же Философов!*

Жатва убрана, поля обнажены, «урожай» печально уехал на возах в закрома, и земля ничего уже не говорит глазу... Не знаю, прав ли я, или нужно искать каких-нибудь других, менее извинительных мотивов, но только с этих именно пор очевидность нужды и необходимость миллионов сразу заменяются в убеждении земцев-дворян представлением об особенном благополучии уезда. Поля убраны, ничтожная жатва свезена, цифра урожая закреплена в сведениях статистического бюро, обсуждена представителями земских управ (в том числе лукояновской), признана единогласно в губернском собрании (в том числе лукояновскими гласными), предложена и принята в уездных продовольственных комиссиях,— и в том числе опять в лукояновской, сделавшей с своей стороны частные замечания, еще усилившие безотрадную картину... Одним словом, цифры урожая признаны всеми компетентными учреждениями в губернии...

Но к этому времени совершенно неожиданно стали вновь раздаваться на Руси «трезвые» голоса, программу которых с такой характеристичной краткостью формулировал один из щедринских героев: «ён достанет!» Читателю хорошо известна эта нота по многоголосому хору ретроградной печати. Сначала, впрочем, она звучала довольно неуверенно в письмах (покойного ныне) Фета.

В октябре в «Московских ведомостях» появилось первое письмо Фета, в котором он делился с редакцией и с публикой сведениями о мужиках той местности, где находится его имение. Оказалось, что «обычный пьяный разгул» в этом году превзошел прежние годы, что кабатчики во все стороны посылали на тройках за водкой, так как обычного запаса в этот год не хватило; что безобразия заставляют трепетать перед возможностью пожаров, но,— что всего важнее,— инженеры (строящейся железной дороги), «изготовив тачки и лопаты, предложили местным крестьянам работать по двадцать три рубля в месяц пешему крестьянину и тридцать пять рублей конному рабочему. Явились рабочие, но на третий день,

сказав: «Мы не каторжные», ушли с работы, говоря: «Я по миру отправлюсь и наберу рубль в день, и лошадь накормлю, да еще и водочки выпью».

Это была как бы программа дальнейшей невежественно консервативной лжи по вопросу о голоде: вместо голодающего народа в ней выдвигался образ лентяя, обманщика, пьяницы и попрошайки. Вслед за этим крестьяне были обвинены в поджогах, и обвинитель спрашивал, неужели продовольствие будет доставляться и в те селения, которых жители «с увлечением предаются истреблению уцелевших запасов?»

Все это шаг за шагом было опровергнуто фактами и цифрами из самых компетентных источников. Местный губернатор написал о железной дороге: оказалось, что на ней нет отбою от рабочих, хотя плата совсем не так выгодна, как казалось г. Фету; земский начальник Землянского уезда реабилитировал мужиков от повального пьянства и увлечения поджогами. Всего превосходнее, однако, для характеристики всего последующего,— ответ поэта землянскому земскому начальнику. Признавая весьма отрадным факт личного присутствия земского начальника в якобы пьяном селе (где «он не видел ни одного пьяного и даже по виду нельзя было сказать, что здесь было престольное празднование»),— автор писем в «Московских ведомостях» все-таки рассчитывает, что его оппонент «станет на его сторону», и вот по каким тончайшим соображениям: «Мы хотим сказать, что народная жизнь состоит из двух вод, из которых одна, подобно Роне, пробегает через Женевское озеро, не смешиваясь с его струями. Продолжая сравнение, мы всякое создание ощутительных экономических ценностей приравняем к Женевскому озеру, а мир отвлеченных знаков (?!) тех же ценностей сравним с Роной. Для первых (?) *ценности* представляют основу, а денежные знаки — цель; для других, наоборот, *денежные знаки* — основа, а ценности — цель»... и т. д. Как видите, понять что-нибудь в этом замечательном ответе совершенно невозможно. Ясно только, что все это старый отблеск крепостнических традиций. В этом смысле эта наивная полемика крепостника-поэта заслуживает помещения в хрестоматиях. Всюду, где бы ни приходилось нам, провинциальным наблюдателям, встречаться с подобными отрицания-

ми очевидного факта, всюду видим мы те же типические черты. Первая из них, это — легкость, с какой люди делают (по счастливому выражению Н. Ф. Анненского) «массовые выводы из единичных наблюдений»... Вторая — невежественное презрение к цифрам, обобщающим, наоборот, массовые наблюдения в единичные осторожные выводы; затем явная фактическая неправда и,— наконец, на все доказательства упрямое бормотание о каких-то «двух водах», противопоставляемое всяким очевидностям... И все это, освещенное блудящими «вечерними огнями», при свете которых все еще бродят на Руси призраки крепостного прошлого...

У нас, в Нижегородской губернии, которую я буду иметь почти исключительно в виду на протяжении этих очерков, тоже встали вдруг эти призраки. Они рассеяны всюду, нельзя даже сказать, чтобы «понемногу»,— но главный приют их, это — дальний угол нашей губернии, по рекам Алатырю, Теше и Рудне, в Лукояновском уезде. Если г. Фет, с настойчивостью, достойной лучшего дела, спорил даже с администрацией своей губернии, то деятелям Лукояновского уезда нужно было еще более решительности: они вступили в спор сами с собою. От цифры 4700000 компания земских начальников с предводителем во главе быстро спустилась вниз, не остановившись даже на цифре губернского земства... Затем имена гг. Философова, Пушкина, Струговщикова и других членов продовольственной комиссии украсили собою постановление, которым от уезда, «без объяснения причин», отстранялась половина ассигнованной правительством ссуды (300 тысяч).

Теперь лукояновская полемика давно уже закончена, и если вы дадите себе труд просмотреть ее всю хоть бы по журналам нижегородской продовольственной комиссии, то перед вами предстанет замечательная картина маловероятного спора: вначале земские начальники бьют тревогу и требуют четыре с половиной миллиона. Земство, с цифрами и выкладками в руках, успокаивает их и сводит ужасающую цифру до размера шестисот тысяч (в семь с половиной раз меньше!). Тогда земские начальники, признав все цифры, не возражая против выкладок,— внезапно, по какому-то необъяснимому капризу,— не желают уже шестисот тысяч и требуют только триста.

Почему? Напрасно у них просят хоть какого-нибудь объяснения... «В Женевском озере две воды»...— писал г. Фет. «У бога всего много»,— благочестиво заявляет г. Философов, председатель лукояновской уездной комиссии. Всяких цифр он избегает... Самое требование доказательств господа лукояновцы считают за оскорбление; лукояновская комиссия приводит в движение небо и землю, апеллирует к кн. Мещерскому, отвергает триста тысяч, отказывается даже от предложения взять хоть пятьдесят тысяч пудов про запас, на всякий случай, во избежание возможных последствий ошибки...

И вот, вся читающая Россия присутствует при замечательном примере какой-то особенной уездной автономии в продовольственном вопросе. Внезапно, неожиданно и вследствие совершенно необъяснимых побуждений, уездный продовольственный комитет (учреждение, заметим в скобках, тоже совершенно импровизированное и тогда еще законами не предусмотренное) опровергает сам себя, против каждого положения своих же членов выдвигает противоположение, опрокидывает все расчеты, принятые в губернии, устанавливает свои «физиологически необходимые» нормы питания и вступает в систематическую и упорную борьбу с губернским центром... И взгляды всех мужиконенавистников во всей России обращаются с надеждой на дальний уезд, где кучка земских начальников с предводителем во главе храбро борется за отстранение помощи от голодающего народа...

Такова в самых общих чертах история, которая в шутку называлась у нас «историей отложения Лукояновского уезда», но которая наводит несомненно на размышления совсем не шуточного свойства... «Как солнце в малой капле вод»,— в этой истории отражаются глубокие признаки крепостническо-дворянской реакции в нашем «пореформенном строе».

Губернатором в Нижнем в этот памятный год был весьма известный генерал Н. М. Баранов, моряк, «герой Весты» и громкого процесса, окончившегося его отставкой; потом адъютант генерал-губернатора Гурко, петербургский градоначальник, почти опальный архангельский губернатор... человек несомненно даровитый, фигура блестящая, но очень «сложная», с самыми неожиданными переходами настроений и взглядов... Еще в де-

кабре и начале января он сам стоял почти на лукояновской точке зрения, и потому командированные им чиновники в своих «докладах» опровергали «необычайный голод» и подтверждали «необычайное пьянство». Но к февралю начальник губернии круто переменил свои взгляды, согласился с неопровержимыми выводами земской статистики (во главе которой стоял Н. Ф. Анненский) и перешел на сторону «кормления». С этих пор и его чиновники стали опровергать необычайное пьянство и подтверждать наличность голода... Так как лукояновские деятели, наоборот, от признания голода перешли к его отрицанию, то губерния вступила в конфликт с уездом.

Это был период «возрождения дворянства». Новый институт земских начальников привлекал внимание и возбуждал крепостнические надежды. Министром внутренних дел был покойный Дурново, сам из «предводителей». Поэтому трудно было сказать, кто останется победителем в этом споре.

Узнав, что я намерен отправиться именно в Лукояновский уезд, чтобы там открыть столовые на деньги, поступившие в мое распоряжение через редакцию «Русских ведомостей», генерал Баранов сильно поморщился.

— Но ведь вы знаете... уезд совершенно крепостнический... Будут доносы... исправника Рубинского я уже сменил, но вся полиция на их стороне...

У генерала Баранова был для меня готов другой план. Один из его родственников, камергер, отправлялся в экспедицию по Васильскому, Сергачскому и Княгининскому уездам. Результаты этой экспедиции он намеревался представить в виде доклада в какие-то высоко официозные сферы. Если бы я захотел помочь в составлении этого доклада...

Я поблагодарил генерала Баранова, но решительно отклонил план «удобного путешествия» в свите камергера. По моему мнению, «крепостнический уезд» наиболее нуждался в частной помощи и представлял наиболее интереса для наблюдения. Кроме того, я предпочитал пуститься в это плавание под собственным флагом.

В конце февраля я выехал из Нижнего по направлению к крепостническому уезду, куда и приглашаю за собою читателя... За исключением небольших, необходи-

мых по ходу повествования, отступлений, читатель найдет здесь подлинное отражение того, что я видел, в хронологическом порядке.

Голод в деревне и борьба уезда с губернией,— такова основная канва, на которой располагаются мои впечатления этого тяжелого года...

I

ДОРОГОЙ.— ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО.— «МИР» И ПОМОЩЬ

Полночь 25 февраля... Наша утомленная тройка остановилась в д. Беленькой, на арзамасском тракте. Холодный ветер гнал высоко по небу белые облака; луна светила прямо в темные окна спящей, занесенной снегом избы, куда стучался наш ямщик, выкрикивая как-то безнадежно: «Хозявы, а хозявы, хо-зя-вы!..»

Кругом избы на улице стоит множество саней с хлебом. В избе хоть топор вешай. Отовсюду, с полатей, с лавок, снизу и сверху несется богатырский храп. Это возчики, везущие хлеб в Лукоянов... Пока хозяин суется спросонок с фонарем по темному двору, вяло снаряжая нас в дальнейший путь, а мой попутчик отдыхает на полатях, пока покормят лошадей,— я сажусь к столу, на котором коптит плохенькая керосиновая лампа, чтобы набросать в своем дневнике эти первые строки.

Я не думал, что мне придется раскрыть свою книжку так скоро, но судьба сразу же вводит меня в круг «продовольственных» встреч и впечатлений. Сегодня утром, когда я явился на двор, где нанимают «вольных ямщиков»,— к хозяину, торговавшемуся со мной, как-то боком подошел мужичок, с лица очень похожий на татарина, и, внимательно прислушавшись к нашему разговору, предложил мне себя в попутчики. Хозяин сначала очень холодно отклонил это предложение, однако, когда к моему крыльцу под вечер подъехали сани,— я увидел в них этого самого Потапа Ивановича Семенова, которого встретил утром. Оказалось, что я не сумел поторговаться и заплатил значительно дороже, чем бы следовало с одного. Это дало возможность сбавить плату Семенову, и общая цифра достигла нормы. Таким образом, Потап Иванович едет до некоторой степени на

мой счет, что подало ему повод свалить на меня же и плату ямщикам на чаек и тому подобные мелкие расходы. Из этого я должен был понять, что Потап Иванович человек благоразумный и обстоятельный..

В течение двадцати минут, которые я употребил на сборы и на прощание, Потап Иванович тоже не терял времени даром. Он успел расположить багаж в повозке таким образом, что кованый угол его чемодана пришелся как раз у меня за спиной, а моя подушка — за спиной Потапа Ивановича. Это было устроено с такой быстротой и уверенностью, что понравилось даже мне самому... Я очень люблю цельность подобных типов и наивную непосредственность их почти детского эгоизма. Поэтому в течение первого же получаса пути мы разговорились, как старые знакомые.

Я узнал, во-первых, что Потап Иванович вовсе не татарин, а крестьянин из-под Арзамаса, вероятный потомок какого-нибудь «эрзи». Во-вторых, что он очень религиозен и мечтает о посещении Киева.

— Мощи там хорошенькие,— говорит он.— Пуще всего,— жена донимает: вези да вези. Так ее душа желает...

Потап Иванович не прочь удовлетворить это благочестивое желание, если только на них обоих выдадут удешевленные билеты.

— Можно это? — спрашивает он, уставляясь в меня своими острыми глазками.

— Не знаю,— ответил я.

— Сказывают, голодающим дают на заработки.

— Так ведь это голодающим и на заработки!

— Ну, ничего! Авось выдадут.

Боже мой! Потап Иванович и не подозревает, очевидно, сколько самых жестоких выводов относительно «якобы голодающих» мужичков можно бы, при желании, вывести из его наивного притязания на дешевый проезд к «хорошеньким мощам»... Вот и выдавай этим «мошенникам» даровые билеты!..

Дальше я узнал от Потапа Ивановича, что он мясник, деревенский богач, делающий хорошие дела с дешевой скотиной, которой он прирезал с осени и на зиму «не есть числа», и, кроме того, что он состоит членом одного тайного общества.

Да, не шутя! В селе Остоженке[1] образовано,— по инициативе, впрочем, господина земского начальника,— настоящее тайное общество, заседания которого происходят в самой таинственной обстановке. Общество носит название «сельского попечительства» и имеет целью составление и исправление списков на предмет выдачи земской ссуды.

— У нас,— говорит мне Потап Иванович не без самодовольства,— отлично устроено: священник, староста, хороших мужиков с пяток. Советуем. . Собираемся мы раз в неделю, у меня, у священника, иной раз хоть и в конторе. И сейчас, брат ты мой, не то что двери — оконницы на запор. Ник-кого чтобы ни под каким видом ни ногой! Никто не моги слышать, что говорим мы. Клятву тоже промеж себя положили, икону снимали.

— Это все зачем же?

— А чтобы проносу не было, как же! У нас так: у кого нога ногу мало-мало еще минует,— тому не даем. Сейчас я, например, говорю: Ивану Малаеву не надо, продышит... Так ведь он, Малаев, узнает, злобиться на меня будет. Так вот гля этого, гля, собственно, злобы... А то, брат, ноне народ такой,— меланхолически и как-то таинственно прибавил он: — нонешние времена народ не годится вовсе. Священнику вон окна побили.

— За что?

— А за то! Сказал: тому не надо, другому не надо. Больно смело говорил. Теперь осторожнее стал. Не знаю, мол,— попечительство так изделало, больше ничего... На всех злобились... Ноне, брат, народ не прежний: по селу едешь и то тебе из окна кулаком грозят... Хорошо это?

— Ну, а это за что?

— Ни за что,— еще более меланхолично прибавил он.— За то, что работаю и имею достаток. Мен[illegible], напримерно сказать, одна-те зоря на работу [illegible]ит, другая выгонит, вот я и богат... А они этого не понимают...

Я вспомнил о сундуке и подушке и подумал, что если в деревенской жизни Потап Иванович располагает вещи по той же системе, то, пожалуй, можно бы найти и дру-

---

[1] Собственные имена как этой деревни, так и Потапа Ивановича вымышлены.

гие причины столь красноречивых доказательств любви к нему односельцев. Однако я промолчал. Рассказ о тайных заседаниях сельского попечительства, состоящего из таких же Потапов Ивановичей и вершающего судьбу большинства, которое ждет решения с замиранием сердца и с затаенной злобой,— показался мне и поучительным, и интересным. Так вот что значат порой сельские попечительства!!.

— Ну, а себе вы назначили пособие? — спросил я.

— Не.. Мне дай бог и свое-то приесть.

— Хорошо! А круговая порука?

— А разве будет круговая-те? — как-то вдруг насторожившись, спросил он.

— Я не знаю. А вам разве не объявляли?

— Нет! У нас не вычитывали. Ежели б круговую объявили, мы тогда как-никак отбились бы и от пособия!

— То есть, как же это?

— Так, не дали бы приговору, богатые-те мужики...

— А бедняки?

— А бедняки как знают. Нам разве охота за них платить... судите сами.

Он помолчал, закрываясь шубой от резкого ветра, и потом прибавил:

— Нет, пожалуй, нынешний год не отбиться бы. Вот чем не отбиться, что народ разлютуется. Ноне, брат, так бывает, что овин без хлеба, и сушить бы нечего, а горит... Понял?

Я понял. Опять мы едем молча, то и дело обгоняя обозы. Сани стучат отводами об отводы, лошади жмутся на узкой колее, пристяжка то и дело утопает в сугробах. И это по всей дороге от самого Нижнего.

— Боже ты мой, какую силу хлеба везут! — замечает Потап Иванович.

— А что,— спрашиваю я,— ежели бы этого хлеба не везли вовсе?..

— То-то вот,— с озабоченностью на выразительном лице говорит он.— Беда бы. Я так полагаю: большое количество народу извелось бы... Который человек сроду не воровал — и тот стал бы похватывать, а кто прежде воровал, тот уж пошел бы на грабеж, на разбойство, на этаки вот штуки пустились бы... Надо бы уж какнибудь в острог попадать, кормиться нечем...

— А вы вот хотели бы от ссуды отбиться...

— То-то не отбиться бы. Да у нас, слава богу, не вычитывали круговой-то. А то было бы здору в обществе, не приведи бог! Общество у нас несмирное, вдобавок...

— Хорошо. А кто же тогда платить будет за ссуду? Ведь отдавать ее придется...

— Отдавать,— замялся он...— Так вот вы говорите — отдавать! А не возьмут!

— То есть, кто же не возьмет?

— Да никто и не возьмет, потому, что взять нечего. Я вот вам скажу, только бы мне в стороне остаться, а то почему не сказать... Народ больно изгадился, не годится вовсе. У меня бабушка померла лет с восемь назад, а была древняя: француза помнила и имела прозорливость. Говорила так: пойдет по миру змей огненный, весь свет исхрещет. Стало быть,— генеральская межева или вот еще тянитьё...

— Это что за тянитьё?

— Вот,— указал он на телеграфную проволоку, звеневшую на ветру у дороги.— Потом, слышь, стала кричать с печки: ай воля, ай воля! Не чаяли мы и воле быть, а пришла, по ее слову. Потом, опять, насчет вина: «ай вольно вино!» И верно: вышла воля вину... зинули народы-те на винище, а там, говорит, и последним временам недолго уж стоять, после воли-те...

Он остановился, видимо, сам запутавшись в этом мрачном лабиринте из тянитья, межевания, воли, винища, выкрикиваний бабушки и собственных соображений... Сколько, однако, публицистов, которые, обсуждая нынешнюю невзгоду, не могут выбраться из того же лабиринта! Это соображение заставило меня терпеливо выслушать несвязную речь деревенского философа, рассуждающего о недугах деревни, и затем я направил разговор на прежнюю тему.

— Так почему же, все-таки, не отдадут ссуды?

— Где отдать! Мы вот мясничаем, по дворам ходим, так нам видно: где прежде бывало две коровы, два теленка. две лошади, два жеребенка, свинья, пять-шесть овец,— одним словом, весь двор во скоте...— теперь пусто: одна лошадь, одна корова, а много и таких: нет ничего. Теперь годов пять-шесть вот какого урожаю нужно, чтобы народу-те мало-мало на крестьянскую сте-

пень стать без возврату ссуды. А то где уж... С круговой-то порукой и то не взыскать бы, а без поруки подавно... Эх, ветер-то какой, проносный!..

Дальше мы едем уже молча, Потап Иванович все запахивался, ворча и жалуясь на «проносный» ветер, который все время свистел нам в уши, кидал в лицо мелкою, острою морозною пылью, застилавшей неясные дали глубокой ночи. Где-то далеко и смутно темнели леса. По дороге, сплошь избитой «шиблями», как здесь называют ухабы,— мы то и дело обгоняли обозы. Впереди, назади, почти без перерыва тянутся они темными лентами, теряясь в холодной мгле... Куда они идут, как распределятся, кому принесут помощь?.. И воображение невольно бежит за этими вереницами темных точек, ныряющих по ухабам и утопающих в неопределенной мгле.

Воля, «генеральское межевание», винище, телеграфная проволока... Поговорите с любым «умственным человеком» старого закала, и едва ли он представит вам что-либо более связное для объяснения нынешнего бедствия. Все это, конечно, пустяки, туман мысли, случайные ассоциации, в лучшем случае — симптомы, поставленные на место причин и механически связанные наивною деревенскою мудростью. Не пустяки, однако, то обстоятельство, что и народная мысль часто связывает все это в известную перспективу, которая тянется от прошлого к будущему, отодвигая начало бедствия подальше стихийных случайностей одного-двух годов. Не пустяки этот рассказ о тайных заседаниях попечительства, о разбитых окнах, самовозгорающихся овинах. Правда, Потап Иванович, как и вообще люди, привыкшие, проезжая по селу, видеть сжатые кулаки в окнах своих добрых соседей, склонен, по-видимому, к некоторой нервности и преувеличениям. По общему отзыву, количество преступлений в нынешнем году даже уменьшилось. Однако глубокая рознь, разъедающая деревенский мир, составляет несомненный факт, и иллюстрируется он далеко не одними Потапами Ивановичами...

Много столетий мы, «командующие классы», только брали от крестьянского мира все, что надлежало. Для этого многовековая практика выработала отличный привод, называющийся круговой порукой. Предполагая

в общине нечто цельное, с полною гармонией внутренних интересов, мы брали, что надлежало, с первого Ивана, у которого можно взять, предоставляя всем им установить равновесие, как знают. И деревенский мир устанавливал эту гармонию все равно как, хорошо или худо. В этом, приблизительно, сущность круговой поруки.

Но вот наступило время, когда роли поменялись. Давать, давать сейчас, непосредственно, приходится уже нам, а принимать — крестьянскому миру. Мы должны помочь той его части, которая более всего в этом нуждается. Как найти истинную нужду, кому именно дать ссуду и сколько? Кто же знает это лучше самих крестьян? И вот механизм начинает действовать в обратном порядке: мы даем «миру», мир должен распределить в своей среде. Оказывается, однако, что это дело гораздо более трудное. Привод, как шестерня с задерживающим рычагом, действует хорошо только в одну сторону. Брать этим способом легко, давать — трудно. Отовсюду мы слышим жалобы: гармония интересов в среде крестьянского мира оказывается фикцией! Помощь попадает не туда, куда надо, получают не те, кому, по нашему мнению, следует получить. Мир в целом, со своим «равнением по душам», становится между голытьбой и помощью. Первую партию муки, присланной в начале осени, крестьяне тотчас же раздробили на микроскопические доли. Досталось каждому по пяти фунтов! «Пошло на распыл»,— острили по этому поводу. В одном уезде исправник, получив сто рублей от благотворительного комитета, сдал их на руки властям большого села для помощи наиболее нуждающимся. «Мир» с быстротой паровой машины разделил деньги опять «по душам»: пришлось на душу по семи копеек. Земские начальники расстроили себе нервы, проверяя списки. «Проверка списков» — это домовые обыски у любого мужика, провинившегося только в том, что он просит ссуду; это — заглядывание в горшки, это взлом половиц, это экскурсии в подполье... Представьте только себе взаимные отношения на этой почве. Один земский начальник нашей губернии, огорченный всей этой процедурой до окончательной потери терпения, приговорил старуху, «неправильно просившую ссуду», по статье о незакон-

ном прошении милостыни и настаивал в съезде на обвинении... Сколько горьких речей, сколько желчи и укоров по адресу народа!.. Они обманывают, они скрывают хлеб, у такого-то найдена мука, у такого-то картофель... А между тем, если бы, вместо гоньбы по закромам и преследования частных случаев, захотели лучше вдуматься в систему самых отношений к народу, то, наверное, пришли бы к заключению, что деревня не так уж виновата. Вся эта система требует живого обновления. У деревни привыкли брать, давать не умеют. Хотят дать одним, которые не в состоянии платить, а уплаты требуют с других. Представьте только, что в городе, где вы живете, ввели бы принудительные и притом довольно крупные пожертвования, и скажите, как бы вы отнеслись к этому. Деревня жертвует не мало,— по-своему и добровольно. Посмотрите на эти массы нищих, у каждого окна получающих кусок хлеба... Но принудительного пожертвования, хотя бы и в пользу своих односельцев, она избегает теми средствами, какие у нее под руками. В этом отношении средний деревенский мужик похож на среднего горожанина: он хочет платить только за себя... А так как ссуду потребуют со всего мира, то есть с плательщика, то и взять ее считает себя вправе плательщик, которому, вдобавок, тоже пришлось очень плохо. Полумистическое представление о каком-то особенном народном «укладе», где богатый или средний член общины охотно и сознательно берет на себя бремя своего неимущего собрата,— увы! — только фикция. Факт состоит в том, что и в общине кипит уже разлад и антагонизм интересов, что теперь это явление проступает с особенной яркостью, что с ним надо считаться...

Однако — факт, хотя и совсем другого рода, состоит также и в том, что хозяин, сонный и сердитый, вошел уже со своим фонарем со двора, где он налаживал что-то очень долго,— и сообщает, что все готово. Потап Иванович с недовольной и кислой миной лезет с теплых полатей, возчики начинают шевелиться. Итак, надо кончать. Вероятно, мне придется еще не раз возвращаться к этому вопросу, так как в нем, сколько я могу судить, общий фон нынешних отношений... То обстоятельство, что мне, беллетристу по профессии, приходится набрасы-

вать в деревенской избе эти торопливые строки об общине и круговой поруке, а читателю придется их перечитывать,— тоже, быть может, является фактом, заслуживающим некоторого внимания. Да, надвигаются вновь эти неотвязные вопросы серой мужицкой жизни, основательно забытые, отодвигаемые на задний план даже в литературе и теперь так властно заявившие вновь о себе...

Опять дорога, опять морозная мгла, еще темнее, так как луна закатилась, опять обозы, то и дело стучащие отводами по нашим саням...

— Куда?

— В Лукоянов с семенами...

Ну, и мне тоже в Лукоянов...

II

В АРЗАМАСЕ. — ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК. — ОПЯТЬ ДОРОЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.— НЕЧТО ОБ ОППОЗИЦИИ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ УЕЗДА

Часа в два следующего дня я в Арзамасе. Скучно. Ночь без сна, день — продолжение ночи. Те же холодные тучи, серое небо и «проносный» ветер. Вдобавок, трудно найти город скучнее и тоскливее Арзамаса. Видавший некогда лучшие дни, но оставленный вне железных дорог и пароходного сообщения,— город падает и пустеет. Вот почему Арзамас в лице своих представителей все брюзжит в губернских собраниях и жалуется на судьбу. Арзамас забыт, интересы Арзамаса приносятся в жертву... В последнее время мелькнула надежда: общественные работы... Почему бы не провести Арзамасскую линию? Увы, напрасно! Арзамасу нужна железная дорога, но... Арзамас едва ли нужен железной дороге [1].

Широкие улицы, громадная площадь и церкви, церкви — весь город уставлен огромными церквами. На улицах пусто, кое-где мелькнет редкая фигура прохожего,

[1] Теперь через Арзамас прошла уже железнодорожная линия.

праздничные флаги треплются на ветру, делая это зрелище унылого города еще более тоскливым.

Две гостиницы. В одной,— как говорил мой спутник,— останавливается «разнословие», грязно и шумно. В другой пусто и скучно. Ужасный воздух, занавески с траурными каймами пыли во всякой складке; в вентиляторе, когда я попытался открыть его, оказалось еще прошлогоднее птичье гнездо. Зато в коридорах стены украшены старыми изодранными картинами: это работа Ступинской художественной школы, пользовавшейся широкой известностью в начале XIX столетия. В лучшие времена Арзамас был приютом муз... Все прошло, и изодранные картины в промозглом коридоре еще усугубляют ощущение дремотной арзамасской тоски.

На черной доске в коридоре я прочитал знакомую фамилию: Бронский, и на следующее утро имел удовольствие видеть у себя первого еще земского начальника, так сказать, на месте действия. Молодой человек с высшим военным образованием, он только несколько дней назад принял должность. Не знаю, как это делается в других губерниях, но у нас на земских начальников возложено все продовольственное дело на местах. Очень может быть, что это несколько неожиданно с точки зрения закона, который предполагает в уезде другие хозяйственные органы, но у нас так это выработалось практикой этих месяцев: земский начальник — исследователь, хозяин, опекун, благотворитель. Он составляет списки, он их проверяет, он организует у себя склады хлеба, он его раздает. Теперь представьте себе в этом положении человека, который знает деревню и ее быт настолько, насколько можно его знать тому, кто сначала учился в гимназии или корпусе, потом в военном училище, в академии или в университете. Деревня, это — каникулы или дача на летние месяцы; и вот с такой подготовкой человек очутился в разгаре самых жгучих и сложных вопросов деревенского быта...

Я видел отставных корнетов, которые чувствовали себя в этом положении совершенно беззаботно. Господин Бронский, которого я встретил в Арзамасе, наоборот, по-видимому, сильно угнетен и встревожен, что я приписываю влиянию более серьезной теоретической подготовки. По его мнению, дело поставлено плохо. Спис-

ки нуждающихся составлены безобразно. При первой же проверке наткнулся на богатого мужика, получающего по первому разряду. Рассердился и, разумеется, посадил под арест. На следующий день приходит жена, плачет, просит отпустить: мужик вовсе и не просил ссуды, его внесли в список по мирскому равнению, он только не отказался... Очевидно, надо отпустить. Списки составляли сельские попечительства или комитеты из деревенских «оптиматов». Выходит плохо,— значит, прежде всего нужно упразднить комитеты. Но чем же заменить их, чтобы вышло хорошо? В селе Остоженке (вымышленное мною название того самого села, о тайных заседаниях в котором рассказывал мне Потап Иванович) обратился к священнику. Староста составит список, священник сделает свои отметки. Тот и руками и ногами. Во-первых, он сам член того же попечительства, а во-вторых, у него уже побили окна, хотя он мог прикрываться попечительством [1]. Что же будет, когда он возьмет всю ответственность за правильность списков на себя?

Господин Бронский склонен к простейшему бюрократическому способу: лучшими помощниками он считает старшин, которые, получая жалованье, дорожат местами. Старосты в один голос умоляют об одном: «Ради бога, нельзя ли как уволиться?» Иные из них получают десять рублей в год, другие по двенадцати в месяц. Порой на огромное село — староста один; другой раз в небольшой деревушке четверо старост. На структуре деревни отражается до сих пор крепостное прошлое: в огромном селе был один владелец, образовалось одно общество, и один староста выбивается из сил; в деревеньке было четыре помещика, и вот она до сих пор сохраняет это деление, и каждое общество выбирает своего старосту...

Это замечание кажется мне характерным: застой, который мы так ясно ощущаем во всех сферах нашей жизни, быть может, с особенной силой проявляется в деревне. Свободное развитие и творчество новых

---

[1] Из песни слова не выкинешь,— потому я заношу этот характерный факт, засвидетельствованный мне с двух сторон. Однако не объясняется ли он какими-нибудь местными особенностями остоженского попечительства?

форм жизни остановилось на акте освобождения, и теперь сдавленная со всех сторон жизнь деревни застыла в старых перегородках...

— Итак,— спросил я в заключение,— как же все-таки быть?

— Сам еще не знаю... Надо изменить систему... Одно для меня и теперь очевидно: обысков следует положительно избегать.

— Позвольте,— о каких обысках вы говорите?

— Об обысках в домах у крестьян, в амбарах, ну, всюду, где может быть хлеб. Это называется проверкой имущества... Недавно у бабенки при такой проверке отыскали хлеб... Стала кричать: «Ваше ли дело по подклетям шарить!..» Конечно,— закончил земский начальник со вздохом,— посадил под арест, а все-таки... действительно скверность...

Выпив наскоро стакан чаю, унывающий земский начальник торопливо простился и побежал куда-то по неотложному делу, оставив меня с уверенностью, что никакой общей системы не существует. Все делают земские начальники, от них все и зависит. Пожелает кормить,— накормит, не пожелает,— проморит голодом. Захочет устроить попечительство,— устроит; захочет уничтожить уже существующее,— уничтожит. У каждого «своя система»... В одном участке с 12 июля до десяти раз менялись земские начальники. Итак, пережить десять смен разных более или менее мудрых систем. Несчастный, должно быть, участок...

Днем я посетил лесничего Россова, с которым познакомился во время одного из своих путешествий по Нижегородскому краю. У ворот его дома толпа мужиков; просят «уволить от работы». Это — по части общественных работ. Лентяи и пьяницы? Совсем нет. В продовольственной комиссии нашли справедливым «наряжать» рабочих поровну из разных земских участков. Таким образом, наряду с привычными лесными работниками очутились коренные земледельцы, не умеющие направить надлежащим образом пилу. Приходят они верст за девяносто, и в то время, как другие зарабатывают копеек сорок — пятьдесят, они могут выработать не более десяти — пятнадцати, тогда как прокормиться стоит, по нынешним ценам, копеек двадцать. Разумеется, просят

«уволить», и нельзя не уволить, потому что работа, действительно, требует сноровки. А самовольный уход может повлечь лишение пособия, как уклонившихся от предлагаемого заработка...

По рассказам г. Россова и его жены, до начала выдачи ссуды в город хлынули нищие из деревень... Женщины с грудными детьми, старшие дети хватаются за платье, плачут, просят, падают в ноги... Вот что устранено пособиями, а ведь это было только начало...

— Страшно и подумать, что было бы, если бы не эти обозы,— сказал г. Россов, указывая в окно на возы, которые и во время нашего разговора тянулись, скрипя, по засыпающим улицам Арзамаса...

Двадцать восьмого, в час дня, я опять выезжаю из Арзамаса и опять на вольных. Мой новый попутчик — крестьянин, хлебо- и лесоторговец, возвращающийся домой после расчетов с одной из уездных управ. Фигура топорная, сколоченная грубо, но добродушная. Человек солидный, думающий и неглупый.

День светлый, лошади бегут тихой рысцой,— станция длинная. Мы опять говорим о голоде и о деревне. На этот раз я имею дело с человеком довольно развитым, и потому «тянитьё» и выкрикивания бабушек в разговоре отсутствуют. Иные суждения моего собеседника метки и характеристичны, но и здесь, как всегда, деревенская мысль не поднимается выше непосредственных наблюдений.

— Самое есть первое зло в деревне—кабак... Вот верно написано в «Сельском вестнике». Уж именно кто-то написал — практичный человек: «Прежде, говорит, работали мы на барина, на помещика... Страдали! Теперь, говорит, работаем уже на барыню (это водочка!). Слово с ней сказать — семь копеек. Два слова — вдвое». То есть это так верно написано,— в аккурат! Второе есть зло, что хуже прежнего разбою... Как бы умно вам это высказать,— процент! На рубль теперича процентщик берет три копейки, пять копеек в месяц под залог. А что составляет залог? Хлеб на корню, озими. Не поплатился в срок — озими отнимает в свою пользу... Теперь вот господь и их ударил порядочно.

— А что?

— Да как же! Под озими у них задано по три рубля, а озими не уродились; ну, мужички поступились: берите, батюшки...

Он смеется в воротник своей шубы... В это время мы минуем большое село. Внизу, по суходолу, в стороне от дороги вытянулся небольшой порядочек. Крохотные оконца крохотных избушек, без дворов и огородов, отсвечивают в синеватой мгле наступающего зимнего вечера. Это кельи.

— Третье есть зло,— говорит мой спутник, указывая на них,— вот эти самые кельи. Это вот проживают тут солдатки, безмужницы, девки старые, вдовы и тому подобные, без наделу которые женщины... Вот они у себя устраивают всякие штуки... Самая язва тут и есть. Тут, в избах этих, пряники едят, семечки щелкают, на гармониях зудят, песни играют и даже хуже всего,— водку пьют... Девки пятнадцати-шестнадцати лет — и те балуются. Вот зло какое, вот бы что искоренить!.. Греха тут сколько. Отец не пускать, мать опять, слабостью, заступаться! Раздор! А там за девкой приударит какой-нибудь молодец, богатого отца сын. Матери-то и лестно: думает — жених, а он вовсе и не жених, ищет себе одного расположения. Возьмет свое и отчаливает. Эх, и говорить неохота, скверность! Лет не более пятнадцати, как это гнездо у нас завелось, а теперь вот в нашем селе вряд наберется домов двадцать, где хозяева держат свой дом в руках. А то... Даже скажу вам, незаконного младенца девушка принесет, и то за стыд не считают. Дескать, не моя одна, вон и у таких-то, и у таких-то...

Порядочек с кельями, вызвавший эти страстные обличения, и все село давно скрылись из виду, а мой спутник все еще продолжает негодующие речи...

— А отчего же завелось это гнездо? — спрашиваю я.

— Надзору нет...

— А земские начальники?

Он отворачивается и смолкает. В молчании чувствуется «политика». Во всех официальных обращениях «институт земских начальников» выставляется, как акт особенной царской заботы о народе, но деревня, по-видимому, воспринимает его иначе. Люди, подобные моему спутнику, уже отвыкли от «патриархального обраще-

ния». Даже полиция относится к ним с известной почтительностью. И вот теперь земский начальник, отставной корнет или прогоревший местный дворянин, может,— в упоении своей новоявленной власти,— тыкать его, посадить в кутузку, оттаскать за бороду. Примеры бывали: резвая дворянская молодежь на первых же порах показала и свою власть, и полную безответственность. Поэтому, как самая реформа, так и первые шаги земских начальников глубоко оскорбили деревенских людей того типа, как мой спутник. Они сами порой вздыхают о каком-то особенном «надзоре». Но это надзор каких-то утопических патриархов, благочестивых, солидных, умеющих вести свои дела и могущих научить других... А тут власть дана людям, нередко беспутничавшим и разорявшимся на глазах у таких вот деревенских философов... И деревенские философы чувствуют, что с реформой, вместо укрепления строгих нравов и старинного порядка, идет что-то совсем другое... А громко выражать свое мнение по нынешним временам опасно...

Солнце закатывается, снега синеют, кой-где сверкают замерзшие проталины. Дорога развертывает все новые виды и картины. Для человека, который умеет читать эту книгу, она говорит много.

Вот, качаясь, точно челнок на волнах, ползет навстречу воз соломы. Тощая лошадь, усалый мужик, жалкий возишко...

— Откуда? — спрашивает мой спутник.

— Из Голицына.

— Голицыно-то за Лукояновым сорок верст,— поясняет он мне,— да до дому ему верст еще тридцать... Вот и судите: это он за семьдесят верст съездил, взад-вперед сто сорок верст, да за воз заплатил рубля три. Вот оно что стоит ныне скотину-то сберечи. Из плохих годов самый плохой этот год. В прошлом годе плохо же было, так хоть корма-то были, скотина дышала. Ныне так соткнулось с обеих стороны, что ни людям, ни скотине продышать нечем... Ударил господь батюшка, по всему народу ударил. Присмирели православные...

— А говорят, в вашем уезде пьют больше прежнего?

— Пустое говорят. Унялись, кабаков сколько позакрыли. Да вот, посмотрите: вон обоз едет с куделью. Хвощане это. Каждый год кудель от нас возят. Ежели

бы вы их в прежние годы посмотрели,— то и дело пьяные попадались. Лежит себе, да еще поперек воза, и песни орет. Кинет его на шибле,— он и летит с возу торчком. А ныне поглядите-ка: ни одного пьяного. Нет, что тут пустяки толковать: присмирели, все присмирели, под гневом господним... Потускнел народ... Так потускнел, иной раз и смотреть-то жалко...

После этого мы некоторое время ехали молча...

Зимняя заря погасла далеко впереди, снега посинели, луна ныряет меж высокими, холодными облаками... Какие-то летучие тени пробегают по снежным полям и сугробам, отблески по подмерзшим гладким проталинам вспыхивают и гаснут. Холодный ветер шипит, кидает мелким снежком, забирается под шубу, наводит тоску.

— Граница уезду близко,— говорит Брыкалов, кутаясь в свою шубу.

— Где?

— Вон там, за второй гатью, под лесом.

Еще с версту... Только теперь, у этой границы, я начинаю ясно чувствовать томящую неопределенность своего положения... Куда я еду? Что стану делать, с чего начинать, у кого просить содействия и помощи в незнакомом месте, в непривычном деле?

Незадолго перед своим отъездом из Нижнего я узнал, что лукояновская продовольственная комиссия и уездное благотворительное попечительство (два учреждения, состоящие из одних и тех же членов) высказались против учреждения столовых в уезде. Высказались сначала неясно и глухо. «Признавая в принципе полезным»,— комиссия находит, что для столовых нужны деньги и люди. Денег нет, людей тоже нет, значит, и делать нечего... Тогда из губернии указаны на месте люди, которые согласились взять на себя ведение столовых, и этим людям, по представлении ими смет, высланы через уездное попечительство деньги на открытие столовых. Но тут случилось нечто совсем уже неожиданное: попечительство, вместо того чтобы передать деньги по назначению, секвестровало их и разделило по земским участкам. Вышло так, что люди, найденные в уезде стараниями губернского комитета, оказались без денег, которые именно им высылались; деньги, посланные на определенное дело, оказались изолированными от людей, которые их про-

сили. Было ясно, что дело столовых в уезде далеко не в авантаже и что те же неведомые мотивы, которые заставили отстранить от уезда триста тысяч пудов казенной ссуды, отстраняют теперь от населения и благотворительную помощь. К печальному настроению, вызванному во мне безотрадными картинами и свистом холодного ветра, присоединилось нерадостное соображение, что вот за той чертой, в конце длинной гати, я силою судеб окажусь в невольной *оппозиции* к местным уездным властям...

Оппозиция,— какое, право, страшное слово! Я написал его в своем дневнике и невольно думаю: уж не вычеркнуть ли, в самом деле?.. Но нет, не вычеркну, а лучше поясню, что значит это слово в провинции, да, пожалуй, и не в одной только провинции. Вот что говорил мне один добрый знакомый «из оппозиции» несколько лет назад, когда я только еще знакомился с положением дел в губернии, где судьба заставила меня свить прочное гнездо:

— Бросьте вы, батюшка, эти термины: оппозиция, партии, консерваторы, либералы. Ничего вы с ними у нас не разберете. Смотрите проще; одни у нас воруют и желают сохранить за собой эту возможность: это наш консерватизм. А мы и желали бы прекратить воровство, да не можем. Вот вам и вся либеральная оппозиция.

События показали, что это самобытное определение совершенно справедливо. Одно время вся русская пресса говорила о хищениях, произведенных г. Андреевым, нижегородским уездным предводителем дворянства и председателем уездной управы. Четыре должности занимал этот видный дворянин и по четырем должностям совершил растраты, констатированные гласно. События, наконец, назрели, закипела борьба, отголоски которой отражались даже в столичной прессе. В конце концов «оппозиция» как будто восторжествовала: Андреев, окончательно уличенный в воровстве, удалился в лоно частной жизни, не забыв произнести стереотипную, отчасти даже избитую от частого употребления фразу, которая для этих случаев, так сказать, освящена традицией:

— Теперь я слагаю ответственность... Не ручаюсь за спокойствие уезда...— А вскоре после этого он получил очень хорошее казенное место...

Отсюда, конечно, следует, что «уездная оппозиция»— дело, вообще говоря, довольно безобидное. Лукояновская же оппозиция по вопросу — кормить голодающих или усиленно взыскивать с них недоимки,— ставит самих лукояновских деятелей в оппозицию к губернскому центру. Итак, я окажусь, за этой пограничной чертой, в оппозиции к уездной оппозиции... Трудно даже разобрать, что это, в самом деле, выйдет: благонадежно это или неблагонадежно?.. Страшно или совсем не страшно?.. И являюсь ли я в уезд в качестве благонамеренного человека, действующего «согласно с видами начальства», или в качестве неблагонадежного крамольника?.. Предводитель дворянства и тесно сплоченный отряд земских начальников — власть, и при том особо покровительствуемая свыше... Значит, мне придется идти против власти. Это опасно... Губернатор тоже власть, и на сей раз я действую до известной степени согласно с его видами... Это успокоительно... Но жандармский генерал Познанский — заведомый противник кормления... Хлеб он приравнивает к прокламациям, а столовые считает очагами революции... И в этом смысле пишет доклады министру внутренних дел, недавнему предводителю дворянства из ретроградного лагеря...

Все эти разнородные и противоречивые соображения заволакивали для меня «политический горизонт» такой же неопределенной игрой теней, какая пробегала перед моими глазами по снежной равнине... Конечно, предприятие мое совершенно законно... Но что такое закон в нашей русской жизни, особенно в сколько-нибудь тревожные периоды? Это только препятствие, связывающее энергию власти,— одна из категорий «крамолы», которую нужно прежде всего убрать с дороги.

— Знаете ли,— спрашивал меня один наблюдательный человек,— кто более всех пострадал от неурожая, кроме, конечно, мужика?

— Не могу догадаться.

— Закон.

И это верно: как только голод был признан, так и началось усиленное упразднение существующих законов в пользу чисто щедринского кустарного законодательства местных властей. Так, вятский губернатор, знаменитый в свое время Анастасьин, объявил, нимало не

медля, сепаратную таможенную политику для «своей» губернии. На границе были расставлены «таможенные» мужики с здоровенными дубинами, которые, по приказу мудрого властителя, ловили «контрабандистов» с купленным на базарах хлебом...[1]. В одно из заседаний нижегородской продовольственной комиссии явился посол соседней Костромской губернии для переговоров о закупке хлеба на нижегородских базарах. У нас запретительного законодательства не было. Но представителю костромской державы пришлось выслушать несколько горьких упреков в отсутствии таможенной взаимности, так как и на западной границе нашей губернии тоже оказалась цепь таможенных с дубинами...[2] Костромской посланник оправдывался тем, что общего закона по всей губернии не было, но какой-то земский начальник объявил сепаратную таможенную систему в одном своем участке...

Таковы причуды российской законности... Сколько почтенных и совершенно «лояльных» обывателей, живя в «сердце России», и не подозревали, что могут когданибудь стать контрабандистами. А довелось. Ночь, вьюга, на небе тучи, перекликаются дозорные, а глухими и неудобными дорогами прокрадываются контрабандисты с кулями русского хлеба через границу... двух смежных русских губерний!.. Представьте себе теперь положение закона, «перед лицо» которого эти своеобразные таможенные привели бы этих неожиданных контрабандистов. Где состав преступления, как поставить обвинение, кто,

---

[1] См. протокол Нижегород губ. продов. комиссии от 8 дек. 1891 г., стр. 8—9· «Н. М. Баранов сообщает, что по известиям от васильской земской упр., *несмотря на распоряжение мин вн. дел*, хлеб из Вятской губернии, закупаемый там крестьянами Васильского уезда, не выпускается поставленными на дорогах кордонами...»

[2] Там же (журнал 10 ноября 1891 г.), доклад макарьевского уездного предводит. дворянства: «Население ветлужской стороны Макарьевского уезда ежегодно закупает хлеба до 240 тыс. пудов из Костромской и Вятской губ. В настоящем году *вывоз из этих губ. воспрещен*. Многие из крестьян жаловались, что за вывоз из Костромской губ. *берут пошлину!*»

Только уже в январе 1902 г вятский законодатель Анастасьин милостиво сообщил, что «запретительные меры» им сняты (журнал 9 января 1902 г.).

наконец, обвиняемый, обвинитель, преступник?.. Кого судить: таможенного мужика с дубиной или контрабандиста, такого же мужика с кулем хлеба?.. Первый поставлен своим уездным местным начальством. Да... но и второй тоже отправился с благословения своего начальника и даже имеет билет... А закон? Да есть ли еще, полно, какие-нибудь общеобязательные законы в России?

В Лукояновском уезде пока нет таможенной стражи на границе, однако, когда я, проехав длинную-длинную гать, приблизился к границе Арзамасского и Лукояновского уездов,— в голове у меня роились самые странные мысли. Было это, если не ошибаюсь, в самую полночь,— час фантастический! По небу быстро неслись белые легкие и причудливые облака, а по снегам бежали их летучие, неуловимые тени. Унылая равнина, болото с кустарником, перерезанное длинною гатью, а за ней — покосившийся столбик, обозначающий «мысленную черту», разделяющую два уезда... И мне вспомнились дикие толки, ходившие в последнее время по Нижнему о Лукоянове. Говорили, между прочим, о какой-то диктаторской власти, которою облекся г. Философов... Прибавляли при этом, что сам губернатор неосторожно облек уездного предводителя этой опереточной диктатурой, а предводитель обратил ее против губернатора, и теперь М. А. Философов к каждому своему распоряжению прибавляет магическую фразу: «На основании данной мне неограниченной (!) власти»... Магическая фраза гипнотизирует и величественного предводителя, и обывателя, привыкшего смотреть на всякие неожиданности власти, как на мистическое насланне свыше. И меня, скромного корреспондента, предупреждали совершенно серьезно, что моя нехитрая миссия потерпит неудачу. Находясь в оппозиции с губернией,— Лукоянов понимает все навыворот; так до мысленной черты за гатью и далее по рубежу, например, в Сергачском уезде,— выдается пособие в размере одного пуда на человека, а столовые насаждаются усердием местной администрации. Кто пожелал бы препятствовать этому,— оказался бы неизбежно в оппозиции местным властям. Но за мысленной чертой, к которой подвигала меня тройка вольных лошадей, выдают вдвое и втрое меньше, и всякий, кто желает открыть

столовую,— столь же неизбежно попадает в оппозицию властям лукояновским. Далее: в губернии признана полезной просвещенная гласность, которой открыты все двери: прииди и виждь! За мысленной чертой, пролегающей передо мною на равнине, на гласность смотрят недружелюбным оком и, во имя «спокойствия уезда», желали бы закрыть для нее границу. И вот, когда, наконец, уныло звеня колокольцом над спящим болотом, тройка подвинула меня вплоть к покосившемуся пограничному столбику, мне вспомнились ходившие еще в Нижнем толки, будто моей скромной особе оказано специальное внимание и, на основании фантастической «диктаторской власти», гласность в моем лице не будет впущена «за границу уезда». Нелепость, разумеется... Не бо̀льшая, однако, чем таможенные кордоны на границах двух уездов, чем многое, о чем мне придется повествовать в этой скорбной книге... И — что хотите, а я, все-таки, скользнул взглядом за мысленную черту, окаймленную кустарником, и в моем воображении мелькнула фантастическая картина: «Стой, кто едет через границу?» — Гласность.— «На основании диктаторской власти,— поворачивайте оглобли»...

Однако,— никого... Черта пустынна, и только летучие пятна скользят по снежной равнине. Я вздохнул. «Нелепость» казалась мне одно мгновение довольно заманчивой. Что станете делать,— все характерное кажется порой привлекательным с профессиональной точки зрения. И гать, и столбики остались назади... Я — «на месте» и думаю про себя, что стыдно заниматься подобными фантазиями в такое время, когда надо делать насущное и трезвое дело... Но я решился быть откровенным: пусть читатель знает, какие нелепости бродят порой в голове провинциального бытописателя в глухую полночь на границе иного уезда...

Пока я предавался этим фантастическим и печальным размышлениям, впереди замелькали редкие огоньки у подножия темного широкого бугра, а в небе зарисовались силуэты ветряных мельниц.

— Это что за село? — спросил я у моего спутника.

Он выглянул из-за своего воротника.

— Это? Да это Лукоянов. Поближе-то вон присёлочек, а подальше и город...

III

В ЛУКОЯНОВЕ.— ЛУКИНСКИЕ НОМЕРА И «КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА».— ЗЛОБЫ ДНЯ УЕЗДНОГО ГОРОДА; ИСПРАВНИК РУБИНСКИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАЛОВ.— НЕЧТО О ЛУКОЯНОВСКОМ ЮМОРЕ, О ЗЕМСТВЕ И О СТОЛОВЫХ.— ЕЩЕ ОДИН НЕДОУМЕВАЮЩИЙ ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК

Итак, я в Лукоянове!

Когда я проснулся на следующее утро, зимнее солнце весело глядело в окна, покрытые сплошными узорами от крепкого мороза. Кругом было как-то удивительно тихо, только где-то поскрипывал вентилятор, да в дальней комнате стучала половая щетка. Очевидно, во всей гостинице я был единственный «проезжающий».

Гостиница эта очень оригинальна. Принадлежит она Н. Д Лукину, местному городскому голове, и существует, по-видимому, для одного лишь базарного дня, когда деревня затопляет город серою массой полушубков. В эти дни впоследствии я очень любил из своего якобы «номера» сквозь неплотно притворенную дверь слушать нестройный гул и говор мужицкой толпы, грубый, несвязный и простодушный, прерываемый порой то внезапным и шумным спором, то обрывком тотчас же смолкавшей песни, то чьей-нибудь жалобой, то чьими-нибудь воплями и слезами. Остальную неделю в гостинице царит та самая удивительная тишина, которая охватила меня в первое мое «лукояновское» утро. «Чистой публики» совсем мало; проезжающие, вроде меня,— залетная случайность, вызванная «тревожными обстоятельствами» голодного года. Вчера ночью, когда мои вещи внесли наверх по широкой лестнице, я был удивлен тем обстоятельством, что, вместо обычной обстановки «номеров для приезжающих», попал непосредственно в биллиардную. Какое-то неуклюжее и довольно жалкое сооружение на тощих ногах, с жестоко изодранным сукном, занимало середину комнаты. Вдоль стен стояли небольшие трактирные столики, покрытые скатертями, с неизбежными спичечницами и перечницами, а также стулья. Кругом, в непосредственном соседстве, виднелись такие же точно комнаты, с той же обстановкой, кроме, впрочем, биллиарда.

— А где же номера? — спросил я.

— Сьчас!

Двое сильно заспавшихся, но весьма радушных парня, с очень толстыми физиономиями, способными привести в соблазн какого-нибудь «исследователя голода» (центр голодающего уезда и вдруг — такие щеки!), проворно вытащили из угловой комнаты один столик и несколько стульев, водрузили на их место железную кровать с матрацем,— и номер оказался к моим услугам.. Должен сказать, впрочем, что он оставил во мне самые лучшие воспоминания: выбеленные известкой стены, печка, разрисованная по железу «пукетами», и довольно чистый воздух — показались мне гораздо лучше обоев с клопами, пыльных гардин и промозглой атмосферы обыкновенных уездных да и губернских «номеров для господ приезжающих»... Раза два во все мое пребывание здесь военные писаря приходили «чкалить» на биллиарде, да раз в неделю, по базарным дням, вся гостиница густо насыщалась запахом овчины, онучей, водки и пота — специфическим запахом серого мужика, постепенно выветривавшимся и выгоняемым в течение недели в вентиляторы, трубы и форточки. Вот и все «беспокойство» моего своеобразного и тихого, в сущности, приюта.

Впоследствии, когда «тревожные обстоятельства» усилились, и в Лукоянов стали наезжать все новые и новые «члены по продовольственной части»,— еще несколько столов и стульев должны были уступить место кроватям, еще две-три горницы превращены в «номера». Тогда «мужика» перестали вовсе пускать наверх,— о чем я очень жалел,— и весь говор и шум, споры и расчеты, жалобы, ругань и дружеские излияния под хмельком,— одним словом, весь мужицкий гомон и все мужичьи запахи приютились внизу, на черной половине, но зато они стояли там так плотно и густо, что мне казалось, будто нашу пустую и легковесную чистую половину наверху, со всеми «членами», занимавшими каждый по номеру,— когда-нибудь может просто взорвать на воздух... Биллиардная в это время тоже пустовала и служила нейтральным местом встречи для нас, обитателей «номеров», местом, где мы оглядывали друг друга, знакомились и

осторожно заговаривали о «тонких материях» местной политики, нащупывая почву и выведывая постепенно, к какому «лагерю» тяготеет тот или другой новый сосед... Впрочем, лукинские номера, как и городской дом со въезжей квартирой, вскоре как-то естественно и по ходу вещей приняли определенную окраску: их наезжая публика стояла решительно за губернию, то есть за кормление, за лечение и за столовые... Другой лагерь составляли приверженцы местной автономии, обладавшие особенным помещением, называвшимся в шутку «конспиративной квартирой». Название было, впрочем, очень метко. Дело в том, что лагерь этот был весьма не обширный и совершенно замкнутый в себе, но зато чрезвычайно предприимчивый и сплоченный. Квартира была нанята уездным предводителем М. А. Философовым, и здесь останавливались господа земские начальники (кроме одного), а также происходили заседания уездной продовольственной комиссии и благотворительного попечительства — двух учреждений, состоявших из одних и тех же лиц, и в которые никто из посторонних не допускался решительно. Это было нечто вроде «совета десяти», устанавливавшего в секретнейших заседаниях и уездную политику, и взгляды, обязательные для города и обывателей... И долгое время город робко внимал предписаниям конспиративной квартиры... Однажды, во время объезда членом губернского присутствия И. П. Кутлубицким губернии с целью ревизии, податной инспектор г. Золотилов сообщил ему, что в селе Атингееве существуют какие-то заболевания, весьма похожие на тифозные. Впоследствии оказалось, что в уезде свирепствует действительный тиф, в том числе и в селе Атингееве. Однако в то время обыватели об этом говорили только шепотом, и данный разговор происходил между двумя чиновниками с глазу на глаз, за стаканом чаю. Представьте же себе удивление г. Золотилова, когда он узнает, что об его словах имелось «суждение» в конспиративной квартире, и в «заседании 28 января читано письмо земского начальника 6 участка от 24 января, № 144, о том, что, по заявлению г-на податного инспектора Золотилова г-ну Кутлубицкому, в селе Атингееве люди *умирают от голода* (!), между тем, по тщательном исследовании, это заявление не подтвердилось и, кроме того, в том се-

ле имеется бесплатная столовая удельного ведомства»... Постановлено: «Принять к сведению» [1].

Только! Однако этот «политический акт» поразил обывателей, как громом, и поднял чрезвычайно престиж «конспиративной квартиры». Во-первых, обыватель убедился, что и «стены имеют уши». Во-вторых, они все-таки могут не дослышать и на место несомненного факта подставить «ложные слухи»... В-третьих,— да, в-третьих, г. Золотилов счел себя вынужденным написать своему начальству предупредительное объяснение, а в городе о щекотливых предметах остерегались с тех пор говорить даже и шепотом.

Как видите, «конспиративная квартира» держала себя, как настоящий тайный совет десяти (не сочла даже нужным спросить самого податного инспектора, что именно он говорил и на каком основании), а впоследствии, уже при мне, здесь были задуманы, обсуждены, редактированы и пущены в ход самые ядовитые «политические ноты» и против губернии, и против обитателей скромного Лукинского дома,— ноты, высиженные в глубокой тайне, и о коих заинтересованные лица узнавали по большей части лишь долго спустя... Это были своего рода навесные выстрелы. Появится дымок, в противном лагере водворяется смутная тревога: что-то опять задумано, пущен какой-то новый выстрел. Один из таких выстрелов, имевший целью бедную прессу, отдался эхом далеко за пределами губернии, и «конспиративная квартира» неожиданно очутилась под убийственным огнем, открывшимся по всей газетной линии... Это было начало печальной известности «лукояновцев». Пишущая и читающая Россия оказалась на стороне лукинского дома и против «конспиративной квартиры».

Да,— такова была эта комическая война... Очень жаль, что разыгрывалась она на слишком трагическом фоне и что бедному обывателю, по обязанностям совести или службы не имевшему порой возможности стать вне действия этих «двух огней»,— приходилось порой так плохо... что вот, например, земский врач С-в после голодного года попал прямо в лечебницу для душевнобольных.

---

[1] Журнал заседания лукояновской уездной продовольственной комиссии от 28 января 1892 года.

Лукоянов принадлежит к числу тех городов, многочисленных у нас на Руси, по первому взгляду на которые вы не отличите — город это или просто большое село. Раскинувшись довольно широко по склону отлогого холма, вокруг единственной церкви, занимающей середину огромной площади,— он разбегается просторными, мало застроенными улицами и по окраинам переходит уже прямо в деревню, заселенную крестьянами землепашцами. Центр чисто земледельческого уезда, он не щеголяет, как Арзамас, постройками, и только разве традиционное здание с железной крышей, каменной оградой, решетчатыми воротами и часовым, глядящее из-за реки Теши предостерегающим взглядом,— сразу заставляет догадаться, что это «населенное место» должно считаться административным центром. Вокруг города по холмам стоят ветрянки, изредка лениво помахивающие крыльями (отдых этим крыльям в нынешнюю зиму!), широкий тракт с аракчеевскими березами уходит вдаль, взбираясь красивою лентой с возвышения на возвышение, и лежат волнистые поля, покрытые снегом... Тиха и невзрачна столица дальнего, серого земледельческого уезда...

Вдобавок, и звание столицы оспаривается у Лукоянова другим центром — Починками. Это большое село, расположенное южнее и не забывающее своего титула «заштатный город». Там издавна приютились и канцелярия предводителя, и воинское присутствие, и земская управа, оттуда, собственно, исходит по меньшей мере половина тех «политических мер», которые доставили уезду всероссийскую известность. На этом основании лукояновский городской голова Н. Д. Лукин, с которым я познакомился вскоре по приезде, горячо настаивает на отстранении от Лукоянова этой чести, всецело уступая ее Починкам...

В Лукоянове в это время было затишье, и город отдыхал от непривычного обилия впечатлений. Правда, недавнее еще устранение, в видах продовольственной политики, исправника Рубинского, примкнувшего к «предводительской партии»,— произвело «волнение умов», которое еще не вполне улеглось. Но из главных руководителей уездной оппозиции никого не было налицо, и потому

назревающие события еще дремали в ожидании ближайшего съезда (назначенного на 7 марта), и городок (сочувствовавший, впрочем, губернии) пассивно ждал.

Господин Рубинский — своего рода лукояновская достопримечательность. Это даже не человек,— а целая программа! Старый полицейский служака весьма распространенного типа, до мозга костей проникнутый известной формулой «все благополучно», видавший всякие виды, судившийся и осужденный (кажется, даже не однажды), между прочим, и за превышение власти, крутой и не дающий потачки мужику, на которого, конечно, смотрит, как на сплошного пьяницу и лентяя,— он органически не способен был выносить никогда еще невиданного в уезде зрелища: «пьяницу и лентяя» собираются кормить; говорят, у него, исправника, в уезде — голод и болезни. Как,— значит, исправник допустил!.. Значит, у исправника неблагополучно? И у старого полицейского служаки зачесались руки. Голод, болезни!.. Пусть только дадут исправнику волю,— он *ему* (пьянице и лентяю) покажет лечение! Перепороть пол-уезда («так бывало у нас в старину») — и голод как рукой снимет! И *он* внесет не только подати, но еще и недоимки. Я думаю, это был у г. Рубинского совершенно бескорыстный, органический, утробный порыв, протест уездно-полицейской традиции против невиданного баловства, нежностей, беспорядка... И если бы, в угоду исправнику Рубинскому, губерния отступила от своих взглядов, бросила бы «нежности» и признала свою ошибку, то господин Рубинский наверное бы успокоился... Но губерния полагала, что исправник есть лишь власть исполнительная и что, скорее, он обязан подчиниться общему направлению... Оно, пожалуй, и правда, но все двадцать пять лет полицейской службы со всеми осужденными и неосужденными превышениями власти поднимались в нем глухим протестом...

В уезде начались странные вещи. С одной стороны — первоначальные очень мрачные сведения предводителя и земских начальников, подтверждаемые многочисленными свидетелями, а также цифрами урожая, заставляют предполагать, что дело очень плохо. С другой — все «исследователи», проезжающие через уезд на почтовых и пользующиеся любезно сообщаемыми сведениями поли-

ции,— свидетельствуют единогласно, что вместо голода замечаются разгул и развитие роскоши. Проглянет где-нибудь тиф... И вдруг — нет никакого тифа. Официально, на бумаге, даже и в первоначальных рапортах той же полиции — нужда. В натуре — благополучие. Дело доходило в этой занимательной игре до истинных курьезов. Получается, например, от приехавшего в уезд помощника врачебного инспектора Решитилло телеграмма о том, что в большом селе Саитовке — страшный тиф. Цифры — поражающие! Едет в уезд отправленный тотчас же губернатором врачебный инспектор г. Ершов (тоже «старый служака»),—и удивленная губерния получает известие, что никакого тифа нет, общая цифра больных ничтожна и вообще «санитарное состояние уезда благополучно». Подписал доктор Ершов, подписал местный земский врач г. Эрбштейн, подписал, наконец... сам доктор Решетилло! А затем — новые известия, и опять тиф показывается в другом месте, чтобы опять исчезнуть по волшебному манию полиции... Таково чудотворное действие старой традиционной формулы «все благополучно».

Кто же, однако, был прав, и которая подпись послушного доктора Решетилло удостоверяла истину (надо заметить, что г. Решетилло тоже в свое время привозил в губернию самые свежие полицейские сведения о полном благополучии уезда)? Впоследствии генерал Баранов публично в заседании комиссии извинялся перед доктором Решетилло в том, что не поверил *первой* его телеграмме о тифе. Однако еще убедительнее свидетельство противной стороны.

Был в Лукояновском уезде старый земский врач, Эрбштейн, целиком примкнувший к «предводителю». Мне пришлось выслушать его речь в собрании, где он «опровергал» мнение о тяжелом положении уезда.

«Вы думаете,— страстно говорил он, обращаясь к отсутствовавшим в земском собрании противникам,— что вы открыли нам что-нибудь новое! Да ведь у нас это давно».

И он привел ряд цифр следующего содержания. Оказывается, что в Лукояновском уезде тиф свил себе прочное гнездо еще с 1885 года, а с 1886 года идет непрерывное возрастание эпидемии:

	Заболело	Умерло	% смертности
В 1886 году	398 ч.	24 ч.	6
» 1887 »	462 »	28 »	6
» 1888 »	1 083 »	55 »	5
» 1889 »	1 115 »	69 »	6
» 1890 »	993 »	68 »	7
» 1891 »	3 731 »	198 »	5
» 1892 » (за 4 м-ца)	3 988 »	200 »	5

Эти цифры заболеваний от одного тифа и притом цифры официальные!.. Признаюсь, когда я выслушал эту удивительную таблицу, то сначала не верил своему слуху. «Да что же, собственно, доказывает г. Эрбштейн?» — спросил я у ближайшего своего соседа из публики. «Он говорит, кажется, что все благополучно и что санитарные отряды присланы напрасно...»

Сначала в устах земского врача это показалось мне превосходящим всякое понимание, но только сначала Впоследствии я имел случай познакомиться и с самим врачом Эрбштейном. Мне показалось, что это человек, быть может, и не дурной, но... врач несомненно «лукояновский», а этим сказано много. Для него «все это» перестало быть новостью. «Не новость» — в этом все разрешение загадки. Вы, свежий человек, натыкаетесь на деревню с десятками тифозных больных, видите, как больная мать склоняется над колыбелью больного ребенка, чтобы покормить его, теряет сознание и лежит над ним, а помочь некому, потому что муж на полу бормочет в бессвязном бреду. И вы приходите в ужас. А «старый служака» привык. Он уже пережил это, он ужасался двадцать лет назад, переболел, перекипел и успокоился. Да разве это новость? Он вам тотчас же расскажет такие картины, перед которыми ваша — бледная виньетка. И ему странно, что вы горячитесь, и ему неприятно... Неужели он виноват в чем-то? Тиф? Да ведь у нас это всегда! Лебеда? Да у нас это каждый год! И давно отупевшие нервы «старого служаки» уже ничего не воспринимают из этой области, и даже тот факт, что в неурожайный год цифра заболеваний за четыре месяца превысила уже всю прошлогоднюю,— его не останавливает и ничего не говорит его чувству! А когда он видит суету и хлопоты свежих людей («попробовали бы, дескать, погорячиться этак тридцать лет»), его это искренно сердит...

Ну, и происходят чудеса, с появлением и исчезновением эпидемии!

Однако, конечно, это было очень неудобно, так как нужно же на чем-нибудь утвердиться. Губерния слышала раньше из уезда ужасные вопли о голоде, и губернская земская управа сама успокаивала напуганных: не бойтесь, не четыре с половиной миллиона,— вам нужно только шестьсот тысяч. Теперь уезд вдруг успокоился и успокоился так излишне, что не желает уже и шестисот тысяч. Давайте ему триста, и притом без всяких резонов. И это — в то самое время, когда губерния уже признала наличность голода и «развивает энергию» в борьбе с бедствием. Губерния насторожилась и начала терять терпение.

В это-то время и разыгрался эпизод, роковой для «старого служаки» исправника. В уезде побывал управляющий контрольной палаты г. Алфераки и, вернувшись, передал губернатору, что там все благополучно: веселятся, выпивают, покупают наряды, а ссуда...— тратится государством совершенно напрасно... Откуда сие? Из разговоров с полицией и земскими начальниками.

Это превысило меру губернского терпения. Н. М. Баранов потребовал объяснений: когда именно лукояновские власти вводили губернию в заблуждение,— тогда ли, когда сами писали о бедствии и требовали помощи, или теперь, когда находят ссуду напрасным разорением государства. Разговор с г. Алфераки поставлен был официально, игра была раскрыта. Низшие полицейские уступили, исправник Рубинский пал...

Так была на сей раз побеждена, в лице лукояновского исправника, традиционная формула «все благополучно», старая, добрая формула, которою Русь жила столь многие годы... Исправник Рубинский пал за нее, за то самое, чем жил и чем выслуживался во всю свою длинную и многотрудную карьеру...

Есть в городе и еще одна знаменитость, еще одна жертва тревожных обстоятельств голодного года. Это Н. Д. Валов, отстраненный, по высочайшему повелению, от должности председателя уездной земской управы. История эта в свое время облетела все газеты, и Валов приобрел всероссийскую весьма позорную известность.

Ночью, когда я въехал в Лукоянов,— мой спутник указал мне крайний дом, довольно скромного вида, в котором сквозь занавеску, несмотря на поздний час ночи, мерцал свет...

— Дом Валова,— многозначительно сказал он.— Послал человеку господь испытание... Старуха мать убивается шибко.

Я с любопытством взглянул в окно, светившее одиноким огоньком на пустую и спящую улицу... Да, что чувствуют там, за этой занавеской, в этом доме, над которым нависла тяжесть всенародного позора!..

Впоследствии оказалось, что никакой особенной вины за Валовым не было, и он стал жертвой своеобразной «уездной политики». В разгар пресловутой «новой дворянской эры» господа дворяне чаяли, как ее завершения,— полного упразднения земства. Вражда к земским учреждениям высказывалась цинично и открыто: один земский начальник А. Л. Пушкин, племянник великого поэта, закрыл собственной властью несколько десятков земских школ, придравшись к «недостаточному кубическому содержанию воздуха». Это «кубическое содержание» господа лукояновские дворяне находили очень остроумным. Платить земские сборы считалось чуть не изменой сословию. Один М. А. Философов, предводитель дворянства, накопил земской недоимки восемнадцать тысяч, и господа лукояновцы только злорадно улыбались, когда, под председательством этого доблестного предводителя, земское собрание билось над мучительным вопросом: откуда взять денег для уплаты голодающим учителям и другим земским работникам.

Под влиянием такого настроения и радужных надежд господа дворяне решили, что будет всего лучше, если в земской управе будут, пока что, стоять «три пустых стула». Эти «три пустых стула» стали лозунгом выборной кампании. При благосклонной и — надо прибавить— совершенно незаконной поддержке губернатора (увы! — все того же Н. М. Баранова!) «либеральную партию» в уезде удалось разгромить [1], и вместо деятельных и энер-

[1] В октябре 1889 года третья часть уезда оставлена была без представителей в земском собрании. Предлогом послужило то обстоятельство, что выборы на съездах прошли без баллотировки

гичных прежних земцев в управе (как раз перед голодным годом!) действительно оказались три пустых стула, на коих восседали три ничтожества, дворянские ставленники из купцов. Н. Д. Валов смиренно принял из «господских рук» роль первого нуля в опустошенном земстве и, по словам моего спутника, очень гордился милостью к нему дворян. Однако, когда началась продовольственная кампания, когда господа лукояновцы требовали на свой уезд четыре с половиной миллиона и возник вопрос: кто будет распоряжаться закупками: земская управа или земские начальники и предводители, то те же лица, которые провели Валова в председатели и из власти которых он не выходил все время,— решили устранить его и заменить «своим», дворянином. Они выдвинули против Валова тяжелые и совершенно неосновательные обвинения в недобросовестности...

Н. М. Баранов еще раз сыграл в руку лукояновских дворян: не выслушав Валова, не попытавшись даже проверить тяжелые обвинения, он «всеподданнейше доложил» изветы его неожиданных противников, и 4 ноября 1891 года появилось высочайшее повеление об устранении Валова. Вместе с тем предписывалось губернскому собранию расследовать дело «на предмет предания Валова суду»...

Предполагалось, разумеется, что данные для предания суду и для обвинительного приговора, несомненно, существуют, иначе губернатор не решился бы испрашивать высочайшее повеление.

Губернское земство очень серьезно отнеслось к своей задаче. Оно командировало одного из своих гласных, юриста по профессии, А. М. Меморского, в Лукояновский уезд с поручением собрать все материалы по делу и истребовать у обвинителей доказательства злоупотреблений Валова. Привезенный г. Меморским обильный ма-

---

шарами. Помимо того, что выборы шарами в сельских съездах вообще большая редкость, оставленные за флагом гласные тщетно указывали, что и в других участках выборы происходили так же, и просили о назначении новых выборов. Эта совершенно законная просьба оставлена была в угоду лукояновской дворянской партии без последствий. Наиболее самостоятельная демократическая часть земства отпала, остальная была деморализована, и... наступила лукояновщина.

териал дал совершенно неожиданные результаты: вперед обвиненный, отягченный страшным позором человек оказался невинным в каких бы то ни было злоупотреблениях. Губернское земское собрание, более чем наполовину состоявшее из земских начальников и предводителей, высказалось *единогласно* в оправдательном смысле и,— что всего интереснее,— в этом решении участвовали те самые лукояновские деятели — господа Пушкин, Струговщиков, Приклонский,— которые впервые выдвинули ложное обвинение.

В январе 1894 года Валову объявлено официально, что «высочайшее повеление от 4 ноября 1891 года не будет иметь последствий для его дальнейшей государственной и общественной службы» [1].

— Только тем и виноват, что доверился дворянам,— говорил мне мой спутник, указавший в ночь моего приезда огонек в окне Валова...

И за это более двух лет над ним тяготело позорное обвинение, впоследствии официально признанное неосновательным, а во главе лукояновского земства на место безличного Валова был водворен А. В. Приклонский, открыто заявлявший о своей вражде к земству. Интересно, что созданию этого «порядка вещей» содействовал внезаконными средствами тот самый Н. М. Баранов, которому вскоре после этого пришлось вступить в борьбу с тесно сплоченной котерией мужиконенавистнического дворянства... Но, быть может, еще интереснее, что никому не пришло в голову расследовать виновность тех, кто ложным и непроверенным обвинением вызвал «высочайшее повеление», которое пришлось отменять...

Однако я забежал вперед. А пока скромный городишко, никогда не мечтавший о такой широкой известности,— пустынен и тих. Активная политика отхлынула, рассеявшись по уезду, и где-нибудь в усадьбах, может быть, надумываются новые «мероприятия»; но в городе злобы дня затихли, и единственная новость — скромное торжество в «городском доме» — открытие лукояновской

---

[1] См. газету «Волгарь», № 19, 1894 г. То же: «Нижегор. губ. ведомости». Валов просил все-таки о предании суду для полной реабилитации. Процесс мог бы быть очень интересен, но добиться суда Валову не удалось.

столовой, на которое я получил от городского головы Н. Д. Лукина любезное приглашение... Эта была еще первая столовая, которую мне довелось видеть, и, признаюсь, зрелище показалось мне довольно невзрачным (в то время я не представлял еще себе, каких столовых я сам наоткрываю в уезде и какова будет их обстановка!). Посетители — сгорбленные старухи, старики, убогие, дети — с испитыми лицами и в лохмотьях. По этой жалкой толпе я составил себе наглядное понятие о будущем контингенте моих нахлебников... Так вот кого мы будем кормить в столовых!.. Какой нелепостью сразу же, с первого взгляда представились мне все толки о том, что столовые отвлекают от работы! Кого?.. Вот этих убогих и увечных?

Однако и это жалкое учреждение, открытое первоначально на 49 человек, потребовало немало усилий со стороны городского головы и вызвало целую переписку. Дело в том, что против этой необычной формы помощи существовало даже и в губернии некоторое предубеждение. Если не ошибаюсь, первоначально у нас появились столовые для учащихся, по инициативе местного общества грамотности. Это симпатичное начинание не встретило никаких возражений и, наоборот, вызвало полное сочувствие. Впрочем, виноват: возражение было и шло опять-таки из Лукояновского уезда. На просьбу о содействии, обращенную к земскому начальнику и члену продовольственной комиссии А. Л. Пушкину (племяннику великого поэта!) и сопровождаемую высылкой денег (так были уверены в успехе просьбы) — последовал ответ, насквозь проникнутый тем своеобразным юмором местного лукояновского свойства, о котором я упоминал уже выше. Прочитанный, к великому изумлению присутствующих, в официальном заседании общества — ответ этот сделался затем достоянием печати. Господин Пушкин в шутливом тоне сообщал, что деньги высылает обратно, так как в кормлении учеников не видит ни малейшей надобности... К тому же их вообще слишком много учат, и потому стараниями господина Пушкина число учеников в той школе, где он состоит попечителем, уже доведено с шестидесяти до сорока!..[1]

---

[1] Факт, оглашенный в свое время «Волжским вестником».

Затем появились столовые от уделов, и, наконец, известное сообщение Особого комитета, оказавшее громадную услугу делу частной благотворительности, значительно расчистило ей дорогу, в том числе и в форме столовых. Губернатор генерал Баранов бесповоротно отказался после этого от первоначального предубеждения и, наоборот, стремился всюду оказать нужное содействие. Уступая обстоятельствам и как будто еще не собравшись с мыслями, лукояновское попечительство согласилось в принципе допустить столовую сначала в Починках, затем, после изрядной переписки — и в Лукоянове. Мысль о городской столовой, настоятельно необходимой еще с осени, настойчиво проводилась городским головой, который,— заметим кстати,— не имел высокой чести присутствовать в попечительстве и был вынужден являться в качестве простого стороннего просителя. Так как словесные просьбы дела не подвигали, то г. Лукин начал писать. В уездное попечительство он обратился в январе. Казалось бы, можно отпустить деньги для начала и затем потребовать смету и отчеты. Дело такое нехитрое и притом ведь речь идет не о теоретических выкладках, а о голодании живых людей. Но попечительство,— хотя и не канцелярия,— отнеслось к делу совершенно по-канцелярски: оно затребовало предварительную смету и подробнейшие сведения, а затем... «разъехалось» на две недели!.. Нужно заметить, что заседания происходили два раза в месяц, а в промежутках центральный орган лукояновской благотворительности отсутствовал совершенно. Смета господина Лукина идет затем в заштатный город Починки (так как попечительство собиралось поочередно то в одной, то в другой столице). Оттуда — новый запрос — и опять пауза на две недели. А голодные ждут.

Наконец, 1 марта столовая Н. Д. Лукина все-таки открыта. Гораздо более затруднений встретило предприятие того же рода господина Филатова, и, познакомившись с ним, я нашел его в полнейшем недоумении. Дело в том, что понемногу лукояновское попечительство собралось с мыслями и, в противоположность с губернией, окончательно утвердилось в мнении, что задача благотворительного попечительства состоит в посильных препятствиях открытию столовых. Уже 19 февраля на про-

сьбу господина Струговщикова о разрешении новых столовых около Починок — последовало весьма характеристическое постановление: «Так как,— говорится в журнале уездного попечительства,— принятие этого предложения вызовет необходимость в открытии повсеместно столовых, а по невозможности открыть таковые везде вызовет несправедливое распределение благотворительных сумм между нуждающимися (?!), вызывая неудовольствие населения и нарекания на лиц, обязанных наблюдать за правильностью ведения дела»,— то «постановили» предложение господина Струговщикова отклонить. Затем решено вблизи Лукоянова столовых не открывать и вообще все это дело поставить под непосредственное ведение земских начальников. Постановление это было весьма предупредительно направлено против попытки господина Филатова, принявшего предложение губернского комитета и представившего смету на шесть столовых. Деньги, присланные на этот предмет господину Филатову, попечительство секвестровало.

Господин Филатов написал об этом члену губернского присутствия И. П. Кутлубицкому, и это письмо несколько для него неожиданно появилось в печатных журналах Нижегородского губернского благотворительного комитета. Таким образом, совершенно невольно, г. Филатов самым фактом принятия невиннейшего предложения и дальнейшим естественным ходом вещей поставлен в некую оппозицию на месте. Таковы бывают неожиданные и часто неудобные последствия запутанной местной политики!

Как бы то ни было, г. Филатов недоумевает и ждет следующего заседания — седьмого марта. До седьмого марта уездное попечительство обмерло: предводитель— в имении, земские начальники — в участках, земская управа — в Починках, да она, вдобавок, ничего не значит. Уезд имеет два центра, но продовольственное дело не имеет ни одного центра, действующего постоянно. Это самым горестным образом испытывают на себе бедняги возчики земского хлеба. По арзамасской дороге, из-за реки Теши в город въезжают возы за возами... Это те самые обозы, которые я обгонял недавно. Они вливаются в улицы, стягиваются к площади, и... мужики в недоумении суются по городу, останавливают прохожих, рас-

спрашивают... Никто их не встречает, никто не привечает, как будто они никому не нужны...

История этих обозов оказывается тоже довольно интересной. Уездная продовольственная комиссия телеграфировала, что в уезде нет возчиков, и... мирно разъехалась до следующего заседания. Тогда губернатор с обычной быстротой нашел возчиков и сразу двинул эту реку хлеба. Река хлынула, и вот она на площади... Но уездной комиссии нет, ее представителя в городе нет, хлеб принимать некому, деньги за извоз платить тоже некому...

Дело, наконец, уладилось. Получена телеграмма и деньги для расплаты из губернии на имя земского начальника господина Костина. Он должен принять все эти сотни тысяч пудов и отпустить весь этот народ, заполнивший своим беспомощным недоумением и улицы, и площадь города. Почему именно г. Костин (это один из многих земских начальников, сменявших последовательно друг друга в злополучном первом участке)? Да просто потому, что он в городе, во-первых, и что, как приезжий, переведенный на время из Балахнинского уезда, не участвует в местной обструкционной политике. Но судьба самого г. Костина поистине плачевна: нужно проверять списки, нужно выдавать ссуду голодным, толпами осаждающим его квартиру, нужно самому разобраться в этой огромной и сложной операции, наконец, и судебно-административные дела, связанные «столпами»,— глядят на него из угла и тревожат: может быть, здесь есть что-нибудь спешное, безотлагательное, угрожающее. А тут г. Костин внезапно превращается в приемщика сотен тысяч пудов хлеба, который нужно взвешивать, выдавать квитанции, рассчитываться!.. И вдобавок еще — забота о собственном, брошенном участке в Балахнинском уезде... Положение, которому, я уверен, не позавидовал бы даже и земский начальник, виденный мною в Арзамасе. А между тем, закон предполагает другие хозяйственные органы в уезде,— органы, не обремененные вовсе ни судебными, ни административными делами...

Однако читатель, надеюсь, получил уже достаточное понятие о злобах дня, густо насытивших атмосферу столицы уезда... Будет пока о городе, пора и в деревню.

IV

НОВЫЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ. МЕРЛИНОВКА И МЕРЛИНОВСКАЯ ТРАГЕДИЯ.— НА БЕЛЕЦКОМ ХУТОРЕ.— ПЕРВЫЕ СПИСКИ

Под вечер, 2 марта, я выехал из Лукоянова на Федоровский (или, иначе, Белецкий) хутор землевладельцев господ Ненюковых, к новому моему знакомому П. А. Горинову, охотно согласившемуся руководить моими первыми, неопытными еще шагами и оказавшему мне впоследствии большие услуги своим действительным знанием дела и доброжелательной готовностью к помощи.

В 30-х годах водворилась в уезде видная фамилия Лубяновских. Вообще Лукояновский уезд считал в рядах своих помещиков немало блестящих и очень известных фамилий: Разумовские, Репнины, Кочубеи, Витгенштейны... По-видимому, однако, землями над Тешей и Рудней в дальних и глухих краях не особенно дорожили. По крайней мере из этих фамилий до настоящего времени сохранили здесь крупные владения одни Кочубеи, а, например, князь Витгенштейн уступил в 30-х годах уже настоящего столетия пять селений Ф. П. Лубяновскому за какие-то услуги по установлению права владения князя в польских местностях. Новый владелец, по свидетельству знающих людей, был настоящий хозяин дореформенного, крепостного типа. «Вступив в управление имением,— пишет о нем местный автор, о. Г Г-в,— он прежде всего обратил внимание на быт крестьян, на их житье, стараясь, по возможности, поддержать его и исправить недостатки. Например, не было у крестьянина лошади,— он покупал ему, изба была ветха и плоха,— он обществом заставлял строить» и т. д. Зато «лентяев и пьяниц нимало не жалел, отдавая без разбора целые семьи в солдаты». Одним словом, образ Ф. П. Лубяновского рисуется и в этом описании, и в устных рассказах о нем в виде известной типической фигуры «попечительного помещика» и крепостного благодетеля своих крестьян, входившего во все их нужды. Даже и религиозное чувство народа подлежало этой регламентации и особым «нарядам». «Заботясь о материальном положении их, быть может, даже с излишком,— пишет тот же автор,— помещик обращал внимание и на религиозный быт при-

хода. Например, вотчинная контора иногда делала наряды, чтобы крестьяне шли к исповеди и причастию или молебствовать по случаю бездождия. Впрочем,— прибавляет автор,— иначе и быть не могло». Крестьянин, как не свободный, не мог располагать своим временем даже и для молитвы: «Издельная господская работа хотя и отбывалась в три дня недели, но бывали случаи, что на нее наряжали не в очередь, и крестьяне не могли отказаться Потому-то время для говения и указывала вотчинная контора».

Картина, здесь нарисованная, соблазняет очень многих [1]. Стало общим местом, что крепостные времена совсем не знали голодовок. Людей продавали, как скотину, людей гоняли даже в храм божий, как безвольное стадо, но зато люди были сыты, тоже как стадо у хорошего хозяина. Однако многие общие места показывают только, что у нас очень короткая память. Крепостная Россия тоже голодала; голодовки эти под конец крепостного строя становились тяжелее и чаще, и это обстоятельство служило даже одним из аргументов в пользу необходимости реформы. Не пускаясь здесь в подробности этой истории (которые читатель может найти, между прочим, в интересных статьях господина Шафранова о «Неурожаях хлебов в России» [2]), позволю себе привести только один красноречивый отзыв знаменитого адмирала Мордвинова.

«Настоящее дело,— писал Мордвинов по поводу споров о голоде 1822 года, совершенно подобных нашим современным спорам,— может быть изложено в кратких словах:

Голодные просят хлеба на прокормление и зерен на обсев полей... Господин сенатор Баранов, посланный в Белоруссию для дознания нужд жителей ее, предлагает не давать голодным ни хлеба, ни денег на покупку оного. Точные слова его суть: «денежное и хлебное пособие дворянским имениям отнюдь доставлять не должно» Вместо же требуемого помещиками для прокормления крестьян своих пособия, сенатор сей признает за лучшую меру употребить против них (то есть помещиков) жесто-

---

[1] Писано в разгар крепостническо-дворянской реакции.
[2] См. «Русск. богатство», 1898, кн. V, VI, VII.

кие строгости, с приведением оных в действо без всякого отлагательства...»[1].

Как видит читатель,— это в сжатом виде та же современная история. Только при крепостном праве казна имела дело с дворянами-душевладельцами, просившими пособий для прокормления «своих» крестьян. Теперь же «жестокие строгости, с приведением оных в действо без отлагательства», отрицатели голода желают направить непосредственно против крестьянской массы... Сущность явления та же: массовое голодание и нежелание признать печальную истину. И если прежде голодовки указывали на застой отжившего крепостного строя, то и теперь они указывают на такой же застой, требующий столь же радикального обновления... Закон жизни есть безостановочное движение вперед...

В данном случае от причин, нам неизвестных, имение Ф. П. Лубяновского рушилось вскоре же после смерти первоначального владельца. Наследники в имениях не жили, хозяйство пришло в полное расстройство, на месте неустойчивого благополучия и изобилия появились прорехи, непорядки и разорение. Наконец, лет тринадцать назад огромное некогда и цельное имение пошло с молотка, как безнадежно заложенное в Петербургском банке.

Покупать земли в глухом и дальнем уезде охотников было немного, местное дворянство само перезаложилось и ждало той же участи, и потому имения, разбитые на отдельные участки, пошли «в розницу». Покупщиками явилась целая группа лиц недворянского происхождения, не побоявшихся приняться за реставрацию упавших и запущенных экономий; дело требовало, несомненно, бодрости и энергии, но зато земли достались очень дешево.

Таким образом, в разных местах уезда появились «хутора» новых землевладельцев,— на месте развалившихся усадеб выросли новые дома, провалившиеся крыши заделаны, появились каменные скотные дворы. При первом взгляде на такой хутор вы видите, что это нечто новое, возникающее, еще не вполне установившееся, но

[1] См. «Чтения в О-ве истории древностей российских», 1859, кн. III. Статья: «Мнения адм. Мордвинова».

растущее, не обомшелое, но уже кое-где приобретающее бытовой тон и слившееся с окружающей местностью, как ее органическая составная часть. А затем новая группа стала приобретать в уезде силу и значение. Так, Влад. Адрианович Горинов, владелец именно такого хутора (Ушаковского) и бывший управляющий хутора господ Ненюковых,— выбран был председателем уездной управы.

Я знаю, что в уме читателя уже встает яркая фигура Колупаева или Дерунова. На сей раз, однако, напрасно, и, говоря по совести, я думаю, что набросанная гениальною кистью,— эта фигура слишком уж выдвинута на первый план в литературе и публицистике и потому несколько извращает настоящую перспективу. Что касается до меня, то, говоря относительно, я не вижу особых причин для предпочтения старого типа землевладельца новому. Если же брать специально тот уголок России, который я стараюсь по возможности правдиво изобразить перед читателем, то здесь еще менее причин для такого предпочтения.

Я знаю, например, что господину Пушкину даже славная семейная традиция не помешала написать известное уже юмористическое письмо о том, что учеников не надо кормить и что их «слишком много учат», а также— употребить «кубическое содержание», как предлог для закрытия школ! Я знаю также, что школы и больницы до самого последнего времени подвергались систематическим нападкам со стороны именно противников «гориновской партии», и падение гориновской управы рассматривалось в уезде, как начало истребления «гориновщины», то есть училищ, больниц и врачебных пунктов...

Наконец... Когда под вечер тройка хуторских лошадей вынесла нас за город, то в нескольких верстах у самого тракта мы въехали в убогую деревушку. На краю деревни черным пятном на снегу выделялось пожарище, торчала труба, печально глядели обгорелые стены какого-то завода.

— Что это? — спросил я, пораженный печальным видом этой руины.

Мой спутник, П. А. Горинов, брат бывшего председателя, улыбнулся как-то многозначительно и сказал:

— Мерлиновка! А это — бывший панютинский завод...

Я с любопытством глядел на утопавшее в сумерках печальное зрелище. Какая тяжелая, грустная, какая, наконец, отвратительная драма витает над этой развалиной...

Вся читающая Россия помнит недавнее еще крушение «нижегородского дворянского банка», и теперь передо мной расстилалась арена одного из самых непривлекательных эпизодов этой банковой эпопеи. 12 ноября 1889 года в этом месте, в пустующем заводе, вспыхнул пожар. Имение принадлежало дворянину Панютину, директору банка, одному из самых видных дворян не только своего уезда, но и всей губернии. В это время уже было известно, что в банке неладно и, между прочим, много говорили о том, что Мерлиновка заложена незаконно в сумме, вдвое превышавшей ее покупную стоимость. Приближались выборы, о неладах в банке начинали толковать газеты, дело всплывало. Залог во что бы то ни стало нужно было очистить от этого незаконного излишка. В это время в имении появился некто Балаков, арендатор. Два бездействующие завода (винный и крахмальный) со всеми строениями были заложены торопливо, с какой-то лихорадочной поспешностью, в сумме, гораздо выше их настоящей цены, и, как только сделка была заключена, над крышей завода взвился в темноте огонь... Огонь не дал себе труда выждать год, месяц, неделю... Никого это, впрочем, не удивило, а сила и значение дворян вообще и Панютина в частности были таковы, что никто не ожидал от этого никаких последствий. Однако через несколько дней как-то внезапно в уезде появился губернский прокурор... Арендатор с приказчиком были арестованы... Затем губерния была взволнована известием об аресте самого директора... Толковали, волновались, негодовали, грозили, хлопотали, но драма развертывалась быстро и до конца: в банке сразу открылись огромные хищения, грубые, шитые белыми нитками, торопливые... Жена Панютина отравилась тотчас после его ареста. Сам он умер в тюрьме от тифа, банк взят в правительственное заведывание...

Затем (уже в 1893 году) в Арзамасе последовал приговор присяжных: поджог признан, признано также

участие в нем умершего владельца... «К сожалению,— писали по этому поводу в газетах [1],— как и всегда в подобных случаях,— хроникеру этого периода в жизни нашего края приходится отмечать факты, хотя и побочные, но подчас более некрасивые, чем самое дело, подавшее к ним повод. Провинциальное болото всколыхнулось, и тотчас из глубины его выглянул специфический продукт провинциальной жизни — *ложный донос*. Теперь, когда все пришло к своему лирическому концу, когда события завершились, стало известно также, сколько гнусностей было написано и послано по этому поводу приверженцами очень сильной еще тогда партии банковских воротил, надеявшихся на могущественное действие тайных изветов. Так, *один из лукояновских* же *землемеров* (г. Столыпин), не ограничиваясь прокуратурой и следственной властью, побуждения которых заподозревались вообще самым беззастенчивым образом,— подал ложный донос даже на свидетелей по делу, донос, ныне выглянувший на свет божий...» Но дело шло своим чередом, тайные доносы не могли закрыть явных хищений, представители судебной власти не отступили перед подпольной борьбой и шли своей дорогой... Следствие обнаружило попутно грандиозные злоупотребления, и Панютин сам сознался в подлогах... На месте губернской феерии водворилась трагедия. Когда *подлог* стал признанным фактом,— *поджог* сделался по меньшей мере вероятностью, и общественное мнение отвернулось и от Панютина, и от его защитников.

Такова печальная история мерлиновского пожарища, мимо которого несла нас наша тройка... Судьбе угодно было, чтобы и эта дворянская драма центром своим принадлежала тому же злополучному Лукояновскому уезду ..

Прелестное яркое утро 3 марта застает меня на Белецком хуторе. Расположенный на «вершинке» [2], под лесом, хутор весь занесен снегами. В окно виден снеговой вал, чуть-чуть торчат рядами верхушки плодовых де-

---

[1] «Русские ведомости», 1893 г., № 31.

[2] «Вершинками» называют здесь верхушки оврагов или ручьев, поросшие лесом или кустарником.

ревьев засыпанного метелями сада, и вдаль тянется березовая аллея, запушенная инеем. По аллее, осторожно ступая по снегу почти вровень с крышей, осторожно пробирается лошадь, запряженная в сани. В санях сидит священник в шубе и «чапане» поверх шубы. Лошадь взбирается на самый гребень вала, раздумывает одну минуту, потом, внезапно решившись, пускается вниз с таким видом, как будто ей предстоит ринуться в пропасть. Через минуту сельский батюшка из села Пичингуш отряхает иней с шапки и с своей бороды и радушно здоровается со мною. Он уже знает, зачем именно я приехал, и, справившись кое с какими делами по соседству, заехал нарочно пораньше, чтобы не упустить меня. Батюшка явился, чтобы походатайствовать о своей голодающей пастве.

Меня это приятно удивляет. Я раздумывал еще так недавно о печальном «отсутствии людей» в Лукояновском уезде, и вот оказывается, что теперь люди сами ищут меня. На хуторе, принадлежащем госпоже Ненюковой и управляемом ее родственником, П. А. Гориновым, меня встретили очень радушно, и я сразу почувствовал себя точно дома. Моих «лукояновских» сомнений и неприятного ощущения одиночества как не бывало. Здесь на дело смотрят просто, готовы оказать всякую услугу... А вот и сельский батюшка с опасностью, если не для жизни, то для саней, пробирается на хутор, через валы и сугробы.

В тот же день, известив письмом господина земского начальника о намерении своем открыть несколько столовых в его участке [1], я вместе с Петром Адриановичем и с местным священником составил список в большом селе Елфимове. Оттуда уже вчера вечером приходили крестьяне с просьбой не миновать их села. Составление списка прошло быстро, гораздо скорее и лучше, чем я ожидал. Так как у меня пока денег немного, то я ясно ставлю себе цель — вначале действовать осторожно и подбирать самые крайние слои нужды, которым прежде всего грозят последствия голода. Для первых двух сел мы определили приблизительно цифры около сорока в каждом. Объяснив «старикам» цель своего приезда, мы

---

[1] Теперь (1907 г.) это назвали бы «явочным порядком».

приступили к делу. Писарь дал нам два списка: один так называемый «посемейный», по которому священник читает фамилии домохозяев по порядку. В другом — я разыскиваю цифры выдаваемой на семью ссуды. Этот последний список носит характерное заглавие: «*Список крестьянам села Елфимова, нужда коих действительно граничит с голодом*». Цифры ссуды людям, «нужда коих действительно граничит с голодом», невольно обращают внимание. На тысячу шестьсот пятьдесят человек (мужского и женского пола) в селе Елфимове до марта месяца полная ссуда (тридцать фунтов) выдавалась лишь... шести человекам! В марте и эти счастливцы исчезли. Теперь они плакали, спрашивали меня о причине этого обстоятельства. Оказалось впоследствии, что они переведены на даровую ссуду из комитета наследника цесаревича, причем этот случай найден удобным для сокращения им выдачи до пятнадцати фунтов... [1] Вообще, ознакомившись впервые с елфимовским списком, я понял, на что рассчитывала «лукояновская оппозиция», отказываясь от шестисот тысяч первоначальной сметы, и впечатление от ближайшего ознакомления с этим делом становилось все тяжелее... Действовал тут опять «племянник великого поэта», А. Л. Пушкин.

Когда наш список был окончен, я встал.

— Ну, спасибо, старики, что помогли,— сказал я.

— Благодарим и вас, что потрудились, ваше благородие!..

Я увидел, что толпа сомкнулась вокруг меня, как будто разочарованная и ожидая еще чего-то... Наконец, несколько голосов заговорило сразу:

— А кто же поможет нам, мужикам-те, прочиим жителям, ваше благородие?..

Я увидел, что здесь есть недоразумение. Село ждало больше от моего приезда, и впоследствии священник передавал мне отзывы нескольких мужиков, что я приехал с пустяками. К сожалению, это была правда: что значили мои сорок человек из тысячи шестисот пятидесяти го-

---

[1] В заседании уездного попечительства уполномоченный от Особого комитета К. Г. Рутницкий счел нужным заявить свой протест против такого сокращения.

лодающих, из которых только шесть человек получали по тридцати фунтов. Затем непонятные и немотивированные сокращения ссуды на март и видимое стремление ограничить и эту скудную помощь, все это вызвало целый поток ропота, стонов и жалоб...

Не желая принимать на себя самозваную роль, я постарался рассеять иллюзию елфимовского мира: я не благородие, жалоб принимать не могу, власти изменить эти порядки не имею. Все, что могу сделать,— это... посоветовать обратиться с просьбою к господину земскому начальнику и в продовольственную комиссию.

Мы вышли из сборной избы среди тяжелого молчания...

На следующий день мы опять составляли списки в селе Пичингушах — том самом, откуда ко мне приезжал священник. Здесь картина та же в общем, только значительно более бурная. Мордва народ вообще менее сдержанный, и притом дело здесь усложняется несомненными злоупотреблениями сельских властей. В избе стоит гул жалоб, которых я никак не могу прекратить. На мои заявления, что я не вправе принимать их жалобы, что я приехал только по своему делу для открытия столовой,— мордва находит очень остроумный ответ: мы не вам говорим, мы так, промежду себя... И жалобы, упреки, едкие замечания стоят в воздухе во все время моей работы. Мордва, очевидно, надеется, что приезжий «его благородие» все-таки кое-что запишет...

Здесь впервые пришлось мне узнать, что сам земский начальник даже в таких больших селах, каковы Пичингуши,— *лично не был ни одного разу!* Но кто же тогда составлял эти списки, послужившие основанием для общей лукояновской сметы и для самонадеянного лукояновского спора с статистикой губернской управы, руководившейся точными данными? Неужели вот этот самый плутоватый староста-мордвин и этот писарек, его сын, которые теперь жмутся, не зная, куда девать глаза под градом упреков, которыми их засыпали ободренные моим присутствием односельцы?.. Да, несомненно,— именно они .. Итак, под этим «практическим знанием своего участка» скрывалась все она, старая знакомая статистика волостных и сельских писарей, о которой было столько,

по большей части, юмористических разговоров!.. Открытие довольно, признаться, печальное: почти все списки в уезде составлены старостами и старшинами и никем не проверены на местах!

— Князькин Максим,— читаю я по списку.

— Бедный! — иронически кричат со всех сторон.— Пособие получает на всех! Или вот еще Кирдянов, тоже бедный. У одного сын в Елабуге первый приказчик, другой получает двести рублей, без чаю не садится... Кум старосте, вот главная причина.

Я останавливаюсь и смотрю на старосту. Хитрый мордвин потупился, мальчишка писарь испуган. Очевидно, оба раздумывают, могу или не могу я принимать эти жалобы, власть я или не власть...

— Что-о, скажешь, неправда! — кричат мужики.— Неси сюда почтовую книгу, мы тебе покажем, кто у тебя получает... А бедному не нужно!.. Бедный вином не поит, бедному не даете по нападке...

Староста молчит...

Я опять стараюсь прекратить все эти жалобы и опять внутренно должен признать всю их справедливость: ссуды получают богатые и состоятельные, а сокращения ложатся на бедноту... По словам старосты, во всей Маресевской волости с марта никто уже не получает полной ссуды (то есть по тридцати фунтов). Почему? — неизвестно. Вот старуха Еремаева, 74 лет, слепая. Отзыв о ней: «кабы не приютил ее Михайло Тимофеев, должна бы она страдать под небом». Не получает. Почему? — опять неизвестно. Вот Нуйкин Андрей, отставной солдат. Сын ушел без вести («такой лобан, негодяй»), старик еле ходит, остались на руках сноха и дети... Получили в феврале по двадцати фунтов, на март отказано... Вот Паськин Степан. Семья — десять человек. В декабре и январе получал на восемь едоков (четыре пуда), в феврале на шесть, на март назначено полтора пуда. Опять почему? — не может объяснить, даже староста смотрит на этот факт с тупым недоумением. Очевидно, списки, составляемые этими экономистами, подвергаются еще сокращениям в участковом или волостном центре, уже прямо «сослепу», как говорили мужики, на основании каких-то отвлеченных соображений земского начальника... Все это производит невероятную кутерьму.

— У нас тут так набуторено, сам архиерей не разберет,— так обобщил один из стариков общее впечатление этого сельского списка...

V

БУНТОВЩИКИ-ВАСИЛЕВЦЫ

Ясный день с признаками весны. Мы направляемся в «заштатный город Починки» отчасти для того, чтобы прицениться к хлебу для столовых, частью же меня влечет любопытство: по средам и четвергам в Починках— знаменитый в уезде базар, смущавший многих своей грандиозностью и обилием продажного хлеба «в голодающем уезде».

Тройка хуторских лошадей, запряженная гусем, выносит нас из сугробов полевой дороги на простор «починковского» тракта. Здесь мы прежде всего встречаем большое село, Василев-Майдан, населенный «кочубейством». С этой интересной этнографической группой (давними переселенцами из Западного края), резко отличающейся от коренного населения, я еще надеюсь познакомить читателя в дальнейших очерках, а пока остановлюсь на некоторых чертах из истории Василева-Майдана, отмеченных тоже своего рода оригинальной типичностью.

Дело в том, что в этом огромном селе живут исконные «бунтовщики», давно известные в уезде. С самого освобождения крестьян василевцы не платят выкупных платежей (внося, впрочем, государственные и земские повинности), а с 1878 года, когда они переведены на обязательный выкуп,— уплатили всего девять рублей шестьдесят копеек этого сбора. История эта, отчасти рассказанная ныне местным летописцем на страницах «Нижегородских губернских ведомостей», прошла через несколько разнообразных периодов и до настоящего времени мало подвинулась к какому бы то ни было решению. Василевцев убеждали, василевцев приводили к покорности, василевцев секли... А василевцы знают одно: бунтуют, да и только. И бунт, и укрощение бунта равно отмечены чертами несомненной самобытности и даже, если хотите, почти бессознательного юмора. Однажды,

лет, если не ошибаюсь, восемнадцать назад[1], за василевцев решили приняться вплотную. Нужно было достигнуть двух целей: во-первых, заставить василевцев фактически принять надел, во-вторых, из этого логически должна была истекать необходимость платить выкупные. И вот в село «нагнали» особо организованную команду сотских, целый сермяжный баталион, который расквартировали на иждивение василевцев, подлежащих усмирению. Меры усмирения состояли в следующем. Рано утром сотские запрягали лошадей в сохи и выводили хозяина. Один из «усмирителей» вел под уздцы лошадь, другие два тащили за сохой ее владельца. В таком виде оригинальный отряд выезжал на надельную землю. Здесь усмиряемых разводили по полосам, затем сошник вставлялся в землю, передний сотский брал опять лошадь под уздцы, двое других клали руки хозяина на рассоху. Видя, что таким образом дело клонится к некоему символу «обработки надела», василевец производил, с своей стороны, некий символ бунта: чтобы доказать, что он «наделу не принимает» и желает бунтовать, невольный пахарь, вместо того чтобы идти за сохой, ложился на землю. Тогда над «бунтующим» тотчас же открывалось заседание волостного суда, который, по распоряжению «энергичного» губернатора, выезжал для этого на василевские поля. Живо составлялся соответствующий приговор, который тут же, пользуясь удобным положением бунтовщика, и приводили в исполнение: василевца драли, потом поднимали под руки и опять ставили к сохе, а он опять ложился. И так далее. При этом, и ложась, и поднимаясь, василевец имел сомнительное удовольствие видеть кругом, на нивах, своих односельцев-мирян, «бунтовавших» с таким же благодушием и усмиряемых с таким же успехом... К вечеру и усмиряемые-василевцы, и усмирители-сотские возвращались с оригинальной работы домой и более или менее мирно садились за общий ужин...

Сколько времени длились эти экзекуции,— сказать трудно, во всяком случае, «бунт» продолжается до сих пор. Откуда и как он начался? Быть может, удастся в архивах разыскать письменную историю этого истинно

[1] При губернаторе гр. Кутайсове.

русского «возмущения». Теперь же приходится довольствоваться седыми и, надо сказать, почти легендарными преданиями. Имение некогда принадлежало очень крупному землевладельцу Лубяновскому, о котором говорилось выше. При выкупе произошли пререкания. Крестьяне, сначала не соглашавшиеся на предложенные условия, вынуждены были впоследствии мириться с худшими. Как передают они сами, им отвели в надел пеньки из-под вырубленной лесной площади, вместо удобной земли. Правда ли это, или нет,— не знаю. Во всяком случае, вышла какая-то путаница и замешательство, которые крестьяне понимают именно в этом смысле. Далее темное предание говорит о каких-то двух таинственных личностях, которые, будто бы, явились в село, оставили тут «золотую грамоту» и уехали. Уехали и потонули «в тумане минувшего». А василевцы грамоту прочли, поняли из нее, что помещику уступать не следует, и на том себя утвердили. И с тех пор «бунтуют».

Были ли на самом деле эти два таинственных незнакомца, или их вовсе не было? Признаюсь, после того, как мне пришлось ознакомиться с некоторыми чертами лукояновской истории вообще,— я сильно сомневаюсь в реальности этих фигур. В глухих местах бродят слишком часто разные призраки, своего рода олицетворения таинственной путаницы, в которой некому разобраться. К тому же в лукояновских уездах, кажется, слишком уж склонны к изобретению таких удобных незнакомцев...

Автор статьи в «Губернских ведомостях», о которой я говорил выше, приводит еще одну своеобразную черту василевской истории. В некоторое время в обществе явился раскол: одна часть крестьян, которой надоело бунтовать, решила покориться и выказала готовность платить. Тогда... это совершенно естественно — местной полиции представился случай обнаружить распорядительность. И недоимки стали поступать все успешнее, пока... не остановились вовсе. Оказалось, что к поддавшимся василевцам была применена круговая порука, и с них стали брать, что было можно, за остальных. Увидало тогда меньшинство, что «бунтовать» во всяком случае выгоднее, и опять перестало платить.

Каковы же, однако, сами эти «бунтовщики» в остальных отношениях? Местный священник, благочинный

«ПАВЛОВСКИЕ ОЧЕРКИ»

«ПАВЛОВСКИЕ ОЧЕРКИ»

Г. Н. Гуляев, пастырь непокорного стада (и притом,— позволю себе прибавить,— пастырь в истинном значении этого слова), рекомендует их, как отличных прихожан, смирных и кротких людей. Не правда ли, это опять неожиданная черта во всей этой оригинальной истории?.. Как бы то ни было, по пословице: «добрая слава лежит, худая бежит», василевцы пользуются своей бунтовской репутацией не только в уезде, но и в губернии. Годы этого «бунта» и этих усмирений легли бременем на василевцев, хозяйство расшатано, валится кое-как, через пень-колоду, и василевские нищие ходят с сумами далеко по окрестностям даже в обыкновенные годы.

Как же избавиться от этого хронического недоразумения? У лукояновской продовольственной комиссии явилась на этот счет своя «идея», заимствованная, очевидно, у почтенного Мымрецова: василевцев решено «не пущать», и с 1873 года им не выдают паспортов на отхожие заработки. Теперь они вновь обратились в уездный съезд земских начальников с просьбой, ввиду неурожая, разрешить им отход на промысла, но 9 октября земский начальник известил волостное правление, что в этой просьбе съездом отказано. Года за два василевцев вдобавок посетил страшный пожар (пламя «слизнуло» почти все село целиком). За пожаром пришел и голод, и вот эта минута сочтена удобной для окончательного усмирения. Предполагалось лишить бунтовщиков огня и воды, не выдавать ни паспортов, ни зерна ссуды... Боже мой, но ведь они уже доказали свою закоренелость и теперь могли добунтоваться прямо до голодной смерти!

К счастью для василевцев и к чести губернских властей проект отвергнут, выдача паспортов разрешена губернатором, и рука помощи не минула непокорного села. Несколько лет назад кто-то, кажется именно кто-то из бывших земцев, человек простой и умеющий говорить с мужиком по-человечьи, убедил василевцев, что их положение не ухудшится, если они станут пахать надельную землю. И они стали пахать, но выкупных все-таки не платят, тем более что не имеют надежды уплатить всю накопившуюся годами недоимку... Таким образом, первая половина программы, над которой так долго и тщетно трудилась некогда почтенная команда кутайсовских сотских, все же исполнена. Теперь вдобавок васи-

левец видел руку помощи, протянутую к нему среди невзгоды. Послужит ли это к прекращению «бунта»? Едва ли, конечно, если не будет сделана попытка устранения коренных причин неурядицы...

VI

«ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД».— «СТОЛОВАЯ».— ОПЯТЬ «СПОКОЙСТВИЕ УЕЗДА».— БАЗАР И ПАРАДОКСЫ ГОЛОДНОГО ГОДА

«Заштатный город» Починки был настоящим городом при Екатерине. В архиве одной из местных церквей недавно найден документ, в котором протоиерей Георгий Алексеев описывает сильными чертами «бывший в 1795 году мая 3 дня происходивший в первом, во втором и в третьем часах пополудни превеличайший, престрашнейший пожар в городе Починках, в котором по сгорении собора, двух церквей, духовного правления, соляных амбаров, полиции, цейгауса и разного строения до шести сот дворов, оказалось, что в огненном пламени жизнь свою положили два священника, Александр и Иоанн, и крестьян обоего пола тридцать человек, да обжегшихся по причине отвсюду разлившихся пламени с ветром и вихрем человек до сорока... В которое время и я, грешный протопоп, хотя опален был огнем, однако богу, давшему мне силу и способность, благодарение: ибо между самого горящего строения пробежав к реке Рудне, жизнь свою спас»[1].

Надо думать, что именно этот пожар решил участь Починок и обратил их в село. Однако Починки не забывают прошлого и предпочитают именоваться «заштатным городом». В нем помещается уездная земская управа, происходят собрания земства и — один раз в месяц — заседания уездной продовольственной комиссии. Таким образом, Починки по праву могут считаться второй столицей Лукояновского уезда, и, говорят, отсюда, собственно, исходит то, что впоследствии стали называть «лукояновским духом».

Дух этот чувствуется здесь и сильнее, и гуще. В По-

[1] В 1894 г. Починки опять постигнуты страшным пожаром. сгорело до 200 домов.

чинках господа лукояновские дворяне собираются охотнее, чем в Лукоянове, тут им и уютнее, и свободнее. Здесь, в особом доме помещается канцелярия предводителя дворянства, М. А. Философова. Здесь же пребывает и действует коллежский советник Ильин, письмоводитель предводителя, он же секретарь воинского присутствия, он же непременный член всех учреждений, куда только может проникнуть ловкий человек, считающийся «правой рукой» самого предводителя. От усиленных приемов какого-то лекарства лицо его приобрело темно-синий цвет, и потому его зовут «синим письмоводителем». Кличка, отчасти напоминающая «Синюю бороду», звучит чем-то таинственным и грозным. И действительно, это особа грозная для злополучных сельских властей. Если господин Философов получил свою опереточную диктатуру от генерала Баранова, то диктатура, которою облечен его письмоводитель, является уже далеко не опереточной для крестьянского населения. Он облагает это «подвластное население» данями и пошлинами, которые порой официально требуются канцелярией предводителя. Так, он открыто взимает с волостных правлений плату за призывные бланки, которые по закону рассылаются даром. Он обложил пятикопеечным сбором всех призывных, вынувших дальний жребий, наконец, от времени до времени, раза два-три в год он циркулярно рассылает по волостным правлениям билеты на лотерею, на которой разыгрываются какие-то неведомого происхождения муфты, ротонды и тому подобные предметы... «Приказано брать и берешь»,— со вздохом говорят старосты, которым «синий письмоводитель» предоставляет редкий случай выиграть дамскую муфту или шляпку городского фасона. Господа лукояновские дворяне усердно закрывали школы и больницы. Нельзя, однако, не признать, что наряду с этим канцелярия их представителя стремилась ввести в деревню «городскую культуру»...

Дом, где помещается канцелярия предводителя, принадлежит крестьянскому обществу, у которого он был снят в аренду. Любопытно, однако, что общество ничего не получает за это помещение: «письмоводитель», заплатив за первый год, затем прекратил это баловство, а всякому, кто заикался о правах общества, умел зажать рот

и дать почувствовать, что, с наступлением «новой дворянской эры», оспаривать завоевания «первенствующего сословия» довольно неудобно.

Впоследствии, отчасти благодаря «голодному году», все это выплыло на свет божий. Один из земских начальников, г. Бобоедов, состоял в открытой вражде с господином Философовым и «уездной продовольственной комиссией». По этому самому он пользовался поддержкой «губернии». Во время одного из объездов своего участка он наткнулся на следы незаконных поборов со стороны канцелярии предводителя. Простодушные старшины, как оказалось, заносили их в официальные книги! Началось дело, и, наконец, в октябре 1894 года коллежский советник Ильин предстал перед судом. К удивлению публики, собравшейся на заседании суда, на скамье подсудимых оказался уже не коллежский советник Ильин, а рясофорный инок Арзамасского Высокогорского монастыря. Почтенный отшельник не отрицал незаконных сборов и, нимало не щадя своих покровителей, доказывал только, что незаконные сборы были заведомым обычаем в лукояновских дворянских учреждениях. Суд вынес смиренному монаху обвинительный приговор, отчасти, быть может, смягченный тем, что подсудимый уже удалился от греховного мира [1]. Во всяком случае коллежский советник Ильин сошел со сцены, а крестьянскому обществу удалось отвоевать свой дом, чуть не перешедший, благодаря давности владения, в собственность первенствующего лукояновского сословия...

Однако вернемся к прерванному повествованию...

В Починках (если не ошибаюсь, по инициативе госпожи Е. Н. Струговщиковой) открыта огромная столовая на двести пятьдесят человек. У двери ее — целая толпа: нищие, нищенки, старики, старухи, дети. Это еще не попавшие или не имеющие надежды попасть в столовую. Вот захожий странник, сгорбленный под котомкой, с посохом в руке, с огромной бородой и острыми, внимательными глазами. Много исходил он свету, но, видимо, здесь наткнулся на новое, еще невиданное учреждение и иссле-

---

[1] Любопытно, что в то время он не имел еще права на монашеское одеяние, так как принят в послушники только в 1896 году. Все это было оглашено в газетах («Русская жизнь», 1893 г., № 33, «Нижегор. лист.», «Русск. вед.»).

дует его своим наблюдательным взглядом, оценивая шансы поживиться и на свою странницкую долю. А вот и простодушные лица детей... Они плохо сознают, что происходит кругом. Они только голодны и смотрят на хлеб бесхитростными, грустными, широко открытыми глазами.

Ни наружного вида, ни подробностей организации этой столовой я описывать не стану. Все это уже известно читающей публике из брошюры Л. Н. Толстого и многих других описаний. Все столовые более или менее повторяли в главном свой первообраз. Здесь же я напомню только, что самое возникновение этого «опасного» учреждения в средоточии лукояновской оппозиции — следует считать результатом минутной слабости уездного попечительства. На дальнейшие просьбы о разрешении новых столовых оно отвечало уже решительным отказом,— «для избежания нареканий на лиц, заведующих продовольствием в уезде».

Теперь несколько слов о знаменитом базаре.

Впрочем, и тут я не стану повторять всем известных описаний сельского базара: скажу только, что базар в Починках, действительно, огромный, а к весне, перед началом распутицы, на нем стали появляться сотни возов овса...

Вот в этом все дело; овес есть все-таки хлеб. Итак, в голодающем уезде на базаре появляется хлеб. Это зрелище поистине соблазнительное, и вот почему «починковский базар» стал вдруг фигурировать во всех донесениях из Лукояновского уезда и каждый раз, как кто-либо из «губернии» приезжал, чтобы «увидеть голод» в уезде, господа лукояновские деятели вели его на этот базар: смотрите! И приезжие из губернии по большей части смущались: в самом деле — продают, покупают, толпы народа, сотни возов овса!

По этому поводу я опять позволю себе небольшое отступление.

Был ли, в самом деле, у нас голод, был ли у нас подлинно страшный неурожай, была ли необходимость в помощи населению двадцати губерний? По-видимому, совершенно праздный вопрос! Однако, положа руку на сердце, знаем ли мы теперь правду о голоде? Можем ли мы,— читающая, мыслящая, рассуждающая и даже

«командующая» часть русского общества,— можем ли мы сказать, что имеем окончательное и бесповоротное мнение по этому вопросу, знаем это так, что уже не остается места ни колебаниям, ни сомнениям, ни спорам? Было ли нашествие двунадесяти язык в 1812 году? Да, было, в этом мы все уверены совершенно. Но когда отодвинется несколько трудный наш год, когда «голод» сойдет с газетных столбцов, когда закроются все комитеты и прекратятся официально разрешенные сборы,— скажем ли мы тогда с такою же уверенностью: недавно на Руси было великое бедствие, которое должно нам послужить уроком. Или же факт останется опять в области спорных вопросов? Одни станут говорить: «был голод», а другие — «была только либеральная или какая-нибудь другая интрига».

Кто-то, кажется г. Авсеенко, в одном из своих романов сравнил нашу русскую жизнь с гороховым киселем: как глубоко ни хлестни по этому киселю,— борозду мигом затянет, и никакого следа не будет... Нет, следы, конечно, будут, следы не могут не остаться в самой глубине народной жизни, но наверху, в сознании «господствующих» слоев общества, возможно и то, и другое...

Прежде всего, признали ли мы единодушно существование бедствия теперь, когда собираем пожертвования, говорим, открываем столовые и раздаем ссуды? Вот небольшой, но характерный факт. Уже в Лукоянове я получил письмо от лица, живущего в Нижегородской губернии, в уезде, постигнутом неурожаем. Письмо следующего содержания: «Посылаю вам сорок пять рублей, полученных со спектакля в пользу голодающих. Живо представляю себе ваше удивление, а может быть и иное чувство, перед нашим личным неумением оказать помощь непосредственно... Но ведь так трудно разобраться во всех этих фактах. Вот я, например, видел печеный хлеб из N-ской волости. Глядеть жутко; какая-то тяжелая, клейкая масса из разной дряни. Но через несколько дней меня уверяют, что это был обман: нарочно испекли для начальства! К одному из земских начальников являются и говорят, что умирают с голоду. Он едет в деревню, посещает подряд дома и привозит отличный ржаной хлеб и порядочный пшеничный. Я сам отведывал»... и т. д.

Я попрошу читателя пока заметить одну характеристическую черту: «посетил подряд дома и привез порядочный хлеб»... Подряд из всех, или из половины домов, или из одного-двух,— об этом даже не упоминается. Нашел хлеб, может быть, в одном доме... И довольно!

Далее. Не так давно, в Нижнем, меня встретил на улице знакомый помещик и обрадовал известием, что «голода решительно нет».

— Помилуйте, сам думал, что есть, но теперь имел случай убедиться. И разубедил меня мужичок, односелец. Считался бедняком, получал ссуду, и я сам знал его, как бедняка. Что же вы думаете: недавно приходит ко мне покупать лошадь. «Да откуда же у тебя деньги?» — «А сколько надо?» — «Тридцать пять рублей...» — «Извольте!» — заворачивает полу и, к моему удивлению, вынимает тридцать пять рублей. Вот вам и голодающий!

А шедший со мной чисто уже городской скептик прибавил:

— Вот видите, а ведь это помещик и видел *сам*.

Этот прием мы уже несколько знаем: это «массовые выводы из единичных наблюдений». Один-единственный факт, который человек видел *сам*, сразу закрывает для него тысячи фактов, обставленных какими угодно достоверностями, но о которых он только «читал в книге» или которые видели другие. А вот и еще: мне пришлось купить у мужика 275 пудов хлеба для столовых по 1 р. 70 к. Цена ужасная, и уже ее одной достаточно, кажется, чтобы представить себе положение массы людей, вынужденных покупать хлеб по такой цене. Но это сообщение *общего* характера и потому редко привлекает внимание. А вот то обстоятельство, что хлеб куплен у мужика, тотчас же кидается в глаза.

— У *мужика* — двести семьдесят пять пудов! Ну, какие же *они* голодающие!

Я был изумлен неожиданностью заключения, но теперь уже не удивляюсь. Вот другой пример в том же роде: едем деревней. День морозный, на току раздаются гулкие удары цепов. Молотят рожь, разбирая для этого старые одонья.

— Кто молотит?

— Мужик.

— Чей хлеб?

— Свой.

И вот опять повод для изумленья: какие же *они* голодающие?

Если вскрыть этот весьма ходячий и весьма простой силлогизм, то он представится в следующем несложном виде: «Кто продал хлеб для столовой?» — *Мужик.*— «Кто будет обедать в столовой?» — *Мужик.*

Итак, *мужик* продавал свой хлеб и *мужик* идет в даровую столовую. *Мужик* молотит старые одонья и *мужик* просит ссуду. Обманщики!

Однако стоит только немного *договорить:*

— Тот *самый* мужик, который продал хлеб, пойдет в столовую? Вот в том-то и дело, что не тот самый, что хлеб продал Федот, а в столовую пойдет Иван, а если и Федот, так не тот, а другой... В том-то и дело, что «мужика», единого и нераздельного, *просто мужика* — совсем нет; есть Федоты, Иваны, бедняки, богачи, нищие и кулаки, добродетельные и порочные, заботливые и пьяницы, живущие на полном наделе и дарственники, с наделами в один лапоть, хозяева и работники... В том-то и дело, что нам народ кажется весь на одно лицо, и по первому *мужику* мы судим о всех мужиках. Когда мы с ним кокетничали, когда у нас были в моде славянофильство и народность, тогда стоило первому трактирному половому, первому прасолу изречь какую-нибудь более или менее характерную сентенцию,— и мы уже кричали: вот что думает, вот как судит мудрый русский народ... ну, хоть о либерализме. И этого было достаточно, чтобы умилиться перед «народною мудростью» и чтобы посрамить либерализм на основании столь высокого авторитета. Теперь время другое, и, увидя у первого кабака первого пьяницу, мы уже готовы кричать: «Вот он, русский народ! Пьяница и оболтус! Русский народ спился, русский народ не голодает, а пропивает ссуды...»

— Ах, вы из уезда? Ну, что, скажите: видели голод?

Вдумайтесь в тон и смысл этого вопроса, и вы опять увидите под ним представление о чем-то едином, простом, цельном и несложном, как статуя.— Видели монумент Пушкина на Тверском бульваре? — Да, видел. Действительно, стоит на Тверском бульваре, и откуда ни зайди,— отовсюду ясно, что это именно монумент, еди-

ный и цельный, отлитый из металла.— А голод? Нет, помилуйте, где он?

Так разговариваем мы в губернском городе, в крае, постигнутом неурожаем, с приезжими из уездов. И сколько людей — столько ответов, и все слагаемые, которые мы,— по крайней мере, значительная, если не большая часть нашего общества, не умеет суммировать. «Иван Иванович видел настоящий голод в такой-то волости: сидит в печальной позе и проливает горькие слезы».— «Помилуйте, да Семен Семенович сам был в этой волости: никакой там голод не сидит и слез не проливает, а наоборот — «народное пьянство» распевает разгульные песни. Он *сам видел*, как мужик Семен Гордеев валялся пьян на улице».— А стоит губернскому жителю явиться в столицу — и там накидываются на него, как на *настоящего* эксперта из голодающей губернии.— Скажите, наконец, правду: есть голод?..— Я у себя в губернском городе не видал...— Не видали, странно...

Теперь возвратимся к починковскому базару. Огромная площадь, толпа народа. Ряд деревянный, ряд «красного товара», ряд железный, конный, наконец — возы овса. Представьте себе теперь, что на такую площадь попадает «исследователь» с такими же представлениями о голоде, и с таким же представлением о мужике, как о едином и всегда себе равном субъекте, всегда «на одно лицо» и с одинаковыми свойствами. И вот вместо пустыни, по которой бродят одни только истомленные скелеты, такой наблюдатель видит базар, а на базаре возы, а на возах овес. Боже мой, как не обрадоваться этому открытию! И он едет в губернию с отрадным известием: «сам видел возы с овсом!» А «практики, знающие близко народную жизнь», пожимают плечами: «Мы говорили! Охота верить статистике или газетчикам!..» И при этом непременно забудут, что сами тоже еще недавно били тревогу...

Я уверен, что эти истории, и именно так, происходили по всей неурожайной полосе и что они посеяли много сомнений. У нас, по крайней мере, починковский базар расплодил их бесчисленное множество.

Вот почему стоит немного остановиться на этом явлении.

Господа, «знающие близко народную жизнь», сделали открытие: в уезде есть овес! Однако если бы они предварительно ознакомились в самой лишь необходимой мере с тем, что для них знать было обязательно, то они увидели бы, что другим это давно было известно. На странице XVIII изданного губернской земской управой труда «Урожай 1891 года» они нашли бы даже точную цифру: на одних крестьянских землях чистый сбор овса по уезду показан в $70^1/_2$ тысяч четвертей, или 423 тысячи пудов. Прибавьте к этому овес из экономий, запасы крупных и мелких торговцев, разложите все это на возы, и вы получите такой обоз, которого хватит не на одну починковскую базарную площадь... Таким образом, со своим шумным открытием «практическое знание народной жизни» стучалось в давно открытую дверь и открывало давно открытую Америку.

Однако в работах статистиков есть и другие цифры. В официальном «Сборнике центрального статистического комитета» (Урожай 1891 года) вы увидите в таблице, показывающей сбор ржи (табл. III), красноречивую цифру 00 против Лукояновского уезда. Сборник губернской управы дает цифру несколько высшую, но во всяком случае — совершенно ничтожную...

Итак, статистика ясно говорит господам, «знающим практически народную жизнь»: *у вас есть овес и нет ржи*, поэтому население станет продавать овес и спрашивать рожь. И действительно, овес выезжает на базары и становится рядами телег, а место ржи занимают мешки с лебедой... Но господа практики чему-то удивляются и почему-то торжествуют...

Теперь статистика продолжает: *но вашего овса не хватит на покупку необходимого количества ржи*. Расчет очень простой: у вас 168 тысяч человек в уезде. Считая весьма умеренно по пуду ржи на человека, вам нужно 168 тысяч пудов в месяц, а до 1 марта (когда происходит этот разговор),— нужно было бы 1 200 000 пудов. Вы выдали до этого времени *всего 69 тысяч*. Итак, свыше миллиона пудов ржи население должно выменять на свой овес. Для этого (считая два пуда овса за пуд ржи) необходимо более двух миллионов пудов овса. А у вас его только 423 тысячи! Это-то мы и *называем* нуждой.

Результат очевиден. К весне, когда тайные и явные, скрытые и открытые запасы хлеба уже исчезли,— овес с лихорадочной поспешностью вывозится на базары. Статистика видит в этом исполнение своих предсказаний и рекомендует увеличение ссуд, чтобы помочь бедному овсу, изнемогающему от обилия предложения и теряющему цену, в то время как гордая рожь становится все недоступнее и дороже... А господа практики в базарном изобилии овса усматривают признак довольства и... сокращают ссуды!..

Дальнейшее еще более понятно. Овес напрягает последние усилия, и семена в свою очередь наводняют рынок. Статистика скорбит, «практика» еще более торжествует, в деревнях едят лебеду и... мрут «натуральною», только отчего-то ужасно возрастающею смертностью... А овес все плывет на базары, и когда подходит время посева, то оказывается, что теперь необходимо уже выдавать в ссуду *овес на обсеменение* полей, покупая его по дорогой цене у скупщиков, которые подобрали его очень дешево в период базарного изобилия!

Вот каковы эти «голодные парадоксы», и вот как трудно приступать к ним с одним глазомером, с одною решительностью, с презрением к истинному знанию, основанному на наблюдении и обобщении, с одним невежеством, состоящим в незнании собственного незнания...

И вот откуда эти колебания и сомнения,— был ли у нас голод: каждое отдельное наблюдение (сам видел) обобщается и опрокидывает первоначальные представления, а статистика частью заблаговременно уже искоренена, частью же находится не в авантаже... У нас, в губернии, она не искоренена и сделала свое дело там, где ее захотели слушать. И, однако, достаточно было немотивированного мнения лукояновских «знатоков народной жизни», чтобы точная и несомненная смета уступила в уезде место фантазиям, основанным, как мы уже видели, на ученых трудах волостных писарей и «живых наблюдениях» по кабакам и базарам...

Отчего это так вышло, об этом мы поговорим еще в главе об организации продовольственного дела.

Часа в четыре мы выехали из Починок. Базар поредел. Едем тихо: на дороге много «обгону», пристяжка

то и дело вязнет в глубоком снегу... Пьяных, как и на базаре, не видно; не слышно песни: возвращаются налегке,— видно, что продавцов на базаре больше, чем покупателей.

Вот на дороге остановка: распряженные сани с незначительной кладью, на санях сидит мужик, на снегу лежит лошадь, положив, как собака, голову на передние ноги, и по временам тяжело, глубоко вздыхает... Возы осторожно объезжают застигнутого бедою мужика, наши лошади пугливо жмутся и, объехав, подхватывают сразу, убегая в панике от молчаливой драмы, понятной даже и лошадиному сердцу.

Я оборачиваюсь назад. Неуклюжая починковская колокольня еще видна над снегами, по дорогам тянутся черными точками возы разъезжающегося базара... В лицо дует холодеющий ветер... К ночи еще будет мороз. Две-три ночи теплых,— и дороги станут непроезжими, и уже трудно будет доставлять хлеб туда, куда — по ошибке ли, или по принципу, вольно или невольно,— не успеют доставить его раньше.

Вот опять красивая перспектива непокорного Василева-Майдана, с церковью на высоком холме... Вечерняя заря угасает за синеющими снегами. Ветряные мельницы стоят, рисуясь на золоте заката, не шелохнув крылами, точно в самом деле мертвые великаны. Ямщик развлекает меня рассказом о том, как ныне дешево можно жениться, да кстати, не подозревая этого, разрешает еще один парадокс голодного года. Говорят, в уезде много свадеб. Это опять фактически неверно: свадеб меньше, но все же женятся. И что всего страннее: женятся бедняки. Ямщик бесхитростно разрешает загадку: девки дешевы. В тех местах за них берут «кладку» рублей по пятидесяти, по сто. Теперь можно взять девку из хорошей семьи за бесценок, только с хлеба долой. Подумывал было сына женить,— теперь не женишь, потом опять вздорожают.

— Так что же?

— Неохота ее-то по миру пускать... Первый-то год лелеем мы все-таки их, а тут в доме, кроме лебеды, ничего! Нехорошо!

Так вот комментарий к этому «обилию свадеб», которое тоже приводилось, в качестве аргумента, в пользу

«благосостояния уезда» и которое, вдобавок, по точной справке, оказывается такой же уткой, как и усиление пьянства, как и хорошая торговля [1].

VII

НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ.— ГУБЕРНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И УЕЗДНОЕ «ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО»

Шестого марта, то есть уже на следующий день после описанного в прошлой главе базара,— я тащился по рыхлой дороге, в Лукоянов, с чувством той неопределенности и как будто тоски, которая обыкновенно сопровождает первые шаги в незнакомом месте и по незнакомому делу. На следующий день в «конспиративной квартире» предстояло заседание, о котором в уезде носились глухие толки. Возвращаясь вчера с базара, я встретил две тройки, увязавшие в снегу. Ямщики были украшены бляхами, обозы торопливо сворачивали с наезженной колеи, и мужики обеими руками сволакивали с голов свои шапки. Мне объяснили, что это местное начальство всяких рангов выезжало на границу уезда встречать губернатора. Тревога оказалась фальшивой: губернатор остановился «на Ваду», недалеко от лукояновской границы, в Арзамасском уезде. Дороги быстро портились, и потому на сей раз все дело ограничилось этой диверсией со стороны губернии. Зато говорили, что со стороны уезда готовится какой-то новый и уже генеральный сюрприз по адресу губернии, имеющий разразиться в ближайшем заседании. Это, конечно, подстрекало в значительной степени мое любопытство, но мое звание «писателя и корреспондента» внушало моим новым знакомым сильные сомнения («неужто допустят?»). Фантасмагория, которую я уже описывал («на границе уезда»),— все еще продолжалась, и это придавало моей поездке в Лукоянов, на склоне зимнего дня, 6 марта, некоторый интерес своего рода «политической» пикантности, которая во мне лично, признаюсь, возбуждала в гораздо большей

[1] Теперь (1906—7 год) в голодающих местностях отцы продают дочерей торговцам живого товара. Прогресс русского голода очевидный.

степени ощущение весьма понятного любопытства, нежели удовольствия. Такие своеобразные упражнения уездных политиков гораздо приятнее наблюдать со стороны, не становясь в то же время лично мишенью для этой политики...

Как бы то ни было, в серый денек, около трех часов, почтовая пара втащила меня на обнажившийся уже изпод снега пригорок, на котором стоят знакомые читателю «номера», и тот же знакомый читателю молодой человек с цветущею физиономией встретил меня с каким-то таинственным видом.

— А ваш номерок угловой-с... занят.

— Кем?

— Члены по продовольственной части-с... Из Москвы, из Петербурга и из Арзамасу...

Как ни было мне досадно, что мой номерок оказался занят, но я очень обрадовался, узнав, кто эти члены: это были Александр Иванович Гучков с братом и на время приехавший из соседнего уезда земский начальник г. Штевен.

А. И. Гучков — сын московского фабриканта, «почетный судья города Москвы», кандидат Московского университета и вольнослушатель университета Берлинского — очутился в дальнем уезде Нижегородского края благодаря случайностям голодного года. Узнав, что в России голод, он приехал из-за границы и обратился к генералу Баранову с просьбой дать ему какую-нибудь работу на месте, в деревне. Долгое время, однако, генерал Баранов удерживал его в Нижнем. Затем он, вместе с статистиком Д. И. Зверевым, принимал участие в объезде по ревизии продовольственного дела в группе И. П. Кутлубицкого, которая впервые и обратила внимание на некоторые своеобразные стороны продовольственной деятельности лукояновской комиссии[1] Впоследствии, когда обстоятельства развертывались в своей логической последовательности,— г. Гучков оказался в положении довольно оригинальном: почетный мировой судья города Москвы и вольнослушатель Берлин-

---

Любопытно, что в своеобразном стиле лукояновской полемики фамилия г. Зверева стала после этого нарицательной; вместо «господа статистики» лукояновский продовольственный комитет писал в официальных бумагах: «господа Зверевы».

ского университета очутился заведующим продовольственным участком. Сначала генерал Баранов незаконно отнял продовольственное дело у земства и передал его земским начальникам. Теперь он отнимал его у одного из земских начальников и передавал «вольнослушателю Берлинского университета». Обстоятельство это на сей раз оказалось для участка довольно благодетельным, так как земский начальник Ж-в распоряжался очень недобросовестно... Но законных оснований для этих последовательных передач, конечно, не взялся бы разыскать самый тонкий знаток земского положения и продовольственных уставов...

С А. И. Гучковым приехал его брат, уехавший, впрочем, дня через два, и К. Г. Рутницкий, уполномоченный от Особого комитета. Таким образом, мое одиночество кончилось. Я был уже не единственным заезжим представителем «столового принципа» в воюющем уезде,— и в тот же вечер мы смеялись вместе над своим положением накануне объявления войны: если лукояновская держава тотчас же по объявлении независимости пожелает, подобно державе турецкой, заключить нас, бедных посланников благотворительного комитета, в какой-нибудь семи- или четырехбашенный замок,— то, по крайней мере, мы будем в приятной компании...

Бывают такие странные вопросы. Всем кажется до времени, что они давно решены окончательно и бесповоротно и в этом виде, как бы окончательно и навсегда решенных — ни в ком уже не возбуждают они ни сомнений, ни интереса. И так десятки лет они дремлют в глубине нашей и вообще-то не вполне определившейся жизни, пока сила обстоятельств не вызовет их из области теоретических отвлечений на арену практической действительности. А тогда они внезапно пробуждаются, но, к удивлению, не в качестве давно решенных и бесспорных, а, наоборот, во всей первоначальной свежести и неприкосновенности... То, что казалось непререкаемым, встает вновь в виде проблемы и вопроса, около которого вновь закипают давно замолкшие споры, разногласия, раздоры, и это в то самое время, когда уже необходимо действовать, а не спорить и препираться...

Таким, между прочим, явился и вопрос о праве частного благотворения в голодающих местностях: местные

начальства решали его самым различным образом, по губерниям и даже по уездам... В одной губернии или уезде все имущие и желающие люди призывались к работе, и частная инициатива встречала одобрение и поддержку; в другом — она только терпелась, в третьем — не допускалась вовсе; наконец, некоторые уголки нашего обширного отечества, как это известно из газет, прославились тем, что частным благотворителям, явившимся туда для непосредственной помощи населению, было предложено «оставить пределы губернии»...

Как уже было сказано, ген. Баранов сначала стоял на той же запретительной точке зрения. Так, например, из журнала губернской продовольственной комиссии от 17 ноября 1891 года мы узнаем, что «...существует в уездах и городах губернии наклонность у отдельных лиц и негласных кружков собирать пожертвования и раздавать их голодающим самостоятельно... Вследствие этого генерал Баранов предполагает (если, впрочем, намерение это будет одобрено комиссией) — сделать распоряжение, чтобы никто без специального разрешения не имел права собирать пожертвования в пользу пострадавших от неурожая и раздавать эти суммы помимо с этой целью организованных учреждений. Вместе с тем он признает необходимым *воспретить* лицам, желающим получить помощь, *обращаться непосредственно в какие бы то ни было учреждения... помимо своего ближайшего и непосредственного начальства* (курсивы наши)[1]. Затем первое предложение об открытии столовой на частные средства было встречено очень сухо. Генерал Баранов находил необходимым установить наблюдение, чтобы кормление в столовой было не хуже, но и *не лучше* выдаваемого остальным нуждающимся казенного пособия. Комиссия с обоими предложениями согласилась, и, таким образом, нижегородское «кустарное законодательство» прибавило к существующим два новые законоположения: отныне в пределах Нижегородского края состоятельные люди лишались права кормить досыта посетителей

См. Журнал Нижегор. губ., продовольств. комиссии от 18 ноября 1891 г., стр. 3. Таким образом, человек, получивший заведомо недостаточную помощь в одном учреждении, лишался права просить помощи в другом. Такова очень часто эта «воспретительная» логика!

своих столовых, а сами голодающие не могли обращаться со своей нуждой ни к кому, кроме «своего непосредственного начальства» (?!). Все дело благотворения вгонялось, таким образом, в узкие, чисто бюрократические рамки.

В декабре 1891 года появилось известное сообщение Особого комитета, состоявшего под председательством наследника цесаревича. В нем среди других, порой довольно противоречивых положений, выставлялось, между прочим, начало, что «деятельность лиц, посвятивших себя, по чувству христианской любви к ближним, делу помощи нуждающимся, *отнюдь не должна быть стесняема*». Положения этого сообщения, разбитые на отдельные параграфы и приведенные в форму устава (впоследствии утвержденного Особым комитетом), легли в основу губернского благотворительного комитета, объединившего в себе деятельность официальных благотворительных учреждений и развязывавшего в то же время руки частной инициативе.

В губернском центре после этого исчезают признаки указанного выше недоразумения, и частная инициатива принимается с доброжелательством. Однако,— характерная черта провинциальной жизни: всякое «воспрещение» и «ограничение» осуществляется у нас быстро, полно и решительно, точно по телеграфу. Наоборот, всякое «разрешение» и «дозволение» ползет на долгих, и даже после того, как оно уже проникает в самые дальние административные закоулки, на него все еще недоверчиво косятся и не спешат с его осуществлением, как бы предчувствуя, что оно просуществует недолго, а «воспрещение», незаконное, неосмысленное и прямо нелепое, воспрянет опять во всей силе живучего факта.

Так именно было, в данном случае, в Лукояновском уезде [1]. Проект инструкции, о котором идет речь, напечатан в протоколах губернской комиссии 20 декабря, а 3 января он уже был одобрен Особым комитетом. Между

---

[1] К сожалению, *так именно* случилось впоследствии и для всей России с «новым продовольственным уставом», совершенно устранившим фактически всякую частную инициативу в деле помощи голодающим. А теперь, уже к выходу пятого издания этой книги, вся Россия обращена в этом отношении в сплошной Лукояновский уезд.

тем, взгляды лукояновского уездного попечительства продолжали определяться в прежнем, совершенно противоположном направлении. «Деятельность частных лиц» устранялась решительно и бесповоротно, а уездное «попечительство» строго замкнулось: состав его определился наличным числом земских начальников, предводителем дворянства и... из уездной земской управы в него был допущен один лишь «свой человек», председатель, дворянин А. В. Приклонский. Постановлением этого комитета от 19 февраля частный благотворитель г. Филатов ставился в известность, что столовые могут быть открываемы *только господами земскими начальниками* (то есть: не будут открываемы вовсе). Таким образом, изъявив согласие на предложение губернского комитета, выславшего ему и деньги, г. Филатов узнал от уездного попечительства, что он должен вновь просить разрешения у земского начальника, «с изъяснением, по каждой столовой, причины открытия» (как будто голод недостаточная причина!). Господин земский начальник, в свою очередь, обратится с представлением в «уездное попечительство», которое, впрочем, уже заранее (19 февраля) определило, чтобы именно в тех местах (вблизи Лукоянова), где г. Филатов согласился работать, столовых отнюдь не открывать, так как в городе уже есть столовая (на сорок девять человек), что, по-видимому, должно было служить некоторым платоническим утешением жителям окрестных деревень. Наконец, попечительство предоставило еще себе особое право «утверждать» или «не утверждать» помощников господина Филатова, точно заведывание столовыми важная государственная должность!..

Таково было «содействие», которое уездное попечительство оказывало по отношению к лицам, занимавшим в уезде видное положение (не мешает заметить, что г. Филатов — уездный член суда при лукояновском съезде тех же земских начальников). Читатель, вероятно, согласится, что я не имел никаких оснований рассчитывать на большее внимание к моей скромной особе, и вот почему я предпочел сразу же встать под защиту того параграфа утвержденной Особым комитетом инструкции, который гласил о «деятельности частных лиц», не подлежавшей стеснению.

Остановившись на этом решении и наметив первые два селения, в которых предстояло открытие столовых,— я написал о своих намерениях господину земскому начальнику второго участка. Затем я хотел воспользоваться заседанием уездного попечительства, когда господа земские начальники будут в сборе, чтобы сразу в собрании ознакомить их с дальнейшим планом моих действий,— разумеется, только «для сведения», но без всяких, с моей стороны, притязаний на какое бы то ни было «содействие» моим партикулярным предприятиям...

VIII

ГУБЕРНСКАЯ И УЕЗДНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИИ. — ЗАКОН И ПРАКТИКА. — ЗЕМСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ДЕЛЕ

Однако прежде чем вести читателя далее среди запутанных неожиданностей уездной политики «голодного года», считаю необходимым сказать несколько слов об организации собственно продовольственного дела в нашем крае и о значении терминов: *«губернская и уездная продовольственные комиссии»*, о том, как они возникли, из кого состояли, что из этого выходило и как могло случиться, что в одной части Лукояновского, например, уезда, обязанности по продовольствию населения легли, наконец, на «почетного мирового судью города Москвы» и вольнослушателя Берлинского университета.

Прежде всего маленькая историческая справка.

В старину, во время крепостного права, у нас действовал устав о народном продовольствии, устанавливавший, между прочим, существование особых *комиссий продовольствия*, которые отразили на себе явные следы крепостной структуры тогдашней русской жизни. Состояли они, конечно, под председательством губернатора. Поместное дворянство, за которым стояла темная и безличная крепостная масса, имело своего представителя в лице губернского предводителя и, по особому приглашению, предводителей уездных. Интересы крестьян государственных представлялись управляющим палатой государственных имуществ (удельные в продовольственном деле стояли особо). Кроме того, в комиссии при-

сутствовал губернский прокурор, а дворянство могло выбирать от себя еще непременных членов «с жалованьем по штату».

Великая реформа, уничтожившая рабство, с одной стороны, сглаживала перегородки между сословиями, с другой — совершенно уничтожала их в среде самих крестьян. Понятно, что с этим вместе исчезала всякая надобность в дореформенных смешанных комиссиях. И действительно, новый закон упразднил их во всех земских губерниях, а *заведывание делом по обеспечению народного продовольствия и оказание пособий нуждающемуся населению* отнесено к предметам ведения земских учреждений. *Главный местный надзор* за соблюдением предписанных законом правил для обеспечения народного продовольствия возложен на главных начальников губерний и областей. Наконец, общее попечение о народном продовольствии принадлежит к предметам ведомства министерства внутренних дел [1].

Таким образом, если бы законы имели должную силу в местной жизни, то программа борьбы с последствиями неурожая была бы ими дана вперед, в очень определенных и твердых очертаниях, и всякому органу местного управления оставалось бы только сразу и без колебаний стать на свое место и взяться за свое дело. Хозяйственная сторона дела, вместе с законною ответственностью за его ведение, ложилась несомненно на земство. Но, быть может, это не по силам наличному составу земских органов? Закон это предвидел, и потому земства имеют возможность расширять наличные силы своих управ нужным количеством новых членов. Оставалось это исполнить, разделить уезды на земские участки и приступить прямо к делу. На местную же администрацию возложена обязанность наблюдения и контроля: охрана интересов казны, выдающей ссуду на известных условиях, с одной стороны, и защита населения от возможных посягательств и злоупотреблений, с другой,— таково содержание того «местного надзора», о котором так ясно говорится в законе.

---

[1] См. устав о народном продовольствии, изд. 1889 года, ст. 2, 3 и 4, и положение о земских учрежд. 12 июня 1890 г., ст. 2. III. Цитирую из записки Н. Ф. Анненского, внесенной в Нижегородскую губ. продовольственную комиссию 27 мая 1892 г.

К сожалению, как это мне приходилось уже указывать, после побитых засухою нив и их обездоленного владельца-мужика, наиболее пострадавшим от неурожая является именно ни в чем неповинный закон. Одна из прискорбнейших фикций, гуляющих в наше переходное время по обширным пажитям провинциальной жизни, состоит в странном представлении, будто «сила власти» выражается не в строгом и точном осуществлении предписаний закона, а в том, чтобы всюду в местной жизни администрация пела непременно первую партию. Даже и тогда, когда это не требуется ни по нотам, ни по самому ходу исполняемой пьесы ..

Я не могу забыть небольшого, но очень характерного эпизода, свидетелем которого мне пришлось быть в губернской продовольственной комиссии [1]. Васильский уездный предводитель дворянства, П. П. Зубов, предложил комиссии поддержать его ходатайство о том, чтобы известная и очень немалая сумма была отпущена министерством, помимо земства, в непосредственное распоряжение состоявшей под его председательством уездной продовольственной комиссии для осуществления некоего премудрого сепаратного продовольственного плана, изобретенного на скорую руку самим г. Зубовым. На скромное замечание председателя губернской земской управы, что такой порядок совершенно не соответствовал бы требованиям закона, оратор, беспечно играя своим пенсне, ответил:

— Мне тоже несколько известны статьи, на которые ссылается многоуважаемый Александр Васильевич. Но, господа, неужели мы собрались сюда для того, чтобы заниматься *теоретическими соображениями?*

Это превосходное изречение, отводящее закону скромное местечко среди *теоретических соображений*, которые обязаны беспрекословно сторониться перед великолепием личного творчества любого уездного «практика»,— я тогда же занес в свою записную книжку, как сжатую, ясную и во всех отношениях неподражаемую характеристику в двух словах целого течения.

Закон — это просто *теоретическое соображение!*

Хуже того: закон — это бюрократическая мертвечи-

---

[1] Засед. 24 ноября 1892 г.

на, это лишь канцелярская переписъ, это номера «входящих и исходящих»!

Генерал Баранов был очень склонен к такому же взгляду и очень ярко выразил это в одном циркуляре к земским начальникам в начале продовольственной кампании. Заподозрив, по-видимому, этих почтенных деятелей в излишнем пристрастии к законности, он счел необходимым предупредить их, что «...земский начальник во всех экстренных случаях, где он видит необходимость поступиться буквой того или другого правила или постановления для достижения успеха дела, должен принять на себя это отступление, причем смело может рассчитывать найти во мне не только защитника, но и товарища по разделению ответственности». Дальше высказывалось предположение, что «трудно применяемые статьи *тех или других кодексов»* могут «довести простолюдина до голодной смерти, что не будет оправдано никакими ссылками на номера входящих и исходящих». Предполагалось, таким образом, что первая опасность злополучному «простолюдину» грозит именно со стороны «кодексов» (предоставляющих продовольственное дело земству). Сам генерал Баранов нимало с кодексами не стеснялся, обессилив земство; издавал собственные законы, отменил в своей губернии круговую поруку, создавал, для блага простолюдинов, предводительские диктатуры, приглашал к такому же образу действий господ земских начальников и имел случай убедиться на многих лукояновских примерах, что без кодексов «простолюдину» пришлось еще гораздо хуже... Характерно, что генерал Баранов под законностью разумел лишь канцелярщину и номера входящих и исходящих.

Прошу у читателя прощение за это отступление, состоящее притом из сплошных трюизмов. Но что же делать, если и эти вопросы, давно порешенные и занесенные в «уставы», дремавшие на полках и ни в ком не возбуждавшие сомнений,— внезапно, в самое горячее время, воскресли не в виде трюизмов, а в форме новых проблем! И вместо того, чтобы сразу думать, как нужно делать настоятельное дело, пришлось опять решать старый и давно порешенный вопрос: *кто его* должен делать?

Характерная черта истории «голодного года» в нашем крае состоит в том, что первые громкие возгласы

о грозящем голоде раздались из консервативного лагеря. Земская управа собирала еще точные сведения, подготовляла материалы, в уездах созывались экстренные собрания, чтобы обсудить меры борьбы с надвигающимся бедствием и степень предстоящей нужды,— как уже из Васильского уезда, приюта нашего воинствующего консерватизма, были посланы губернатору генералу Баранову категорические заявления, что голод уже тут, на месте, и именно тот голод, «когда матери пожирают младенцев». Избранные места из этих «васильских писем» сделались достоянием молвы, передавались из уст в уста, и при этом прибавлялось: «ну, и достается же земству!» И действительно, бедное земство, стоявшее тогда в том месте, куда именно валятся все шишки, очутилось в положении бедного Макара. Перевернешься — бьют, и не довернешься — бьют. Известно, что пессимизм и «крики о голоде» составляют исконную вину «либералов» литературы и земства, и в том же Васильском уезде относились к ним столь высокомерно, что на все предупреждения еще полгода назад отвечали очень определенно: не дадим ни зерна, никто не умрет. Все это было признано «теорией», выдумкой разных статистиков. Трезвая же практика уверяла в радостной истине, что «он еще достанет». Понятно поэтому, что земству весьма и весьма надлежало собраться с духом прежде, чем вновь затягивать унылую песню. Но пока оно собиралось с духом, вооружалось данными и цифрами, чтобы отстоять свои заключения от господ практиков, в том числе и васильских, эти последние пустились неожиданно в поход налегке, заскакали много вперед, и им доставляла немалое удовольствие блестящая идея: повернуть обычную, по их мнению, земскую артиллерию против самого земства: земство прозевало голод! *Они* его открывали.

Это отразилось на первых мерах борьбы с голодом и наложило на них специфический отпечаток. Когда, вследствие васильского набата, ген. Барановым были закуплены первые партии хлеба (впоследствии введенные в общую цифру земского долга), то распоряжение этим хлебом губернатор, вопреки всяким «кодексам», передал в руки П. П. Зубова, васильского предводителя дворянства. Остальным, даже отдаленным уездам было предложено обращаться к новоявленному «продовольственному

диктатору» за указаниями и инструкциями. При этом оказалось, разумеется, что «личная система» васильского предводителя достоинствами не блистала и подтвердила еще раз, что никакими личными, наскоро состряпанными системами нельзя заменить закономерной коллективной работы общественных учреждений. Господа предводители и земские начальники наскоро выдавали пособия, а «мир» еще быстрее, с точностью уравнительной машины, делил «способие по душам»... «Шло на распыл», доставалось по пяти фунтов на мирскую душу, богатым и бедным одинаково...

Этот прецедент породил, однако, немалое смущение. Значительно дискредитированное земство стояло совершенно в стороне в этом предварительном эпизоде, играя, так сказать, роль свидетеля в деле, где ответственность все-таки возлагалась на него и на его плательщиков. В обществе, точно пчелы, жужжали всевозможные толки и слухи о близком и полном отстранении земства от всего продовольственного дела. Если читатель припомнит, что это совпало с переходным периодом, на закате старого земства, то станет понятным и настроение, среди которого открылось, в начале июля 1891 года, экстренное заседание губернского земского собрания.

Уже накануне появились совершенно определенные слухи о каком-то (тогда еще не существовавшем в действительности) указе или циркуляре, который отнимал якобы у земства распоряжение всеми продовольственными средствами и передавал их администрации. Откуда пошли эти слухи? Явились ли они случайно, или были пущены с намерением,— сказать трудно, но об них говорили всюду. Чиновники передавали их с видом торжества, реакционеры-дворяне — с злорадством, земцы — с тревогой. В день собрания гласные, заранее толпившиеся в колонной зале дворянского дома, обсуждали в смущенных кучках вероятность и законность такой меры. Реакция прошлого царствования была в разгаре, поэтому вероятность была большая, а о законности тогда заботились мало.

С давних уже пор, быть может даже с самого открытия земских учреждений, собрание гласных не вслушивалось с таким захватывающим вниманием в каждое слово губернаторской речи при открытии сессии. Минута

была из тех, в которых чувствуется драма, и воспоминание о первых годах земства возникало невольно в уме. Мне навсегда врезалась в память эта кучка черных сюртуков, столпившихся вокруг эффектной фигуры генерала Баранова, в военном мундире. Много ли здесь было людей, сохранивших в чистоте земские традиции? Не одни уста, произносившие много лет пылкие речи в той же зале,— теперь раскрываются лишь для того, чтобы уничтожать плоды прежней работы и в земском собрании подрывать земские начала... Но все же я уверен, даже и в этих сердцах не могли не отозваться тупою болью самые толки об отнятии у земства его законных полномочий накануне общенародной беды...

В речи губернатора все услышали подтверждение тревожных слухов. Как это случилось, сказать трудно, но только и гласные, и публика на хорах, и представители местной прессы — все слышали, что губернатор сообщил об образовании, под его председательством, особой комиссии «*для помощи нуждающимся и для исходатайствования у правительства необходимых для этого средств*», то есть именно для того, что должно делать земство... Так это было напечатано и в местной газете [1].

Это официальное заявление губернатора внесло в работу земского собрания смуту и недоумение. Губернская управа заготовила обстоятельные доклады, основанные на превосходно выполненных работах статистического бюро. Но... если то, о чем говорили накануне и что находило подтверждение в губернаторской речи,— правда, то все эти доклады собранию не нужны. Огромные средства поступят в распоряжение генерала Баранова, а земству придется, в качестве благородного свидетеля, присутствовать при их распределении. До какой степени доходило это «недоразумение», видно из того, что даже один из членов управы (А. П. Михайлов) заявил, что после речи губернатора «для земского собрания какие бы то ни было мероприятия являются излишними или, по крайней мере, с ними надо обождать до выяснения решений упомянутого губернатором комитета... Земские

---

[1] Нужно заметить, что тексты губернаторских речей всегда цензуруются с особым вниманием, и, значит, печатный текст речи был признан совершенно точным.

комиссии излишни, так как земство, очевидно, устраняется от принадлежащей ему роли»[1].

Эта речь члена управы и старого земца была несомненно тактической ошибкой: если предварительные слухи, распущенные чиновниками, и двусмысленный тон губернаторской речи не были случайностью, то они и были рассчитаны на то, что земство, обескураженное и озадаченное, само выпустит дело из своих рук и примирится с ролью совещательного органа при губернаторе... Тогда в Нижегородской губернии сразу же водворился бы тот порядок, который впоследствии был действительно введен новым продовольственным уставом...

Но в то время действовали еще прежние законы, и, к счастью, в собрании нашлись люди, которые напомнили, что законы не отменяются ни министерскими циркулярами, ни губернаторскими речами. Это напоминание значительно прояснило положение. Голос Васильского уезда, в лице его ретроградного председателя А. А. Демидова, пытался еще ограничить роль земства одним только «выяснением степени нужды», но стало все-таки очевидно, что собрание принимает свою задачу в ее полном объеме.

Впоследствии оказалось, что и министерский циркуляр предлагал лишь для совместного с земством труда по продовольствию образовать при губернаторе особое продовольственное *совещание*, которое, однако, не должно было, по смыслу циркуляра, умалять финансовую и хозяйственную компетенцию земства. Через два дня в этом смысле был исправлен и напечатанный ранее текст речи генерала Баранова. Шутники говорили по этому поводу, что компетенция земства повисла на одной запятой и легко может сорваться. Как бы то ни было, земство удержало позицию: с своей стороны собрание решило образовать комиссию в помощь своей управе, в которую постановлено пригласить и господина губернатора... Итак, возникли параллельно две комиссии. Ввиду этого комитет при губернаторе тотчас же закрылся, и образовалась губернская *земская* продовольственная комиссия (действовавшая с июля по октябрь месяцы и имевшая за это время семь заседаний).

---

[1] «Нижегор. бирж. листок», 4 июля 1891 г., № 151.

Однако и генерал Баранов не отказался от попыток захватить огромное дело в свои властные руки: в ноябре он счел необходимым возобновить вновь закрытое «совещание», хотя и под несколько измененным названием. Земство в декабре закрыло свою комиссию, подчеркнув таким образом, что всю ответственность оно возлагает на управу. После этого на арене продовольственных операций остались: с одной стороны — губернская земская управа, с ее правами и ответственностью, с другой — новая комиссия смешанного характера, с неопределенным и изменчивым составом. Земцы в ней составляли ничтожное меньшинство. Тем не менее, так как они все-таки присутствовали на ее заседаниях, то генерал Баранов пытался придать ее решениям значение, обязательное и для земства. На этой почве разыгрывались впоследствии бурные атаки «барановцев» против губернского земства.

Это и была «*Нижегородская губернская продовольственная комиссия*», получившая в свое время громкую и в некоторых отношениях блестящую известность. Впрочем, во всех бумагах, приходивших из министерства, она именовалась гораздо скромнее: «продовольственным *совещанием* при нижегородском губернаторе».

Я не имею надежды исчерпать здесь любопытные материалы, которыми мы обязаны «просвещенной гласности», допущенной во все работы продовольственной комиссии. Тому, кто возьмется со временем за эту работу, придется отметить немало интересных страниц, однако несомненно, что под этими цветами и блеском скрывалась старая и давно упраздненная жизнью дореформенная сущность. С одной стороны — это было как будто только *совещание*, без решающего и исполнительного характера, с другой — оно стремилось возродить компетенцию дореформенных комиссий продовольствия. Положение выходило в кратких чертах такое: ответственность ложилась на управу, состоявшую из четырех человек. Распоряжаться могли бы несколько десятков людей, случайных и никакой ответственностью не обремененных. Очевидно, решения этого изменчивого и зависимого *большинства* обращались в какую-то фикцию и совершенно отпадали, а в поле действия оставались две реальности: *земская управа* и глава местной *админи-*

страции — властный, своенравный, не считавшийся с законами губернатор Баранов.

Вскоре же начались резкие столкновения... На очереди стояли вопросы огромной и самой «практической» важности. Земская управа решила перенести центр тяжести хлебных закупок на дальние рынки и для этого командировала своих агентов, преимущественно статистиков-агрономов, на юг и на Кавказ, а также завязала связи на местах с общественными и земскими учреждениями. Управа справедливо опасалась обрушить всю тяжесть огромного спроса на местные рынки, боясь страшного поднятия цен в губернии, а также опасаясь очутиться во власти местных крупных торговцев. При выполнении своего плана управа рассчитывала на земскую взаимность, на строгий выбор и известный нравственный ценз своих агентов и на содействие общественных учреждений на местах закупок. Последствия показали, что она не ошиблась в этих расчетах. Генерал Баранов являлся, наоборот, сторонником ведения всего дела через крупные местные торговые фирмы, а за генералом Барановым шло и большинство комиссии. План управы считался «непрактическим» и слишком «идеальным». Предсказывались неумелость и ошибки со стороны «земских агрономов» (кличка до известной степени ироническая), не искушенных в изворотах хлебной торговли. Но на место управской теории тотчас же выдвигалась своя теория, гораздо более утопическая и прямо опасная. Предполагалось как будто, что крупные хлебные торговцы — люди сплошь отменного самоотвержения и патриотизма, «доблестные истинно русские люди», сгорающие одним только желанием — доставить нуждающемуся населению хлеб как можно лучше и дешевле и отнюдь не помышляющие об увеличении своих барышей до возможных пределов. Разумеется, эта утопия гораздо утопичнее земской. Такие вещи очень хороши в застольных речах, но на них нельзя строить обширных торговых предприятий. Генерал Баранов указывал, что между крупными хлебными торговцами, о которых шла речь, есть почтенные имена известных местных «жертвователей» и филантропов. Но, во-первых, далеко не все и

даже не очень много, а, во-вторых,— возражали земцы,— филантропия и торговое дело — две вещи, которые смешивать и неудобно, и опасно. Пожертвования в одной области возможны, именно, на барыши в другой. Торговля держится барышом, а барыш — спросом и предложением. «Умелости» хлебных торговцев отрицать невозможно. Но чтобы это профессиональное уменье обратилось исключительно на пользу покупщика-земства, когда последнее окажется в полной зависимости от своих комиссионеров на ограниченном рынке, с огромным спросом и небольшим предложением,— в этом, конечно, позволительно было сомневаться. Крупные земские закупки у местных земских тузов тотчас же подняли бы местные цены. А тогда, разумеется, и цена привозного хлеба сообразовалась бы с местной. Страшно подумать, до чего могла бы дойти эта игра цен и в каком положении очутилась бы та часть населения, которая не могла рассчитывать на ссуду, если бы «система» ген. Баранова отдала весь край на милость и немилость доблестных хлеботорговцев.

На этой почве в среде губернской продовольственной комиссии возникла борьба, принимавшая одно время очень острый характер. Земская управа твердо стояла на своем, генерал Баранов тоже упорно добивался своей цели. Можно думать даже, что ему улыбался опять прием, примененный к Н. Д. Валову, то есть устранение губернской управы по высочайшему повелению. Дело доходило до того, что земские закупки объявлялись публично «сплошною фальсификацией», неизвестно кем произведенной [1],— обвинение, совершенно и заведомо ложное, проникшее, однако, в печать и подхваченное тотчас же громким хором, вопиявшим и глаголавшим против земства. Чрезвычайно интересно отметить, кстати, что в этом хоре очень заметны были на страницах газет известного лагеря именно голоса хлебных торговцев [2]. Эти «доблестные русские люди» явились судьями земской нравственности в торговом деле, и мне ка-

---

[1] См. Журнал Нижегор. губ. продов. комиссии от 15 янв. 1892 г. Слова ген. Баранова: «Но что же мы видим? *Одни подделки*, кем сделанные — все равно!!»

[2] В том числе, между другими,— «известного» г-на Иванюшенкова.

жется, что бедное подсудимое земство могло бы в данном случае воспользоваться несомненным правом «отвода». Как бы то ни было, однако, старое земство можно поздравить: оно с честью вышло из трудного испытания. В настоящее время общим результатам операции давно подведен итог. За исключением небольшого числа случаев, неизбежных в сложном и спешном деле, в особенности при условиях тогдашнего хлебного рынка, земские закупки, выполненные на основании «идеальных теорий», оказались совершенно удовлетворительными, и притом в общем они обошлись земству дешевле той части, которая произведена крупными торговцами-комиссионерами... Если же прибавить к этому, что они увеличивали общее количество хлеба в губернии и, таким образом, остановили дальнейшее повышение цен на местных рынках, то становится несомненным, что в этом вопросе «оппозиция» земской управы завоевательным стремлениям генерала Баранова, оппозиция, отстранившая в роковое время монополию хлебных торговцев,— оказала всему краю огромную услугу.

Но это ясно теперь. А в то время было ясно далеко не всем, и в управе, подавленной в комиссии бесформенным и безответственным большинством, закиданной довольно-таки пристрастными заключениями экспертной комиссии, порой в обличительном усердии доходившей до истинных курьезов [1], пришлось апеллировать к своим законным правам, связанным с законной ответственностью. Твердость, с какой, наконец, была сделана эта апелляция, разрешила на этот раз запутанное положение. С этих пор комиссия вводится в свои настоящие пределы, и дело идет нормальным порядком. Самая критика закупок со стороны «экспертов» становится спокойнее и в общем приносит свою долю пользы, как всякая критика; несколько второстепенных промахов земской управы исправлено, а зато общий характер ее деятельности, после строгого испытания, выступает с пол-

[1] Заметим кстати, что главным деятелем в этой комиссии явился доктор Д. Ф. Решетилло, который, как мы видели выше, нашел возможность украсить своею подписью два прямо противоположные заключения о санитарном состоянии села Саитовки (впоследствии этот «деятель» сошел со сцены после оглашения самых некрасивых проделок по службе).

ною ясностью: старое земство, в лице председателя А. В. Баженова, получило в новой губернаторской речи, открывавшей (в 1893 г.) первое заседание уже реформированного земского собрания, полное и блестящее удовлетворение [1].

Этим коротким очерком взаимных отношений губернского земства и администрации в продовольственном деле я до некоторой степени уплачиваю долг печати по отношению к органу нашего земства, над которым одно время тяготели тяжелые и совершенно незаслуженные обвинения. Это не мешает, однако, признать, что вне этого и некоторых еще, правда, часто очень существенных «недоразумений» — продовольственная комиссия, как *совещание*, оказала делу некоторые услуги, и уже одна гласность продовольственного дела в Нижегородском крае является чертой, заслуживающей подражания [2].

Таким образом, в губернии законный хозяйственный орган в конце концов сохранил (на некоторое время) свою компетенцию... Губернская же продовольственная комиссия хотя и представляла в значительной мере «пережиток» дореформенного периода, но все же это был пережиток блестящий и так сказать «просвещенный»,— настолько блестящий и просвещенный, что некоторые не особенно проницательные люди разных лагерей приписывали ему не однажды характер либерализма. Одни говорили это в похвалу, другие — в осуждение, но теперь ясно, что и те, и другие были неправы в самой квалификации... По существу это был, все-таки, шаг назад, к дореформенным порядкам.

В уездах эта сущность выступала без всяких прикрас, без всякой просвещенности и «либерализма».

---

[1] См «Волгарь», 1893 г., № 16. Указав на «длинный ряд заслуг» А. В. Баженова (в том числе организацию статистич. бюро, «материалы которого и беспримерная деятельность статистиков оказали неисчислимую пользу делу борьбы с невзгодой»), ген. Баранов закончил пожеланием, «чтобы будущие выборы поставили у земских дел таких же деятелей...» Этим, очевидно, ген. Баранов брал назад свои страстные и слишком торопливые обвинения по адресу земства.

[2] К сожалению, только,— на последующем ходе продовольственного дела не заметно поучительного влияния этого опыта. Скорее наоборот: заимствованы как раз лишь одни отрицательные стороны Барановской системы. Результаты теперь (1907 г.) налицо, в виде господ Гурко, Лидваля, Фредерикса.

Быть может, самой заметною чертой нашего строя следует признать пренебрежение к знанию и науке, ко всякой теории и правильному обобщению, ко всему, что только выдвигается из уровня так называемой «практики», в ее сыром и самом непосредственном виде. Просмотрите консервативные газеты того времени, и вы будете удивлены обилием практических псевдонимов. *Практический* человек и *практический* хозяин, *истинно*-практический человек и *истинно*-практический хозяин, наконец, *истинно*-практический и вдобавок еще *русский* человек и таковой же хозяин!.. Сторонитесь перед практическим человеком, потому что он свободен от европейских теорий и пренебрег все законы — вот главный лозунг этого отряда, заполняющего прессу и выступающего на завоевание современности. Большего ругательства, как человек «теории или науки», для них не существует, но при этом каждый из них непременно несет свою собственную теорию, только эта теория «практичная». Правда также, что эта практичная теория тотчас же и на тех же столбцах сталкивается неизбежно с другою теорией, уже истинно-практичной, и обе они подвергаются натиску со стороны третьей,— истинно-практичной и русской, вооруженной всеми эпитетами, которые должны ей доставить победу и одоление... Хаос получается, конечно, необычайный, но столичный читатель улыбается и проходит мимо. В самом деле, ведь это кажется так невинно: если эти забавные практики опровергают друг друга, то очевидно, что общее им всем притязание на немедленную ломку всего существующего во имя их собственных теорий никоим образом не может подлежать удовлетворению.

Но это вам только так кажется, читатель! А мы-то, провинциалы, имеем всех этих практичных и истинно-практичных господ в натуре, и то, что вам представляется забавной игрой в доморощенные теории,— мы воспринимаем со всею непосредственностью практики. «В *моем* уезде я делаю то-то и так-то»,— вот в каком виде является нам эта истинно-практичная мудрость. Сведенные даже на газетном столбце, эти мудрости уже поедаются взаимно. Ну, а в *моем* уезде, *моя* мудрость царит на всей своей воле, и ничто не может противостоять ее творческой силе, пока уезд этот — *мой*, и пока для меня

«В ГОЛОДНЫЙ ГОД»

«В ГОЛОДНЫЙ ГОД»

закон имеет лишь силу просто какого-то чужого теоретического соображения... Разумеется, трудно требовать, чтобы *я* отдал *чужим* теоретическим соображениям (хотя бы даже ясно выраженным в законе) предпочтительное внимание перед своими.

Прекрасную иллюстрацию к сказанному представляет, например, тот же Васильский уезд, первый носитель продовольственной диктатуры. У Васильского уезда тоже оказались свои «практики», а у этих практиков оказалась своя собственная, очень законченная и цельная «теория» или даже вернее — система. Васильский предводитель дворянства, П. П. Зубов, как мы уже видели, распределил первые партии отпущенного правительством хлеба. На несколько дней он стал даже «знаменитостью голодного года». Это случилось после того, как, по указанию ген. Баранова, усадьбу г. Зубова посетил корреспондент «Нового времени», С. Ф. Шарапов. Господин Шарапов пробыл у господина Зубова двое суток и затем с присущей ему экспансивностью оповестил на всю Россию, что в помещичьей усадьбе Васильского уезда он открыл истинно-государственный ум, «живое звено, связующее над Сурой Русь земскую с Русью государственной». «Пустых разговоров,— писал автор,— у нас не было, ибо я, как пчела, тянул из него один мед», то есть это г. Шарапов тянул из г. Зубова чистейший мед государственной мудрости, и его затрудняло одно: «как в границах краткого письма представить хоть бледные отрывки этого яркого, дельного русского мировоззрения» [1]. Опасение не напрасное, так как, действительно, на протяжении всего не особенно даже короткого письма, кроме затасканной идеи о замене денежного продовольственного капитала «натуральными запасами», ничего больше читатели не нашли. Теории господина Зубова в печати, даже в ярком изложении Шарапова, оказались убогой банальностью... Тем не менее, «дельное, яркое, истинно русское мировоззрение» г. Зубова сказалось в заседаниях продовольственной комиссии и с достаточной полнотой напечатано в ее протоколах.

Что же несла с собой эта знаменитая система?

---

[1] «Нов. вр.», 27 сент. 1891 г.

Прежде всего по части обсеменения полей она провозглашала замену остальных хлебов просом! — Отчего мы обеднели? На этот вопрос еще не так давно древние практически мудрые старцы отвечали: оттого, что перестали считать деньги на ассигнации. Оно и понятно: денег тогда на счету было больше, а теперь стало менее. А в чем же богатство, как не в обилии денег? Отчего у нас неурожаи? — спрашивает автор васильского проекта и отвечает: оттого, что мы сеем хлеба, не дающие больших урожаев. Просо же родится сам-двадцать,— «мы были бы давно богаты, если бы сеяли одно просо!»

Этого мало. Мы видели уже, как нехитрая деревенская мудрость объясняла причину недавнего бедствия. Телеграфная проволока, винище, генеральное межевание .. Но самое распространенное и самое «строгое» объяснение касается роскоши, будто бы ныне необычайно распространившейся в русском народе.

— Твой дед ходил в лаптях? — спрашивал при мне один строгий человек у переминавшегося с ноги на ногу мужика.

— Так точно.

— И хлеб у него родился?

— Это верно. Прежде урожаи-то были не нонешним чета...

— А на тебе сапоги?

— Плохие, ваше благородие! Одна только слава, что сапоги...

— А все-таки сапоги есть, а хлеба нет... Понимай теперь сам!

— Как не понять!

Деревня в своем смущении сама не прочь порой согласиться с этим объяснением. Действительно, прежде ходили в лаптях, и земля родила обильнее. Теперь — сапоги, ситцы — и неурожаи ..

— Так неужто, братец ты мой, ежели теперича снять мне сапог, земля станет родить больше? — недоумевал после этого разговора наш простодушный собеседник.

Ему, конечно, можно простить, тем более, что его недоумение самоотверженно и бескорыстно: дело шло об его собственной роскоши (сапожишки-то, действительно, были совсем плохие!). Гораздо менее простительно, когда люди, сами щеголяющие в ботинках, и говорят, и

пишут, и действуют в этом *разувательном* и *обнажающем* направлении.

Так и васильская продовольственная комиссия во главе с П. П. Зубовым почувствовала себя оскорбленной зрелищем народной роскоши.

— У *него*,— говорил васильский предводитель дворянства, автор проекта,— есть сапоги со сборами, гармонии, самовары...

Из этого следовал вывод:

Пусть *он* продает сапоги, самовары, сарафаны и гармонии, и только после этой операции васильская продовольственная комиссия признает *его* заслуживающим помощи [1]. Но и затем, так как он пьяница и лентяй, то необходимо зорко смотреть, чтобы он не уклонялся от работы: хлеб выдавать не иначе, как под особые квитанции землевладельцев-нанимателей. Всякое заявление о том, что *он* отказался от приглашения на работу (об условиях этого приглашения не говорилось,— предполагалось, что условия господ помещиков будут самые великодушные), должно лишить просителя всякой надежды на помощь.

Генерал Баранов одно время почему-то особенно покровительствовал П. П. Зубову, выдвигал его и сам направил к нему сладкопевца господина Шарапова. Но когда г. Зубов появился со своей государственной мудростью в продовольственной комиссии, где все-таки было немало людей действительно сведущих, то генерал Баранов вынужден был отступиться от своего protegé! Его своеобразные теории потерпели жестокое поражение. О просе даже не спорили, и весь «просяной проект» сделался добычей газетных фельетонов, но затем: сколько можно выручить за сапоги и гармонии? — спрашивали у васильского мудреца.— Не послужит ли это на пользу одним кулакам, которые, при любезном содействии уездной комиссии, скупят у мужика «лишнее имущество» за бесценок? Наконец, что же это за теория, стремящаяся во что бы то ни стало *раздеть* и *разуть*?.. Не должна ли, наоборот, истинно практическая и притом самая *рус-*

---

[1] См. Журнал Нижегор. губ. продов. комиссии 24 ноября 1891 г., стр. 5 и 6. «В заключении г. Зубов сообщает, что весь его проект основан на *практических хозяйственных* соображениях».

ская мудрость стремиться к тому, чтобы русский народ не только сохранил свою обувь, но еще получил бы со временем возможность одеваться не хуже любого немца? На все эти вопросы представители Васильского уезда не дали сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Но теория осталась все-таки для... «своего» уезда. И, боже мой, сколько, должно быть, проса насеяно на васильских нивах! А проповедь раздевания нашла свою благодарную почву на берегах Теши и Рудни и в Лукояновском уезде облеклась в зловещий термин: там это называлось впоследствии «вымаривать» у голодающего мужика лишнее имущество (не исключая, конечно, и «лишней» скотины)!..

Как же, однако, могло случиться, что столь явно нелепая система, потерпевшая такое очевидное поражение в губернской продовольственной комиссии, то есть в центре, все-таки возымела силу и действие на местах? Это обстоятельство объясняется опять некоторыми особенностями нашей продовольственной организации в «голодном году». Дело в том, что уже вскоре после возникновения губернской комиссии, под шум борьбы, которую мы описывали выше, в уездах (кроме Нижегородского и Макарьевского) продовольственное дело совершенно ускользнуло из рук уездных земств. Было бы чрезвычайно интересно проследить причины этого явления, но пока можно лишь констатировать факт: в то время, как губернское земство дало решительный отпор притязаниям администрации и сохранило за собой существеннейшие продовольственные функции, уездные управы почти всюду потонули в составе уездных комиссий, сложившихся из подавляющего большинства земских начальников, под председательством уездных предводителей дворянства. Впоследствии (уже в 1894 году) ревизионная комиссия губернского земства констатировала, что в отношении организации продовольственного дела на местах — губерния представляла картину чрезвычайно пеструю. Прежде всего,— «губернская продовольственная комиссия отменяла нередко постановления уездных земских собраний, определявших количество ссуды». Комиссия присвоила себе даже право «рассматривать ходатайства земских управ о созыве экстренных собраний и жалобы на действия губернской управы». Кроме Нижегородско-

го и Макарьевского уездов,— где уездные управы несли общее распоряжение всем делом,— в других земские органы не участвовали вовсе в распределении ссуды между сельскими обществами и отдельными домохозяевами. Остальные уезды располагаются между этими крайними пределами. Васильская уездная управа сосредоточила у себя бумажное делопроизводство по продовольственному делу, но зато отложилась от губернского земства и свои распоряжения согласовала только «с указаниями г. губернатора, губернской и уездной продовольственных комиссий». Лукояновская управа не участвовала в деле ни в какой мере, а лукояновская продовольственная комиссия отложилась и от земства, и от губернской администрации... Вообще же, в большинстве случаев, земские управы являлись лишь передаточными инстанциями. Они получали от губернского земства хлеб и деньги и тотчас же передавали их в продовольственную комиссию, которая в виде авансов раздавала их в полное распоряжение земских начальников. Все продовольственное дело на местах, составление списков, определение нужды и раздача, то есть вся самая, быть может, существенная часть продовольственных операций, лежала почти всецело на земских начальниках.

Положение создалось довольно неожиданное, с точки зрения закона, и странное по существу. Земские управы, ответственные по закону, были отстранены фактически. Земские начальники вели дело, но не были обязаны ответственностью. Они могли во всякое данное время отказаться и «бросить» (что и случилось в Лукояновском уезде), наконец, что самое главное: как добровольцы, они не считали себя связанными никакою общею системою.

Шашки оказались смешанными радикально, и особенно затруднение наступило по окончании продовольственной кампании, когда пришлось давать отчет в израсходовании правительственной ссуды. Отчет, разумеется, требовался от земства Губернская управа справилась со своей общей частью операции легко, быстро и точно. Но когда дело дошло до отчета по уездам, то есть до самой существенной части операции,— то встретились почти непреодолимые затруднения. Отчет опять требовался от земских управ, но многие управы в деле совсем не участвовали, а господа земские начальники часто не счита-

ли себя обязанными никакой отчетностью, ссылаясь на то, что в круге обязанностей, начертанных в уложении об их службе, составление отчетов для земства не значится. Дело тянулось таким образом около трех лет, и «Записка ревизионной комиссии XXX очередному губернскому собранию» изобилует в этом отношении необыкновенно характерными фактами. Так, по некоторым земским участкам, вместо всяких документов, были представлены черновые тетради с беспорядочными записями и помарками. Мне лично пришлось видеть одну такую тетрадь. Она носила характерное заглавие:

«Тетрадь
для продовольствия и обсеменения земского начальника такого-то участка»

и была вся испещрена поправками, порой самого неожиданного свойства, сделанными карандашом или чернилами. И это — на десятки тысяч рублей! Другой земский начальник, г. Штевен, на требование оправдательных документов, ответил обиженной репликой. Он мог бы, пожалуй, попросить задним числом расписки у хорошей своей знакомой, госпожи NN, у которой закупил некоторые партии хлеба. Но ему стыдно признаться перед ней, что к нему, земскому начальнику, питают такое недоверие (факт)...

Это было время полной неприкосновенности «молодого института», и господа земские начальники, по-видимому, не ожидали, что все эти их «интимности» могут подвергаться публичному обсуждению. Но земская ревизионная комиссия беспощадно вынесла их на свет божий. Я помню замешательство и смущение земского собрания, уже реформированного и наполовину состоявшего из земских начальников и предводителей, когда читался этот отчет. Утвердить его не решилось даже это, уже чисто дворянское земство. Отвергнуть? Но где же выход из лабиринта, созданного рядом беззаконий... Собрание решило, наконец, признать отчет... «законченным», и никаких выводов из него о правильности или неправильности самой операции не делать! Так этот доклад и перешел в историю... Выводы сделаны впоследствии, когда правительство приняло «барановскую систему» для всей Рос-

сии, предрешив, таким образом, господ Гурко, Фредериксов и Лидвалей...

Одно время вопрос о лучшей организации продовольственного дела, поставленный министерством, горячо обсуждался в провинции не только в официальных учреждениях, но и в частных кружках. В том числе, конечно, и кардинальный вопрос о взаимных отношениях в этом деле администрации и земства. Мне пришлось присутствовать при одном из таких разговоров в Лукояновском уезде.

— Нет, не говорите мне все-таки о земстве,— говорил молодой человек, приезжий корреспондент большой столичной газеты.— Я недавно еще из N-ской губернии, где, как известно, существует склад закупаемого земством хлеба. Поверите ли: администрацией составлено было при мне семьдесят пять протоколов о дурном качестве приходящих по железной дороге партий...

— Я знаю эту историю,— вмешался другой.— В нынешнем году хлеб вообще очень сорный, и протоколы эти означают только, что хлеб необходимо очистить, о чем предупреждали и земские агенты... Однако, если даже допустить наличность злоупотреблений...— не думаете ли вы, что ваши семьдесят пять протоколов говорят именно в пользу оставления этого дела в руках земства?

— Парадокс?

— Нимало. Кто же, в самом деле, составил бы семьдесят пять протоколов, если бы хлеб был закуплен... той же администрацией?

Возражений не последовало. В самом деле: слушая эти хоры обличений по адресу выборного земства, можно подумать, будто все грехи русской жизни нашли себе место в земских управах, а все добродетели приютились в канцеляриях и присутственных местах. Этого последнего никто, однако, не утверждает; наоборот, обвинения по адресу «бюрократии» мы слышим даже из того лагеря, который громит земство...

Итак, особого сословия святых ни в нашем отечестве, да и нигде на свете, без сомнения, не существует, и самый вопрос следует поставить иначе.

Нужен или не нужен в продовольственном деле *местный надзор,* мелочной, повсеместный и широкий, от

которого не ускользнули бы подробности дела не только на бумаге, но и в последнем селе или деревне?

А так как он бесспорно нужен, то кто его должен вести?

Несомненно, что для этого необходимо два элемента: один — подлежащий контролю, другой — контролирующий и в деле не заинтересованный прямо. Это ясно. Смешайте эти два элемента в одно, и смешанное учреждение явится заинтересованным, станет контролировать само себя, а тогда уже необходимо будет прибегнуть к фиктивному предположению о святости.

Наблюдая впоследствии прихотливые, неожиданные формы, в какие отливалась у нас по временам продовольственная организация, я часто думал о том, какую пользу этому делу могли бы, пожалуй, принести даже... земские начальники, если бы они оставались в роли, отводимой им законом. Тогда между получающим ссуду крестьянином и выдающим ее земским агентом стояло бы еще третье не заинтересованное лицо, ничего не получающее и не выдающее. Тут даже легкий антагонизм между администрацией и земством пошел бы в дело, и всякие неправильные и корыстные действия того или другого земца находили бы скорее даже придирчивую, а в среднем, все-таки, очень полезную критику.

Теперь тот же земский начальник очутился в навязанной ему хозяйственно-исполнительной роли... Допустите, что он грешник и стяжатель (возможно ведь и это!). Сколько у этого грешника средств подавить всякую жалобу в самом зародыше, не говоря уже о том, что все сельское начальство находится от него в полной зависимости. Любой старшина или староста не побоится сделать заявление о злоупотреблениях земского агента, члена управы, порой из тех же крестьян. А если грешником окажется «начальник», тогда, по меткому предсказанию Петра Великого, «первее станет тщиться всю коллегию в свой фарватер сводить... А видя то, подчиненные в какой роспуск впадут...»

Бывало это, и даже в очень широких размерах бывало в злополучный «голодный год» [1].

По Лукояновскому уезду г. Обтяжнов официально сообщал, напр (от 8 мая 1892 г., за № 63), что в участке земского

IX

ЗАСЕДАНИЕ УЕЗДНОЙ КОМИССИИ.— ЕЩЕ О СПОКОЙСТВИИ УЕЗДА

«Председатель, лукояновский уездный предводитель дворянства М. А. Философов, господа земские начальники: А. Л. Пушкин, А. А. Струговщиков, А. Г. Железнов, С. Н. Бестужев, С. Н. Ахматов, Н. Ф. Костин. Председатель уездной земской управы А. В. Приклонский. Члены управы Валов и Красов...»

Так определялся состав уездной комиссии. *«Члены управы Валов и Красов»* — помещались неизменно в самом конце «списка присутствовавших», и при этом, без имени, без отчества и, как говорили,— без стульев. Эта красноречивая лаконичность очень ярко определяла ту роль, которую уездное лукояновское земство играло в уездной лукояновской продовольственной комиссии... «Члены управы Валов и Красов», надо думать, сознавали эту роль не менее явно, чем остальные лукояновские обыватели, остроумию которых это обстоятельство давало немалую пищу. Что же касается до председателя, дворянина А. В. Приклонского, то он упоминался, как и остальные члены, с имяреком... Но это отнюдь не должно быть отнесено на земский счет, так как сказано уже выше, что председатель лукояновского земства, принимая эту должность, стремился этим лишь полнее выразить свое презрение к самому учреждению.

В протоколе заседания 7 марта однообразие этого списка нарушается. Члены управы Валов [1] и Красов еще задолго перед этим прекратили свои совершенно бесполезные посещения... Зато среди обычных фамилий любо-

---

нач. Железнова низшие власти берут с крестьян, коим выдаются ссуды,— «незаконные поборы за хлопоты по ссудам», в том числе даже за размен денег (!) с 11 обществ явно незаконно вычтено 72 р. $45^1/_2$ коп. А так как «жалобы по этому поводу всегда имеют последствием *арест господином земским начальником самих жалобщиков*, то смелость должностных лиц в деле притязаний не имеет границ». И это тоже сходило с рук совершенно безнаказанно, хотя было установлено в официальных бумагах.

[1] Однофамилец свергнутого председателя.

пытный исследователь найдет в протоколе имена приезжих: К. Гр. Рутницкого, подполковника, командированного Особым комитетом, исправника В. А. Апрянина, заместителя г. Рубинского, и, наконец, членов губернского благотворительного комитета А. И. Гучкова — и вашего покорного слуги...

Когда мы явились в «конспиративную квартиру»,— заседание уже было открыто.

На председательском месте восседал предводитель и «диктатор», М. А. Философов, человек еще молодой и необыкновенно толстый, прекрасная иллюстрация «сытости, не понимающей голодных». Лицо у него было выразительное, заплывшее, пожалуй, добродушное. Рядом с ним, по правую руку сидит земский начальник Железнов, довольно высокий шатен, с беспокойными, как будто даже тревожными манерами. В нашем крае это человек новый: служил где-то в Уфимской губернии, вышел в отставку при обстоятельствах, мало выясненных, явился в нижегородский дворянский банк для заклада какого-то клочка принадлежавшей ему земли и здесь, благодаря случайной встрече с предводителем,— получил приглашение занять должность земского начальника. Говорят, он — настоящая душа лукояновской оппозиции, главный вдохновитель М. А. Философова на все его ратные подвиги. Все говорят, что дело у него ведется не совсем чисто (что впоследствии установлено официально). Дальше сидит А. А. Струговщиков, человек пожилой. Одно время считался либералом. Жена его устраивает столовые, сам он подписывает постановления, отвергающие устройство столовых. Дворяне на него косятся, но, по-видимому, без достаточных оснований, если не считать мелочных личных столкновений, порой довольно комического свойства.

Дальше обращает внимание характерная голова Анатолия Львовича Пушкина, «племянника великого поэта». Волосы и борода у него совершенно белые, лицо моложавое, породистое, с тонкими чертами. К «семейной традиции» относится, как говорят, довольно высокомерно. Принципиальный враг земства, гонитель школ и больниц, мужиконенавистник чистой воды. Земские деньги, которые попадают в его руки, одинаково трудно получить как голодающему мужику, так и земству, требующему воз-

врата неизрасходованных авансов. Ссуды по своему участку сокращает систематически и беспощадно...

С. Н. Бестужев и С. Н. Ахматов — двое молодых людей из отставных военных Первый — кругленький, с широким мясисто-красным лицом, подвижной, улыбающийся и беззаботный. В делах явно ничего не смыслит, весь в руках у старшин и писарей половчее. Вскоре после продовольственной кампании бросил все страшно запутанное делопроизводство и скрылся в Москву. Впрочем, князь Мещерский печатно называл его «одним из способнейших земских начальников».

С. Н. Ахматов не обладает столь выразительной внешностью; человек незлой и, как говорят, в лукояновской политике плывет лишь по течению. В течение последующего заседания иной раз краснеет и конфузится.

Господин Костин,— временно переведен ген. Барановым в Лукояновский уезд на место П. Г Бобоедова, который скрылся было от дружного натиска сотоварищей. Считается сторонником «губернии» и «чужим».

Наконец, А. В. Приклонский, глубокий старик, с жидкими усами и губами сатира,— сухой, подвижной и бодрый. В семидесятых годах приобрел кратковременную газетную известность довольно пикантным процессом с провинциальной актрисой. Отличный хозяин, но человек анекдотический: о нем по уезду ходят десятки курьезных рассказов...

Кроме черных сюртуков, в заседании виднелись два военных мундира: исправника Апрянина, которого ген. Баранов, с обычной стремительностью, совсем даже не зная его, назначил на место Рубинского. Здесь он во враждебном лагере. Даже его подчиненные являются каждый день с докладом к его отставленному предшественнику, а об нем рассказывают, будто он сразу же стал обучать урядников танцам (для «проведения культуры»). Человек простодушный, наивный, бывший гусар, чувствует себя в роли полицейского, видимо, стесненным и бессильным.

Полковник Рутницкий, уполномоченный от Особого комитета, состоящего под председательством наследника цесаревича, только что объехал уезд, чтобы ознакомиться на местах с распределением хлеба, отпущенного от Особого комитета. При этом оказалось, что г. Пушкин,

выдававший всего по двадцати фунтов в месяц на человека, для сирот и келейниц заменил и эту более чем скромную помощь пятнадцатифунтовым «комитетским» пайком. При этом крестьянам внушалось, что это — «милость наследника». Вышло, таким образом, что те, кто получал комитетскую помощь, явились, благодаря этой «милости», сугубо обездоленными. Полковник Рутницкий высказывал по этому поводу протест, требуя, по крайней мере, уравнения ссуды...

Комиссия согласилась, и тотчас же после этого, едва мы, раскланявшись с председателем и членами, заняли места, М. А. Философов перешел к другим вопросам.

Прежде всего мы узнали, что один из земских начальников, г. Бобоедов,— «скрылся» из Лукояновского уезда, оставив свой участок. Этого беглеца я видел перед своим отъездом в Нижнем-Новгороде и отчасти уже знал причины его «побега». Господин Бобоедов давно уже был «в контрах» и с предводителем, и с большинством своих сотоварищей, земских начальников. Теперь,— отчасти, быть может, по этой причине,— он держался «системы кормления», и первый участок издержал в несколько раз больше хлеба, чем остальные. Это было нарушение общей гармонии, которого невозможно было допустить: в мужике «появился ропот на неравномерность». Во имя «спокойствия уезда» комиссия предпочитала однообразие даже в ропоте: пусть все будут одинаково голодны,— это лучше обеспечивает «спокойствие уезда»... Правда,— под боком Сергачский уезд, где за гранью лукояновской диктатуры, отмеченной каким-нибудь ручейком или мостиком,— население получало вдвое и втрое больше. Правда также, что от этой опасной границы так и реяли в лукояновскую державу «превратные толки». «Почему же вот у Ермолова люди получают по сорока фунтов,— говорили мужики,— или мы не того же царя?.. Под турецкого султана, что ли, отданы?» Но все-таки это было «за границей» и нельзя было допускать эту опасную «политику» в недра самого уезда...

Поэтому против г. Бобоедова началась курьезная бумажная война. Усматривая, например, что г. Бобоедов выдает ссуду сельским властям, сотским, старостам, а также многим мельникам,— комиссия делает ему запрос

по этому предмету. Господин Бобоедов отвечает, что эти злополучные сельские власти, с годовым жалованьем порой десять — пятнадцать рублей,— не получают, за прекращением мирских платежей, и этих денег, а мельницам нечего молоть в неурожайный год. Комиссия после двухнедельной паузы требует особого по этому предмету представления. Господин Бобоедов составляет общий список и представляет его с указанной общей мотивировкой и с изложением имущественного и семейного положения всех этих должностных несчастливцев... Комиссия возвращает общий список (после двух недель), требуя, чтобы г. Бобоедов разбил эту одну бумагу на сотни отдельных представлений, особо для каждого (опять с паузами на две недели!). Разумеется, для такой переписки нужна была бы многолюдная канцелярия. Господин Бобоедов увидел себя вынужденным отказать сразу целому контингенту лиц, прежде получавших ссуду. Это, понятно, вызвало ропот против распоряжения, которое население приписывало самому земскому начальнику... Его стали осаждать толпы голодного и роптавшего народа. Что оставалось делать г. Бобоедову? Разумеется, указать на высшую инстанцию.— «Я исполняю предписание продовольственной комиссии. Просите теперь у нее». И толпы, осаждавшие г. Бобоедова, понесли свои слезы и свой ропот в комиссию. Тогда... комиссия подняла вопрос о «спокойствии»... Оказалось, что г. Бобоедов «возбуждает народ (!) против лиц, заведующих продовольствием», и стремится вызвать в уезде бунты и неповиновение властям...

Прибавьте к этому тысячи мелочных, назойливых, как комары, и, как комары, непобедимых неприятностей, которыми один человек, не попадающий в тон, преследуется ежедневно и ежечасно плотно спевшейся партией уездных политиканов, и вы поймете, почему в один прекрасный день губерния была удивлена телеграммой о том, что земский начальник 1-го участка скрылся (!)... Оказалось, однако, что беглец явился в губернию и привез целый ворох бумажных стрел, которые вынудили его к побегу. Губернская власть не могла не сочувствовать положению единственного приверженца собственной системы в воинственном уезде, и г. Бобоедов получил новое назначение — председателем сергачской продоволь-

ственной комиссии. Там кормили, и политика г. Бобоедова была там ко двору...

Упомянув об этом «побеге» и холодно отметив, что на место г. Бобоедова прислан присутствовавший тут же г. Костин,— председатель предложил земскому начальнику Железнову доложить комиссии о деле «учуевских крестьян».

Здесь была уже явная крамола: семеро крестьян села Учуевского Майдана, лишенных ссуды местными властями, почтительно в прошении представили на усмотрение губернской комиссии свое печальное положение и просили высшую инстанцию об отмене распоряжения земского начальника (г. Железнова) и о выдаче ссуды. Прошение было представлено от имени и по доверию семерых просителей некоторым Егором Кандиным, а за всех по безграмотству расписался NN... Губернская комиссия посмотрела на этот случай просто и отослала злополучное прошение на усмотрение уездной комиссии, которой оставалось только проверить правильность просьбы по существу и затем поставить ту или другую резолюцию о просимом хлебе. Однако лукояновская комиссия взглянула на вопрос гораздо глубже: для нее здесь выступил вопрос политический, угроза «спокойствию уезда». Просьба была отожествлена с жалобой, жалоба (хотя бы и в законной форме) — с преступлением. Поэтому учуевская слезница была передана тому же земскому начальнику Железнову для *дознания*, и мы с великим удивлением услышали в описываемом заседании результаты этого своеобразного исследования. Результаты эти предстали в виде *«акта»*, начинавшегося словами: «мы, нижеподписавшиеся», и кончавшегося замечательной фразой: «а более в свое оправдание сказать не имеем» [1].

В чем же это обвинялись, в чем признавались и оправдывались просители из Учуевского Майдана?.. В «дознании» говорилось, что нижеподписавшиеся, хотя и *действительно крайне нуждаются* в ссуде, которой не получают, хотя и *действительно желают* ее получать, хотя и *действительно говорили* о том между собою, но в жалобе в губернскую комиссию неповинны, и ту жалобу

[1] См. протоколы Губ. продов. комиссии, засед. 27 марта.

Егор Кандин подал от их имени самовольно... И более сказать в *свое оправдание* не имеют...

— А Егор Кандин? — спросил кто-то, заметив, что подписи самого Кандина на акте не было.

— Упорствует...— мрачно, кратко и как-то вскользь сказал господин Железнов, и в этом слове мне представилась целая недосказанная драма. Бедный Егор Кандин! — подумал я, невольно вздыхая об участи «упорствующего», находившегося в руках этого «энергичного» начальника[1]

— А уж хотелось мне достать этого писаку, который стряпал им просьбу,— прибавил господин Железнов с какой-то зловещей выразительностью.

— Ну, и что же? — спросили его сотоварищи с видимым интересом, и несколько голов живо повернулись к господину Железнову.

— Пензенский, каналья! — ответил господин Железнов.— Убрался в свою губернию...

Я опять невольно вздохнул,— на этот раз с облегчением. На некоторых лицах выразилось разочарование.

— А что же решено по существу,— хотелось мне спросить,— что же сделано по предмету ссуды?.. Нужна она или не нужна?.. Каково действительное положение этих преступников, бунтующих законными прошениями и приносящих в этом свои оправдания?..

Но я не спросил ничего и поступил, как оказалось, очень благоразумно, так как мне пришлось бы говорить на языке, большинству этих новых деятелей совершенно непонятном...[2].

Затем в заседание был «позван» из соседней комнаты врач г. Мариенгоф, который ознакомил нас с санитарным состоянием уезда. Для врача Мариенгофа не было места за столом, не было и стула, поэтому врач Мариен-

---

[1] Напомню, что это — тот самый земский начальник, в участке которого официально констатированы впоследствии «незаконные поборы по хлопотам о ссудах» и даже поборы «за размен денег»!..

[2] В дополнение, а отчасти в объяснение описанного здесь эпизода следует припомнить примечание в конце главы VIII. В том же официальном документе упоминается о незаконных арестах некоего Якушкина за жалобу на злоупотребления сельских властей.

гоф стоял у порога в почтительной позе и в самом неудобном положении, потому что с огромнейшей ведомостью в руках... Тем не менее, и несмотря на эти маленькие личные неудобства, санитарное состояние уезда изображено было в докладе смиренного врача Мариенгофа самыми оптимистическими чертами. Тифа не было «почти вовсе». Остальные болезни держали себя так же почтительно, как и сам врач Мариенгоф: по какому-то странному влиянию несомненного неурожая,— «санитарное состояние уезда в этом году улучшилось против прежних лет». Очевидно, самые болезни стремились угодить лукояновской комиссии.

Председатель милостиво кивнул г. Мариенгофу головой, и г. Мариенгоф ушел со своей шуршащей ведомостью. Мы уже видели, какими цифрами более правдивый товарищ и единомышленник г. Мариенгофа, г. Эрбштейн, иллюстрировал «санитарное улучшение», и потому не станем останавливаться на этом эпизоде, тем более что непосредственно за этим последовали эпизоды гораздо более драматичные.

Начал говорить г. Философов.

Смысл его речи, очень возбужденной (и чрезвычайно несдержанной), состоял в том, что уезду не грозят ни голод, ни болезни. Все это злонамеренные выдумки! А вот «спокойствие уезда» — в положительной опасности и именно вследствие распоряжений из губернии. По мнению г. Философова, надо быть сумасшедшим, чтобы действовать таким образом. Удаление «целой корпорации полицейских чиновников» произвело волнение умов. На базарах открыто толкуют, что вслед за этим последуют и другие перемены в составе уездных чиновников и даже... что сам г. Философов вынужден будет удалиться...

Легкий ропот в собрании отмечает эту ужасную перспективу... Господин Железнов, сидящий по правую руку,— что-то тихо и тревожно возражает на ухо председателю, оглядываясь на исправника и на «чужих».

— Но ведь вы же сами мне все это говорили, а? — с недоумением и досадой обрывает его председатель и затем продолжает, что «вместо удаленной корпорации — присланы люди, во что бы то ни стало разыскивающие голод и болезни»...

Сидевший около меня новый исправник, отставной кавалерист, не служивший ранее в полиции и на первый же раз попавший в самое пекло уездной политики новейшего времени, как-то возбужденно задвигался на стуле. Мы, посланцы губернского комитета и до известной степени гости уездной комиссии, еще ничем не нарушившие нейтралитета, оглядываемся друг на друга не без недоумения... Господин Железнов печально смотрит в потолок, С. Н. Бестужев широко улыбается, г. Ахматов слегка краснеет. Тактичный председатель стремительно следует дальше...

Удаление «корпорации» (выражение показалось мне замечательно удачным!) — и притом в такое тревожное время — расшатало в уезде власть в такой степени, что «за последствия ручаться невозможно». Ввиду этого г. Философов слагает с себя, вместе с званием председателя комиссии, всякую ответственность за имеющие произойти в близком будущем мрачные события. Он отказывается от председательства, но не от прежней своей должности. Он еще будет «бороться» в надежде восстановить пошатнувшееся *спокойствие уезда* и надеется найти поддержку.

Совершенно ясное и неприкрытое заключение этой речи состояло в следующем силлогизме: удаление исправника в тревожное время угрожает *спокойствию уезда*, ослабляя авторитет власти. Авторитет этот может быть восстановлен лишь посредством... удаления губернатора, на что еще остается некоторая надежда. А тогда вернуть «корпорацию» в одном не кормящем уезде и объявить войну всем уездам кормящим... Вот что, по-видимому, рисовалось в тумане будущего, как недосказанные desiderata * своеобразной лукояновской программы... То обстоятельство, что перемены в губернской администрации «в такое тревожное время», быть может, еще более неудобны, чем удаление уездной корпорации,— по-видимому, совсем не входило в эти уездно-политические соображения...

Да, это была настоящая уездная драма. Казалось, мрачное будущее со всеми ужасами уездной анархии стоит уже у порога конспиративной квартиры и кидает

* желание (*лат.*).

в эту комнату свою тень... И все это, в последнем выводе, явилось бы результатом лишних трехсот тысяч пудов хлеба, который, как порох, грозил взрывом страстей, а столовые представлялись чем-то вроде политических клубов. Нужно сказать, забегая несколько вперед, что самые мрачные предсказания базарной молвы исполнились с буквальною точностью. За «корпорацией» уездной полиции последовали другие отставки. *Сам* г. Философов тоже, и притом окончательно, удалился в лоно частной жизни... И, однако, странное дело! — уезд не шелохнулся. Мало этого: даже ссуда была со временем увеличена вдвое, пол-уезда покрылось сетью столовых,— и нигде не обнаружилось никаких переворотов. «Спокойствие уезда» решительно обмануло ожидания могущественного уездного диктатора, сложившего с себя ответственность за последствия, которых налицо не оказалось!..

А вот,— было ли бы все так же спокойно, если бы лукояновская система продолжалась до конца,— это так и осталось вопросом...

Господин Философов торжественно встал и удалился в соседнюю комнату. А его место с видом отчасти зловещим занял г. Пушкин. Вскоре, однако, собрание деморализовалось, объявлен был перерыв, и мы вышли в другую комнату.

— Смотрите,— толкнул меня локтем один из моих «сотоварищей по несчастью», указывая головой на дальнюю комнату.

Там, среди табачного дыма, пронизанного смутным мерцанием стеариновых свечей, я увидел три или четыре фигуры, с самым таинственным видом склонившиеся головами друг к другу и, по-видимому, обсуждавшие что-то с нарочито таинственным видом.

— Вот оно где,— настоящее-то заседание начинается,— сказал мой собеседник, лучше меня знакомый с обычными приемами официальных заседаний «конспиративной» квартиры.

И он не ошибся. Все, что мы видели до сих пор, было только вперед рассчитанным эффектом уездного протеста. «Настоящее» готовилось в этом таинственном совещании, и через несколько дней мы узнали, что против нас, против всех вообще представителей политики кормления, еще даже ничем себя не заявивших,— была пу-

щена самая язвительная «мемория». Тут-то составлено знаменитое в свое время постановление против печати, «пользующейся официальными данными», тут же задумано и сообщение о «неблагонамеренных и даже поднадзорных лицах», под видом столовых простирающих адские посягательства на «спокойствие уезда»... Все эти призраки, когда они появились через несколько дней в необычайной для них атмосфере гласности, в губернском комитете, имели, надо сказать правду,— очень жалкий вид каких-то ощипанных куриц. Я должен, однако, прибавить, что к этому категорическому заявлению о «неблагонамеренных, сеющих смуту»,— сделана небольшая приписка, которою исключался полковник Рутницкий, защищенный своим мундиром... Эта приписка усугубляла зато значение и роль всех остальных приезжих уже *без всякого исключения*... Все мы очутились под обвинением в «сеянии смуты», иначе сказать,— под действием политического доноса. Ultima ratio[1] русской консервативной полемики!..

А приезжих было так много... Удивительно, что и после этого уезд остался все-таки спокоен.

Мы ушли, а конспиративная квартира все еще до глубокой ночи светила огнями из запотевших окон на темную улицу и пустую площадь заинтересованного города. Весть об отказе г. Философова обсуждалась в уездных сферах, интересующихся политикой, а остальная жизнь шла своим обычным нерадостным чередом, не зная, а только смутно воспринимая результаты этой уездной политики...

И было так странно порой, после описанных бурь, натыкаться на эти непосредственные проявления отдаленных влияний...

Вскоре после описанного заседания, и даже, помнится, на следующий день,— я возвращался с А. И. Гучковым от одного из новых знакомых. Спускался вечер, сырой и мглистый. Обширная площадь была пуста, на ней виднелись только сугробы рыхлого уже и мокрого весеннего снега, а среди сугробов две неясно видные женские фигуры вели негромкую беседу. Когда мы проходили мимо,— голос одной из говоривших поразил меня ка-

---

[1] Последний, решительный довод (*лат.*).

кой-то особенной нотой (слов я не слышал). Женщина говорила что-то нараспев и длинным рукавом суконного кафтана утирала слезы. Увидев нас, женщины быстро попрощались, и одна, плакавшая, пошла тороплививою походкой впереди нас по мосткам...

— О чем ты плакала? — сказал я, догоняя ее. Она ускорила шаги. Мне было совестно добиваться ответа, но что-то в ее голосе поразило меня такой щемящей тоской, что я чувствовал потребность вмешаться, узнать, в чем дело, быть может, помочь. Ведь я для этого приехал.

При повторенном вопросе женщина с видимой неохотой замедлила шаг. Она продолжала плакать.

— Девочка из дому согнала,— сказала она, видимо делая усилие и опять утирая рукавом слезы...— Ступай, говорит, мама, добейся хлебца... Добейся, говорит... А я откуль добыюсь?.. Вот у Чиркуновых подали кусочек, только и добилась. Мужик ходил, ходил, ничего не принес.

— Неужто ничего не подали в городе?

— Да, вишь, ссуду мы получаем...

Понемногу я понял. Семья состоит из троих. Старик — плохой и убогий, не старая, но тоже довольно «плохая» жена и маленькая девочка, которая на этот раз «согнала ес с квартиры». Эта нищая семья осчастливлена ссудой в двадцать восемь фунтов. Этого хватает на неделю, в остальное время приходится все-таки побираться...

— Мы-то уж как бы нибудь...— говорит женщина... Говорит она как-то странно, как будто не может уже удержаться, но вместе прибавляет шагу и идет так быстро, что нам трудно поспевать за нею...

— По два дня и то не евши... Да, вишь, девочка-те гонит. «Добейся, а ты, мама, добейся»...

— Этто чего надумала,— продолжает она: — «Зарой, говорит, меня, мама, в земельку». Господи! — «Что ты,—я говорю,—милая моя, нешто живых-те в земельку зарывают?..» — «А ты меня зарой», говорит... И то... Кабы такая вера: легла бы и с девочкой в землю-те, право, легла бы...

Я невольно вспомнил свою «девочку по четвертому году», и безотчетный ужас сжал мое сердце. Мы оба с какой-то невольной торопливостью отдаем ей всю нашу

мелочь; набирается, во всяком случае, неожиданно много для нее. Но она все так же плачет, слезы текут у нее неудержимо и все сильнее, и я боюсь, что это перейдет в какой-то необычайный взрыв заразительной жалости и смертной тоски. Я понимаю теперь, почему она *так* говорила, *так* плакала, так торопилась уйти от нас, так неохотно отвечала на вопросы. Она уходила от этого своего рассказа о ребенке, который просит, чтобы его зарыли в земельку... И, право, не знаю, решился ли бы я заведомо вызвать ее на этот рассказ...

Это была профессиональная нищенка, и я знаю, сколько самых неопровержимых соображений может вызвать рассказанный мною эпизод. Я знаю, что этой семье помочь трудно и что таких семей тысячи. Знаю также, что этой девочке лучше бы вовсе не являться на свет от «плохих» родителей-нищих. Но все-таки читатель, может быть, согласится, что этого рассказа Сироткина не изобрела «для господ», и значит... девочка по четвертому году сама надумала эту страшную мысль...

И сколько таких мыслей роилось в детских головах, принимая только другие формы, но скрывая ту же смертную тоску, которая свила свои гнезда в детских сердцах...

Вот что, между прочим, называется голодом в нашем XIX столетии...

X

ОТКРЫТИЕ ПЕРВЫХ СТОЛОВЫХ.— СИСТЕМА В 1-м УЧАСТКЕ, И ПОЧЕМУ Я НЕ ОТКРЫЛ СТОЛОВОЙ В ВАСИЛЕВОМ-МАЙДАНЕ

Одиннадцатого марта, в 12 часов, мы открыли нашу первую столовую в Елфимовом-Майдане. При выборе хозяев, как оказалось, очень удачном, старики руководились, между прочим, тем соображением, что у старухи — вдовы писаря — живет ее сын «студент». Ироническая кличка дана молодому крестьянину, в котором односельцы заметили особые стремления. Натура талантливая, неудовлетворенная, чего-то ищущая и глохнущая в деревенской обстановке. Переходя от ремесла к ремеслу, он изучил их немало, но ни на одном не остановился окон-

чательно и живет в беззаботной бедности дилетантом-печником. Он любит читать, в разговоре употребляет непонятные слова и, имея смутные стремления к интеллектуальности, тяготеет к церкви, как это иногда бывает с пробуждающейся сельской интеллигенцией. Односельцы, как видно, смотрят на него слегка насмешливо. И, однако, лишь только встретилось новое дело,— небывалый еще в селе пример бесплатного кормления,— мысли их тотчас же обратились к «студенту» Чего лучше: и список прочтет, и продукт запишет, и хлеб развесит, и порядок заведет.

Действительно «студент» приготовил все, как следует. В избе, очень тесной, но чистой, мы увидели на стене два листа бумаги. На одном были выписаны четким почерком распределение и количество отпускаемых продуктов, на другом — имена и фамилии обедающих.

Отслужили молебен, «студент» сделал перекличку. То, что я увидел, теперь уже меня не удивило: убогие, увечные, старики и дети толпились у столов (две кадки с положенными на них досками), и было сразу заметно, что сорок человек — это слишком мало для села. Только что начали обедать, как я услышал, что за столом оказался кто-то лишний.

— Не по закону ест кто-то,— заявил «студент».— Хлеба не хватило...

— Феська не по закону ест.

— Фесь, не по закону ты ешь, слышь,— заговорили уже кругом, толкая под локоть девочку лет тринадцати — четырнадцати, которая, однако, не обращала на эти протесты ни малейшего внимания. Я подошел со стороны и взглянул ей в лицо. Лицо у нее было совершенно серьезно, даже, пожалуй, равнодушно. Казалось, для нее не существовало кругом ничего, кроме хлеба, который она держала в руке, и чашки, стоявшей на столе. Она торопливо откусывала хлеб и тотчас же протягивала ложку к чашке, не признавая, очевидно, никакого закона, кроме права голода, и не обращая внимания на говор, как будто замечания относились не к ней.

На лицах сельской публики, пришедшей взглянуть на первый бесплатный обед, я прочел искреннее сожаление и соболезнование к «беззаконнице»

— Немая, что ли? — спросил я.

— Какое немая! Сирота это, дня два, чай, хлеба не видала.

— Как же ее не внесли, когда составляли список?

— Да ведь бродит она кое-где. На виду не было, ну, и забыли про нее. А уж как бы не записать! А то, вишь, не по закону, а поди-ка ее теперь из-за стола вытащи...

— Ни за что не вытащишь. Вишь, как припала... Голод закона не знает!

Разумеется, мне тоже пришлось признать за ней самое важное из прав — право голода, и мы тут же вписали со «студентом» ее имя в список... хотя это, по-видимому, произвело на нее так же мало впечатления, как и прежние замечания о совершаемом ею «беззаконии».

Вот сидит за столом мальчишка лет шести. Он сел первым и встал последним. Все время он ел с какой-то мрачной сосредоточенностью, между тем как мать смотрела на него со слезами на глазах. Я боялся, что мальчику повредит эта неумеренность, но меня уверили, что детям это не вредно. «От пищи им вреды не бывает. Напузырится, гляди, как клоп, а через час опять запросит. Вали, Мишка, ничего!»

Красивый мальчишка, совсем у нас не записанный, стоит, потупясь, и, точно волчонок, глядит на стол, заваленный хлебом. Сначала я думал, судя по чистой рубашонке и по опрятному виду красивого ребенка, что он пришел сюда из любопытства, но, видя, что он стоит долго, весь красный, застенчивый и готовый заплакать, я отрезал ему горбушку. Он взял ее торопливо, сунул за пазуху и тотчас же пошел из избы.

— Погоди, куда ж ты торопишься?

— Илюшка еще у меня... плачет, чай,— ответил мальчуган серьезно.

И он ушел, чтобы поделиться с Илюшкой долгожданным куском чистого хлеба.

Не раз впоследствии, при виде подобных же картин, глядя на этих «незванных» к убогому пиршеству наших столовых,— мне хотелось изорвать все мои с таким трудом составленные списки и сказать просто: приходите все, кому надо. Может быть, это была ошибка, но при тех условиях я не считал себя вправе отдаться этому побуждению и старался пристроить свои крохи на самое дно народной нужды.

И не раз у меня сжималось сердце при виде этих печальных глаз, устремленных на счастливцев, занявших свои места. Вот баба привела и держит перед собою парнишку. По всему видно, что пристроить его нельзя. Двое мужиков из семьи на работе, на остальных получает, правда, по двадцати фунтов, но это здесь норма.

— Полсела, прямо сказать, этаких-то,— говорит, отворачиваясь, один из стариков.

Мать не хочет знать этих соображений. Она знает только, что дети голодны, что каждый вечер в избе стоит плач. Но вот тотчас же за ней подходит старуха. Ей 63 года, живет у зятя, на нее пособие не идет, а зять человек и бедный, и непутный. Жить 63 года в неустанном труде и дожить до голода в собственной семье,— такова судьба не одной этой старухи. Ее, по единогласному отзыву присутствующих, я вношу в список на место одного из четырех членов семьи, осчастливленной внезапной выдачей ссуды (тоже по двадцати фунтов).

Вот еще мать привела двух детей. Один записан, другой пришел вместе с братом. Один ест за столом, другой плачет рядом.

Чтобы устранить эти случаи, осушить эти слезы, мне нужно бы все деньги, которые были тогда в моем распоряжении, употребить на одно это село... Я не знал, имею ли я на это право. Приходилось поневоле производить эти аптекарские взвешивания, высчитывать эти слезинки, чтобы выбрать последние степени нужды и страдания...

Двенадцатого марта открыта вторая столовая в селе Пичингушах, в моем отсутствии. В этот день я ездил в Василев-Майдан, где, однако, не сделал пока ничего, несмотря на то, что здесь не было бы недостатка в отличных помощниках. Нерешимость моя — пристроить здесь мои, еще скудные, средства — истекала из некоторых особенностей «продовольственной истории» этого села, да, пожалуй, и всего 1-го земского участка,— особенностей, на мой взгляд достаточно характерных, чтобы остановиться на них несколько подробнее.

Первый участок — это именно тот, в котором так часто сменялись земские начальники. Их здесь было так много, что, можно сказать, совсем не было. Собственно,

назначен был на это место г. Бобоедов, с историей которого мы уже отчасти знакомы. Вступить в должность сначала мешали ему обязанности директора Дворянского банка, потом болезнь. Но, в ожидании его, участок оставался вакантным, и должность временно исправляли другие лица. Между этими другими был С. Н. Бестужев — земский начальник 6-го участка... Им, то есть, вернее, при нем составлены были имущественные списки по 1-му участку еще в июле месяце.

Я имел случай видеть эти списки в подлиннике. Интереснейшей их чертой является то обстоятельство, что в них нет и речи собственно о *наличности хлеба*, то есть о главном. В графе об имуществе отмечались постройки, частью инвентарь и скот... Господа земские начальники, так сказать, нацеливались вперед,— что именно можно распродать у голодающего населения. Впоследствии, когда ревизия И. П. Кутлубицкого отметила эту черту в деятельности комиссии, господа лукояновцы обиделись и возражали, что они вовсе не имели этого в виду, и что, оспаривая земскую смету, они основывались на своем «знании уезда» вообще и, в частности, на сведениях о наличных запасах. Однако официальные протоколы заседаний решительно опровергают это. Я, например, с большим любопытством прочел в журнале от 24 сентября следующее место: «*Постановлено* (большинством голосов): сумму денег на продовольственные нужды на уезд определить в 250 000 руб.; *что же касается до выяснения суммы по каждому участку отдельно,— то просить земских начальников о доставлении свода в комиссию*».

Итак, спорная сумма определялась ранее, чем господами земскими начальниками были доставлены точные слагаемые! Не ясно ли уже из этого неопровержимого и официально установленного факта, что заключение лукояновской комиссии явилось априорным продуктом уездной политики.

Когда впоследствии мне пришлось беседовать об этом с одним из этих политиков, то мой собеседник разрешил мое недоумение удивительно просто.

— Послушайте! Надо же государственное казначейство пожалеть. Вы думаете, *там* наши требования очень приятны?

Вот именно! Ничего не может быть проще и харак-

теристичнее. «Местных деятелей» спрашивают из Петербурга о том, что они видят на месте, и именно потому, что этого из Петербурга не видно, между тем как положение государственного казначейства, наоборот, там-то именно и известно несколько лучше, чем здесь. А «местные практики» вместо того, чтобы, не мудрствуя лукаво, сказать правду,— стараются угадать, какой их ответ будет приятнее и доставит большее удовольствие... И выходит, что, вместо прямого и честного ответа, они возвращают Петербургу в лучшем случае его собственные предположения, съездившие в провинцию за этим «якобы» подтверждением на месте. Следует ли доказывать, что это угодничество никому не нужно. Ведь если, таким образом, господа земские начальники берут на себя заботы о государственном казначействе, тогда государственному казначею приходится хоть самому собирать нужные сведения на местах.

Что делать, однако! Это молчалинство характерная черта всего нашего строя, и, может быть, от этого у нас все кажется слишком благополучно вплоть до рокового времени, когда, наконец, неблагополучие высунется, как шило из мешка...

Итак, не статистика, а политика легла в основание первоначальной лукояновской сметы. Получив цифру, заданную вперед, господа земские начальники в заседании 3 октября представили свои частные цифры, из коих сложилась сумма в триста тысяч пудов хлеба, то есть (по тогдашним ценам) немного превысившая первую... Слагаемые определились суммой, а сумма соответствовала мужиконенавистнической политике властных дворян.

Чем же все-таки руководились господа земские начальники? Разумеется, отвергнув с презрением статистику земства,— они обратились к писарям и волостным старшинам, и тут опять вышла та же история. Старшины и старосты такие же хорошие политики, как и сами земские начальники. Они очень хорошо, быть может, лучше и непосредственнее других ощущают, что в «высших (участковых) сферах» приятно и что неприятно. Понятно поэтому, что, имея в руках вперед заданную цифру по всему участку, земские начальники руками покорных писарей и старшин легко приноровили слагаемые к заданной вперед сумме... Это — задача элементар-

ной арифметики!.. Волостные писаря услужливо подтверждали предвзятые цифры господ земских начальников. Получилась стройная система, в основе которой лежала голая фантазия, ибо в статистических вопросах, как известно, переход от общего к частному совершенно не имеет места.

Но 1-й участок, как уже сказано, имел так много земских начальников, что это было почти равносильно полному их отсутствию. Понятно из этого, что он отстал от «нового курса» к приезду г. Бобоедова. А г. Бобоедов, к счастию для участка, в это время был в дурных отношениях с господствующей партией, и у него не было охоты прилаживаться к «новому курсу». Поэтому цифры писарей и старшин, остававшихся без «высшего руководства», дали уже другие результаты. В конце концов политические конъюнктуры в 1-м участке сложились так благоприятно, что население получало ссуду в несколько большем размере.

Это уже была, разумеется, *оппозиция*... Та самая *оппозиция* уездной *оппозиции*, о которой мы уже говорили, и повела она к той самой войне в недрах уезда, которую я уже отчасти описал выше. Господин Бобоедов оказался в опасном противоречии с «продовольственной уездной комиссией», его участок стал ареной междоусобия, и, странное дело! — те самые господа земские начальники, которые *ни разу* не проверяли списков в больших селах своих участков, находили достаточно времени для «проверки списков» в участке г. Бобоедова...

Проверка списков — дело, по-видимому, довольно мирное. Но в Лукояновском, а порой в других уездах оно принимало вид настоящих военных экспедиций. В один прекрасный день к правлению голодающего села или деревни стремительно подкатывает несколько саней. Впереди и сзади скачут полицейские урядники и сотские, и весь отряд, едва зайдя в правление, отправляется по селу с обысками, чтобы застигнуть «виновных» врасплох. На селе тревога, бабы и мужики куда-то шмыгают, что-то прячут на задворках, усердные полицейские их настигают, земские начальники врываются в избы, открывают заслонки печей, «шарят по подклетям и в подпольях», взламывают даже половицы, вытаскивают на

свет божий то каравай хлеба, то мерку муки или зерна и составляют протоколы, точно им удалось раскрыть следы ужасающего преступления... Часа через два или три, победоносные и торжествующие, они удаляются с трофеями в виде протоколов о найденных «запасах».. Там-то обнаружена мера овса, там-то в печи оказался большой горшок каши, в третьем месте — мягкий, только что выпеченный хлеб... Разумеется, о тех случаях, когда не найдено ничего,— протоколы умалчивают, и в ближайшем заседании уездной комиссии участники экспедиции радостно излагают ее результаты: голода нет... в участке П. Г. Бобоедова обнаружены скрытые запасы...

В конце концов г. Бобоедов сбежал, а списки г. Бобоедова остались, потому что находить, при помощи урядников, отдельные случаи неправильных выдач легко, а составить новые списки, да еще в чужом участке гораздо труднее. Притом же г. Костин, временно заменивший г. Бобоедова, человек доброжелательный и гуманный,— не имел вдобавок физической возможности заняться пересоставлением этих списков. Мы видели, что он мгновенно превратился в приемщика земского хлеба и едва справлялся с текущим делом.

Несомненно, тут не обошлось без частных ошибок, и тем более, чем списки были старее. Однако, несомненно также, что в *общем* этот неисправленный список был гораздо ближе к истинному положению дела, чем новые «исправленные» списки других участков. В нем были ошибки частные. В других — одна, коренная, общая ошибка, что гораздо хуже... И вот почему Василев-Майдан, например,— село, более других подорванное годами неурядицы, недавним пожаром и неурожаем, глубже Елфимова расстроенное экономически,— в меньшей степени испытало невзгоду острой нужды, так как в нем было больше хлеба...

В этом мне пришлось убедиться довольно скоро при помощи местного священника, о. Г Н. Гуляева, о котором я уже упоминал однажды.

К сожалению, не всегда можно рассчитывать на вполне независимое мнение священника о некоторых щекотливых, особенно имущественных вопросах по приходу. Положение сельского священника зависимое. Починить

домишко, обработать помочью поле, выстроить школу, и, наконец, просто пойдет священник за сбором,— богач и горлан при всяком случае люди нужные. Вот почему в большинстве случаев на сходе священник стеснится сказать громко: такого-то не пишите, такому-то не нужно. Он сделает знак, кивнет головой или сообщит вам соответственное сведение относительно того или другого более назойливого, чем нуждающегося прихожанина разве у себя на дому (о случае, когда священнику побили окна за отзывы по этом предмету, я уже говорил ранее).

Тем приятнее видеть хоть изредка факты, когда личное достоинство и нравственный авторитет берут верх над унизительной зависимостью положения В моей (главным образом, дальнейшей) практике мне доводилось встречать и такие случаи, и особенно ярко запомнились два: в одном — это был еще юноша священник, только что оставивший семинарскую скамью, в другом — седой старик, благочинный в Василевом-Майдане. Отец Григорий живет уже много лет со своей паствой, и василевские «бунтовщики» — козлища для других — в в его глазах являются добрыми прихожанами и добрыми людьми. Недавно, после пожара, уничтожившего все имущество священника без остатка, ему предложили выгодный приход в городе. О. Григорий отказался: жил с ними в хорошие годы,— не хочется кидать в дурные...

Все это я говорю вот к чему: такой труд, в чем бы он ни состоял, и такое отношение к себе народ и понимает, и ценит; годы такой совместной жизни действительно дают интеллигентному труженику огромную нравственную силу и авторитетность в деревне. Впоследствии, когда неравномерность выдач в разных участках была хоть до некоторой степени устранена,— мне пришлось вместе с священником о. Гуляевым участвовать в составлении списка на многолюдном сходе, состоявшем из этих прославленных бунтовщиков. И я видел, что этот крестьянский мир и этот интеллигентный труженик деревни, отдавший ей годы бескорыстной работы и завоевавший тем неоспоримое право нравственного влияния, что эти два фактора, взятые вместе, дают все, что нужно, чтобы любое дело было сделано правильно и по совести.

К сожалению, по многим причинам это явление в деревне не часто. У нас кричат теперь о перепроизводстве интеллигенции, а между тем — ее совсем почти нет в деревне. Учитель — в загоне и не виден. Врачей — два-три на уезд... Помещик и управляющий — часто люди интеллигентные, но они стоят в положении нанимателей, иногда даже — воюющей стороны. Священники — самый заметный у нас и влиятельный класс, роль которого — прямое удовлетворение духовных интересов народа. Однако и здесь явление, о котором я говорю, которое, казалось бы, в этом-то классе и желательно, и возможно в особенности,— встречается не часто... Я приведу впоследствии несколько красноречивых фактов, указывающих, как опасно было священнику исполнять в Лукояновском уезде свою роль заботливого пастыря, а пока скажу только, что когда о. Григорий призвал к себе пять-шесть стариков и предложил им несколько интересовавших меня вопросов, то ответы были даны вполне откровенные. Между прочим, я спросил, сколько семей в селе получают теперь ссуду напрасно. Священник вместе со стариками, считая «по порядкам», насчитали домов тринадцать — пятнадцать. Если даже допустить цифру двадцать, то вот вам эта ужасная ошибка в сторону кормления в огромном селе! Теперь, когда я делаю эти выписки из своего дневника, после того, как побывал почти во всех деревнях и селах большей половины уезда,— я могу в любом большом селе самого экономного из экономных земских начальников указать такое же и даже большее количество дворов, которым (как мы уже видели в селе Пичингушах) ссуда выдавалась неправильно, по пристрастным указаниям старост, никем фактически не проверенным. Разница лишь в том, что там эта ошибка подчеркивалась другой, противоположной: получали богачи, а настоящие бедняки голодали.

Из той же откровенной беседы в Василевом-Майдане я вывел и то заключение, о котором говорил выше. Когда я рассказал старикам, где я открыл столовые, то они единогласно заявили, что эти села богаче. Но когда я перебрал свой список и указал им, кого именно я записал там, сколько записанные получают казенной ссуды и кого приходилось исключать, то и сам священник, и крестьяне, хотя и со вздохом, согласились,

что их село мне пока придется обойти. «Другим, поэтому, еще нужнее, а уж, кажется, у нас беднота».

Из этого, думаю, позволительно извлечь вывод: неурожай зависит не всегда от нас, но нужда не всегда пропорциональна неурожаю, и новоявленные «попечители народа» ухитрялись порой создать искусственный голод даже там, где его можно бы сравнительно легко избежать.

И еще: одна ошибка общего характера гораздо страшнее десятков частных ошибок.

XI

ПО ПУТИ В ЛУКОЯНОВСКУЮ «КАМЧАТКУ».— ЕЩЕ О СПОКОЙСТВИИ УЕЗДА.— ОБУХОВСКИЙ ЗЕМСКИЙ ХУТОР.— О «ЗИЖДУЩЕЙ РАБОТЕ» И О «ТРУДНО-БОЛЬНЫХ»

Возможны два приема помощи населению в пределах частной благотворительности. Первый — когда интеллигентный человек, живущий или хоть поселившийся на продолжительное время в нуждающейся деревне, вступает в непосредственное, более или менее тесное общение с теми, кому он помогает. К материальной помощи он может прибавить в этом случае нравственную поддержку, может отдать людям, которых знает и которые его знают, все, на что способен, все, что находится в его распоряжении из нравственных и материальных ресурсов. Не раскидываясь широко, вы можете заглянуть в самую глубь народной нужды, войти во все ее детали, не упустить ничего... Без сомнения, это наиболее симпатичная, полная и человечная форма благотворительности, устанавливающая известную взаимность между принимающим и дающим, наконец, приносящая наибольшее удовлетворение для обеих сторон

Об этом мечтал и я, отправляясь из Нижнего.

Однако есть и другой прием, и он-то, по обстоятельствам, выпал на мою долю. Как ни хорошо, как ни благотворно нравственное общение и взаимность, однако и прямо кусок хлеба, сам по себе, составляет великое благо там, где его не хватает, где матери приходится целые дни слышать немолчный крик голодного ре-

бенка. С первых же шагов на лукояновской почве я увидел, что в этом обездоленном уезде мне придется отказаться от первоначальной мечты и вместо того, чтобы сосредоточить работу в тесном районе, необходимо будет раскинуть ее вширь, почти по всей площади, жертвуя и общением, и многими другими хорошими вещами — простейшей задаче: открыть как можно больше столовых, охватить ими поскорее, еще до распутицы, возможно широкое пространство, доставить хлеб в самые отдаленные и глухие деревушки.

Обстоятельства складывались явно в этом направлении. Вернувшись в Лукоянов, я узнал, между прочим, что в мое распоряжение предоставлено губернской земской управой полторы тысячи пудов хлеба, купленного на средства И. М. Сибирякова. Это обстоятельство оказало нам громадную услугу и окончательно определило дальнейший способ действий. Можно сказать даже, что теперь образ действий зависел уже не от меня: я очутился как бы в упряжке,— эта масса хлеба требовала скорейшего и наиболее целесообразного распределения.

Вот почему 15 марта я сидел в санях, запряженных гусем, и мчался, вместе с Н. М. Сибирцевым, уполномоченным губернского земства, по дороге в дальнюю Шутиловскую волость. Съездом мировых судей Нижегородского уезда образовано попечительство, в распоряжение которого отдано две с половиной тысячи такого же хлеба для Лукояновского уезда, пятьсот пудов направлено прямо в Шутиловскую волость и доставлено еще вóвремя по последним путям. В видах скорости мы решили соединить наши действия, и я ехал на «Обуховский хутор», чтобы расплатиться за извоз и распорядиться хлебом.

Бросив взгляд на лесную карту Нижегородского края, вы легко заметите широкую ленту сплошного леса, почти непрерывно протянувшуюся от Волги по направлению к Оке и захватившую южные уезды нашей губернии. Лукояновский уезд разделяется ею на две неравные части: южную, так называемый Започинковский край, и северную, собственно лукояновскую. Далее зеленая лента охватывает с юга Арзамасский уезд, уходит на время в Пензенскую и Тамбовскую губернию, дает в последней

могучие еще поныне дебри Саровской пустыни, раскидывается частыми островами по пескам Ардатовского уезда и, наконец, перекинувшись за Оку у Ардатова, Горбатова и старинного Мурома с его эпическим селом Карачаровым, уходит на север. Это — остатки знаменитых некогда Муромских и Брынских лесов.

Казенные прямые просеки, правильные лесорубки, свистки железных и стеклянных заводов, на далекие расстояния оглашающие дремучие дебри,— все это давным-давно распугало мрачные воспоминания о Соловьях-разбойниках, об Ильях Муромцах и о всякой лесной вольнице. Самые леса постепенно повывелись, уступая место пашням, и только на совершенно песчаной полосе их пощадили топор и соха. Там, где прежде было необозримое и таинственное зеленое море, теперь осталась только зеленая река, охваченная и сжатая ясно очерченными берегами. Однако, по нынешним временам, и это еще очень значительные лесные массы: дремучий, старый, многолетний бор осеняет, налагает свою печать и определяет физиономию целой местности. Залесная сторона — Шутиловская и Мадаевская волости — носит в уезде название «Камчатки».

Три больших поселения лежат еще по сю сторону леса: Салдаманово, Шандрово и Салдамановский-Майдан, где нам пришлось менять лошадей. У волостного правления мы увидели двое саней, запряженных тройками, гусем, и кучку народа у дверей. Священник, к которому мы зашли на время, рассказал нам с некоторой сдержанностью, что в волость приехало небывалое еще начальство: нижегородский помощник полицеймейстера г. Косткин, в сопровождении помощника исправника. Помощник полицеймейстера из Нижнего в подлесном селе отдаленного уезда, конечно, явление не совсем обычное, и хотя, по видимости, речь идет об освидетельствовании пожарных средств в деревнях и селах, но все понимают, что дело тут не в бочках и насосах... В короткий период времени в уезде совершился целый переворот, о котором, конечно, толкуют всюду... И странное дело, ни о каком «беспокойстве в уезде» не было прежде и речи,— а теперь эта фраза так и носится в воздухе,— разумеется, как фантастический отголосок последнего «заседания» уездной комиссии...

— Отчего это? — спросил я как-то у местного деятеля.

— Помилуйте! Такое время...

— Какое?

— Да ведь все-таки... нужда, народ восприимчив...

Итак, основная причина, которая вызывает все эти толки о «беспокойстве»,— «все-таки нужда» и именно в хлебе «Голод плохой советчик», это правда. Но если так, то очевидно, что всякое усилие, направленное на устранение именно этой основной причины — нужды в хлебе,— должно быть рассматриваемо как средство к водворению спокойствия. Казалось бы, это совершенно ясно. Но ясно не для всех, и господа из лукояновской комиссии выдвинули силлогизм другого рода: в голодный год возможны беспорядки, и *потому* кормить народ едут *только* смутьяны.

Проезжая мимо «пожарного сарая», мы видим и самого господина Косткина. В Нижнем он слывет настоящим Лекоком, и однажды я имел сомнительное удовольствие видеть его у себя с понятыми. На сей раз нижегородский Лекок кланяется мне довольно любезно. Мы понимаем друг друга: талантливый «исследователь» найдет всегда то, что нужно начальству. В другое время он мог бы, разумеется, причинить мне неприятности, и я даже не знал бы, что именно обо мне написано. Но теперь, по доносу лукояновских деятелей, воюющих с губернатором,— результаты «негласного дознания» могут быть только в мою пользу... Тем более, что, по слухам, доносы эти поддерживаются жандармским генералом, а с ним Н. М. Баранов тоже не в ладах.

Обмениваясь утешительными мыслями о том, как иногда спасительны для партикулярного русского человека распри между начальствующими персонами,— мы едем дальше.

Небольшая деревушка Чеварда — последний поселок по сю сторону леса — имела очень грустный вид в сыроватых сумерках. Лесом мы проехали уже среди густой темноты Днем здесь производятся общественные лесные работы, о которых скажу кое-что после. Небольшой огонек, светившийся на кордоне, где живет заведующий работами лесничий, да неясно видневшиеся по сторонам клади вырубленного леса — одни только

напоминали о том, что здесь днем идут работы, о которых так много говорится и пишется, на которые так много возлагается надежд. Когда, перед отъездом из Лукоянова, я сказал земскому начальнику 6-го участка о цели своей поездки, то С. Н. Бестужев с самым беззаботным, даже веселым видом сообщил мне, что я найду в «Камчатке» картину полного довольства. «О, да там у них был очень порядочный урожай, а теперь еще, вдобавок, идут лесные работы». Об урожае я уже знал, что это совершенно неверно. О работах напрасно старался узнать от господина земского начальника: каковы их размеры, сколько человек может быть занято, каков средний заработок конного и пешего, какое количество хлеба эти работы могут внести в крестьянскую среду; эти вопросы, даже как вопросы только, были моему собеседнику совершенно чужды. Он глядел на меня круглыми от недоумения глазами и широко улыбался, как будто удивляясь, что можно интересоваться такими пустяками. Впрочем, крайняя беззаботность составляла главную черту, которую этот молодой человек вносил в свои служебные отношения, и мы увидим дальше (см. гл. XIII), как он распорядился, в конце концов, «со всеми этими скучными делами и бумагами». Когда они ему основательно надоели, он их связал веревочкой, некоторые просто изорвал, гербовые пошлины употребил на собственные неотложные надобности, затем уехал куда-то, не считая нужным даже уведомить о своем отъезде кого бы то ни было. Съезду земских начальников пришлось наряжать особую комиссию для разыскания пропавшего делопроизводства целого земского участка. Все эти подвиги были самым официальным образом констатированы впоследствии, но, разумеется, уже и тогда общий, так сказать, характер деятельности господина Бестужева, весьма близкий к тому, что прежде принято было называть «преступлением по должности»,— ни для кого не был тайной, и мне нечего прибавлять, что ни сам земский начальник, и вообще никто из лукояновской продовольственной комиссии «за лесом» (то есть во всей огромной Шутиловской волости) *не был ни одного раза*! Там где-то стучали несколько десятков топоров. Значит,— у *него* (мужика) есть работа, значит, нужно *ему* до известных пределов сократить ссуду. Этим опре-

делялись взаимные отношения лукояновской «Камчатки» и лукояновской продовольственной комиссии. Понятно поэтому, что я ехал туда без особенного оптимизма.

Часов около десяти перед нами замелькали, наконец, редкие огоньки Обуховки, и, миновав последний спящий ветряк этого большого удельного села, мы выехали по узкой дорожке в поле. Темная полоса лесов осталась за нами. Впереди легкая метель крутила и несла снежную изморозь по обширной равнине залесного края, с его неведомой еще для меня нуждою, и сквозь мглу, на небольшом отлогом возвышении, мигали огоньки Обуховского земского хутора, ближайшей цели нашего путешествия.

«Обуховский земский хутор» — учреждение очень интересное, одно из тех, необходимость и польза которых должны бы, кажется, стоять вне всякого спора. На земле, пожертвованной генерал-майором Григорьевым, в Лукояновском уезде основан сначала «земский хутор», а затем в хуторе в 1886 году учреждена низшая сельскохозяйственная школа. Генерал-майор Григорьев, очевидно, признавал пользу сельскохозяйственного образования в земледельческой стране. Признавало ее и земство, признавало правительство. Григорьев пожертвовал землю, правда, в местности не особенно плодородной. Однако мне кажется, что здесь-то, в этой лесной стране, лишающейся лесов и по необходимости переходящей к земледелию, существование земского образцового хутора и школы могло бы быть особенно полезно. Земство ассигновало на школу определенную сумму — пять тысяч рублей (из доходов хутора и из земского сбора), министерство государственных имуществ прибавило к этому три тысячи рублей (ежегодно) из кредитов департамента земледелия и сельской промышленности. Казалось бы, польза и необходимость учреждения признаны окончательно и бесповоротно, и ему остается только развиваться. Однако... в том-то и дело, что в нынешнем периоде нашей жизни у нас нет уже, кажется, ничего признанного, установившегося, незыблемого, подлежащего только развитию, но никак не упразднению. Недавний «период реформ» ославлен, как период сплошного и бесшабашного отрицания. И однако, не странно ли, что

именно в это время насаждено и создано вновь очень много совершенно новых учреждений, проникло в жизнь много новых начал. Этот якобы «отрицательный» период миновал, и что же? Нет уже прописной истины, которая не подверглась бы сомнению, и даже исконная мораль, гласящая, что «ученье свет, а неученье тьма», ныне весьма оспаривается самобытными философами даже на страницах печатных органов. Года два назад, в горбатовском земском собрании (нашей губернии) гласный и земский начальник г. Обтяжнов выступил против... начального народного образования в земских школах, доказывая, что земская грамотность породила только негодяев, пьяниц и преступников. По странному стечению обстоятельств, г. Обтяжнов в «период отрицания» сам очень ревностно насаждал именно эти школы, в качестве председателя земской управы и школьного попечителя. Но вот «период отрицания» прошел, миновала и мода, увлекавшая иных людей в этом периоде, наступила мода другая,— тот же г. Обтяжнов в наше время *отрицает* то, что *насаждал* в разгаре периода *отрицания*... Это ли не странное, не поучительное противоречие!

Господин Обтяжнов прославился этой своей вылазкой до такой степени, что об нем говорили и газеты, и толстые журналы. Но уже этот шум указывает, что г. Обтяжнов «попал в точку», что он не одинок в России (как, впрочем, оказался тогда одинок в земском собрании), что в самом деле мы готовы были уже усомниться в самой «пользе просвещения» [1].

Мудрено ли поэтому, что усомнились в пользе земледельческой школы. В том-то и дело, что вместо творческой работы над укреплением того, что необходимо укрепить и развивать, мы то и дело вынуждены возвращаться к основному вопросу.

— А, что, господа,— скажет кто-нибудь из земцев лукояновского типа, потягиваясь и зевая,— уж не закрыть ли нам эту штуку вовсе?..— И, смотришь, непременно найдутся приверженцы «закрытия» и «штука»,

---

[1] Интересно, что через несколько лет в настроении этого чуткого человека произошла новая перемена: в земском собрании (1896 года) г. Обтяжнов утверждал опять, что «школа, школа и школа»,— вот в чем решение всяких кризисов.

подлежащая развитию или преобразованию, заболевает смертельной болезнью неустанного страха за свое существование... Какое же тут возможно «совершенствование и процветание»?

Обуховский земский хутор еще в прошлом году пережил именно этот смертельный период. Кому-то что-то не понравилось в учреждении, которое и существует-то без году неделю. Казалось бы, речь может идти о необходимых улучшениях. Но речь шла именно о закрытии, о котором очень серьезно рассуждала целая комиссия. Нашлись на этот раз люди, которым удалось отстоять школу. Характерны, однако, основные мотивы, руководившие комиссией в ее решении. Она нашла, что закрытие школы было бы еще... *преждевременно!*

Преждевременно! Не правда ли, что такое решение можно принять разве только зевая, собираясь «на сон грядущий» и именно от скуки. Предполагается, значит, что скоро станет «благовременно» закрывать, а не увеличивать число земледельческих училищ и образцовых хозяйств в земледельческой стране. Подумать только, какую громадную пользу могло бы принести существование «земского хутора» хотя бы теперь, в голодный год,— сколько лошадей оно могло бы прокормить, какую оказать помощь населению, какими неизгладимыми чертами запечатлеться в памяти окрестного крестьянства, сколько разрушить застарелой косности и предрассудков!..

А между тем, случай этот пропущен, и на вопрос, что сделал земский хутор в неурожайном году для окрестного населения,— придется ответить: ничего! То есть ничего, как учреждение, между тем, в качестве частных лиц, по своему почину его обитатели сделали (как увидим ниже) немало. Отчего же это? Ответ ясен: для полезной, живой, энергической работы нужна свобода инициативы, которая дается только уверенностью в своем существовании. На все упреки хутор справедливо ответит вам, что он недавно только оправился от смертельной болезни... Пойдет ли на ум организационная, творческая работа тому, о ком еще вчера рассуждали, не своевременно ли ему уже умереть, и о ком тот же разговор может вновь возобновиться завтра и даже,

быть может, именно по поводу его работы среди голодающего населения...

А земство? Я отлично помню, к каким упрекам земству может подать повод все, написанное выше «Обличительный» период тоже миновал, будто бы вместе с периодом «отрицательным». И, однако, мы все-таки остались ужасными обличителями, с тою только разницей, что нынешние наши обличения направляются, как сила пороха, в сторону наименьшего сопротивления. Со стороны земства сопротивления не встречается никакого, и вот почему, основываясь на подавляющей массе газетных сообщений, можно «на глазомер» придти к заключению, что все зло нашей жизни есть зло «либеральное» вообще и земское в частности. Однако достаточно простого сопоставления нынешнего, например, положения в губерниях земских с неземскими губерниями (например, Оренбургской), чтобы увидеть, что причины надо искать не тут... Это — во-первых, а во-вторых: разве земство не может ответить вам то же, что и Обуховский хутор? Я стараюсь говорить здесь только о своей губернии, только о том, что мы здесь все видим ясно. А видели мы, как с первых же дней «продовольственного кризиса» и еще долго спустя речь шла не о том, *как* делать дело, а *кто* его будет делать: упраздняемое земство или усиливаемая администрация. Отчего бы это ни происходило, но это факт. А пока все это решалось, шло колебание, борьба и неуверенность, при которых трудно и говорить о какой бы то ни было смелой, решительной, организующей и творческой работе. Хорошо еще, что при таких условиях и простейшие задачи выполнены центральным земским органом с честью.

Однако, все это отступление — новая дань вопросам «высшей», на этот раз, губернской политики. Теперь уже окончательно мы с вами, читатель, в центре дальней, залесной и сильно нуждающейся местности.

Ясное утро 16 марта глядит в окна. Кругом глубокие снега занесли открыто лежащий на равнине хутор. Передо мной — высокие крыши хуторских построек, направо — школа, где уже идут уроки.

Когда я глядел в окно, мимо с кошелем и длинной палкой прошел нищий; я выхожу в сени и натыкаюсь на двух жалких старух с болезненной девочкой. Видно, что на хуторе «подают», и нищие тянутся сюда по сугробным тропам. Виденный мною прохожий тоже входит в сени. Замечательно типичная и даже красивая в своей типичности фигура настоящего лесного жителя. Прямые, правильные черты, простодушное выражение светло-голубых навыкате глаз, очень длинные прямые волосы, подстриженные на лбу так, что они образуют для лица как бы рамку. Такими рисуют на картинах наших предков-славян, и такими видел я лесных жителей Горбатовского уезда, целую толпу крестьян Шереметевской вотчины. Тип этот, очевидно, сохранился и держится еще среди дебрей бывшего эпического леса.

Такой же лесной человек стоит передо мною и глядит простодушными синими глазами.

— Что тебе? — спрашиваю я.

— Дровец порубить, што ли бы... Парнишка вот тут сбирает, подали ему, а я бы... дровец...

— Как тебя зовут?

— Меня-то-о? (он певуче тянет последние слоги).

— Да, тебя.

— Павлом, меня-то...

— Откуда?

— Я-то?

— Да, ты.

— Микольской.

— А пособие получаешь?

— Способие-то?..

Голубые глаза глядят на меня с недоумением и скорбью. Скорбь эта — не то о пособии, не то от тяжести непривычного разговора, а может быть — и от голодного истощения ..

— Ссуду-те... Вишь ты, не получае-ем мы.

— Отчего?

— Вишь ты... Дьячков сын, того...

— Что?

— Вишь ты, списал с нас ссуду-те дьячков сын будто...

— Как это списал?

Он делает усилие, оживляется и произносит целую речь:

— Та-ак. Отец-то его, дьячок, то есть, бает моему отцю-те: дай жалование. А мой-те евоному-те отцю: откуль возьму? — «А не откуль, мол, взять, так и нет тебе способия». Видишь ты, сын-от дьячков и списал с нас...

— Как же он мог списать?

— Он-ту? Да вить он у нас писарь!..

Я понял! Вот он, лесной народ, и вот что значит порой писарь для лесного народа, и вот как можно верить порой писарю, держащему в руках лесную братию. Пока я смотрел с любопытством и жалостью на этого лесного красавца, в котором человек дремлет еще сном прошедших веков, убаюканный тишью лесных дебрей,— в его лице неторопливо совершалась новая перемена: оно как будто просветлело, что-то пробилось наружу в голубых глазах, и, повернувшись ко мне, он сказал с признаком радостного изумления:

— А ныне, слышь, опять вешали...

— Что вешали-то?

— Да что! Чудак! Хлеб вешали опять... И слышь, чиновник опять разыскал в книгах-те...

— Кого?

— Да нас-ту разыскал, велел и нам выдать.

— Ты как же про это узнал?

— Да вишь, парнишку встретил, парнишка баит... Не знаю — правда, не знаю — неправда. Домой плетусь.

Глаза опять угасли, красивое лицо застыло в грусти, и он сказал прежним тоном:

— Отощал... дровец бы порубить.

Ему дали хлеба на дорогу, и красивая архаическая фигура исчезла вскоре на снежной дороге, провожаемая моим сочувственным взглядом... Что найдет он дома? Рассеянную иллюзию «пособия» или в самом деле его семью «разыскали в книгах», и злые ковы всемогущего дьячкова сына нарушены. Мне казалось сначала, что вернее первое; я знал, что ни один еще начальник не приезжал с такими целями в лукояновскую «Камчатку». К счастью, оказалось, по словам моих хозяев, что Никольское — в Пензенской губернии. А там, кажется, кормят...

XII

В «КАМЧАТКЕ».— МАДАЕВСКИЙ СТАРШИНА.— «ИССЛЕДОВАНИЕ» ШУТИЛОВСКОЙ ВОЛОСТИ.— ИСТОЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.— ОПАСНОСТЬ ВООБРАЖАЕМАЯ И ИСТИННАЯ ОПАСНОСТЬ

Шестнадцатого марта мы втроем, то есть я, Н. М. Сибирцев и А. Ф. Чеботарев, управляющий земским хутором, отправились составлять список в с. Шутилово, столицу лукояновской «Камчатки». Здесь, в волостном правлении, нас встретил писарь, субъект отекший и заспанный, в узком летнем пиджаке, который он то и дело пытался застегнуть, из приличия, на верхнюю пуговицу. Я с любопытством смотрел на этого верховного администратора «Камчатки», зная из недавнего разговора с «лесным человеком» и из многих других примеров, какое огромное значение должен иметь этот заспанный субъект для целой местности.

Необычное в «Камчатке» появление незнакомых господ «по продовольственной части», по-видимому, его несколько встревожило. Он принес списки, пытаясь что-то объяснить, причем, для большей вразумительности, наклонялся ко мне и дышал мне в лицо. С какой-то тревожной бесцеремонностью он заглядывал в мою книжку, где я делал нужные мне предварительные отметки, пока в избу постепенно собирались старики. Однако это ему скоро надоело, и он удалился к себе. Через некоторое время он вышел опять, спросил у меня «бумагу» и, прочитав ее, опять удалился, чтобы появиться перед моим отъездом. Кажется, он спал и, быть может, видел неприятные сны; по крайней мере он мне показался еще более заспанным и застегивал свой пиджак с видом не особенно приветливым.

В общем фигура эта внушила мне некоторое разочарование. Нет, не таким ожидал я встретить одного из неограниченных почти вершителей продовольственного дела в бедной «Камчатке». И, действительно, тут же пришлось мне узнать, что, по-видимому, местное волостное начальство не пользуется особенным доверием господина Бестужева. По крайней мере «поверка списков» производилась здесь,— это очень оригинально,— старшиной Мадаевской волости. Итак, вот во что обратилось здесь

пресловутое «знание своей местности». Исследования *мадаевского* старшины относительно *Шутиловской* волости противопоставлялись, как данные, смете губернской управы, основанной на точных и обстоятельных исследованиях статистики,— а система, целиком покоившаяся на компетенции мадаевского старшины, выдавалась за систему «земского начальника 6-го участка». Как и всюду, впрочем, здесь было, несомненно, известное взаимодействие: там, у себя, в кабинете, господин земский начальник «проходил» еще раз списки, составленные на месте, и исправлял их, посильно подгоняя итоги под заданную уездной комиссией цифру...

В докладе благотворительному комитету, в свое время напечатанном в газетах, я дал общую характеристику этой системы. Между прочим, я указал там на странное и трудно объяснимое обстоятельство: в феврале размеры ссуды по всей волости подверглись вдруг внезапному и сильному сокращению. Нужно сказать здесь, что при определении размеров ссуды население разделялось вообще на три разряда: первый разряд, беднейших, получал в январе по тридцати фунтов, второй по пятнадцати, третий не получал вовсе. Но вот, в феврале, первому разряду назначается вдруг только двадцать фунтов, второму десять. При этом мужики заявляют, что фактически они получили по пяти и по десяти — одиннадцати фунтов.

Это последнее обстоятельство сначала казалось мне маловероятным; что же касается до общего сокращения, то оно было несомненно, так как значилось в списках. На месте мне объяснили, что это случилось именно после объезда мадаевского старшины: у некоторых из обысканных крестьян найден хлеб. Однако у меня в руках были списки, в которых сам знаменитый старшина сделал отметки о найденном хлебе и имуществе. Списки эти, даже с этими отметками, производили угнетающее впечатление крайней бедности. А все-таки... у незначительного количества крестьян найдено кое-что, прежде скрытое... Итак, он, коллективный и единоличный мужик, скрывает и обманывает. На этом, будто бы, основании *ему* вообще, *ему* — коллективному и единоличному — последовала общая сбавка...

Другое объяснение, данное мне в городе, было про-

ще и еще менее утешительно. Господин земский начальник 6-го участка — человек очень молодой. Когда у продовольственной комиссии началась война с губернией, господин земский начальник увлекся борьбой и сразу сократил размеры ссуды почти вдвое. Таким образом, если верить этому объяснению,— уезд воюет с губернией, а ни в чем не повинная, ни к чему не причастная «Камчатка» платит военную реквизицию!

Наконец, третья категория сведущих людей, к которой я обращался за объяснениями, только пожимала плечами:

— Этого не знает никто, даже, пожалуй, сам земский начальник. Спросите... у мадаевского старшины.

Но мне не пришлось встретиться с этим старшиной. Забегая вперед, скажу только, что это субъект очень интересный, своего рода сила, один из этих деревенских типов, защита против которых местного населения выставлялась, между прочим, задачей института земских начальников. В данном случае выходило наоборот: г. Бестужев всячески защищал *своего* старшину. Когда я проезжал через Мадаевскую волость,— этот старшина находился в довольно неприятном положении: один из крестьян его волости был приговорен волостным судом к аресту. Старшина распорядился запереть его, *не ожидая истечения законного апелляционного срока*. Говорят, он запер его собственноручно, и ключ от кутузки увез с собою. Мне рассказывали в нескольких местах, что заключенный стучал в двери, просился, кричал, что он умирает... Официально установлено, что, когда дверь была отперта, незаконно заключенный крестьянин оказался мертвым от угара...

Смерть по недоразумению!.. Официальное дознание установило, что срок апелляции не истек, когда приговоренный был посажен. В книге приговоров написано: «приговором недоволен», затем частица «не» кем-то зачеркнута, и эта поправка не оговорена в тексте. Сказать проще: в книге кем-то совершен нужный старшине подлог. Впрочем, как известно, закон требует истечения законного срока, независимо от первоначального заявления подсудимого (и только в последнее время для некоторых случаев допущено изъятие, все-таки с *непременного согласия* приговоренного)...

Старшину постановили предать суду... Этот-то именно субъект по разным причинам пользовался столь исключительным доверием земского начальника Бестужева, что ему была предоставлена проверка списков не только в своей, но и в чужих волостях.

В другом месте я постараюсь указать изменчивые оттенки крестьянских сходов, которые мне пришлось видеть. Здесь скажу только, что система «мадаевского старшины»,— отмеченная тою, поистине, железною жестокостью, какую порой может проявить отпрыск деревни к своей собственной среде,— вызывает в толпе явное и глухое недовольство. Удивительно, как, при известных приемах, могут стать ненавистны народу самые симпатичные начинания. Прочитайте в брошюре Л. Н. Толстого страницы, где он говорит о «помощи в виде работы». Что можно возразить против этих высоко убедительных строк? И однако, здесь я замечал глухой ропот и гневные взгляды всякий раз, когда заходил разговор об общественных работах в казенном лесу. Почему? — это я подробнее понял впоследствии, но уже во время схода в Шутилове кое-что выступило ясно. Первое — всякий нанявшийся тотчас же лишает ссуды одного или двух членов своей семьи, второе — работам сразу придавался характер до известной степени принудительный. Вот почему толпа глухо роптала каждый раз, когда при упоминании того или другого имени слышался отзыв:

— Нездоров... Убился на казенной работе...

Далее выступает опять знакомый разряд недовольных: это мельники. За них всюду и единогласно заступаются остальные миряне. Я уже говорил, что это за заведения — эти сельские и деревенские мельницы. У каждой от четырех до восьми крыльев, и на каждое крыло приходится порой по человеку, иногда и по два владельца. И вот, в неурожайный год — крылья стали недвижно или машут изредка, лениво... На краю села, у самого въезда в Шутилово, стоит одно из этих злополучных сооружений... Крылья изломаны, бок запал, крыша провалилась. Владели ею четверо заводчиков, «по крылу на человека», и в числе этих несчастливцев был Николай Игнашин, человек с огромной семьей. Что уже и раньше эти «заводчики» были не в блестящем положении, видно хотя бы из того факта, что и в урожайные годы они

не могли собраться с силой и исправить свое «заведение». Однако и эта никуда негодная махина, портящая ландшафт своим изуродованным силуэтом, лишила Николая Игнашина всякого права на помощь... Легко представить себе, что происходило в этой несчастной семье из восьми человек в эти долгие зимние месяцы.

Я говорил уже много раз, что не стану гоняться за раздирательными сценами и эффектами голода. Для человека с душой, для общества, не окончательно отупевшего, достаточно и того, что сотни детей плачут, болеют и умирают, хотя бы и не прямо в голодных судорогах, что тысячи человек бледнеют, худеют, теряют силы, наконец, разоряются из-за голода... Однако из песни слова не выкинешь, и я не могу пройти полным молчанием мрачную картину, которую представляла эта несчастная «Камчатка» под железным давлением бездушной системы: пять или десять фунтов на целый февраль, и то не всем нуждающимся семьям, и то не на всех членов семьи!.. Мудрено ли, что в населении отложился целый пласт истощенных, обессилевших, апатичных людей... Уже в Салдамановском-Майдане священник говорил мне, что нанятого для рубки дров рабочего приходилось предварительно кормить, так как он не мог поднять топора!.. Это подтвердил мне впоследствии и г. Гелинг, управляющий большим имением в том же крае, это говорили многие в Шутиловской волости. Это было уже явление массовое, сплошное, а не единичное. Но если так...

Если так, то *неизбежно* из этого пласта должны были отлагаться случаи еще более печального свойства... И они были. Так, в Савослейке Леонтий Юдин, получивший пять фунтов ржи и пять фунтов кукурузы на месяц, так ослаб, что А. И. Русиновой, случайно узнавшей об этом, приходилось его откармливать постепенно. Он остался жив... Но там же Перфилов, он же Моисеев, голодавший несколько дней, получив ссуду, умер от первого же куска хлеба. Это побудило добрых людей открыть в «Камчатке» столовые, не ожидая ниоткуда содействия...

Вон из моего окна на хуторе, где я заношу свои впечатления, видны синие леса, снег, дорога. По дороге мальчишка лет двенадцати тащит за собой лошадь. Сам он ступает неверно, шатается, лошадь еле идет, останавли-

вается, ноги у нее дрожат. Это он ведет ее на прокорм на земский хутор...

Я выхожу в сени и узнаю печальную и, к сожалению, слишком обыкновенную историю: «выбились, кормить нечем, издыхает последняя животина». Отец, больной и голодный, потащился в лес собирать сучья.

— Как еще и дотащится-то,— говорит мальчишка и отворачивается. На губах у мальчика какие-то струпья, как будто от худосочия, вроде запекшейся крови, лицо бледно, глаза, молодые и красивые, глядят грустно и как-то тускло, губы подергиваются нервною дрожью. Он прячет лицо, как будто стыдится своей слабости или боится заплакать под взглядами невольного сочувствия...

— Изнервничался народ необычайно,— говорили мне местные жители: но это — нервность терпеливого, почти безнадежного страдания. «Обуховский земский хутор» лежит среди снежной равнины. Узкая, то и дело проваливающаяся под ногами дорожка, по которой ездят только «гусем», тянется к хутору по сугробам и, перерезавши двор, теряется в таких же сугробах, меж тощим кустарником, по направлению к лесу, синеющему на горизонте. По этим дорожкам, то и дело видите вы,— чернеют одиноко и парами, порой вереницами фигуры людей, бредущих с сумами и котомками, спотыкающихся, проваливающихся и усталых. У всякого за спиной, кроме собственной усталости и собственного голода, есть еще грызущая тоска о близких, о детях, которые где-то там маются и плачут, и «перебьются ли», пока он здесь ходит, непривычный нищий, от села к селу, от экономии к экономии — он не знает. А ведь *они* тоже любят своих жен и детей...

И одни за другими они проходят, спрашивают «насчет работы» или «Христа-ради на дорогу» и идут дальше, теряясь в снежной равнине, а на смену приходят другие... И ничего в экономии не пропало ни разу, и никто не думает о том, что вот тут хутор, обильный, снабженный хлебом, сытый,— лежит беззащитно и беззаботно среди равнин и лесов, где на просторе раскинулось пожаром жгучее горе и отчаяние голодного народа. Удивительно, как эти господа, так много кричащие ныне о пороках нашей деревни,— не замечают, что все они покрываются с избытком одной этой удобной для них доброде-

телью,— этим удивительным запасом неистощимого терпения и кротости... А господа уездные политиканы и вояки, как мы уже видели, пускают ее в игру, в виде «спокойствия уезда», угрожаемого со стороны излишней сытости, баловства и каких-то грозных пришельцев... Между тем, земледельческое население голодающих уездов проявляло удивительное долготерпение. Широкая все-таки, хотя, быть может, и не всюду достаточная помощь — принята, когда ее дали, с благодарным удивлением... «Продышим теперь»,— не раз приходилось слышать эти слова! Только бы *продышать*, только бы пробиться, только бы прокормить детей и скотину до того времени, как сойдут снега, как зазеленеют поля, как господь опять проявит свою милость. «Только бы как-нибудь» — и пахарь все вынесет и никого не обвинит в своей невзгоде, все забудет,— и над свежими могилами потянется опять вечная непрерывная волна никогда не умирающей жизни...

«Только бы как-нибудь!» Вот в том-то и дело: «только бы!» Опасность все-таки есть, но она не там, где ее видят тупые уездные политиканы. Она не привозится заезжими людьми в чемоданах, ее надо было искать тут, на месте... Опасность, во-первых, в народном невежестве, которое по объему равно народному долготерпению. Опасность, во-вторых, в огромной бреши, которую последние годы сделали в народном хозяйстве. «Крестьянство рушится»,— эта фраза слышится теперь слишком часто... Рушится крестьянство, как рушится дорога, подтопленная снизу весенней ростепелью. Опасность в этих четвертях мельниц, в этих тысячах мельничных крыльев, быстро переходящих в кулацкие руки из-за нескольких мер хлеба, не выданного своевременно; в этих тысячах голов рабочего скота, бессильно падающих от бескормицы или тоже переходящих к кулакам за бесценок.

В прошлом еще году нижегородское земско-статистическое бюро закончило собирание материала по губернии. Ныне эти цифры останутся поучительным памятником недавнего прошлого. «Коров столько-то, лошадей столько-то, безлошадных столько-то». Уже в течение последних лет в этих рубриках происходили изменения далеко не утешительного свойства, но это были изменения постепенные. Год за годом оставлял свою рытвину, точно

след реки на отлогом берегу. Два последние года произвели уже настоящий обрыв, точно после наводнения... Река народной жизни опять войдет в русло, но течение уже будет не то. На нем, как новые мели, могут отложиться новые пласты «бывшего крестьянства», вновь возникшего сельского пролетариата.

Вот это — истинная опасность! Конечно, она — результат не одного этого года, но все же она значительна и требует могучих усилий всего общественного организма, потому что она огромна, широка, повсеместна и стихийна, потому что она отражается в молекулярных процессах, из которых именно и слагаются массовые явления...

Не смешно ли, при таких условиях, как нынешние, видеть людей, которые гоняются за отдельными случаями обмана или пьянства, которые, усчитывая копейки или рюмки выпитой в кабаке водки, пропускают мимо глаз и ушей грозные симптомы «рушащегося крестьянства». Они обращают тревожные взоры на «приезжих», роются в печках, усчитывают три с половиною меры лебеды, точно расчисляют, на сколько дней ее хватит крестьянской семье. Между тем, может быть, лучше было бы передать вдвое, чтобы избежать неисчислимых последствий невзгоды для народного хозяйства, чтобы поддержать работника и плательщика русской земли, вместо нищего, которому опять придется давать подачки. Здоровая почва опять и опять напитала бы верхние слои...

Вчера мы составили списки для четырех столовых (в двух обществах села Шутилова и в сельце Бутском), сегодня с утра опять отправляемся на ту же работу: разливать эти капли помощи в море нужды. Воздух, отяжелевший, напитанный весенними парами, навис над землею серой пеленой, всасывающей влагу снегов, как губка... Нынешней ночью не было мороза, дорога сразу осела и размякла. Уже вчера жалко было смотреть на лошадей, с раздутыми ноздрями и выражением ужаса в глазах бившихся в зажорах. Сегодня, конечно, будет еще труднее... Пожалуй, мы не успеем за распутицей распределить и того, чем можем располагать. Надо торопиться. А тут какая-то тяжесть в голове и в сердце. Весна, весна! Долго

буду я помнить эту весну... Глубокие снега, занесенные деревушки. Тесные избы, с душно-сомкнувшейся толпой мужиков, необходимость подымать руку, чтобы вычеркнуть имя не слишком еще оголодавшего ребенка, потому что их много...

— Может, еще пробьешься... Возьмем у тебя одного.

— Чем пробьюсь? — спрашивает мужик и глядит на меня в упор мрачными страдающими глазами.

— Да ведь все-таки... пособие.

— Пятнадцать-то фунтов! По неделе ребятишки хлеба не видят... Мякиной подавились...

А все-таки одного надо вычеркнуть, потому что их много. И я чувствую, что голова тяжелеет и нервы притупляются, и видишь, что вместе с делом помощи делаешь жестокое дело, потому что эта черта, проведенная по имени ребенка, заставляет его голодать и плакать... А нельзя, потому что их слишком много...

Да, не дай бог другого такого года!..

XIII

ЗАРАЖЕННАЯ ДЕРЕВНЯ.— ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ.— «КАКИЕ МЫ ЖИТЕЛИ».—«ВОПРОС»

Семнадцатого марта, часов около двух, мы подъезжаем к Петровке, бедной и невзрачной деревушке, приютившейся под самым лесом, который как-то угрюмо оттеняет ее убогость Хуторской кучер остановил лошадей около старосты. Лысый мужик выходит к нам с непокрытой головой и не решается надеть шапку, несмотря на наше приглашение.

— Насчет чего? — спрашивает он с признаками некоторого беспокойства. Управляющего земским хутором А. Ф. Чеботарева он знает, но двое незнакомых господ внушают ему некоторое опасение. Как и вся деревушка, как будто оробевшая вблизи казенного леса («рукой подать, а поди-ка тронь хоть оглоблю!»), и староста, и несколько подошедших мужиков, подростков и мальчишек, видимо, жмутся и робеют. Угнетенный вид, землистые лица и лохмотья...

Узнав, что мы «насчет продовольствия» и «по части столовых»,— деревня, в лице ее невзрачных представителей, ободрилась и как бы просветлела.

— То-то вот,— произносит староста, опять сволакивая с лысой головы жалкое подобие шапки...— Забыли нас или уж как... Бьемся, бьемся, другим людям дают, а нам нет ничего.

— Как,— разве вы не получаете пособия?..

— Выдали: кому пять фунтов, кому семь; нешто с этим жив будешь... Другим вот...

Робкая подлесная деревушка не может, по-видимому, представить себе, что и другие, кажущиеся ей счастливцами, получают тоже по пяти и семи фунтов. Петровцам кажется, что это только их забыли здесь, в медвежьем углу, под лесом.

Между тем, наш приезд обратил уже внимание, и деревня зашевелилась, как муравейник. Какой-то мужик, коренастый, с угрюмым лицом, подошел к нам походкою медведя и вопросительно уставился на старосту.

— Да еще вот,— заговорил тот, как бы поняв значение этого тяжелого взгляда,— женщина у нас больная.. Рот у нее вовсе теперича открылся, нос проваленой. Просто сказать, никуда не годится, беда! Что хошь с ней делай...

— Дух,— мрачно пояснил новопришедший и опять уставился на старосту, как бы подсказывая ему продолжение речи.

— Действительно, ваше благородие, дух от ней пошел, терпежу нет. Лежит на печке, в избу не войдешь.

— И не ходит никуды,— опять подгоняет мужик своего официального заступника и оратора.

— Так точно. Правда это: не может и ходить никуды. Прежде все-таки на-русь-те (наружу) ходила, ноне никуды не ходит.

— А дети малые...— опять подсказывает муж больной женщины, очевидно, крайне заинтересованный, чтобы красноречие старосты произвело на нас должное впечатление.

А двери то и дело отворяются, и из-под кучек снега, нахлобучившего белыми шапками невзрачные избенки, сползаются к нам петровские обыватели, закоптелые,

оборванные, робкие... Деревня несет к нам свои горести и невзгоды...

— Много ли у вас таких больных?

— Есть, прямо сказать, *несколько*,— говорит староста (*несколько* в этих местах означает много).

— Вот Захарка еще гнусит.

— Ну, это у него сроду так...

— Да уж это, брат, сроду... знаем мы!

— И то! Она ведь, боль-те, лукавая. Заберется в нутренность, а там, гляди, и нос за собой втянет.

— Гляди, и у Захарки носу-то все меньше становится...

На несколько мгновений водворяется унылое молчание...

— Что такое, не знаем мы,— говорит староста...— Взялась у нас эта боль и взялась, вишь ты, боль... Эх, беда!

— Терпежу нет... от бабы-те...— заводит опять мрачный мужик, видя, что разговор принял слишком общее направление.

— Погоди... Вишь, насчет столовой приехали. Подь, стариков скликни.

Мрачный мужик пошел той же медвежьей походкой вдоль порядка, постукивая подожком в оконницы...

— Стариков на сборну, эй старики!..— слышали мы все удалявшийся по улице унылый и сиплый голос.

Через несколько минут я сидел во въезжей избе, курной, закопченной и низкой, и раскладывался со своей походной канцелярией.

Как всегда, после краткого объяснения цели моей поездки, начинаются общие жалобы. Ссуды получают мало, и, как всюду, деревня приписывает это влиянию своих ближайших деревенских и сельских властей. Вообще положение этих властей — меж двух огней, перед лицом высшей уездной политики, с одной стороны, и ропота своих односельцев, с другой — поистине плачевно. Об этом воинствующая комиссия не заботилась нисколько. Требуя от губернии, чтобы в угоду ей была изменена вся продовольственная система, в смысле сокращения и урезок,— она в то же время всю ответственность перед народом возлагала на самых низших представителей власти. Земский начальник Бестужев не переступал ни разу за лес-

ную черту, отделявшую от остального мира «Камчатку», где глухой ропот и негодование росли вместе с бедствием.

И глухая злоба населения естественно обращалась на ближайших к нему, часто совершенно невольных представителей сократительной политики. Рядом со мной на скамейке сидит деревенский писарь. Это еще молодой мужик, одетый так же бедно, как и остальные. Цвет лица у него землистый, глаза тусклые, слегка слезятся, выражение угнетенное и грустное. Он дает мне объяснения толково и просто; однако, когда он отворачивается или ищет нужную бумагу,— мужики, стоящие ближе, начинают жестикулировать и подмигивать, указывая мне на него и давая понять, что в нем причина их несчастия. Через полчаса это высказывается уже прямо. И, конечно, деревне очень трудно разобраться во всей этой путанице, которую наделали все внезапные непонятные сокращения, вычеты, ссуды в размерах пяти фунтов, да еще с какими-то дробями!.. Понятно поэтому, что единственный грамотей, держащий в своих руках «бумагу» и тоже не могущий ничего объяснить,— является в глазах деревни несомненным виновником беды... «В других-те местах так, а у нас эдак... Начальники (то есть вот этот же писарек с волостными властями) продали... Кровью нашей сыты и пьяны...» — вот что приходилось выслушивать писарю от расходившегося мира.

Писарь пытается возражать, но возражения только подливают масла в огонь. Видя, что и я ничего не понимаю в его объяснениях насчет этих пяти и семи фунтов с четвертями и осьмушками, тогда как в списках, а значит, и в отчетах земского начальника значатся выдачи по двадцати фунтов,— он, наконец, решается на что-то, как человек, которому надоело страдать безвинно и невесть по какой причине. Он встал, порылся в своих бумагах и достал оттуда какой-то засаленный обрывок серой истрепанной бумаги.

— Прочитайте вот это,— сказал он мне, пожимая плечами.

Я читаю, и хаос проясняется. Текст этого камчатского документа, лежавшего передо мною в виде неправильно оборванного клочка бумаги, так интересен, что я не могу отказать себе в удовольствии привести его здесь целиком и с соблюдением правописания подлинника (он

был уже напечатан в журналах заседаний губернской продовольственной комиссии)[1].

На клочке было изображено следующее:

«Сельскому старосте *деревни Петровки* приказ. Так как за провоз ржи в осени минувшего года извозчикам платилось по зделании общества (sic) ссудным хлебом во вверенном тебе обществе оказывается растрата ржи, то чтобы пополнить растрату Волостное правление по личному приказанию г-на земского начальника предписывается тебе из выдачи ржи на продовольствие за февраль месяц вычитать с каждого причитающегося к выдаче пуда по *16½ ф.* или взыскивать деньгами по *66 коп.* Старшина Катаев. Писарь (кажется) Верхотин».

Текст написан одними чернилами, собственные имена и цифры, напечатанные у меня курсивом, вставлены после Таким образом, очевидно, документ имеет все признаки циркуляра... И действительно, я слышал об его существовании уже ранее и впоследствии имел случай убедиться, что он разослан и в другие общества Шутиловской волости, по личному приказанию земского начальника Бестужева.

Когда я читал вполголоса эту бумагу и потом объяснял старикам, что писарь и староста тут ни при чем, все слушали очень внимательно. И действительно, теперь все объяснилось: в феврале первому разряду выдавалось двадцать фунтов, вычет восемь с четвертью,— итак, счастливец первого разряда должен получить одиннадцать с дробью, второму же разряду приходилось по тому же расчету пять и три четверти фунта на месяц!

— Так и есть, точка в точку! — говорили мужики.

— А вы вот все на нас! — с упреком сказал писарь.

— Известно, темные...

Кое-кто выступает еще с заявлениями о каких-то недовесах в волости, но что могут значить эти четверти фунта в сравнении с только что приведенными цифрами... И мир между петровцами и их писарем восстановился окончательно... Они видят, что если тут кто воровал, то не их староста и не их писарь.

Что же, однако, это за документ и что он собой прикрывает? Самое распространенное, но и самое неправдо-

---

[1] См. журнал от 27 марта 1892 г.

подобное объяснение его состоит в том, что земский начальник, стремясь вместе со всею комиссией к экономии во что бы то ни стало, оставил нерозданными еще в прошлом году семена ржи, и часть этих семян обращена затем на продовольствие. За провоз хлеба платилось семенной рожью, оцениваемой по рублю двадцати копеек, а в то время, когда она выдавалась в ссуду,—она уже стоила рубль шестьдесят копеек. Вот эти-то сорок копеек, переданных якобы возчикам, в виде разницы в цене, и были будто бы по какому-то своеобразному процессу мысли сочтены растратой, которую «Камчатка» обязана была возвратить вычетами из ссуды...

Как видите, это до такой степени нелепо, что за объяснение сойти не может. Если у меня осталось в экономии от семян тысяча пудов, из которых двести пятьдесят ушло в уплату за перевозку, то из этого ясно только, что теперь остается семьсот пятьдесят пудов на продовольствие, но не видно, чтобы голодные люди совершили какую-то растрату... И кому же возвращалась эта своеобразная «растрата»?

— Это так точно... Справедливо-с,— отвечали мне все, кому я приводил это соображение на месте, и молва тотчас же подыскивала другие причины. Говорили, например, будто часть хлеба по ошибке была направлена в волость Мадаевскую, где и исчезла. Голодные ли разобрали ее самовольно, поступила ли она в какие-либо другие руки,— во всяком случае с нею произошел «беспорядок». А так как у мадаевского старшины беспорядков не бывает и так как мы видели, что именно он устанавливал «систему» продовольствия не только в своей, но и в Шутиловской волости, то вся эта партия хлеба, попавшая в Мадаево,— наложена, будто бы как растрата, на волость Шутиловскую!.. Как бы то ни было, смысл таинственного и, по всем видимостям, преступного документа так и остался нераскрытым до сих пор, невзирая даже на вопросы, обращенные прямо к господину Бестужеву высшим губернским начальством... О предании его суду не было, кажется, и речи.

Забегая несколько вперед, позволю себе привести некоторые дальнейшие черты из деятельности этого интересного «начальника». «В августе 1893 года,— писали из Лукоянова в газету «Неделя» (№ 49),— земский на-

чальник Бестужев уехал куда-то без отпуска и не сдав должности. Наступил сентябрь: на почте накопился ворох срочной корреспонденции, тяжущиеся бродили по уезду (!), расспрашивая, кому они должны подавать жалобы и прошения. Наконец, 9 сентября получено (частное) письмо от господина Бестужева, гласившее, что он не вернется еще месяц, а дела остались у одного из волостных писарей» (!!).

«Съезд долго не знал, как поступить в таких невиданных обстоятельствах; наконец, составили комиссию «для отыскания дел» господина Бестужева и прежде всего для выяснения, какому именно из волостных писарей уезда г. Бестужев сдал свою должность. Когда искомый писарь был найден, комиссия приступила к разборке груды бумаг, о чем составила протокол. Вот точная выписка из этого любопытного документа: *12 дел не оплачены марками, хотя пошлины своевременно внесены подателями* (!); *из 3 дел исчезли денежные документы*, означенные в прошениях; 6 дел оказались одними оболочками дел, жалобы же и протоколы утеряны, по одному делу найдена одна оболочка, а в ней две повестки. *Совсем не оказалось 73 дел*, означенных в реестре»!..

Вот какой интересный молодой человек распоряжался судьбой злополучной лукояновской «Камчатки», и вот от кого зависела судьба десятков тысяч голодающих семей! Не лишено интереса, что во время «лукояновской полемики» князь Мещерский в «Гражданине» называл господина Бестужева «одним из лучших земских начальников». Но еще любопытнее та снисходительность, с какой посмотрело на все эти проделки интересного молодого человека его начальство. Через некоторое время он спокойно появился опять в уезде и стал заключать у местного нотариуса гражданские сделки (!) по поводу своих должностных злоупотреблений. Он растратил «залоги», вверенные ему, как должностному лицу и судье?.. Что за беда! Как «благородный дворянин С. Н. Бестужев», он готов заменить их своими личными обязательствами... Совершив все это без всяких препятствий и замяв каким-то образом дело о побоях, нанесенных в трактире солдату местной команды [1], он отправился на другую

[1] См. «Русская жизнь», 1893, № 33, ст. «Будничные истории в Лукояновском уезде».

должность в Сибирь, где ему была вверена забота о переселенцах на одном из переселенческих пунктов. Долго ли он там удержался, где опять благодетельствует мужиков, какие еще получал назначения,— мне неизвестно...

Сход в Петровке оставил во мне впечатление покорной угнетенности и безнадежной скорби. Мужики больше молчали. Не было слышно этого шумного говора, тех обильных, порой иронических и метких характеристик, какими в других местах встречалось чуть не каждое имя.

— Ну, ну, старики! Что ж вы молчите?.. Шаронова Андрея поместим, что ли? — то и дело приходилось мне будить угрюмое молчание толпы.

— Как не поместить... Чай, надо поместить... Восьмидесяти лет человек. Куда ему податься...

— Мы, господин, потому мало говорим,— заметил один из стариков,— друг дружки стыдимся. Вы, может, меня запишете, а другой-то еще хуже. Все мы плохи, уж вот как, вот как плохи!

— Нешто мы жители, поглядите на нас.

— Какие мы жители, что уж...

«Житель» — это крестьянин, хозяин, человек самостоятельный, в противоположность бездомнику, бесхозяйному, нищему. Трудно себе представить впечатление этих слов: «какие мы жители», когда целая деревня говорит это о себе. Уничижение, уныние, потупленные глаза, стыд собственного существования... И невольно, как посмотришь, соглашаешься с ними: какие уж это жители!

В других местах хозяин, «житель» не пойдет в столовую, как бы ни нуждался. Лучшие, еще не забывшие недавнее время, когда они были «настоящие жители» — не пошлют даже ребенка. Один раз старик, у которого мы записали внука, вышел на время из избы и, вернувшись, очевидно после разговора с мальчиком, сказал решительно:

— Выпиши назад. Нейдет! Помру, говорит, на печке, а не пойду.

В Петровке я не встречал уже этой стыдливости, здесь не было случаев отказов от посещения столовой. Здесь большинство не стеснялось просить лично за себя, не выжидая, пока выскажутся сторонние. «Троих запишите, четверых у меня».

— Что вы, какие глупые, право,— остановил, наконец, поток этих просьб умный старик, с приятным лицом,

хотя тоже отмеченным общей печатью подавленной скорби...— Ведь это благодать, Христа-ради, а не казна! Одного-двух с хлеба долой, и то слава Христу... А вы бы всей семьей так и затискались... Говорите, кто уж вовсе не терпит.

Стыд, не совсем еще умерший, просыпается в толпе, но зато после этих слов она угнетенно и тупо молчит.

— Плохо в этом доме,— слышится порой,— лебеды переели уже несколько (то есть очень много).

— Теперь и лебеды не стало.

— И этот тоже плох, мужичонко-те. С самой сорной тропы! Давно побирается.

— Да, вот Александр Фролович знает. Давно уже тропу к нему на хутор пробил позадь дворов...

И вдобавок ко всему то и дело выступают вперед подозрительные, землистые лица, слышатся голоса с особенной, то хрипучей, то гортанной или носовой зловещею нотой. И большая часть из таких больных сами не знают еще, что уже носят в себе сильно развитую болезнь.

Писарь, сидящий рядом со мной, то и дело как-то странно откашливается.

— Вы здоровы? — спрашиваю я у него.

— Здоров... вот что-то... перехватило.

Но я вижу ясно, что уже болезнь подвинулась далеко, проступает в слезящихся глазах, в землистом лице.

Несчастный муж сифилитической бабы то и дело выдвигается из толпы и прерывает нашу работу...

— Ваше благородие, как же мне с бабой-те быть?..

— Молчи, видишь, сейчас некогда.

— Терпежу нет. Дети... Изба махонькая...

Через несколько минут его мрачный, глухой и страдающий голос опять нарушает угрюмую тишину этого угнетенного схода:

— Из сил я выбился. Смерти господь не дает ей. Господи, царица небесная!

На улице он опять выдвигает вперед старосту и сам приступает к нам с неотвязным вопросом:

— Как быть?.. Терпежу нету мне, невозможно мне терпеть, ваше благородие, сделайте божескую милость...

Я даю ему денег на больную,— это все, что я могу сделать. Больная неизлечима, болезнь ее в этом периоде

не заразительна, поэтому ее не возьмут в больницу. И вот, целая семья живет в тесной избе с полуумершим и разлагающимся человеком, отравляемая невыносимым «духом». Это, господа, не голод, это не связано ни с засухой, ни с неурожаем. Это для Петровки, для многих Петровок — обычное, заурядное, хроническое явление!

С тяжестью в голове, отуманенные, выбрались мы из тесной избы, с плотной, угрюмой толпой, с ее угнетенным, подавленным и подавляющим настроением, с этими землистыми лицами мужиков, женщин, детей и подростков, едва выделявшихся в парном и темном воздухе курного жилья. На дворе нас встретил уже вечер. Мгла. Лес стоит невдалеке, задернувшись сизым туманом... Там, в двенадцати верстах, в чаще стоит Ташинский завод, наделяющий эти подлесные деревеньки скудным заработком и «дурною болью». А тут уже — с поцелуем матери, с куском поданного Христа-ради хлеба, с надетым на время чужим платочком,— переходит невидимо дурная боль от человека к человеку, из избы в избу и ужасом давит несчастную, темную, беззащитную в своем невежестве деревню.

Мы зашли в ближайшую избу — Кутьина, Степана Егорова. Сам хозяин — явный сифилитик, у которого, по образному выражению одного из его односельцев, лукавая болезнь уже «забралась в нутренность и начинает втягивать нос за собой». Нос у него припух, он гнусит. Его уже все признают больным. В тесной черной курной избе — две бабы, обе худые до невероятности, одна беременная, другая держит на руках ребенка. На грядке — лукошко с кусками хлеба, собранного подаянием. За этим хлебом с утра ходила по дальним деревням девочка лет семи. Сколько ей пришлось выходить, видно из того, что она по пути заходила на завод, что, по прямому пути, составит двадцать четыре версты, считая туда и обратно.

Теперь она спит. Устала. Предыдущую ночь тоже не спала, потому что заболел палец, всю ночь металась и стонала. На заводе доктор перевязал... Пахнет иодоформом... Признак плохой!..

— Отчего заболело? Ушиблась?

— Нет, так... без всего, просто заболел,— отвечает мать, любовно гладя волосы у спящей.— Теперь пришла,

притомилась. «Мама, я лягу».— Лягь, моя милая, лягь! Кормилица наша!.. Видишь, и не разделась, так заснула.

Я наклоняюсь. Одетая, даже в сермяжном кафтане, девочка спит глубоким сном. На лице спокойствие забытья. А в изголовии уже, быть может, стоит роковая судьба, и несчастному ребенку предстоит умирать страшною, незаслуженною смертью... За что?..

Я отказался заходить в другие избы. На дворе совсем стемнело. Маленькие, бесформенные хижины, больше похожие на кучки навоза, под мрачной стеною леса... Кой-где огонек, жалкие оборванные фигуры, с удивлением рассматривающие невиданных великолепных господ. И в самом деле, какими великолепными должны мы казаться этим «нежителям», с нашими здоровыми лицами, дохами, шубами, с этими сытыми лошадьми, нетерпеливо бьющими копытами землю... И притом еще — какие благодетели!

Да, благодетели! Как жалки показались мне в эту минуту эти наши благодеяния, случайные, разрозненные, между тем, как огромная мужицкая Русь требует постоянной и ровной, дружной и напряженной работы, вверху и внизу... Был у нас не так давно в числе других вопросов и «вопрос сифилитический». Писалось, говорилось много, может быть, даже и делалось кое-что. Почему это брошено? Почему не дописали, не договорили, не доделали, почему целые деревни, целые поколения неповинных людей оставлены в жертву этой ужасной болезни, самой ужасной из всех, с которыми борется человеческое знание, а мы только смотрим на это, сложивши в бессилии руки! Почему «сифилитических деревень» нет, например, в Англии уже более двух столетий, а у нас они есть, и язва ширится, захватывая все новые и новые жертвы. Впоследствии, в том же Лукояновском уезде, я натыкался не раз на другие деревни, напоминавшие Петровку, и можно сказать определенно, что никто ничего не делает для их спасения. Между тем, назовите мне другую болезнь, которая бы в такой мере настоятельно, повелительно, неизбежно призывала на борьбу с собою. Во всех других случаях — в тифах, лихорадках и горячках — есть надежда, даже и без медицинской помощи, на силу организма. Чахотка уносит отдельные

жертвы, и притом медицина может тут только продлить умирание, что деревня для себя считает непозволительной роскошью. Холера проносится ураганом и исчезает, как грозный смерч, быстро и бесследно. Но сифилис, как библейская проказа, поражает как самые здоровые, так и слабые организмы, и, раз пораженный — организм обрекается на роковую, неизбежную и самую ужасную гибель. И пока она наступит, несчастный сеет кругом семена того же невыразимого бедствия, поражает часто, не ведая и неведающих. И притом редкая болезнь так поддается лечению в настоящее время... Так почему же все сложили оружие в этой неизбежной и, по-видимому, трудной борьбе? Сделайте простейшие выкладки и вы увидите, что спасение одного поколения одной этой деревушки окупит сторицею труд специального врача. А ведь один врач на деревню, на десяток таких деревень — даже излишняя роскошь.

Но есть обстоятельства, усложняющие простую медицинскую задачу: нет другой болезни, которая бы в такой мере служила мерилом культурности общества: мало назначить врача, нужно, чтобы он заслужил доверие, нужно, чтобы население само ему помогало, нужно, чтобы со всех сторон и во всех сферах жизни он встречал содействие и поддержку. У нас сифилис — потому, что мало грамотных, потому, что много суеверия, потому, что на дурную боль народ все еще смотрит, как на какого-то демона («она боль-те лукавая»), и боится ее, как злого духа, не боясь в то же время, как простой заразы. У нас сифилис потому, что мало жизнедеятельности и много апатии в обществе, потому, что мы остановились; и вот глупцы кричат уже о перепроизводстве интеллигенции, когда эти темные деревушки изнывают без света и помощи, как будто в самом деле остановилось вращение здоровых соков в нашем общественном организме...

Все эти мысли бродили у меня в голове, пока мы ехали обратно вдоль угрюмой стены синего, мглистого, точно разбухшего от сырости леса...[1]

---

[1] Во избежание возможного упрека прибавлю, что общей столовой в сифилитической деревне мы не открыли. Е. А. Чеботарева, взявшая на себя заведывание, устроила выдачу каждому приходящему отдельно.

XIV

НЕЛЕЙ.— КИРЛЕЙКА.— О ЛЕСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ.— КТО ПРАВ И КТО ВИНОВАТ.— В САЛДАМАНОВСКОМ-МАЙДАНЕ

Восемнадцатого марта, на следующий день после посещения несчастной сифилитической Петровки, мы опять отправляемся составлять наши списки. Утром ненадолго проглянуло солнце, но скоро день опять нахмурился. Давно уже не доводилось мне с таким интересом следить за погодой: вот одна ночь прошла без мороза, одно утро — без утренника, и дороги сильно попортило. В овражках уже сочится вода, снег подтопило снизу, «раскровило», как говорят здесь. В низинках «самая кровь». Картинное старое выражение, сохранившееся, вероятно, с незапамятных, мифических времен. Зима истекает своей белой кровью, скоро она умрет, и на смену ей придет новая, молодая весна... Пока, однако, и весна обещает не много радости.

То и дело приходится выходить из саней. Выйдешь,— и сразу уходишь в рыхлый снег по грудь, между тем как лошади скачут, путаются, и бьются, и падают.

В Нелее основана первая столовая в этой «Камчатке» по частной инициативе Ал. Ив. Русиновой. Вообще, даже в этой далекой стране нашлось не мало добрых людей. Целый кружок благотворителей уже сделал, что мог, без всякого «содействия», в то самое время, когда предводитель и земские начальники писали, что в уезде совершенно нет людей, которым можно бы поручить столь опасное дело. Между тем, в «Камчатке» добрые и готовые работать люди сидели без средств и без поддержки. Тем не менее здесь уже были столовые, производилась раздача хлеба отдельным семьям, явился заезжий вольнопрактикующий и бесплатный врач, тоже производивший раздачу хлеба, важнейшего из всех лекарств в настоящее время. Несколько дам ходили и ездили по голодным деревням и избушкам. Этот очевидный «недосмотр» лукояновской внутренней политики пришелся нам очень кстати, и, кажется, мы тоже приехали кстати с нашими средствами: столовые здесь и нужны, и будут в хороших руках.

Вот за Нелеем мы обгоняем на повороте дороги обоз. Маленькие лошаденки надрываются на рыхлой дороге, мужики по пояс в снегу поддают плечами изо всех сил увязшие сани. Это несчастные «нежители» из посещенной нами вчера Петровки уже с раннего утра приехали на своих заморенных лошадях на хутор за хлебом для столовой. Е. А. Чеботарева поехала вперед устраивать дело в сифилитической деревне,— дело, требующее особенной осторожности, чтобы не произвести вреда вместо пользы...

Небольшая избушка на краю деревни Савослейки являет в своем весьма невзрачном облике еще одну столовую, устроенную Е. А. Чеботаревой и А. И. Русиновой. Я писал уже о печальном случае, подавшем повод к возникновению этих столовых. Теперь я очень жалел, что не обладаю талантом живописца, чтобы изобразить это деревенское филантропическое учреждение: маленькая избушка, растрепанная крыша, кучки навозу кругом обнажаются из-под тающего снега, тощая костистая лошадь уныло бродит вокруг, подбирая в навозе отдельные соломинки. Серое небо, туман, задернутые мглой перелески, лениво тающие овражки,— все это дает меланхолическую рамку для этой избушки на курьих ножках. Да, мы присутствовали на этот раз при пробуждении общественной самодеятельности в размерах, быть может, еще небывалых у нас на Руси. И однако... эта картина все еще была бы, кажется, достаточным олицетворением наших благодеяний голодающей деревне.

Вот за лесом, за снежными буграми мотаются крылья мельницы, лениво, тихо, будто обессилевшие, как и весь залесный край. Здесь живет врач, г. Рахманов, который поселился в деревне, чтобы кормить и лечить. Этого достаточно, чтобы г. Рахманов прослыл в уезде «врачом-толстовцем». Счастливое, право, это «направление», но тем меньше чести нашей современной действительности, где такие факты нуждаются в особых «направлениях» для своего объяснения... А вот опять за лесом и за оврагом, который тоже «раскровило» очень сильно,— цель нашей поездки, деревня Кирлейка (Пруды тож).

На дворе сборной избы баба толчет что-то в деревянной ступе. Оказывается — просяная мякина, обильно подмешиваемая к хлебу. Хлеб на вид гораздо лучше лебед-

ного. «Оно и вовсе бы ничего,— говорит баба,— да во рту больно шумит. Муки мало добавишь, все щеки опорет».

Действительно, хлеб хрустит очень неприятно и как-то сухо колет и режет во рту. Доктор Рахманов рассказывал нам вчера, что к нему то и дело являются больные страшными запорами от мякины. В особенности страдают дети: недавно ему пришлось прибегнуть к самым героическим средствам, от которых городской врач пришел бы в ужас, но выбора не было: ребенку грозила неминуемая смерть от этого хлеба...

Сход обывателей Кирлейки произвел на меня впечатление далеко не столь угнетающее, как в Петровке. Здесь проглядывает уже новый оттенок. Говорят, главным образом, двое: староста, мужик средних лет, с умным лицом, резкими чертами и острым взглядом. Ему постоянно возражает беззубый старик, иконописного типа, лысый и очень лукавый. У старика свои клиенты, в том числе какая-то келейница, которая за что-то получила двенадцать мер хлеба и отдала этому старику. Теперь он хочет пристроить ее в столовую. Староста возражает, его поддерживают кое-кто из мужиков с робкой осторожностью, сзади звонко и смело вмешиваются бабы. Слезливого нытья или тупого угнетения не видно; голод не стер еще своей тяжелой лапой обычных оттенков деревенской политики и партий, в голосах баб, звонких и задорных, слышна только обида: что-то делается не так, как бы следовало по их мнению...

Список мы составили на тридцать пять человек и, без сомнения, несмотря на впечатление как будто несколько меньшего «оголодания»,— это все-таки менее, чем бы следовало, и к нам попали только бесспорно нуждающиеся. Не стану приводить примеров, хотя их у меня записаны десятки. Думаю, довольно и сказанного выше, чтобы видеть, что наши столовые не грозили опасностью «пресыщения» обывателям деревни Кирлейки, Пруды тож...

Вернулись мы рано. Синие леса, фиолетовые избушки, густая мгла и резкий ветер. Пошел дождь, потом обильный, липкий, скоро тающий снег, которым нас совсем залепило. «Внучек за дедушкой пришел»,— говорят о таком снеге мужики, и, действительно, надо думать, что «дедушка» (старый снег) не многим переживет своего

хлипкого внука. К вечеру пошла настоящая мокроснежная метель, и мы долго ждали с беспокойством возвращения нашей хозяйки, уехавшей на одной лошадке в Петровку. Несмотря на метель приплелись из Григоровки несколько баб. Деревня эта — соседка Петровки. Нам сказали, что урожай у них был получше. Это правда, но от этого не легче безземельным и беднякам, у которых все-таки нет своего хлеба, а купить дорого, и подают мало.

На следующее утро мы тронулись в обратный путь, чтобы не остаться совсем, так как ростепель скоро отделит «Камчатку» от остального мира. Утро ясное. Вчерашний снежок лежит на западной стороне каждого дома, на каждом столбе или мельнице, чистенький, белый и свежий, придавая весеннему дню характер ранней зимы. Ночью «придержало», дорога сначала показалась нам превосходной; но вот в первом же овраге проваливается пристяжка, потом коренник, потом сани тихо садятся книзу, потом я, выходя, увязаю по пояс. Это уже — *зажора*, прелесть весенних дорог, с которыми пришлось затем познакомиться поближе. Каждый «вражек», каждую лощинку уже «подсосало» и «раскровило», а шаловливый легкий утренник прикрыл все это обманчивой пленкой сверху.

Опять лес, славный многолетний бор. Он еще хмурится на шалости весны, еще не дает ей баловать на своих дорогах, хотя по сторонам снег тоже рыхлый, а вокруг мшистых стволов видны широко обтаявшие круги. Тем не менее здесь дорога ровнее и лучше.

Вот и кордон, мимо которого мы тот раз проехали ночью. Не доезжая кордона, виден прорубленный лес, мелькают на порубках фигуры. Это — общественно-лесные работы.

Мне было очень интересно повидать лесничего, господина Введенского, заведывавшего этими работами. К сожалению, на кордоне его в это время не было,— он ушел «на делянки» осматривать работы, а нам ждать было крайне неудобно. Становилось заметно теплее, с высоких сосен снег то и дело валился тяжелыми хлопьями, или таял и капал жемчужными каплями. Наш возница почесывал голову и выражал опасения, как бы речки Алатырь и Чеварда не загородили нам дорогу. Узнав,

кстати, что лесничий, вернувшись с делянки, тоже отправляется в Лукоянов, я решил не дожидаться, и мы поехали дальше.

Это не мешает мне, однако, сообщить здесь некоторые характерные сведения об этих работах, по поводу которых было столько разговоров о мужицкой лени. «Две воды» покойного Фета решительно дали тему для обличителей русского народа, и нельзя надивиться,— откуда и на каком только разумном основании возникали и ширились эти странные толки...

Здесь мне невольно вспоминается небольшой разговор в вагоне, на нижегородской железной дороге.

— Итак, возвращаясь à nos moutons *,— говорил мне случайный спутник, изящный господин, наполнявший купе ароматом дорогой сигары,— скажу вам откровенно: все это сантиментальные выдумки. Голод, голод! Но почему же *он* не идет на работу?

— А *он* не идет? — спросил я.

— Боже мой! Да разве вы не читали?

— Господина Фета?

— Не одного Фета, вообще... Нужны рабочие на железной дороге,— господин голодающий не желает. Нужно расчистить леса,— господин голодающий находит для себя неудобным.

— Это странно!

— Как кому! Для меня — нисколько!

— Однако столько проложено железных дорог, столько расчищено лесов на Руси... И все, кажется, мужиком. Скажите: на этот раз работа так и брошена недоделанной?

— Ну, вот еще!

— Значит, что надо было насыпать,— насыпано, что нужно было расчистить,— расчищено?

— Конечно!

— И все это господа инженеры и господа лесничие сделали собственноручно?

— Ха-ха-ха! Этого только недоставало. Нет, слава богу, до этого еще не дошло.

---

* то есть: к уже обсуждавшейся геме (*франц.*).

— Значит — *он*?

— Да уж значит. Но — видите ли! — «пришлось взять из более отдаленных местностей».

— И пошел?

— Значит, пошел!

— А это вас не удивляет?

— Что ж тут удивительного?

— Я тоже думаю, что ничего. Однако вернемся к началу. Мужик не берет работу под руками, он «не желает работать».

— Ну, и что же?

— Теперь посмотрите, как *он* ретив на работу: бежит на нее даже из «отдаленных местностей».

Пауза. Тонкое облачко ароматного дыма...

— Уж не думаете ли вы, что меня убедили?

— Не имею ни малейшей надежды,— скромно ответил я.— Я только удивляюсь.

И в самом деле, ведь удивительно: тысячи лет русский мужик работал, рубил леса, прокладывал дороги, «прорезывал горы, мосты настилал», взрывал сохой необозримые пространства родной земли, сеял, косил, жал, молотил, и опять пахал, и опять сеял. И вдруг — именно в голодный год ему доставляют готовую, выгодную, нарочно для него придуманную работу,— а у него как раз в это-то время пропала всякая охота работать. Не странно ли это?

Впоследствии я имел все-таки случай встретиться и потолковать об этом предмете с г. Введенским, заведывавшим лесными работами в Шутиловских казенных лесах. Это — человек еще молодой, по-видимому, вовсе не мужиконенавистник... И однако,— такова сила легенды, носящейся в воздухе, что и он удивил меня тем же ходячим замечанием:

— Нет, как хотите, Владимир Галактионович,— сказал он мне,— а это правда: с тех пор, как вы открыли столовые в Шутиловской волости, то есть с конца марта, у меня стало значительно меньше рабочих в лесу...

Итак, это уже было мнение человека компетентного, до известной степени очевидца, правда, знавшего о столовых только понаслышке, с которым, однако, приходилось считаться.

— Хорошо,— ответил я.— У меня записаны по именам домохозяева и кто именно посещает столовую из каждой семьи. А вы скажите, кто у вас бросил работу.

Мы начали проверку с сельца Бутского.

— Григорий Васин,— читаю я.

— Именно,— говорит лесничий.— Бросил работу в марте.

— Хорошо, вот мои сведения: семья шесть человек; в столовую ходит Ольга, старуха семидесяти лет.

Лесничий засмеялся. Конечно, трудно думать, чтобы Васин работал в лесу исключительно для прокормления старухи Ольги.

— Ульянов Гаврила...

— Тоже бросил.

— Семья пять человек; в столовой мать, старуха семидесяти лет.

Так перебрали мы многих в Бутском и Шутилове, и г. Введенский согласился, в конце разговора, что столовая,— которая на четыреста — пятьсот человек населения деревни берет тридцать пять — сорок человек, и притом почти исключительно детей, старух, стариков и увечных,— никоим образом не может отвлечь от работы рабочее население. К сожалению, и впоследствии мне неоднократно приходилось слышать тот же упрек и с сокрушением сердечным отвечать то же самое. Были и такие случаи, когда я поистине жалел об этом: я гордился бы своей работой, если бы мне могли доказать, что мои столовые помешали заключению некоторых чисто кулацких сделок господ помещиков и подрядчиков с голодными крестьянами. Но — увы! — гордиться было нечем: столовые, кормившие малую часть нерабочего населения, не могли уменьшить предложения голодного труда, не могли повлиять на цены: народ кидался на всякую возможность работы и нанимался в убыток, а в охотниках воспользоваться его положением и раскинуть сети голодной кабалы, увы! — недостатка не представлялось. И всякий раз, когда казенная ссуда, хотя только в известной степени, уменьшала эти шансы и давала возможность мужику отбиться на время, до приискания лучшего заработка,— они тотчас же рычали, как львы, о народной лени и о развращающем влиянии ссуды и кормления...

Как бы то ни было, перебрав таким образом немало примеров, мы оба с г. Введенским пришли к выводу, что мои столовые не могли влиять на предложение мужицкого труда в лесных общественных работах. Но так как факт уменьшения рабочих к весне и некоторого нерасположения к этим работам был все-таки налицо, то нам пришлось поискать для него других объяснений.

И, конечно, объяснение отыскалось. Господин Брокер, заведывавший лесными работами до их начала (был такой период, как увидим ниже), приводил мне некоторые цифры. Оказывалось, по его словам, что, при поденной работе, сажень дров обходилась до семи-восьми рублей в заготовке. Господин Введенский поправил это сведение, сообщив, что это было только вначале: затем заготовочные цены приведены в норму Каким образом? Очень просто: работы сдавались уже не поденно, а только сдельно, но при этом заработок рабочего падал нередко до семи-восьми копеек в сутки.

Сколько же приходилось на долю рабочего в среднем?

Я видел рабочие книжки еще в Шутиловской волости. Артель, например, Трифона Семушкина в числе двадцати человек заработала за неделю (с 18-го по 26-е февраля) — 31 р. 67 к., что даст в день двадцать две копейки на человека. Может быть, это артель лентяев? Нет: по словам самих заведующих, заработок колебался от восьми до тридцати копеек (высшая норма в день), на *своем хлебе*!.. Итак, двадцать две копейки в среднем — это нормальный заработок рабочего на лесных общественных работах. Эту же цифру подтвердил мне и г. Введенский.

Какова самая работа? Известно, что эту зиму снега были необычайно глубоки. Рабочим приходилось бродить в снегу по грудь, валить деревья и таскать их затем на себе (лошади не пройти), все увязая, к одному месту... Вот какова была эта работа за двадцать две копейки!

Вот что говорил мне о ней умный и притом посторонний крестьянин:

— Снега ноне глубокие, одежонка дрянная, пища спервоначалу была больно плоха, приместия (жилья) настоящего не было...

— А теперь?

— Теперь, слышь, одобряют. Так опять поздно: многим пришлось отстать. Видишь, весна какая: то придержит, то опять отпускает, вот народ и опасается, главное дело, насчет воды. Потому снег — само собой, да под снегом-то подсосалася вода, а народишко-то не в сапоге, а в лапте. Подумай, добрый человек: долго ли же с этакой работы обезножить?..

Я полагаю, что недолго, и вот почему во время составления списков приходилось слышать то и дело фразу: «Убился (то есть надорвался, захворал) на лесной работе». И в самом деле: мудрено ли?

Итак, двадцать две копейки, глубокий снег, под снегом вода, работа — валить и таскать на себе бревна. Но этого мало: ссуду тотчас же сбавляют, как только человек нанялся на эту работу, сбавляют не с работающего, который все равно не получал, а с семьи...

Вот на какой почве возникают эти толки о «лености», беспечности, о том, что мужика не надо кормить, чтобы не отучить его от работы... Удивительно, как легко возникают, но еще удивительнее, как упорно держатся эти злые нелепости!

А отчего? Оттого, что эти господа уже вперед откуда-то почерпнули уверенность, что русский народ — пьяница, лентяй и оболтус. Придумавши какую-нибудь меру и недостаточно еще всмотревшись в свое собственное дело, не обеспечив его от собственных ошибок, они уже начинают зорко подсчитывать все отдельные случаи мужицкой лени: Иван пропил рубль, Семен лежит на печи, Федот работает лениво...

Теперь попробуем выслушать другую сторону.

— Расскажите мне, братцы, как вы в лесу работали? — обратился я к артели крестьян Шутиловской волости, встреченных мною в Лукоянове.— Только, смотрите, правду: я запишу и после напечатаю в газетах. Если неправда — ведь будет неловко и мне, да и вам.

Мужики помялись... Мы уже видели, что «разговоры» в Лукояновском уезде приравнивались чуть не к государственному преступлению; однако один, решившись, выступил вперед и сказал:

— Пиши. Как перед богом, истинную правду скажу.

И он рассказал, а я записал слово в слово следующее:

— Приезжает к нам в сборную урядник. «Сберите, говорит, двадцать лошадей, а я посмотрю, которые чтобы могли работать». Поутру приказ: что на следующий день к свету всем нам быть в Салдамановском-Майдане. Приехали мы (это около тридцати верст). Исправник Рубинской вышел к нам, выбрал тут плотников и объявляет: «Благодарите бога: чернорабочему пойдет по пятидесяти копеек, хорошему плотнику до семидесяти пяти, с лошадью который — по рублю и более того...» Пересмотрел лошадей и народ — и отпустил пока по домам (опять тридцать верст).

Правду ли, однако, говорит до сих пор этот «лентяй и обманщик», отлынивающий от работы? Несомненно, правду, потому что эти цифры предполагаемой и *обещанной* населению платы можно найти и теперь в печатных протоколах нижегородской продовольственной комиссии [1]. Теперь далее.

— Ну, хорошо. Собрались мы в назначенное время на работу, Брокера — господина поставили нам в распоряжение. Призывает нас г. Брокер, говорит: «Ступайте, десять лошадей, на Вешовский хутор, за овсом по четыре копейки с пуда». А в самый мороз. Мы отказались: «Помилуйте, тут и в пути не прокормишься, лошади заморенные, много ли на них положишь?» — «Ну, хорошо, говорит, когда так, положу рабочую плату, что в лесу».— Понадеялись мы на эти слова, а не пришлось! Проездили в холод четверо суток, два дня потом работали в лесу; как поехали на хутор, говорим: «Мы — народ бессильный, чем подымемся? дайте денег».— «Ну, мол, как-нибудь перебьетесь, денег еще нет, *книг еще нет* (прошу заметить эту фразу). А доедете, говорит, лошадей тем же овсом покормите с хутора». Хорошо,— съездили, в лесу поработали; подошла суббота, расчет; и рассчитали,— человеку с лошадью пятьдесят копеек; пешеходу двадцать пять копеек.— Как так, говорим, ря́ды не сполняете? — «Да ведь вот, говорят, стужа была, работы мало, расходу много... Книг еще нет...» Что станете делать; собирались на работы, снаряжались: кто одежонку заложил. У меня своих еще два с полтиной было,— я их проел, да за овес, что лошадям скормил,

[1] См., напр., журнал 20 дек. 1891 года, стр. 6.

вычли. Пошел со слезами домой. Семья кормилась одной картошкой. Прихожу, а дома и пособие-то уже сбавили. Вот и вся наша была работа, господин.

Правда ли это опять? Да, правда! Господин Брокер и затем г. Введенский подтвердили это, только иными словами. «*Книг не было*»,— это значит, что между двумя ведомствами (общественных работ и государственных имуществ) возникли пререкания: кому подписывать контракты и билеты на отпуск леса Господин Пушкин, заведывавший всеми общественными работами,— отказался, г. Брокер не имел на это права, а лесное ведомство не могло отводить делянки без контракта. И все, конечно, правы. Пока восемьдесят восемь человек крестьян ожидали конца этого «недоразумения»,— оказалось, что г Брокера сменили, потом сменили и г Пушкина Господин Введенский, преемник г. Брокера, все еще не знал, кому подписывать билеты. Пока шла эта переписка,— рабочие уже были собраны, им была обещана одна плата, а рассчитаны они по другой, лишь бы оформить дело, лишь бы закончить период лесных работ, довольно долгий период — *до их начала!*

Таков был приступ. Как видите, тут была сразу крупная ошибка, вследствие которой самые положительные обещания, данные рабочим, не были выполнены, вследствие которой люди разошлись по домам со слезами, проевши и то, что было у них до работ, и застали дома .. сбавку ссуды.

Так вот что могла бы рассказать *другая сторона*, мужики, если бы их спросили. А вот еще пример, извлеченный мною из официальных документов.

Тринадцатого декабря 1891 года, за № 1278, господин земский начальник 2-го участка А. Л. Пушкин обратился к земскому же начальнику П. Г Бобоедову с отношением следующего содержания:

«Господином губернатором поручено мне заведывание общественными работами в Лукояновском уезде, к которым нужно приступить немедленно. На первое время *до предстоящих праздников* предположено приступить к рубке леса в Ичалковской казенной даче I Лукояновского лесничества, в небольшом количестве рабочих, почему покорнейше прошу Вас, милостивый государь, из Вашего участка *выслать* в означенную дачу к *18 числу*

этого месяца десять человек с топорами и пилой на каждых двух. Высланный Вами народ должен быть из семейств, имеющих недостаточные средства, и, при нахождении на поденной работе, *исключен из лиц, получающих пособие хлебом*. До праздников народ этот будет работать поденно с платою до 40 копеек в день на их продовольствии. После же праздников наем рабочих будет мною произведен тем же или иным порядком, о чем я своевременно Вас уведомлю. Теперь же покорнейше прошу, *выслав назначенных Вами лиц*, сообщить мне именной их список, с обозначением, из какого села и *по какой цене* (?)... Заведующий общественными работами земский начальник А. Пушкин»

Надеюсь, читатель и без моих курсивов обратит внимание на характерные стороны этого официального циркуляра: крестьянам не предлагается работа, а они *назначаются* и затем *высылаются* на место Предусмотрительность господина Пушкина доходит до заботы даже о сбавке нанявшимся хлебной ссуды. Можно ли после этого предположить, что этот документ, по времени совпадавший с наиболее горячими нападками на мужицкие пороки, есть лишь плод непростительно легкомысленной преступной небрежности и недоразумения со стороны этого господина!

«Лентяи» и «пьяницы», уже через пять дней по написании этого отношения, составили требуемый отряд. Федор Медведев, Семен Бударагин, Герасим Сисюков, Александр Жижинов, Иван Маркин, Матвей Фадеев, Поликарп Хапов, Дмитрий Жижинов, Пимен Морозов и Тимофей Кузичкин соблазнились сами или же были «назначены». Как бы то ни было, они, во-первых, взяли в долг топоры, во-вторых, купили пять пил (большею частью тоже в долг), по 1 р. 50 к., и 17 декабря вышли утром из 1-го участка, расположенного у Лукоянова,— на восточный край уезда, в Большое Болдино. Однако пусть они говорят дальше сами (цитирую опять по официальному документу).

«До Болдина 40 верст; мы пришли в 9 часов утра 18 декабря к господину Пушкину, не застали его дома, и он вернулся в 11 часов вечера, а 19 декабря в 10 часов утра опять ходили к г. Пушкину, но оставались в избе, а Пимен Морозов и Тимофей Кузичкин ходили

в дом и, вернувшись, передали нам, что *Вас вытребовали ошибочно в Ичалковскую дачу*, здесь есть своего народу много, то есть 2-го участка много людей. Вам будет работа в Ризоватовской или Мадаевской даче после праздников, а теперь ступайте домой. *Когда будет предписание от Пушкина, тогда вам велят идти (!)*».

А Пимену Морозову на представленном им рапорте господин Пушкин сделал в этом смысле собственноручную отметку, которая и сдана Морозовым 20 декабря в волостное правление.

«И мы,— продолжают свою скорбную одиссею «лентяи»,— вернулись 19 числа ночью домой. Понесли убытков, продали, что имели последнее, а домой шли совсем голодные. *18 числа весь день стояли* (в Б.-Болдине) *на морозе и собирали милостыню*»... Затем, с чрезвычайной подробностью идет перечисление убытков: за топоры платили за подержание, Фадеев, вернув пилу, получил убытку пятьдесят копеек. Маркин купил пилу за полтора рубля, и она осталась у него, «но остальные брали пилы в долг, и их взяли обратно без убытка».

Таково было блестящее начало управления господином Пушкиным общественными работами. Каково было их продолжение, мы уже видели. А в это время в прессе гремели обвинения против мужиков, и в это время ни один приезжий из Лукояновского уезда не мог умолчать о том, что *на лесные работы народ не идет* [1], и в это же время в другой части уезда уже стекались новые несчастливцы на новые обещания, которым опять не суждено было осуществиться (как мы видели из первого нашего примера)..

Так-то крепостники-обличители зорко усматривают сучец частных пороков в народной среде, бревна же своей небрежности и ошибок относительно народа не замечают. Они судят «меньшого брата» с легким сердцем, забывая, что каждая их вина горше отдельных провинностей, ими обличаемых. Каждый лентяй или пьяница приносит вред только себе, в крайнем случае семье своей, с которой вместе от этого страдает. Тогда как всякая

---

[1] См. протоколы Губ. продов. комиссии за декабрь и январь.

организационная ошибка имеет характер *общий* и потому, поражает сразу целые массы неповинных людей. Господин Пушкин, занятый, быть может, наказанием какого-нибудь пьяницы или лентяя, а может быть, и ничем не занятый,— допустил (мягко выражаясь) ошибку в своей «циркулярной» бумаге, и десятки, а может быть, сотни людей бредут взад-вперед сотню верст, изводят последние деньги, зябнут и голодают и возвращаются по домам с тоской и разочарованием, разнося по уезду недоверие к имеющему появиться новому «предписанию» того же начальства... Мудрено ли, что народ встречал эти новые «предписания» с смутным ропотом, с неохотой, недоверием, а иногда и с враждой, гораздо более законной, чем высокомерно обличительные выходки тех же господ Пушкиных по его собственному адресу.

Нет, это немудрено. Мудрено другое: ведь все-таки шли! И все-таки работы (от восьми копеек в день!) не прекращались, и все-таки по лесу стоял стон от топоров, а по уезду и даже по губернии шли толки об общественных лесных работах, которые налагали на господ лукояновских деятелей особенные заботы об экономии в ссуде, дабы «лентяи» как-нибудь не получили лишнего... Слушая эти толки, можно было подумать, что в Ризоватовской, Шутиловской и Мадаевской волостях предпринято нечто грандиозное, вроде египетских пирамид или римских акведуков, способное прокормить всех, кто только не поленится на них наняться. Я был поэтому чрезвычайно удивлен, убедившись на месте в действительных размерах этого благодетельного явления, подавшего повод к столь великому шуму. Оказалось, что в самом разгаре работ максимальная цифра занятых рабочих достигала четырех сот человек, в среднем же за три месяца — меньше двухсот! Считая даже по двадцати пяти копеек в среднем на человека, получаем пятьдесят рублей на день. И только!.. Как ни скромны были размеры помощи в форме столовых,— но от них все-таки в последние месяцы уезд получал, по крайней мере, втрое больше... Стоило ли же из-за этого поднимать целые вопросы о народной лени и порочности, о развращающем влиянии помощи, отвлекающей будто бы от работы,— микроскопической работы, которая не могла занять и

сотой доли рабочих рук и в которую было внесено столько преступных ошибок![1]

Разумеется — не стоило...

Когда мой собеседник, рассказывавший мне о своем найме на общественные работы,— кончил эту горестную повесть, я, признаюсь, не удержался, и у меня сорвалось с языка:

— А пишут про вас, что вы лентяи, не идете на работы из-за ссуды...

Мужик горько улыбнулся.

— Эх, господин,— прибавил к этому другой, молчаливо слушавший рассказ товарища.— Иной человек, не сообразя себя, скажет глупое слово, которое и говорить-то бы вовсе не надо.

Именно — «не сообразя себя»... Слово показалось мне необычайно метким...

Когда мы выехали из лесу на равнину, по сю сторону лесной полосы,— весна уже быстро захватывала свои владения. Овражки чернеют, на них видны уже струйки, скачущие поверх подтаявшего снега. Каждая лощинка начинает шевелиться, ручейки сползаются к речкам, речки топят мосты. Вот бушует Чеварда у деревеньки того же имени, далее шумит речка Пойка, но вот, наконец, Салдамановский-Майдан, где мы можем отпустить обратно хуторского возницу, сильно не одобряющего разгул речек. Он предвидит, что они уже добрались до Алатыря и, пожалуй, не пустят его домой...

В новой, светлой и чистой избе мы ожидаем перепряжки лошадей. Хозяин — вольный ямщик, перехвативший нас по дороге. Семья у него огромная, сильная, рабочая. На столе лежит каравай хлеба, чистого, без примеси. Во всем видно изобилие.

— Пособие получаете? — спрашиваю я у старика, лежащего на полатях и свесившего оттуда лохматую голову, с умными, спокойными глазами.

— Получают которые в нашем селе; мы не получаем, не надо нам.

---

[1] Сильно опасаюсь, что большая часть «общественных работ» в этот и последующие голодные годы имели тот же или близкий к этому характер.

— А как у вас дела насчет продовольствия?

— Плохо,— отвечает он,— бедствует народ сильно.

— Да ведь вон у вас лесу сколько навалено: значит, работа.

— Какое работа! Которые в силе работать, несколько кормят сами себя, а который уже без силы, тот сам себя нести не может, какая уж тут работа. Сильного народу мало остается, тоже самое, в нашем селе, которые чтобы чаяли себе прокормиться. Он, может, *травыте* [1] переел уже *несколько* (множество), как же у него, судите сами, на желудке будет здорово? У кого картофель есть, те еще туда-сюда, сколько-нибудь дышат, а от лебеды, господин, крепости в желудке никакой не бывает.

Отзыв этот я, продолжая разговаривать, тут же записал слово в слово, но, к сожалению, я не могу передать тона, каким это было сказано. Мужик говорил не торопясь, с расстановками и как бы с досадливой неохотой. «Все равно ведь не поверите,— слышалось в тоне его речи,— все равно не поможете, так стоит ли говорить о том, что мы здесь видим, что может видеть всякий, кто только захочет присмотреться».

— Ну, а где хуже,— испытываю я еще его беспристрастие,— у вас или в Шандрове?

— Непременно,— отвечает он,— надо говорить по совести: у нас хоть на новях было небольшое количество. Положим, морозом хватило, а все супротив ихнего яровинка малое дело получше. У нас хоть кормец был, а что уж у них,— не приведи господи!

— А пособие?

— Ну что ж, что пособие? Вон в феврале по семь фунтов выдали. Что тут...

Он махнул рукой и отвернулся.

— И что такое, право,— слышу я еще обычную фразу,— в других-те уездах...

Опять зажоры, рыхлые дороги, речки и овражки. За Салдамановским-Майданом я оглядываюсь последний раз. Полоска леса синеет на горизонте...

Прощай, лукояновская «Камчатка»!

---

[1] Травой крестьяне называют лебеду.

XV

ХРИСТОВЫМ ИМЕНЕМ

Когда мы сидели в избе ямщика в Салдамановском-Майдане,— в ту же избу вошло два мальчика. Старшему можно было дать лет девять, младшему не более пяти. Они были одеты довольно чисто и с той особенной деревенской опрятностью, которая показывала, что они не принадлежали к семье профессиональных нищих. Видно было, что заботливая материнская рука снаряжала этих ребят, старательно завязывала каждую оборку лаптей, надевала на них сумы, сшитые, по-видимому, еще недавно из грубого домашнего холста, сотканного, быть может, тою же рукою... Они вошли и с каким-то особенным грустно деловитым выражением в лицах стали у порога. Старший снял шапку, отыскал глазами икону, истово перекрестился и произнес нараспев обычную молитву...

Младший с простодушной сосредоточенностию глядел на брата внимательным взглядом и, точно урок, повторял его движения и слова молитвы.

— Господи! Иисусе Христе... Сыне божий...

Хозяйка с глубоким сожалением посмотрела на малышей.

— Эх, беда! — сказала она, качая головой...— Чай, матка-то и не чаялась этаких ребенков за милостыней посылать... А довелось... И молиться-то путем еще не умеют... Ну, что этакой клоп соберет...

Между тем, мальчики стояли, не говоря более ни слова и не здороваясь, после молитвы, с хозяевами. Они пришли за делом и ждали результата...

Хозяйка встала, отрезала два ломтя хлеба, один отдала старшему, а другой сама положила младшему в сумку, погладив его по голове.

— Ну, что делать... воля господня. Учись, Ванюшка, учись молиться-те, гляди на брата.

— Эх горе! — добавила она, между тем как по лицам этих маленьких мужиков трудно было разобрать, какое впечатление производят на них сердобольные причитания старухи. Получив подаяние, они опять перекрестились и повернулись к выходу.

И когда они двинулись, на ногах у них застучали деревянные колодки, подвязанные к лаптям,— два высоких обрубка: один под пяткой, другой у подошвы.

Это опять заботливая рука, отправлявшая ребят с именем Христовым,— принимала свои меры, чтобы дети не слишком промочили ноги. Лапти и онучи плохо защищают ногу в ростепель, а под рыхлым снегом уже во многих местах притаилась вода... Весна!

Вся эта простая сцена, отзывавшаяся какой-то грустной обрядностью, покрывшею обычную деревенскую драму, произвела на меня сильное и глубокое впечатление. Впоследствии не один раз приходилось мне видеть таких же детей-кормильцев часто не привычных к нищенству семей. Мы видели уже в Петровке девочку Кутьину, обходившую в день по двадцати — тридцати и более верст, чтобы принести домой лукошко-другое разнообразнейших кусков хлеба! Чего только не было в этом лукошке, снятом мною с закопченного бруса: и огрызок праздничного, сухого, как камень, калача, и кусок ржаного хлеба, поданного в избе деревенского богатея, и черные разваливающиеся комья заплесневшей лебеды... И все это подавалось и принималось под припев Христова имени, произносимого усталым и исстрадавшимся детским голосом... Кто сосчитает, сколько раз призывалось имя Христа в эту тяжелую зиму голодного года!..

И теперь, в сумрачные и задумчивые дни этой весны, с ее сизыми туманами, нависшими над полями, «вершинками» и перелесками,— фигуры нищих стариков, подростков или даже ребят, с сумами, с подожками в руках и с колодками на ногах, увязающих в сугробной дороге,— составляют обычную принадлежность весеннего пейзажа. По мере того, как последние запасы исчезают у населения,— семья за семьей выходит на эту скорбную дорогу...

Правда, было время, когда их было еще более. Все говорят единогласно, что уже 1891 год был чрезвычайно тяжел, и уезд уже перенес тогда полный неурожай и даже голод. Тогда было несколько более запасов, зато не было ссуды, и весна 91 года уже видела целые семьи, десятки семей, соединявшиеся стихийно в толпы, которых испуг и отчаяние гнали к большим дорогам, в села и города. Некоторые местные наблюда-

тели из сельской интеллигенции пытались завести своего рода статистику для учета этого, обратившего всеобщее внимание, явления. Разрезав каравай хлеба на множество мелких частей,— наблюдатель сосчитывал эти куски и, подавая их, определял таким образом количество нищих, перебывавших за день. Оказывались цифры, поистине устрашающие, и куски исчезали сотнями... Но вдруг своеобразная статистика показала внезапное и резкое падение: это в полях поспела лебеда, и под окнами стали опять появляться одни знакомые фигуры привычных нищих..

Но осень не принесла улучшения, и зима надвигалась среди нового неурожая... Осенью, до начала ссудных выдач, опять целые тучи таких же голодных и таких же испуганных людей выходили из обездоленных деревень, и, право, трудно сказать, во что перешло бы, какие новые формы отчаяния и безнадежности приняло бы это огромное стихийное движение, если бы не казенная ссуда... Было жуткое время, когда казалось, что само Христово имя потеряет свою силу перед этой необъятной тучей народного нищенства... А тогда... «Скотина голодная,— и та городьбу ломает,— говорил мне умный мужик...— Голод, говорится, не тетка...»

Но ничего подобного не случилось. По дорогам потянулись возы за возами с казенной ссудой,— и нищенство опять быстро схлынуло. У народа явилась надежда, что позор нищенства минует еще многих из тех, кто не знал его во всю жизнь...

Теперь к весне эта волна опять вырастала всюду... а лукояновская система, определившаяся окончательно и застывшая в своей беспощадности, гнала опять на дороги новые и новые контингенты нищих. Уменьшаясь и убывая в периоде выдач скудной ссуды, то опять возрастая, когда ссуда подходила к концу, нищенство усиливалось среди этих колебаний и становилось все более обычным. Семья, подававшая еще вчера,— сегодня сама выходила с сумой. Христово имя звучало под каждым окном все чаще, из каждого окна подавались куски все меньше, и просящему приходилось делать все большие обходы, захватывая огромные круги, где оскудевала уже рука дающих... Сначала ходили по соседним селам, потом, расширяя обходы, уже не возвращались на ночь до-

мой, уходили за десятки верст, являлись в соседних уездах и даже в чужих губерниях, уходя на целые недели... Я знаю много случаев, когда по нескольку семей соединялись вместе, выбирали какую-нибудь старуху, сообща снабжали ее последними крохами, отдавали ей детей, а сами брели вдаль, куда глядели глаза, с тоской неизвестности об оставленных ребятах... А в это время, такие же нищие стучались в окна покинутых изб, заходя сюда из соседних губерний (в особенности из Симбирской)...

Те, кто наблюдал это явление со стороны, в чьих равнодушных взглядах поверхностно отпечатлевались эти однообразные фигуры, с их однотонным обрядным припевом,— не представляли себе ясно, какое бесконечное разнообразие заключалось в оттенках этого нищенского народного горя. Всего легче, без сомнения, приходилось привычным нищим. Они в совершенстве знали свои обряды, они изучили долгой практикой психологию дающего, они знали, как и где скорее и успешнее можно открыть эти окна, под которыми затягивали свою молитву. Христово имя в их устах являлось привычным оружием в тяжелой и трудной житейской борьбе с невзгодой... Но напрасно было бы думать, что всякому человеку, одетому в такой же мужицкий полушубок, так же легка на плечах нищенская сума. Знание дается любовью, а то «практическое знание народной жизни», которое так громко заявляет о себе в наши дни устами крепостников и мужиконенавистников всякого рода,— звучит только враждой и узким своекорыстием. И вот почему оно не хочет видеть, какие тяжелые драмы разыгрывались в мужицких избах прежде, чем в них надевалась сума, и сколько было этих удручающих драм...

«Христово имя» имеет в деревне своих обычных, привилегированных владельцев, которые и сами свыклись со своим положением и за которыми это положение признано общим мнением.

Однажды мне пришлось слышать горькую исповедь мужика, в одну из таких минут, когда душа невольно раскрывается для жалобы даже перед посторонним человеком (это было много ранее голодного года).

— Покуль до старости-те доживу, сколь еще много муки приму... Господи боже...

И он рассказал, что два года назад у него умер сын, оставив девочку-внучку. И никого у него не было более на свете. Сам же он увечный: дерево повредило ногу.

— Идешь за возом-те, все припадаешь... А лошадь-те резва... Этто ушла вперед, бежал я, бежал за ней, потом лег на дороге и заплакал... А на сердце-то, братец, все об сыне тоска... Что станешь делать.

— А что же в старости-то будет? — спросил я, вспомнив начало его речи.

У мужика глаза засветились какою-то радостью.

— Да ведь старику-то мне, как выдам внучку-те замуж, можно и со Христовым именем идти. Мне ведь, как ты думаешь,— всякий тогда подаст, старику-те... А теперь стыд!.. Только бы как-нибудь годов пятнадцать промаяться помог бы господь...

И на лице его светилось предвкушение спокойного пользования Христовым именем, без стыда, по всеми признанному праву...

— Я Христовым именем сыта,— говорила мне в другом месте древняя старуха.— Слава-те господи,— кормит-поит меня Христос батюшка... Довольна. И одежа мне тоже Христова идет...

Таким тоном говорят люди, получающие по праву небогатое, но приличное содержание, в виде выслуженного пенсиона...

И действительно, во многих местах деревни и села имеют своих нищих, занимающих почти официальное положение... С давних пор, как известно, на Руси церкви имели свою собственную нищую братию, монополизировавшую церковные дворы, паперти и ворота. Еще до Петра Великого делались попытки придать этому явлению характер правильной общественной благотворительности, и при церквах повелено было строить «богадельни» для приюта нищим. Богадельни эти кое-где стоят и до сих пор, и я сам в Лукояновском уезде получил приглашение священника отправиться в «богадельню» для составления списка. Оказалось, однако, что название «богадельни» составляет единственный остаток филантропических попыток московского правительства: дома при церквах построены, и — так с тех пор подновляются и строятся, нося то же имя, но исполняют они должность или сторожки, или в них помещается причетник,

кой-где — церковно-приходская школа... Тем не менее, «свои нищие» во многих местах по-прежнему занимают в общем строе деревни определенное место...

— Мы все-таки поберегаем их, не оставляем,— говорил мне первый спутник первого дня моих скитаний...— Теперича скажем, у меня померла мать старуха — в самую, например, страдную пору. Народ весь в поле, в церковь что есть и пойти-то некому, помянуть, проводить, помолиться. А на тот случай у нас старички со старухами живут. Значит, жена у меня должна испечь про них коровашек, а они, люди божии,— помолятся и помянут порядочно, как следует...

За этими привилегированными нищими, из которых многие не ходят даже за милостыней, довольствуясь тем, что им подадут в церкви или принесут односельцы на дом, «поминаючи родителей»,— следует значительный контингент тоже признанных нищих, другого порядка. Первые — люди до известной степени божии, церковные, искусники в поминании и в других житейских, требующих особого моления, случаях, или угодные своей жизнью. Вторые — ходят под окнами с Христовым именем и молитвой, собирая на бедность и комплектуясь из рядов того же крестьянства, впавшего в нужду от разных причин,— старцы, увечные, сироты и убогие... В последние годы этот пласт бродячего нищенства, по наблюдению знающих людей, все возрастает, откладывается все прочнее и гуще... Он вырабатывает свои особенные типы, сжившиеся со своим положением, часто им злоупотребляющие и уже не желающие ничего другого.

— Не пиши Анну, не надо,— сказали мне в одном месте при составлении списка для столовой.

— Что же, у ней свой хлеб есть, что ли?

— Какой у нее хлеб!.. Дыбает кое-где, у нас же просит.

— Больна, что ли?

— Хоть карету на ней вези, ничего, утащит!.. Да ты ее сколь ни корми, она все по окнам ходить не бросит..

В Пичингушах у нас возник целый вопрос о таких нищих, и я с глубоким интересом прислушивался к толкам мордвы по этому поводу.

Все были согласны, что подают теперь очень мало и что даже профессиональным привычным нищенкам стало

очень трудно кормиться именем Христовым. А вдобавок близилась ростепель. Зальет вода низины,— тогда хоть ложись да помирай. Итак, очевидно, что необходимо было дать им всем убежище в столовой без исключения, в том числе и тем, которые заведомо не бросят «ходить по окнам».

— Пишите всех,— сказал, наконец, один из мирян,— а мы миром старосте прикажем, чтобы им воспретить, чтобы, значит, не клянчили.

Предложение это, однако, вызвало общий ропот.

— Как это можно, что вы! Зачем «мимо креста ход отымаете». Нешто можно воспретить. Пособия не хватит, поневоле пойдешь.

— Да ведь о столовой говорят.

— Так что... Она пойдет в столовую, а у другой еще дети. Пущай сбирают... Не подавай, коли так, а Христова имени отымать нельзя...

— Да ведь как не подашь, когда придет она.

— Плачешь, а подаешь...

— Не дать невозможно.

— Ну, да уж пишите, господин, и эту... А там, как ее совесть дозволит...

— И нам, как совесть дозволит... Кто подаст, а то и прости Христа-ради... Пусть не взыщет...

И мы записали эту старуху, о которой шла речь, и много других таких же старух; некоторые из них все-таки «ходили по окнам», не являлись по нескольку дней, тогда их пайки отдавались другим, но «ход мимо крестов», по выражению мордвы, все-таки не воспрещался.

И раньше этого, и после мне приходилось встречать не раз толки об этом вопросе в обществе и печати. И мне кажется, что всегда разумное решение совпадало с тем, какое постановила мордва в селе Пичингушах (так же, впрочем, решался этот вопрос всюду самим народом). Есть в Нижнем-Новгороде очень оригинальный самобытный человек А. А. Зарубин [1], человек малообразованный, из виночерпиев, но обладающий гражданским мужеством и тем, что французы зовут «мужеством своего мнения». Он любит порой вспоминать старину, и в одном

---

[1] Умер через несколько лет после голодного года.

заседании губернской продовольственной комиссии господа хлебные торговцы имели удовольствие выслушать от него напоминание об известном указе Бориса Годунова, касавшемся хлебных скупщиков. «И таковых,— цитировал с видимым сочувствием г. Зарубин,— бить кнутом нещадно». А. А. Зарубину казалось, что на этой почве легко разрешить многие продовольственные вопросы и в наши сильно усложнившиеся времена... Так же легко и прямолинейно он разрешал вопрос о нищенстве. Он предлагал построить рабочие дома и приюты, на что следует употребить те самые средства, которые подаются теперь у церквей и на улицах. Господин Зарубин обратился к архиерею (Владимиру), с просьбой о том, чтобы в церквах говорились проповеди против нынешней формы милостыни, с рекомендацией более целесообразного употребления денег на рабочие дома и приюты. Архиерей ответил на это, что нужно начинать не с этого конца: пусть прежде возникнут новые формы христианской помощи и докажут на деле свою жизненность и полезность. Постройте вашу новую храмину, и тогда старая, приходящая в ветхость, упразднится сама собою, за ненадобностью.

В этом весь узел вопроса, вся его «злоба», сохраняющая свою остроту вот уже несколько веков. Еще допетровская Русь знала уже и сознательно ставила перед собою все неприглядные стороны этого стихийного явления. Язва нищенства, злоупотреблявшего Христовым именем, уже пугала московское правительство. «Чернецы и черницы, безместные попы и диаконы, также крестьяне и гулящие люди, бесчинно и неискусно, подвязав руки и ноги, а иные и глаза завеся и зажмуря, будто слепы и хромы, притворным лукавством просили на Христово имя», и таких велено было имать и отсылать в приказы. Ввиду этого уже со времени, если не ошибаюсь, Алексея Михайловича, велено строить богадельни при церквах, а также устраивать приюты в монастырях. Но из богаделен и монастырей, по причинам, ныне нам весьма понятным, призреваемые бежали,— потому, конечно, что не получали там никакого кормления . Правительство поступало тогда по программе господина Зарубина — беглых нищих ловили и наказывали, и даже подававших на улицах имали и брали с них пеню...

Разумеется, нужна вся гибкость славянофильского витийства, чтобы идеализировать даже эту язву непокрытого нищенства допетровской Руси и возводить ее в перл истинно христианских отношений между имущими классами и нищей братией. Но чрезвычайно опасно также действовать одними формальными мерами и особенно запрещениями. Создайте прежде новую храмину и уже тогда пусть упраздняется старое... А до тех пор нужно щадить печальное, правда, унизительное, но стихийное, веками сложившееся историческое явление, и нельзя «отымать ход мимо крестов». Это испытала на себе и старая Русь в виде жестоких бунтов на Москве, когда даже драгуны соединялись со всяких чинов московскими людишками, разбивали приказы и отымали арестованных «странных и нищих людей»...

Без сомнения, и самое нищенство, и его злоупотребления являлись в Белокаменной в сгущенном, сосредоточенном виде... Однако нельзя не пожалеть, что в существе своем вопрос этот и до сих пор не получил у нас никакого рационального исхода. Запрещения остались, разумеется, мертвою буквою, а в прошлом России не хватило зиждущей силы для создания «новой храмины»... В городах кое-что возникает уже на смену старому, но деревня живет вся стихийными и неорганизованными процессами... Профессиональное нищенство сказывается здесь порой не особенно симпатичными формами, а голодные годы его только укрепляют. Нищий ребенок от нищенки матери, может быть, уже внук нищего деда — или гибнет на глазах у благодушной деревенской Руси, или складывается и наследственно, и воспитанием в совершенно особенного человека. В нескольких местах мне приходилось слышать отмеченные простодушным юмором жалобы деревни на своих нищих, слишком широко понимающих свою нищенскую привилегию.

— Не подашь или мало подашь,— она ведь как обругает,— говорили мне об одной такой нищенке,— просто со стыда сгоришь!

— Да, строгая...

— Язвительная старуха.

— Давеча подал ей... что уж... известно лебеда одна... Ты, говорит, это Христу-то, что подаешь?.. Это, говорит, свинье бросить, так и то впору...

— Сами, мол, бабушка, тоже травой подавились. Не взыщи, мол...

— Поди с ней, с эдакой, поговори.

В другом месте я внес в свой список мальчишку, сироту. Его бабка, такого же типа, как и описанная выше, уходила на целые недели, оставляя питомца без призора, в полной уверенности, что он не пропадет и один, оставленный в опустевшем гнезде. И действительно, «слетыш» с младых ногтей оказался уже приспособленным к своему роду жизни.

— Этто вхожу под вечер в избу, из лесу вернулся,— рассказывал один из «стариков», улыбаясь, пока я заканчивал свой список и отмечал мимоходом происходившие в сборной разговоры,— гляжу: ребята у меня на полу плачут. А уходил,— все на печи сидели... Что, говорю, плачете, пошто на пол слезли?.. Глядь, а на печи-те Гришка сидит, обобрал все куски у них; сам уплетает, ажно глазы оттуда блестят, с печи-те...

— Вишь ты, кукушонок!..

— Не велика птичка, да ноготок востер.

— Пиши его, ваше благородие, пиши! Все, может, в столовой-те налопается, не станет у наших ребят кусок отымать...

Деревня, конечно, и видит, и знает все это, и, однако, она свято чтит право Христова имени Самонадеянные «практики», монополизировавшие теперь за собой знание народной жизни,— расправляются по-своему и с этим глубоко залегающим бытовым явлением. Признаюсь, мне стало жутко, когда я услыхал, еще в марте, что в некоторых селах в участке господина Пушкина урядники гоняют нищих. Очевидно, урядники посягали на право «идти мимо крестов» не по своей инициативе: это лукояновская система по-своему искореняла нищенство в видах полемики с губернией. Народ отзывался об этой мере с глухим, но глубоким негодованием,— и великое счастье, что усилия урядников остались до смешного бессильны: детски самонадеянная попытка напоминала просто стремление загородить ход весенним потокам глыбою снега. Урядники потормошились несколько дней в двух селах и бросили...

И опять нищие шли вереницами, порой толпами, и под окнами невозбранно раздавалось имя Христово...

Народ знает лучше, чем «практические знатоки его жизни», что резкими злоупотреблениями не исчерпывается самое явление, и притом ведь это он же сложил нашу горькую российскую поговорку: от сумы, как и от тюрьмы, не зарекайся.

В том-то и дело, что явление это живое и болящее, что оно не покрывается простой и огульной характеристикой. В одной экономии мне рассказали такой случай: когда нищие хлынули толпами,— пришлось поневоле сокращать выдачи до ничтожных кусочков. Тогда некоторые нищенки ухитрились обойти это неудобство. Получив на свою долю, они уходили за большие поленницы дров и, обменявшись платками, тотчас же возвращались назад. Так, меняя платки, кафтаны, закрывая лица,— они обманывали экономию, пока хитрость не была открыта.

И тут же, непосредственно после этого, может быть, и простительного, но все же некрасивого эпизода, мне была рассказана следующая грустная повесть. Хозяйка зажиточной избы услышала за окном робкий голос. Выглянула — никого. Через некоторое время тихая молитва зазвучала опять, и опять никого. Но тут уже хозяйка заметила, что кто-то прижался к стене. Оказалось, что это соседка, в первый еще раз в своей жизни прибегнувшая к милостыне Она вышла из дому, побуждаемая криком детей, и, сгорая от стыда, заводила нищенскую песню. Но каждый раз она не могла победить себя, когда на нее смотрели, и инстинктивно прижималась к простенку... А дома все плакали голодные дети, и она опять шла, и так проходили долгие часы первого нищенского дня между мукой горькой нужды и жгучим мучением стыда

Вообще стыдом и мучением сопровождалось это явление в огромном большинстве случаев, потому что голодный год к двум указанным выше разрядам прибавил третий. Это был именно тот промежуточный последний пласт крестьянства, который еще держался в числе «жителей» и которых неурожай столкнул с этой ступеньки. Они пошли тоже с Христовым именем,— некоторые навсегда, другие с надеждой на будущий урожай, на милость господню, которая еще даст им подняться. И этот новый пласт нового нищенства поглотил оба прежние

разряда... Просить в своей деревне, где еще недавно этих нищих знали за хозяев, жителей, крестьян, за домовитых, хотя и небогатых крестьянок,— всего тяжелее, и потому, по большей части, непривычные нищие старались уйти, по крайней мере, в чужое село, где их не узнавали в лицо.

— Наши завсе к ним, а ихние нищие к нам так всю зиму и ходили, точно шерсть бьют,— картинно охарактеризовал мне эту стыдливую взаимность крестьянин, отвозивший меня из села Пикшени в Большое Болдино...

Впоследствии, уже летом, пришлось мне уезжать из большого села Кельдюшева, и я попросил нанять мне лошадь. Я избегал пользоваться обывательскими лошадьми, чтобы не придавать своим поездкам характера официальности, но на этот раз, зная, что я плачу прогоны, мирской ямщик настоял на своем праве везти меня на своей совершенно заморенной кляче.

— Да я тебе еще, ваше благородие, колокол подвешу,— утешал он меня не без иронии, почти насильно усаживая в таратайку. Однако дорогой исключительная худоба и негодность мирского буцефала служили для нас единственным предметом разговора.

— И в поле-то, почитай, не работала,— говорил мне ямщик, задумчиво вытягивая клячу ласковым ударом кнута.

— Все начальство, что ли, возила?—соболезновал я.

— Начальство само собой, с ног сбили! А этто вот еще нищие замаяли.

— Это еще как? Неужто нищих тоже на мирской счет развозите?

— Повезешь, как его ноги не носят... Хлеб народишко-те приел, подают по экому вот кусочку, с ноготь,— что станешь делать... Бродит он, бродит, может, сотню верст от дому-те отошел .. Убессилеет, конечно, свалится у дороги, то и гляди подбирают...

— Ну, и что же?

— Ну, и вези его, от села к селу, по десятникам, на обывательских... А то еще дорогой помрет, чистая с ними склека...

Это было уже в позднее время перед новым хлебом... Все запасы исчезли, и даже значительно усиленная (после победы губернской политики) ссуда только отчасти

смягчала нужду. Народ тянулся из последнего, до сбора хлеба,— крестьянская Русь изнемогала, а нищенствующая переживала самое тягостное время и,— как видим из этого бесхитростного рассказа,—гибла, «убессиливая» на дорогах.

Но до тех пор сила Христова имени оказала нашей родине своеобразную услугу, потому что,— за недостатком других,— это большая распределяющая сила. В числе самых насущных потребностей крестьянской избы есть и насущная потребность «подать ради Христа», и много горечи в положении семьи, которая на стук в оконце и на молитву вынуждена ответить: бог подаст. Это значит, по большей части, что скоро — быть может завтра — и эта семья выйдет на ту же скорбную тропу.

Есть в Лукояновском уезде деревня Роксажон, лежащая на самой границе с уездом Сергачским. Ручеек и дощатый мостик отделяют деревню от такой же соседней, лежащей уже в участке господина Ермолова, соблазнявшего лукояновцев систематическим и сравнительно обильным кормлением. В Роксажон я приехал ранней весной открывать свою столовую, и одновременно со мной вошел в деревню старик нищий. Долго, пока собирался народ в сборную, я следил за нищим, как он шел по порядку, затягивая под каждым окном свой напев:

— Господи Иисусе Христе...

И редкое окно не открывалось, и из редкого окна не протягивалась рука с маленьким кусочком хлеба. На Сергачской стороне это был порядочный все-таки хлеб, хотя и с заметной примесью лебеды. В Роксажоне — это была лебеда, с едва заметной примесью ржаного хлеба... Но подавали в обеих...

Впоследствии мне пришлось провести несколько дней в Большом Болдине, и почти случайно я наткнулся там на трогательное объяснение этого единодушия, этого поистине самоотверженного милосердия, заставляющего отдавать предпоследний кусок хлеба тому, кто уже съел последний... Общественное значение этого явления в нашей некультурной и бесправной стране и громадно, и понятно. Вместо того, чтобы одному замкнуться со строго рассчитанным запасом своего хлеба, едва хватающего для себя, а другому умирать голодною смертью,— пер-

вый делится со вторым, увеличивает у себя примеси суррогатов, тянет, пока может, а когда не может — идет и сам с сумой на спине, с именем Христа на устах. И вот первые не умерли с голоду, а вторые недоедали, хворали, и вся голодная Русь тяжело, кое-как перевалила к новой жатве. Христово имя если далеко не уравняло богача с бедняком, то все же хоть до известной степени сблизило эти разряды и даже богача заставило участвовать в общем бедствии. Пусть одной рукой он наживался порой от народной невзгоды, но все же и у него шло много хлеба на милостыню, и он подмешивал нередко лебеду к своей ржи...

Итак, я жил в Большом Болдине, у вдовы содержателя постоялого двора. Это была, правда, добрая старуха, о которой у меня осталось одно из самых приятных воспоминаний. Землю у нее мир отнял, и она с двумя дочерьми кормилась, продолжая дело мужа. Жили они безбедно, но и не богато, и, кажется, вдове все-таки приходилось порой тяжеленько.

Раз, проснувшись рано утром, я сел записать свои впечатления, а в это время мимо окна прошла к хозяйке какая-то женщина. Потом другая, и вскоре обе они вышли, и обе, проходя под моим окном, прятали за пазуху по ломтю хлеба. Я стал считать вновь приходящих и насчитал в полтора часа около десяти человек.

— А много к вам нищенок ходит,— сказал я, когда хозяйка вошла с самоваром.

— Много,— ответила старуха спокойно.

— Я вот гляжу уже более часу...

— И-и... Этто что! Поглядел бы ты поранее, часов с четырех... Теперь скоро и совсем перестанут, к полудню.

— И все подаете?

— Как не подашь.

— Чай, много хлеба уходит.

— И не считаем мы, не годится считать.

— Почему?

— Хуже будет. Верно,— не смейся! Этто свояк у меня в N-ском селе живет. Так он, слышь ты, усчитать себя вздумал. Много, мол, хлеба подаем. Дай-ка, говорит, сосчитаю одну неделю, а на другую не стану подавать, погляжу, много ли, мол, менее на одних нас уйдет..

— Ну?

— То-то вот, как усчитал, ан на свою-то семью, без нищих-те, вдвое и вышло.

Эту легенду мне пришлось слышать не однажды, и всякий раз она повторялась с уверенностью совершенно испытанной реальной истины. Когда мы говорим порой, что «много есть на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам»,— то это для нас вопрос отвлеченный и теоретический. Когда же народ передает свою легенду об усчитанном хлебе, то для него это настоящее и близкое, самое практическое соображение, которое, помимо всего прочего, *выгодно* принять к руководству... И перед этой уверенностью, перед силой этой легенды исчезают и стираются отдельные индивидуальности, вырабатывается некоторая общая, мирская добродетель, создается целая общественная сила.

В другой раз мне довелось ехать на почтовых на юг уезда, по большому тракту. Со мною поехал за ямщика содержатель станции, личность с сиплым голосом и жестким нравом. Сам человек зажиточный и, по-видимому, кремень, он, как я слышал, изрядно прижимал ямщиков, находя, что голодный год как раз подходящее время для того, чтобы сбавить плату. А так как те упирались и выражали другие мнения, то между ним и «народом» установились те «истинно-практические» отношения, которые нам достаточно известны из многих других примеров. Все его отзывы были желчны, враждебны, и его менее всего можно было заподозрить в гуманности. И, однако, он расходился с лукояновскими «господами» в одном: не порицал правительство за выдачу ссуды.

— Помилуйте, ведь это беда была бы. Хлеба одного уходило,— не напасешься.

— На милостыню?

— Ну-ну!

— А вы считали?

— Не считали, а видно.

— Не подавали бы...— закинул я, ожидая, что он скажет.

— Как не подать. Не подашь *ему*, оттого у тебя больше не станет, а все-таки меньше...

— Это как?

— Так, господин, уж это верно...

Я знал уже, почему «это верно», и мне на этот раз было чрезвычайно интересно следить, с каким выражением он произносил слово *ему*. Это был тон истого «лукояновца», много и наверное сочувственно толковавшего с лукояновскими господами, разъезжавшимися со своих сократительных заседаний,— об *его* («пьяницы и лентяя») мерзостях и пороках. Во всяком случае, менее всего было в этом тоне христианской любви и снисхождения к ближнему...

Но легенда жива в его воображении, и результаты получаются те же. И впоследствии не один раз и не в одном месте приходилось слышать ту же легенду, видеть доброе дело, исходившее из дурных рук и не сопровождавшееся любовью... Хотя, конечно, чаще можно было видеть тот же кусок хлеба, подаваемый с ласковым, ободряющим словом, с добрым чувством...

В этом, без сомнения, очень много трогательного, и под легендой бьется, конечно, то же вечное начало любви, разыскавшее для себя ощупью, годами и поколениями эту наивную форму. Но разве для этого начала необходимы только такие формы? Мне каждый раз становится грустно, когда я подумаю, что эта народная доброта, эта огромная общественная сила, оказавшая в голодный год такие громадные услуги, избавившая нашу родину от бедствия и позора многих голодных смертей,— в значительной мере покоится все-таки... на арифметической ошибке...

Как бы то ни было, читатель, надеюсь, согласится со мною, что явление, которое я пытался обрисовать здесь этими сбивчивыми и слишком беглыми чертами,— полно глубокого смысла и заслуживает самого серьезного внимания. Нищенство на Руси — это грандиозная народная сила, изменчивая и упругая, то поглощающая в себе огромные массы, то опять выделяющая их из своих недр. Для внимательного взгляда — это показатель самых серьезных и глубоких изменений в глубинах народной жизни. Это уравнитель и буфер, до известной степени устраняющий многие опасности,— и во всяком случае о них предупреждающий, если суметь воспользоваться его указаниями. Вспомним хотя бы о том, что все самые

мрачные страницы нашей истории всегда обильны стереотипным припевом: «толпы нищих бродили по дорогам»... И самая страшная историческая ошибка состояла в легкомысленном мнении, что с этим явлением можно бороться внешними мерами...

Все эти мысли, с большей или меньшей ясностью, мелькали у меня в уме, когда мы ехали в обратный путь из лукояновской «Камчатки»... И мне невольно становилось жутко и страшно этой весны... Туман набирается над снежными далями, сгущаются облака, носятся и каркают вороны. Дорога рушится, и скоро уже, скоро все эти Шандровы, Чеварды, Петровки и Обуховки очутятся в весенней осаде, отрезанными от всего мира... А между тем, уездная комиссия, обмирающая, как уже было сказано, на две недели,— в последнем заседании решила продолжить этот период спячки: 7 марта постановлено, что 21 марта и 5 апреля обычных заседаний не будет. Итак,— полтора месяца уезд будет без центрального продовольственного органа и это — в самое критическое время!

Вот что по мнению лукояновских земских начальников значило: «спокойно заниматься своим делом».

XVI

ИНТЕРЕСНАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА.— НЕДОРАЗУМЕНИЕ.— «НА ОДНО ЛИЦО».—МАЛЫЕ НАДЕЛЫ

Да, наша русская жизнь, несомненно, обладает той особенностью, о которой мне приходилось уже говорить: все следы на ней затягиваются быстро, полно и незаметно. Пролетит в каком-нибудь месте русской земли в сухие годы красный петух, осветится она заревом, пронесутся крики и стоны, потянутся по дорогам телеги, сопровождаемые изможденными и усталыми погорельцами,— и, смотришь, опять на прежних местах становятся избяные срубы, опять крыши покрываются соломой и опять стоит себе деревянно-соломенная Русь, с надеждой на бога и со смирением готовая принять новое «попущение». А о пожаре уже забыли, и даже деревенская хронология не считается с ним. Очень редко услышите вы в деревне фразу: «это было до пожара» или «после по-

жара». Где их все-то упомнить, пожары-то эти! Столько их было — и больших, и малых, и середних, что уж и не различишь в памяти. И так все у нас. Письменность слаба, мемуаристов мало, и проходит событие за событием, туча за тучей, гроза за грозой, не отмечаясь в народной памяти, и если оставит какая-нибудь буря свой отголосок в народной песне, то такой смутный, глухой и неопределенный, что по нем даже не узнаешь, в чем тут дело...

На сей раз мысли эти вызваны во мне «кочубейством».

Говоря в одном из прошлых очерков о «Василевом-Майдане», я упомянул уже об интересной этнографической группе, населяющей значительную часть Лукояновского уезда. Василев-Майдан, расположенный на большой дороге, протянувшейся из Лукоянова в Починки, а оттуда далее на юг в Пензенскую губернию, представляет, если не ошибаюсь, последний, самый западный пункт расселения этой группы. Центр ее — Новая слобода в сорока верстах на юго-восток от Лукоянова. Вокруг кочубеевской слободы,— ближе — гуще, подалее — реже,— рассыпаны села (майданы), деревушки и поселки, жители которых отличаются от остального населения говором, одеждой и отчасти (слабо) обычаем.

Появились они здесь более ста лет назад. Ну, как бы, кажется, не помнить этим тысячам людей, переселенным с родины в чужое место,— откуда пришли их деды или прадеды. Но «кочубейство» не помнит. «Кто знает? Кочубейство, да кочубейство,— а более не знаем. Говорят про нас разно: паны, будакѝ, литва, поляки, черкасы... А с какой именно земли,— неизвестно». Одежда с поясами и «поньками» из самодельного сукна, головные платки, повязанные особенным образом (узлом наверху головы, вроде малороссийской кички), мягкий говор, порой с малорусским на ό, порой с белорусским произношением, кой-где мазаная хатка, кое-где обрывок песни, и всюду типические, сохранившие свои отличия физиономии (преимущественно у женщин),— говорят о какой-то иной родине. Но определенные воспоминания об этой старой родине исчезли.

В уезде я слышал, будто есть где-то старая «летопись», в которой «все написано по старине». Однако, кажется, речь шла лишь о церковной записи, которою от-

части пользовался священник о. Г-в, автор брошюры о Василевом-Майдане (на которую мне уже приходилось ссылаться). По словам Г. Г-ва, «жители села Василева-Майдана — малороссийского племени [1], вывезены из Черниговской губернии, Батурина и Опотеч (?)... Вместе со многими другими, находившимися в крепостной зависимости у графа Алексея Кирилловича Разумовского и жены его Варвары Петровны, они вывезены сюда на жительство в свободные леса из малороссийских имений Разумовских [2]. Первоначальное место поселения было сплошь покрыто лесами,— так что первые пришельцы должны были здесь останавливаться на небольших полянах,— и эти места, известные здесь под именем «майданов-полян», послужили поводом к названию селений. Так, например, Василев-Майдан,— иначе Василев-Стан, получил, вероятно, свое название от имени главного вожака переселенцев, остановившегося на этом месте со своей партией,— Василья; Елфимов-Майдан — от Ефима и т. п.».

К этим чертам можно прибавить еще смутные воспоминания о том, что не раз и в крепостные времена бывали голодные годы, когда бедные «паны» ели «жилые колоды (!), желуди и мякину, а о посевах нечего было и думать». Ну, и разумеется, как это бывало всюду на Руси,— «крестьяне самовольно уходили кто куда мог, кто куда знал, никто об этом не спрашивал, беглого никто не искал». «Паны брели врозь» со своей новой родины.

Уже в начале нынешнего столетия огромные жалованные владения Разумовских, населенные переселенца-

---

[1] Малороссами же называет всю группу Н. И. Русинов в статье, помещенной во 2-м томе «Нижегор. сборника», издававшегося под редакцией А. С. Гацисиого.

[2] Автор относит переселение к концу XVII или началу XVIII века, но это, по-видимому, ошибка. Так как речь идет, очевидно, о сыне бывшего гетмана Кирилла Гр. Разумовского, то переселение должно было совершиться уже при Екатерине. С другой стороны, автор говорит о построении первого храма в Василевом-Майдане в 1716 году, то есть еще при Петре. Это или тоже ошибка, или переселенцы-малороссы из имений Разумовского могли быть поселены в готовом селе, из которого жители разбежались (это ведь у нас бывало), или, наконец, они вышли, действительно, гораздо ранее.

«В ГОЛОДНЫЙ ГОД»

«В ГОЛОДНЫЙ ГОД»

ми, распались на две части: одна пошла в приданое князю Кочубею, другая Репнину. Этот последний владелец был хозяином Василева-Майдана, где и доныне одна местность называется «Репнинскими или Репьевскими сечами». Впоследствии Василев-Майдан и некоторые более западные поселения перешли к кн. Витгенштейну, а от него к Федору Петровичу Лубяновскому. Восточная, более значительная часть бывших имений Разумовских осталась за Кочубеями, и центр их, Новая слобода, до сих пор носит местное название «Кочубеевской слободы», а тянувшие к ней по крепостной зависимости села и деревни известны под общим названием «Кочубейства».

В «Новой слободе» воспоминания о прошлом также смутны. Один служащий в кочубеевской вотчинной конторе, состарившийся среди черных шкафов с разными «вотчинными делами», почерпнул из запаса своей старой памяти несколько обрывков: слободское и околослободское население составилось, по-видимому, не в раз и не из одного места. Разные названия, как будаки (будто бы от обуви, вроде «котов»), паны (из польских краев), лемаенки (из Малороссии),— обозначают разные наслоения этого пришлого люда Первая церковь куплена стариками на снос в селе Березенках (около Починок) и перевезена в слободу в 1791 году. В двадцатых годах управляющий кочубеевскими вотчинами Караулов вздумал было заняться «обрушением» кочубеевцев. В чем собственно было дело и какой опасностью грозили несчастные особенности «панских» костюмов — понять трудно, но только поньки (юбка из коричневого грубого домотканого сукна) и суконные же пояса, поверх поньки,— подверглись вдруг жесточайшему гонению. По приказанию Караулова, бурмистры резали на бабах эти юбки, срывали пояса и водили их в таком виде по селу «для сраму». Оказалось, однако, что народ не отступился от своей одежды. Он забыл свое происхождение и старую родину, оставил многие обычаи, изменил в значительной степени даже язык,— но вынес все гонения и отстоял особенности костюма.

К этому нужно прибавить, что все это кочубейство, паны, будаки и лемаенки — народ красивый, мягкий, как и их говор, и добродушный. Женщины очень стройны, отличаются даже походкой, гибкой и грациозной,

здоровьем и силой. Они любят веселье и песню (не в нынешний, однако, год) и, говорят, не отличаются суровой добродетелью. Впрочем—honny soi qui mal y pense...* Это, должно быть, такой же дар старой родины, как речь и одежда: в крови осталось еще солнце тех стран, где умеют и петь, и любить, и веселиться. А жизнь на росчистях из-под Муромских лесов не красна...

Двадцать второго марта я направился в юго-западную часть уезда и погрузился в самые недра кочубейства.

Выше мне приходилось уже говорить о положении продовольственного дела во 2-м земском участке, к которому принадлежит слобода со всеми прилегающими майданами и полянами. Уездная политика отразилась различно на описанной в предыдущих очерках залесной «Камчатке» и на бедных «панах». «Камчатка» понесла жестокую контрибуцию в начале войны уезда с губернией, контрибуцию, понизившую цифру ссуды до пяти фунтов. Однако, когда выяснилось, что и Нижний тоже не шутит, г. Бестужев ударил отбой, и цифра ссуды, поднявшись в марте, продолжала торопливо подниматься в списках на апрель. Итак, для «Камчатки» самое трудное время осталось назади. «Панам» самое трудное время еще предстояло; в ответ на некоторые меры, принятые в Нижнем, г. Пушкин сократил весенние ссуды: в марте общие цифры понизились, и редкие прежде выдачи по тридцати фунтов для сирот и безземельных — совсем исчезли. На апрель ожидали нового проявления того же сократительного направления...

Часа в два я сидел за столом в сборной избе села Дубровки, занося в записную книжку свои впечатления, пока в избу тихо набирались «старики». Мужики входили какие-то угрюмые, молчаливые, в толпе ясно чувствовалось напряженное и недоверчивое ожидание. Когда, видя, что изба почти полна, я обратился к дубровцам с несколькими словами, объяснявшими цель моего приезда,— мужики встретили эти слова угрюмым молчанием.

— Нет,— решительно сказал, наконец, один из толпы,— не выйдет!

---

* пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (*франц.*).

— Что не выйдет?

— Этак не сойдется у нас.

— Все мы бедные! — загудела толпа,— всех по ряду пиши, по порядку. Всем нужно! А этак не надо нам!

— Тридцать человек накормите, а остальным гладом, что ли, помирать!..

— Вот мне в хеврале давали, а ноньче отказ!

— И мне, и мне... А нам вот сбавили на трех человек!..

— Не выйдет... Не-ет, не выйдет...

Я начинал понимать... Меня поражало вначале то однообразие впечатлений, которое я выносил с сельских сходов. Мастерская картина, набросанная Л. Н. Толстым в его известной брошюре «Как помочь голодающему населению»,— казалось, совершенно исчерпывала все описания всех этих собраний «стариков» для составления списков столовых,— с их краткими, меткими характеристиками отдельных случаев нужды, с их серьезной правдивостью или благодушным юмором. Читатель, быть может, заметил, что и мне на протяжении этих незатейливых очерков приходилось не раз повторять ту же, данную Л. Н. Толстым, картину, варьируя только это бесконечное разнообразие метких народных словечек .. Однако, приглядываясь дальше, я невольно стал различать оттенки, которые все более и более глубокими чертами выделяли передо мной эти столь однообразные вначале картины, налагая на каждую отдельную «громаду — великого человека» черты ее особенной индивидуальности. Угнетенная толпа «нежителей» сифилитической Петровки, шумливые сходы в Кирлейке (Пруды тож), лукавые мордовские сходы, с которыми мне приходилось иметь дело впоследствии, наконец, сходы «панов», начавшиеся с легкого упорства в Дубровке и закончившиеся тяжелыми, почти потрясающими картинами, которые мне придется описать в дальнейших очерках,— все это раздвинуло передо мной первоначальную, общую схему, выдвинуло индивидуальные различия там, где прежде царило полное сходство и однообразие, где все казались прежде «на одно лицо».

Но если мужик кажется «на одно лицо» нам, имеющим более возможности и наблюдать, и анализировать

его,— то уже совершенно понятно, что мы тоже кажемся «на одно лицо» мужику. Чиновник, полицейский, земец, избранный на бессословном земском собрании, земский начальник, несущий с собой резкий принцип сословно-дворянского преобладания, врач, служащий по найму от земства, и исправник, представитель чисто административного начала, наконец, частный благотворитель в немецком платье — все мы для деревни просто «господа», действующие заодно, по какому-то одному неведомому деревне плану, «их благородия» [1], несущие в деревню какое-нибудь требование, побор и тяготу...

В соседних уездах, в соседней губернии выдачи производятся сравнительно щедро. Но вот уезд, постигнутый неурожаем в высокой степени, получает меньше других, и в самое трудное весеннее время «господа» начинают еще сокращать ссуды. Мужик не понимает причины, но отлично чувствует результаты, и при этих-то условиях являюсь в деревню Дубровку я, новое его благородие, никому неведомое, и требую у мужиков, чтобы они назвали человек тридцать «беднейших» для оказания им помощи. Дубровка, при звоне колокольцов, ждала случая принести какому-нибудь «господину» свои просьбы об общей помощи. Дубровка разочарована и, кроме того, Дубровка подозревает, что у господ есть тут какой-то общий единый план, план довольно лукавый. Дубровка назовет тридцать беднейших и тем признает, хотя и косвенно, что остальные не бедны, что остальные «продышут» и сами.

И вот мы с Дубровкой стоим лицом к лицу, а между нами стоит «недоразумение»...

— Всех по ряду пиши,— требует Дубровка.— Все равны, на полях ни зерна не было. Работы нет. По хуторам усюду народу усилило...

Это правда. От рабочих на хуторах нет отбою,— это говорили мне управляющие, и это не могло быть иначе.

— На степе́ тоже усилило народу, податься некуда.

И это опять правда: газеты были полны описаниями, как народ голодный метался «по степе́», сбивая цены и

---

[1] Мне стоило большого труда внушить мужикам, имею права на этот титул.

не находя работы, так как самарская и саратовская степи тоже выгорели от засухи.

— Все мы равны!.. *Какие мы жители!* Земли у нас по пяти сажень на душу!..

И это правда. С пятью саженями *какие жители!* Впоследствии, когда я приезжал закрывать свои столовые, Дубровка опять окружила меня, с робкой надеждой, что я такой «господин», который может что-нибудь сделать для нее,— что-нибудь побольше столовых. Старики с глубокой скорбью рисовали передо мною положение деревни. Вплоть к околице примкнула помещичья (кочубеевская) земля; свои пять сажень выпаханы совершенно. «Спросите кругом,— говорили мне мужики,— спросите, кто работает больше нашего? Никто! А спросите еще,— с какого месяца наши нищие идут по деревням с сумами? Хорошо-хорошо, как с Нового году...»

Да, это опять не зависит от «недорода» в нынешнем году. «Помилуйте,— говорили мне совсем с другой стороны,— о чем тут кричать и волноваться. Посмотрите на тех же дубровцев или пралевцев... Да ведь это вечные нищие. Это у них всегда».

Я никогда не мог понять эту точку зрения. По-моему, тем хуже, тем больше причин волноваться и ставить вопросы о том, как это могло случиться, и как это может оставаться, и как можно с этим мириться?

В данном случае произошло это очень просто. Мы видели, как обездолили себя василево-майданцы. Там, в тумане легенды, являются все-таки какие-то два проблематические субъекта с «золотой грамотой». В Дубровке не было ничего подобного, и однако, когда пришло время освобождения и выкупа,— дубровцы «забунтовали». По всей мужицкой Руси того времени (и только ли того?) носились какие-то мифические представления об общественных отношениях и, главное, о земле. Когда дубровцам предложили сделку с помещиком, старики стали соображать: «За что платить? Что господа станут делать с землею? Разумеется, отступятся без дарового труда, бросят и уедут себе за границу. Земля и так будет наша». Итак, перед дубровцами ясно выступила задача: платить за землю не следует, а если платить, то как можно меньше... А там,— все равно будет наша!.

И дубровцы на том себя утвердили.

Дубровцам тоже разъясняли, дубровцев тоже усовещивали, дубровцев тоже «усмиряли». Из толпы, меня окружавшей в то время, когда я слушал эту печальную историю,— вывели древнего старца, с седыми лохмами волос на старой голове, с потухшими глазами. Это был один из тех стариков, обездоливших Дубровку... Его тоже «усмиряли», он тоже противился.

— Верно! — подтвердил старик скорбно.— Исправник усмирял. Губернатор Муравьев [1] сам выезжал... «Что вы, говорит, мужики, опомнитесь, говорит! Почему землю не примаете? Несчастными себя делаете...» Хорошо, правильно говорил, нечего сказать... Да вот, поди ты! Миром уперлись, ничего не поделаешь...

Замечательно, что ни этот старик не винил себя лично, ни его, одного из виновников беды,— не обвинял никто. «Мир,— ничего не поделаешь». Мир осенила идея, мир «укрепился» на ней, мир решил... Что тут, в самом деле, поделаешь! Стихия, неизбежность, закон! «Деды— обездолили», но ведь деды думали сделать лучше, все думали «миром».

И вот, дубровцы после «усмирения» и увещания согласились принять надел в пять сажень,— все-таки меньше платить! Помещичья земля, та самая, от которой дубровцы отбились «самовольно»,— сомкнулась вокруг деревни, подошла к самой околице, и понемногу год за годом кольцо это давало себя чувствовать все сильнее. Теперь положение определилось окончательно: курицу выгнать некуда, сохе негде повернуться. Помещики, как и прежде, живут далеко, а в имении — управляющий. Управляющий заботится об увеличении дохода во что бы то ни стало. И доход доведен до «естественного» предела. Железный закон спроса и предложения — это тоже стихия, а этот закон заставляет идти дубровца на работу за ту цену, которую назначат, брать землю в аренду, «за что возьмут»... Этот закон сказывается тем, что в то время, как в других селах рабочим одна плата,— для дубровца специально существует другая, хотя бы дубровец работал тут же, рядом. Для дубровца выработалась особая, почти нигде не виданная испольная система.

---

[1] Александр Николаевич — декабрист.

В то время как в других деревнях и селах делят исполу снопы или зерно,— для дубровца выделяют «исполу» самую землю. За плохую, истощенную десятину (себе) дубровец обязан отработать хорошую десятину для Ново-Слободской кочубеевской экономии. Когда на полях созрел уже хлеб,— я видел их, эти поля. По одну сторону дороги моталось на ниве что-то такое жалкое и жидкое, о чем говорят: «колос от колосу не слышно голосу», и тут же наливался очень порядочный экономический хлеб. Оба они испольные! «Одни руки работали, и уж для себя ли мы бы не постарались»,— говорили дубровцы. А не возьми *эту* землю и на *этих* условиях... Да как тут не взять...

И вот почему дубровцы не *жители*, вот почему они работают, как никто, и все-таки с Нового года их бабы и дети, а часто и здоровые мужики ходят с сумами по уезду, с Христовым именем на устах... Вот о ком можно сказать, что они теперь в худшей «крепости» у помещика, чем были прежде.

— Как же, господин? — робко прорвалось несколько голосов, когда я прощался с дубровцами, оставляя уезд.— Неужто никто теперь не может помочь нам?

— Да... и дети наши должны страдать? — прибавил другой.

— И дети детей, и унуки унуков? — скорбно полувопросом кинул третий...

Дубровка с ее наделом в пять сажень — не одна. Освобождение крестьян представляет картину, набросанную широкою и мастерскою кистью. Но к картине придется еще вернуться для окончательной отделки. Она сильно нуждается в ретуши... «Малый надел», «даровой» и «нищенский» наделы,— какие это знакомые, какие избитые термины по всему лицу нашего обширного, богатого простором отечества! Они-то составляют почву, на которой сложилась жизнь и Малиновки, которую я посетил в тот же день, и Пралевки, и Логиновки, и Козаковки, и многих других деревень в уезде, в губернии, во всей России. От чего бы это ни происходило, но все же это — пятна, портящие картину, к которой, несомненно, придется еще вернуться, и вернуться даже не для одной ретуши, а и для более смелых поправок в самой перспективе.

Я не нашел для дубровцев слов утешения. Я заканчивал свои столовые, и с ними ликвидировал свои отношения к Дубровке и уезжал домой... Я не тот «господин», на которого Дубровка могла бы возложить свои надежды. Однако теперь, когда я передаю свои впечатления этому печатному листу,— у меня невольно теснятся вопросы: неужто, в самом деле, за историческую вину темного люда, за ошибку вымерших стариков должны безысходно нищенствовать и томиться целые поколения, «дети детей и внуки внуков»? И кому это нужно? Во всяком случае — не обществу, не государству!..

О, если бы печать могла и эти скорбные вопли Дубровок поставить в ряду практически неотложных «вопросов», выдвинутых голодным годом!..

XVII

ЧТО ИНОГДА НАЗЫВАЕТСЯ БУНТОМ.—КАНДРЫКИНЦЫ.— МАЛИНОВКА

Однако вернемся к прерванному рассказу. Итак, Дубровка требовала, чтобы я «писал поряду» от каждого двора, чтобы я произвел в ней «равнение» и свою ничтожную помощь расписал по-«мирскому», по душам. Я не мог уступить ей в этом требовании: моя задача была — подобрать всех тех, кому прежде других могла грозить голодная смерть... И мне нужна была для этого помощь схода. Я объяснил это, по возможности, понятно. Я старался убедить, что я не чиновник, что деньги у меня не казенные, что они собраны «Христа-ради» и не окажут влияния на ссуду [1], в особенности для остального населения. Старики всё упрямились. Пришлось прибегнуть к последнему средству.

— Ну, как знаете! Денег у меня немного, а нужда всюду. В других местах будут рады, что хоть нищих подберем. Прощайте.

---

[1] Увы! — оказалось, что господа земские начальники поспешили сократить ссуды во всех семьях, в которых кто-нибудь пользовался столовой. Я уже знал об этом, но надеялся добиться (и добился) отмены странного распоряжения, делавшего всю частную благотворительность совершенно бесцельной.

Я сложил свою книгу. В задних рядах поднялось сразу волнение.

— Что вы, старики! Что вы делаете? Разве этак можно отпускать человека? Не слышите, что говорит он? Благодарить надо! Вот Анны Мажукиной дети... Татьяна Балахнина под окнами, как планида, бродит. Что вы, что вы, опомнитесь.

— Говори, староста! Все будем говорить по совести. Пишите, господин!

Деревня уступила. «Житель-середняк» очищал место нищим, бродившим, по чьему-то образному выражению, «как планиды», взывая Христовым именем к разделу последних крох лебедного хлеба. Опять сход принял обычную физиономию, опять посыпались меткие словечки, и список быстро стал наполняться именами вдов, безмужних жен, брошенных на произвол судьбы сирот, которым не выдают ничего по каким-то совершенно непонятным соображениям («кого надо — не пишут, а кому бы не надо — дают»). Таких набралось тридцать человек. Затем мы стали. Конец! Каждое новое имя, называемое кем-либо, вызывает уже замечание: «Нужно, да таких много»...

Я встал, поблагодарил стариков и сделал распоряжение о доставке ранее уже заготовленного хлеба. Но дубровцы тесно сомкнулись вокруг стола.

— А как же нам, ваше благородие, мужикам-те? Ведь все приели, гладом, что ли, помирать будем?..

Это уже выступает, как и всюду, другое недоразумение. Я попрошу читателя ясно представить себе картину: тесная изба, толпа мужиков, впереди — староста, сотские, старики — все народ, привыкший к объяснениям с начальством и до известной степени ответственный. Они высказываются осторожно, глядят выжидающе и робко. В их голосах слышно в одно и то же время и желание сказать нечто, выручить деревню, выпросить нечто для мира, и готовность отступить при первом признаке грозы, которая может настигнуть прежде всего именно их. Говорят они почтительно и даже с лицемерным смирением.

За ними сплошная, слитная, безличная масса, из которой слышен то сплошной гул, то раздаются резкие, определенные, часто слишком резкие и слишком определен-

ные сентенции, вызывающие сочувственный ропот. В таких случаях передние озираются,— для того ли, чтобы сдержать «бесчинство», для того ли, чтобы показать перед начальством, что они не солидарны,— во всяком случае, озираются безуспешно... да и надо же хоть кому-нибудь, хоть как-нибудь высказать истинное настроение и истинные взгляды «мира»... Вот приемы деревенского схода, заявляющего неудовольствие и жалобы... И в середине этой толпы — я, олицетворенное на сей раз недоразумение, до которого все сие отнюдь не относится...

Однако у меня спрашивают, и я думаю, что обязан ответить.

— Приедет земский начальник,— расскажите все это ему.

— Приеди-ит...— иронически говорят мужики.— Да он никогда и не бывал...

Это, конечно, для меня не новость, но у меня все же есть ответ:

— Ступайте к нему.

— Гонит.

Мое положение, как советника, становится затруднительнее. Дубровка спрашивает у меня, может ли быть, чтобы от высшего начальства соседнему уезду отпускалось по тридцати и сорока фунтов на всю семью, а на них пятнадцать — двадцать со всякими вычетами...

— Пошлите,— говорю я,— кого-нибудь сначала в Лукоянов, в продовольственную комиссию с жалобой, а если там не уважат,— пишите в Нижний...

«Недоразумение» принимает новый облик. Передних как-то отшатывает от меня, и вблизи образуется пустое пространство. В задних рядах — сразу смолкают и гул, и ругательства, довольно изобильно сыпавшиеся до этой минуты, и жалобы... Мужики как-то настораживаются...

— Это... как же? — сдержанно спрашивают впереди,— через ряд?..

— Помимо, то есть, начальника... Жалобу?

Я объясняю, что жаловаться высшему начальству на низшее всегда можно.

— Ведь вы,— говорю,— у начальника были?

— То-то были.

— Отказал?

— Ну!..

Тишина становится напряженной.

— Значит, теперь остается просить выше...

— Нет! — решительно и резко говорит ближайший ко мне мужик, кажется, староста, озираясь назад и как бы желая запечатлеть свою мысль в массе.— Нам надо помирать, а через ряд на начальника... невозможно.

Картина резко раздваивается. Впереди — лицемерное смирение, доходящее до готовности «лучше помереть», сзади ропот, ругательства, комментарии вроде того, что «гладом поморит», «и то, что есть, отымет»... И чем дальше, тем сильнее и резче...

— Как знаете,— сказал я,— по-моему, прямая просьба, хотя бы и «через ряд», лучше, чем то, что вы теперь говорите. Прощайте.

Вся эта сцена произвела на меня странное впечатление. В этом мгновенном молчании, в этом испуганном удивлении, в этом робком смирении, во всей атмосфере этого схода в последнее мгновение пронеслось что-то такое, что заставило меня невольно спросить себя: «Уж не бунтую ли я как-нибудь нечаянно дубровцев, в самом деле?..» Кажется, нет! Кажется, то, что я говорил,— просто, ясно, непререкаемо и законно. Кажется, наконец, что этот глухой гул под стенами и в углах, гул, исполненный такого мрачного возбуждения и так странно оттеняющий лицемерное смирение первых рядов,— действительно хуже законной жалобы... И, однако... Мы видели, как была понята и к каким последствиям повела законная просьба жителей Учуева-Майдана.

Народ от «законных» жалоб отучали долго и успешно.

Уже спускались сумерки, когда с Н. П. Александровым, управляющим одного из ближних хуторов и спутником моим на этот раз,— мы въехали в широкую улицу большого села Кандрыкина. По отзыву окрестных жителей и местного священника, Кандрыкино хотя и пострадало, но все же меньше других, и потому село это не входило в мои планы. Но мне нужно было у писаря получить сведения о деревушке Малиновке, в которую мы и направлялись.

На улице мы встретили оживленную гурьбу ребят, тащивших большой ушат из училища. Это школьники,

которым священник ухитрился из сумм, отпускаемых на этот предмет и, кажется, частью собранных им лично,— устроить обед и ужин... Эта небольшая сцена рассеяла отчасти грустные мысли, навеянные на меня Дубровкой (я не знал еще тогда, что мне предстояло впереди, на следующий день!). Затем разговор с батюшкой, человеком истинно добрым и сострадательным ко всяким нуждам своего духовного стада, еще укрепил это впечатление, и мы с Н. П., весело разговаривая о кандрыкинцах, поехали к волостному правлению. Кандрыкино большое село, построенное на отлогом холме, тремя порядками, по обдуманному плану: три параллельных улицы, отстоящие почти на полверсты друг от друга, разделенные широкими полосами выгонов и огородов с правильными рядами нежилых построек в этих промежутках. С первого же взгляда на село еще с дороги, из-за оврага, видна в этом плане чья-то заботливая устроительная мысль. Сами ли переселившиеся «паны», или умный помещик придумал этот план,— во всяком случае видно, что село сразу же село на своем холме разумно, удобно и широко. По общим отзывам, кандрыкинцы и до настоящих времен держатся крепко, работают отлично и, главное,— дружно. Никто не берет так охотно крупных работ миром, как они, и нигде этот сложный механизм не работает так хорошо и отчетливо. Николай Павлович Александров, на своем хуторе, затеял очистку огромного скотного двора. Взялись за это кандрыкинцы, и вот в первое же воскресенье на хутор приехало четыреста подвод сразу. Наниматель боялся галдения, споров, проволочек и беспорядка. Не прошло, однако, и двадцати минут, как хуторские авгиевы стойла были разделены стариками на делянки, каждый работник узнал свое место, каждая подвода стала в свой ряд — и в день все было кончено. Мир заработал сто рублей на мирские же надобности. Таким же образом кандрыкинцы нанимаются на жнитво, на косьбу, и еще недавно на заработанные миром деньги они построили (или ремонтировали) церковь, что стоило около шести тысяч.

Пока мой спутник рассказывал мне все это,— мы подъехали к зданию сельского правления. В окнах виднелся свет, через запотелые стекла можно было разглядеть тесную толпу, и через стены просачивалось жужжа-

ние и гул. Сборная изба вся гудела, точно улей. Очевидно, кандрыкинский «мир» обсуждал какое-то насущное и волновавшее мирское дело.

Когда мы вошли в избу,— голоса сразу стихли, как будто мы застигли врасплох какой-нибудь заговор. Навстречу нам поднялся из-за стола староста, мужик средних лет, черниговского типа, с вытянувшимся вперед горбатым носом, похожим на клюв. Сходство с петухом усугублялось тем обстоятельством, что волосы у него торчали кверху, глаза сверкали гневом, и, видимо, ему трудно было сдержаться, чтобы вновь не кинуться в прерванную нами схватку с мирянами. По-видимому, он сейчас только выдержал жестокий натиск, и на лбу его виднелись даже крупные капли пота.

Мы спросили писаря, которого здесь не оказалось, и в ожидании сели на лавку.

— Что ж вы, старики, продолжайте,— сказал Николай Павлович.— Мы подождем.

— Нет... так мы, по своему делу... Кончили,— кинул староста, как-то нервно стуча рукой по столу и быстро оглядываясь на мирян, как будто с целью убедиться, что они, с своей стороны, принимают это перемирие. Мужики угрюмо молчали.

— А писарь...— с заминкой прибавил он,— да не в Малиновку ли он уехал?

— Пьян лежит! — резко нарушая неловкое молчание, прорвался вдруг один голос.

— Разумеется, пьян... Завсегда пьяной... Какая Малиновка! — загалдела толпа.

Староста выпрямился, сверкнул глазами и стукнул кулаком по столу...

Перемирие, очевидно, оказалось нарушенным со стороны мирян.

— Чего зеваете... [1] Чего он пьян?..

— Чего пьян! Оттого, что напился! А ты со старшиной покрываешь! Мы прямо говорим...

— Скрывать нечего!

— Через него мы несчастны!

— Через вас усех... Прошлый год писарь пьянство-

---

[1] «Зевать» — по-местному кричать.

вал, мы без обсеменения остались. Ноньче опять хотите без семян оставить!

— Молчите, не от этого остались.

— А отчего?

— Оттого!

— Нет, ты говори отчего?

— Оттого... Кто вам виноват... Сами виноваты...

Изба мгновенно опять наполнилась тем гулом, который царил здесь до нашего прихода. Староста петушился и выходил из себя, миряне обрушивали на него, на отсутствующего старшину и, главное, на писаря — целую бурю жестоких обвинений. Через несколько минут мне удалось схватить сущность вопроса.

Дело в том, что в это время по всему уезду составлялись приговоры о ссудах на обсеменение яровых полей: уже в прошлом году многие деревни получали ссуду и,— такова сила формулы «все благополучно»,— земские начальники (без проверки) сократили цифры настолько, что значительная часть озимых полей в уезде осталась незасеянной (что опять-таки установлено официально). Кандрыкинцы не получили ссуды вовсе и, как мы это уже видели в «Камчатке»,— приписывали свою невзгоду вине непосредственно сельского начальства. Теперь приходилось думать о яровых семенах. Надо заметить, что, при неурожае озимей, яровые хлеба у кандрыкинцев уродились порядочно. Ввиду этого было решено, что им семян не надо вовсе.

В этом смысле, угождая земскому начальнику, старшина, староста и, разумеется, писарь составили приговор от имени общества, которым удостоверили, что все количество семян засыпано в общественные магазины. При этом они в числе засыпанного хлеба привели и тот, который предполагался у домохозяев в амбарах. Иначе сказать — сельские власти дали ложные сведения.

Что станете делать! Я говорил уже о взаимном и возвратном действии высшей и низшей уездной политики. Высшая проводит «взгляд», а низшая услужливо его подтверждает. На сей раз высшая политика провозглашает: «семян нужно поменьше», и низшая спешит угодить: «все засыпано-с». И обе довольны, только... поля останутся непременно незасеяны. То, что было на дому, или съедено, или продано для покупки неуродившейся

ржи. И вот — на бумаге семена есть, на деле — семян нет. Мужик кидается прежде всего на старосту и писаря. Староста и писарь не смеют идти против земского начальника... И вот отчего кандрыкинская сборная изба гудит, как улей. Кандрыкинцы вознамерились непременно «бунтовать» просьбой о семенах, хотя бы и «через ряд»... Староста, боясь земского начальника, удерживает от такого бунта.

Минут через двадцать явился писарь («умывался», по словам посланного за ним парня), снабдил нас списками, и мы вышли из избы. И как только мы вышли, изба опять загудела сугубо. Упреждая события, скажу, что о «бунте» кандрыкинцев стало известно губернатору; произведена проверка, и семена выданы.

Бунт, значит, кончился на сей раз благополучно.

До Малиновки было всего три версты, однако, когда мы въехали в деревушку, то мне показалось, что уже глубокая полночь. Избы, занесенные снегом, глядели на улицу слепыми окнами; вверху из-за туманных облаков выглядывала луна, по улице легкая метель несла белую изморозь, ветер протяжно шумел в голых ветвях берез. Нигде — ни огонька, несмотря на ранний час. Это — черта голодного года. Лен тоже не уродился, работы бабьим рукам нет: долгий вечер наполнен жуткой тоской и плачем голодных ребят. И деревня старается сократить день, матери рано укладывают детей, сном обманывая их голод, пустые печки стоят холодные, светить тоже незачем...

Мы ехали вдоль пустой улицы в надежде встретить, наконец, огонек. На наше счастье навстречу нам попался староста, запоздавший в слободе у начальства, и скоро разбуженная деревушка собралась в сборной. Опять разочарование, опять объяснения, опять жалобы, между прочим — и на недостаток семян... Черная изба, в которой происходили эти разговоры, была вымазана извнутри (полы и стены) глиной. Лица, меня окружавшие,— типичные малорусские. Вот нестарая баба, с головой, повязанной платком (кичкой), стирает полой грязный стол. Лицо, одежда, фигура — прямо с картины Маковского. Только мы привыкли видеть такие лица среди

чистых, выбеленных стен, с узорными полотенцами на стенах, с пучками сухих цветов и с вербами за иконой. Здесь сажа насела на потолок, на стены, обмазанные в силу старой привычки. Лица изможденные, угнетенные, но все же выразительные, отчего эта скорбь проступает еще резче...

— Выбився народ, выбився просто страсть. Да что: земли шесть сажен!

Семена им обещали выдать, но... на надельную землю, то есть на эти шесть сажен, не считая арендной земли. А они и живы только арендой. Тут, очевидно, опять бы нужна просьба «через ряд»... Не знаю, состоится ли она, или малиновцы предпочтут «помирать», но пока — они думают о живом и снимают, по обычаю, земли в кочубеевской экономии, не зная еще, пошлет ли им бог семян. Еще несколько лет назад, при таких же обстоятельствах, можно было сказать наверное: извернутся! «Ён достанит» — знаменитая щедринская формула, которою Русь жила долгие годы! Она-то и создала эту привычную уездную политику... «Ён достанит!..» И «ён» доставал, доставал, доставал... Приходится еще раз вспомнить характерную фразу А. А. Демидова, которую слышали мы в нижегородском губернском собрании: «Кричали, просили... Мы не дали ни зерна! Никто не умер». Это относилось еще к весне 90 года... Осенью девяносто первого А. А. Демидов сам уже бил в набат: пособия, пособия! «Ён больше не достанит». Но в Лукояновском уезде щедринская фраза оставалась во всей своей силе...

Здесь было все то же, что и в Дубровке, те же черты разочарования и грусти. То же непонятное сокращение на март, те же сироты, переведенные на пятнадцать фунтов, те же семьи, отцы которых где-то там, на белом свете, получают жалованье по два рубля в месяц, вследствие чего земский начальник лишает ссуды оставшихся, как будто два рубля и двадцать фунтов муки на месяц — такая роскошь, что уже никак не могут существовать вместе [1]. Только здесь судьба послала нам под конец не-

---

[1] Я не привожу здесь имен и цифр, чтобы не утомлять читателя повторениями. У меня записаны десятками и самым точным образом соответствующие факты, доказывающие, что это была именно бездушная и сознательно жестокая система.

большой эпизод, который, точно луч, осветил сумрачные впечатления этого ночного схода.

Список был уже составлен. Мы отобрали обычный контингент многодетных вдов, увечных, всех этих несчастных «с глупино́й», «с глушино̀й», «подслеповатых», «слюнявых», «негодящих» и т. д., которых всюду помещали в списки бесспорно,— и остановились. Дальше шла уже «ровня», которой я помочь не мог, потому что «таких много». Я собирался кончать, как вдруг раздался резкий, почти еще детский голос, звучавший недовольством и протестом.

— Старики! А от батьки так никого и не запишете?

Говорил парень лет тринадцати, очередной десятский, собиравший для нас стариков. Он молча стоял все время, протиснувшись незаметно в передний ряд, заложив руки за пояс, и, видимо, держал про себя все время заботу о своей семье. Видя, что его семью обошли, он вдруг «забунтовал» против мира. «Неладно, старики!»

— Ишь ты, пузырь,— сказал кто-то.— Отец у тебя на жалованье... Тебе бы у дверей стоять надо...

— На жалованье! Како́ жалованье, сами знаете. Нешто он нас, экую ораву, прокормит на четыре-то рубля! Что вы это, старики! Бога не боитесь!

— Все мы эдакие,— нерешительно говорит кто-то. Однако смелое вмешательство юного птенца, защищающего свое гнездо, видимо, нравится миру.

— Тебе бы, пузырю, вон где, у дверей стоять, а не со стариками... Вишь ты, влетел какой слетыш! Да и то верно: бедствуют... Внесите уж, коли можете, ваше благородие.

Мужики смотрят на меня. Я чувствую, что мир отступает «от равнения», но мне и самому хочется позволить себе эту маленькую роскошь, отступить на минуту от этих аптекарских взвешиваний нужды. И я вношу парня тридцать шестым, нарушая прежде намеченные границы и округленность цифры. Парень тотчас же поворачивается и с тем же серьезным видом идет вон, может быть, к матери,— сообщить, что один рот с хлеба долой.

На лицах крестьян бродит что-то вроде улыбки... Но эпизод быстро изглаживается. И здесь выступает во-

прос: как быть остальным мужикам — «жителям», вопрос, на который мне нечего ответить...

Тихою темною ночью мы вернулись в Слободу, и я переночевал здесь в усадьбе, в самом центре кочубейства... И впечатления дня все толпились кругом, покрывая спокойную обстановку старого дома. Просторные комнаты, мягкий свет лампы и портрет старого Кочубея, глядящий на меня с высокой стены загадочным взглядом.

XVIII

ПРАЛЕВКА.— ИСТОРИЯ МАКСИМА САВОСЬКИНА.— В МЕТЕЛЬ

— Пралевка... да, Пралевка, действительно, нуждается...

— Что уж и говорить... Надо бы хуже, да нельзя.

— Из худых — плохая деревнюшка.

— Бедствуют сильной рукой в Пралевке. У нас плохо, а уж у них, просто сказать, самая беда.

Такие отзывы пришлось мне заносить в свою записную книжку всякий раз, когда, спрашивая о состоянии той или другой деревни, я доходил до Пралевки. Начиная с земского начальника и станового и кончая дубровскими и малиновскими мужиками, которые и сами являются «из плохих худыми» в уезде,— все уступали пальму первенства Пралевке. «Не лучше пралевских» — это мера нужды, которою впоследствии характеризовали свое положение в других местах, изредка варьируя этот отзыв «не лучше пралевских или дубровских». В волостном правлении в Новой слободе молодой и отлично искусившийся в уездной политике писарь держал себя со мною настоящим дипломатом и только при упоминании о Пралевке откровенно махнул рукой. На Пралевку даже уездная дипломатия не пыталась набросить покров довольства и благополучного обстояния...

А между тем... Конечно, это очень странное недоразумение, но и в деревне, всеми признанной за бедствующую, земский начальник Пушкин не отступил от своей системы. На четыреста девять человек ее населения в марте было выдано сто шесть пудов, то есть по десяти фунтов в среднем на человека ..

Переночевав в Новой слободе, утром я отправился в эту злополучную деревню, не ожидая, по прежнему опыту, ничего хорошего. Действительность, однако, превзошла мои мрачные ожидания...

Небольшая деревнюшка раскинулась у «вершинки». Широкая улица или, вернее, два порядка по косогорам, безлистые ветлы, среди которых шумел не устававший ветер, занесенные снегом избы с едва заметными окнами. На улице пусто, и долго мы едем, не зная, где остановиться, пока внезапно не вскакивает на задок наших саней какой-то парнишка. Это — опять малолеток-десятский. Он услышал колокольцы и счел своим долгом явиться к начальству.

— Где у вас староста?

— Нет старосты у нас.

— А где же он?

— Ево земской посадил.

— За что?

— Кто ево знае... Посадил.

— Да ведь кто-нибудь за него есть?

— Комендат (кандидат) есть.

— Зови комендата.

Мы заезжаем в сборную, которая опять оказывается в избе все того же старосты, отсутствующего по независящим обстоятельствам. Курная изба, еще хуже дубровских и малиновских, хотя и здесь видна робкая попытка — вымазать стены глиной... Старая привычка забытой родины! Бабьи руки старательно мажут и чистят, а дым чернит и покрывает потолок и верхушки стен налетом сажи, которая висит, точно черный иней... В зыбке плачет ребенок, тихо, бессильно и жалобно... Изба, деревня, лица «стариков», потихоньку набирающихся в избу, отмечены особенным, неуловимым оттенком какого-то странного выражения... Голод...

Арест старосты служит злобой деревенского дня. Староста арестован «за мир»...

— За правду...— угрюмо отвечают на мои вопросы мужики.— Скажешь правду, потеряешь дружбу... Правды начальство не любит...

Я описывал в прошлом очерке «бунт» кандрыкинцев «из-за семян», и мы видели там старосту, отстаивавшего уездную политику начальства. Мы видели также, что

ему приходилось-таки жарконько от «бунтовавшего» мира. Здесь было другое. Впоследствии я видел пралевского старосту, когда его семидневное сидение кончилось. На одной из фотографий «голодного года», продающихся теперь в Нижнем-Новгороде и, кажется, готовящихся к печати [1], он изображен со своею медалью, стоящим «для порядку» около обедающей толпы. Если бы не эта медаль — его фигура совсем потерялась бы в толпе, а между тем, это фигура интересная и стоящая внимания. Густая шапка волос, борода с завитками, как у Юпитера, и очень мягкое, доброе лицо, с серьезными, ласковыми глазами... Его курная изба, его плачущий ребенок, его черный хлеб с лебедой, который я увидел на столе («это еще для старосты испекли, на высидку»,— пояснили мне при этом, чтобы объяснить выдающиеся качества этого комка грязи) — все это в глазах земского начальника еще не нужда, и староста не смел рассчитывать на пособие для себя. Но он не стоял на высоте уездной политики...

Наоборот: староста беспокоил начальство, староста не только не смирял «бунта», выражающегося в ходатайствах о хлебе, но еще взял на себя всю тяжесть этих ходатайств за односельчан и... надоел напоминаниями о том, что у деревни нет семян, что в деревне есть голодные и что один из них, Максим Савоськин, пожалуй, помрет от лебеды и лихоманки в совокупности... Впоследствии Н. М. Баранов, нижегородский губернатор, вместе с доктором и с земским начальником были в Пралевке, и все, что говорил староста, оказалось правда... Эта старостина правда ничего не потеряла, конечно, от того, что в то время, о котором я веду речь, староста сидел в кутузке...

Признаюсь откровенно, когда старостина мать, когда старостин отец, когда старостины односельцы, обступившие меня, одинокого представителя филантропии (ведь все мы «на одно лицо»,— напоминаю читателю в пояснение), сообщили мне деревенскую новость, что старосту *посадили*, и за что именно посадили,— мне сделалось как-то не по себе. Мне показалось, на одно, впрочем,

---

[1] Выпущены в виде альбома в 1893 г. фотографом М. Дмитриевым.

мгновение, что мне, как будто, не следовало приезжать сюда, что я, как будто, действительно приехал не с тем, с чем бы надо, в эту деревню, которая несет жгучее страдание голода и явной несправедливости.

Я начинал здесь как-то не так уверенно. Когда, записав общие сведения, я поднял глаза на сход, то прежде всего мне бросилось в глаза лицо стоявшего передо мной Максима Савоськина...

Савоськин! Савоськин! Из всех тяжелых воспоминаний мрачного года — это имя возбуждает во мне самые тяжелые воспоминания, соединяется даже с некоторым укором совести. «*С мая месяца* 1891 г.,— писал г. земский начальник А. Л. Пушкин,— Савоськин болен лихорадкой...» Лихорадкой, а не голодным тифом, и потому г. Пушкин не видел никаких оснований увеличивать для него ссуду. В течение трех месяцев на семью из четырех человек (сам, старуха, слабоумный сын и другой сын семнадцати лет) было выдано ровно два пуда хлеба. Понятно ужасное положение этой семьи.

В марте Савоськину стало так плохо, что к нему позвали священника... О положении Савоськина заговорили, староста настойчиво докладывал о нем господину Пушкину. Тогда произошло нечто, почти невероятное по холодной и бессмысленной жестокости. В марте Савоськину ссуда была прибавлена, и выдано сразу... полтора пуда. Но — едва обрадованная хозяйка Савоськина испекла из этой ссуды для больного хозяина каравай чистого хлеба, как в избу Савоськина пожаловал фельдшер. Вы думаете — для лечения «лихорадки»?.. Нет — для проверки «ложных слухов» об его нужде и болезни... Фельдшер был тоже одним из хорошо дисциплинированных органов уездной политики... Я, конечно, не позволил бы себе излагать весь последующий эпизод — так он нелеп и маловероятен,— если бы не имел случаев убедиться в подлинности каждой черты... Дальше произошло вот что: фельдшер услышал запах свежего хлеба, заглянул в печку и сказал:

— А! У тебя вот какой хлебец! Как же говорят, будто ты болен от голода. Вот я доложу начальству!

И доложил! А г. Пушкин увидел в этом хороший полемический прием. Священник утверждает, что Савоськин умирает от голода. А фельдшер доносит, что за-

стал у него чистый хлеб. Правда, хлеб испечен из добавочной ссуды, только что выданной тем же земским начальником именно вследствие толков старосты и священника. Это нимало не останавливает земского начальника. Он тотчас же сажает старосту в кутузку за ложные сведения о нужде Савоськина, а по поводу священника предпринимает переписку угрозительного свойства на тему о том, что священники позволяют себе «крайне неосторожные и неосновательные заявления», будто их прихожане страдают от голода... Поэтому земский начальник просит внушить священникам, «дабы они не так резко ставили свои определения», и грозит о подобных случаях доводить до сведения высшего начальства[1].

А еще через некоторое время Савоськин и с своей стороны принял участие в этой истинно лукояновской полемике. Писать он не умел... Он просто взял да и умер.

Мне приходилось уже говорить о двух типах благотворительной деятельности. Вы или избираете определенное место, завязываете близкие связи и с сердечным участием следите за всеми оттенками нужды, преследуя ее, так сказать, вглубь, или раскидываетесь сразу на широкие пространства, стараясь помогать безличным для вас сотням и тысячам. Мне выпало на долю последнее,— а при этом всегда рискуешь пройти мимо Максима Савоськина... Я, разумеется, тотчас же записал его в столовую, не заметив, что моя столовая хороша, быть может, для многих, но уже не для него... Весной я опять побывал в Пралевке. До меня побывал в Пралевке губернатор с доктором. Он сделал гораздо больше, чем мог сделать я с моими скудными средствами, прибавив ссуду десяткам тысяч людей, но, когда я спросил у Савоськина, доволен ли он моей столовой и ходит ли он туда, он ответил, что не ходит. «Нутро», не принимавшее раньше лебеды, теперь уже не принимало и чистого хлеба. Я испугался, тотчас же выдал денег на пшеничный хлеб, на молоко, но было поздно... «Нутро» не принимало уже ничего, и вскоре Савоськин умер.

Но 23 марта он еще стоял передо мной, смущая меня своим исступленно лихорадочным взглядом и своим

---

[1] Этот замечательный документ я процитировал полностью в заседании губ. продовольств. ком.

невероятным рассказом о «каравае», о «фершале» и его доносе. Признаюсь, я сразу не поверил этому кошмарному и притом довольно бессвязному рассказу... Но все же это был именно кошмар, и я опять почувствовал то же ощущение неуверенности, неловкости и какой-то своей неуместности здесь, в этой деревне, носящей имя какого-то неведомого миру Праля, бывшего управляющего кн. Кочубеев, и теперь лишенной своего старосты, пострадавшего за мирское дело...

Тем не менее отступать, конечно, не приходилось, и скрепя сердце я вступил в ту же обычную борьбу с пралевским миром, требовавшим, чтобы я писал «порядку».

Я не мог писать «порядку», между прочим, и потому, что мои наличные средства в то время уже были распределены, и, явившись сюда, я уже рассчитывал лишь на будущие пожертвования, цифра которых мне была совершенно неизвестна и с которыми поэтому нужно было обходиться осторожно.

Час прошел у меня в самой тяжелой, напряженной борьбе с пралевским «миром», и мне удалось внести только пять или шесть имен. Но зато в этот час я и не заметил, как настроение толпы изменилось радикально. Ни одно имя не проходило без тяжелой борьбы; это было что-то вроде огромной давки у тесных дверей. Отказов не было,— все заявляли себя кандидатами. Эпитеты, которыми характеризовалась бедность, потеряли скорбно-юмористический характер, которым они были отмечены в других местах. Здесь в них было что-то жгуче-жестокое, устрашающее и отчаянное.

«Ребра у мужика потрескались... Не дышит... ро́зорвало от травы... шкура отвалилась... Все лысо, все помираем».

«Погляди на нас, господин! Мы вот к тебе пришли. Один евши, а двое не евши».

Я гляжу — впереди ужасное лицо Максима Савоськина. Под темным потолком, под полатями — какой-то сизый пар... В избе гул жестоких определений, эгоистических споров. Нищие толпятся к столу, «жители» отталкивают нищих: «Мы хуже вас, вы хоть просить привыкли»... Бабы плачут. Еще час, еще пяток имен, но зато изба превращается в зверинец. Я с какой-то внутренней жутью чувствую себя в положении человека, дразнящего

голодную толпу, дразнящего напрасными, жалкими крохами. Савоськин свалился на пол, я сажаю его рядом с собой. Но на его месте опять такое же лицо. Шум стоит сплошной. Прежде ругались между собой, теперь в задних рядах начинается ропот против меня... «Как пишешь... Что за порядок! Где закон!..»

«Бедствуем сильной рукой! Крайняя пагуба, погибаем головами своими... Ты что это пишешь?.. Кто еще такой приехал?.. Откуда взялся?..»

Я опять взглядываю на толпу, пытаюсь говорить спокойно. Отступать уже нельзя, кончить список надо непременно, но мне кажется, что я никогда его не кончу. Вдобавок мое спокойствие колеблется, кошмар сдвигается теснее. Какая-то красивая старуха уже несколько минут заглядывает мне в глаза, наклоняется к бумаге, хватает за руку... Голос у нее вкрадчивый, ласковый, отвратительный. Она служила у господ, она была красива, она знала когда-то обращение, знала тайну, как угодить, как улестить, как выпросить... И теперь она пускает в ход забытые приемы устарелых обольщений... Голова у меня начинает кружиться, мне кажется даже... это, конечно, слабость, но, признаюсь, была минута, когда у меня родился мгновенный вопрос: «Выйду ли я, выйдем ли мы все из этой темной избы?.. Или уж я слишком долго дразнил эту толпу, и все они сейчас кинутся и на меня, и друг на друга в общую свалку...»

— Листашка вот околевает, ево не пишут... А кого пишете вы, те дышут еще!..

Это еще первый голос, раздавшийся в этой избе за другого, а не за себя лично. Он выводит меня из оцепенения; я схватываюсь за него и вызываю, не без труда, молодого парня, негодовавшего столь бескорыстным образом. Он призывает еще двух или трех, и список, хоть тихо, подвигается к концу...

Вообще при составлении каждого такого списка вы чувствуете, как будто идете по самому дну этого «мира», подбирая подонки. В лучших случаях, когда дело идет спокойно и в лад, вы замечаете то мгновение, когда нужный вам состав исчерпан, и, если у вас средства ограниченные, а нужды много,— вы должны особенно чутко уловить тот критический момент, когда вы упираетесь как бы в некоторую ступеньку. Теперь пойдет уже следу-

ющий пласт, тоже нуждающийся, тоже требующий помощи... Но... троньте только одного или двух из этого нового разряда, как весь он заколышется и хлынет к вам... Таких много... «И меня, когда так, пиши, и меня, и Ивана, и Сидора»... «Миру», русскому деревенскому миру, в высокой степени присуще стремление к «равнению», и он предпочтет, чтобы из следующего разряда не попал никто, если нельзя попасть всем.

Ступенька эта, в большинстве случаев и при некотором навыке, улавливается довольно отчетливо... Но здесь,— уже в Дубровке и Малиновке, а в Пралевке особенно,— она как-то стерлась, и вот источник истинно мучительных ощущений при составлении списков. Тем более приходилось хвататься за первую значительную остановку самого схода.

Записано пятьдесят человек. Цифра зависела не от меня. Я был во власти этого галдения и шума и только делал вывод. Я рад бы был вписать еще столько же, но новая процедура казалась мне просто страшной, а всякое новое имя вызывало целое море шумливых споров... К тому же я чувствовал, что здесь нужна не столовая, а сплошное увеличение ссуды всем жителям, и обдумывал, как этого добиться...

Надо было кончать... И без того больше четырех часов ушло на работу, которую я привык заканчивать в час-полтора.

Впоследствии, после проезда губернатора,— я опять был в этой деревне не один раз. Смиренные лица, толковые разговоры мужиков, ласковые глаза «отсидевшего» уже старосты... Ссуда к тому времени была, если не ошибаюсь, утроена...

За деревней меня охватила метель. Вечереет. Снег летит по синеющим полянам и ложится сугробами, заметая несчастную Пралевку. Впереди в молочной мгле машут крыльями мельницы села Яз, сравнительно «благополучного», по отзывам соседей. По сугробам с клюкой бредет какая-то нищая и что-то бормочет, будто жалуется на кого-то или о чем-то просит. Я останавливаю лошадей и спрашиваю: откуда? — Из Пермеева... Боже мой, боже мой!.. Пермеево и Роксажон, Чирес и Кельдюшево, Михалков-Майдан, и Пикшень, и Козаковка, и весь этот угол уезда, где мне придется еще «со-

ставлять списки» и где ждет меня то же, что в Пралевке!.. В том настроении, которое меня охватило, название Пермеева звучит в моих ушах почти как угроза. Я даю старухе денег и приказываю кучеру ехать дальше... Она провожает меня застывшим взглядом, потом крестится, потом утопает во мгле...

Ямщик наклоняется набок, чтобы достать пристяжную кнутом, потом качает головою и произносит:

— Ну, и народ... скандальники!

Я понимаю, что он это о пралевцах.

— Как они вас!.. Ах, ты, боже мой! Нисколько не стыдятся...

Он мне сочувствует, по-видимому, искренно, и мне это доставляет облегчение. Но тут же ямщик добавляет:

— И то надо говорить. Оголодали, верно: бедствуют сильной рукой. Народ, как собака, сделался.

— Неужто хуже других? — спрашиваю я.

— Хуже, это верно! Вот всякий и тискается, без стыда. Конечно, есть и зря...

— Есть же?

— Все плохи... Ну, есть, которые уже вовсе выбились.

— А скажите, так ли мы список составили?

— Правильно, это правильно, что говорить. Тискались все... Ну, которых записывали — вовсе не дышут...

И то хорошо,— думаю я.

Он из Дубровки. Он, кажется, мне благодарен за то, что я сделал для его деревни, а дорогой мы беседовали с ним запросто, и в его внимательности ко мне, по-видимому, звучит действительное расположение. Он стоял у порога в сборной избе все время, и его серьезное лицо, лицо человека, который,— я чувствовал это,— был на моей стороне,— осталось в моей памяти среди этого тумана и кошмара...

— Еще одна,— говорит он, приостанавливая лошадей.

Из снежной мглы, на ровном поле,— где не видно уже ни куста, ни мельничного крыла, ни дерева,— появляется новая фигура. Не старая еще баба идет, спотыкаясь, по заметенной дороге таким шагом, в котором видно, что идущий потерял уже всякое представление о какой бы то ни было цели... Идет, пока несут ноги. Я осо-

бенно пугливо относился к этим нищим-странницам, и порой мне случалось останавливать простых путниц, глядевших на меня с изумлением...

— Откуда?

— Из Талызина.

Это уже из Симбирской губернии, верст за сорок.

— Зачем так далеко забрела?—Или уже так плохо?

Она устало опирается рукой на спинку моих саней, как будто колеблется, и потом, собравшись с мыслями, начинает:

— Видишь ты, господин, какое дело. Муж у меня, стало быть, ушел на заработки, на заработки, на чугунку-у... Ну, а я осталась и, стало быть, с детишками. Сироты еще у нас, да своих мало ли... А ён теперича не пишеть... Как ежели теперича нанялси, то пришлеть денег...

Я слушаю ее с удивлением... Сироты, дети, муж не пишет, и вдруг — все это кончается надеждой: «пришлет денег». Приступ не похож на жалобное нытье нищенки, да и в усталом лице выражение тоже не нищенки.

— Ну, стало быть, я в такой надежде, что пришлеть... как ежели нанялси. Я, знаешь, и надумала (она пробует улыбнуться) — насчет, знаешь, землицы... Потому нам с детишками без земли не пробиться. Я и сняла-а...

— Ну? — поощряю я.

— Сняла, да и работника, того значит, приговорила. Ён, стало быть, добер до меня, делает снисхождение, пять-ту рублей, бает, я тебе расчислю на сроки, а рупь подавай сичас. Без рубля невозможно. Без рубля сохи не налажу и в поле не выеду и не то что,— к другому наймусь...

До сих пор она все старалась улыбаться, скрывая под этой улыбкой стыд непривычного нищенства. Но тут на глазах ее сразу появляются непрошеные слезы, лицо передергивается. Она оглядывается кругом в пространство, затянутое метелью, и говорит упавшим голосом:

— Вишь ты... за рублем пошла, согрешила. Да забрела, видно, в голодну сторону, сами, слышь, помирают. Где тут рупь-то... рупь теперича добыть... Самим есть нечего. А без землицы теперича... ежели не снять, да не спахать... детишки...

Я даю ей этот несчастный рубль, за которым она бродит в голодной стороне по бездорожью, и чувствую, что я перед нею в долгу... Эта бодрая забота о земле, о детишках, этот неведомый работник, заранее, где-то в другой губернии, налаживающий соху и «расчисливший пять рублей на сроки», эта неумирающая надежда на лучшие дни,— все это вместе ободрило и меня, рассеяло мое малодушие. Да, может, и будут еще на Руси эти лучшие дни... будут! Хотя бы далеко, за этими тучами и вьюгой...

Я увожу с собой запечатлевшееся в памяти удивленное и просветлевшее лицо талызинской бабы. Она крестится, пытается поклониться в ноги и потом быстро и бодро идет к селу... Она обогреется в Язях, а завтра пойдет к детишкам. Что ж, и для этого стоило, пожалуй, ездить среди метели...

Передо мною Логиновка — конец кочубейства. Опять списки, опять, только в смягченном виде, те же картины...

Поздним вечером, среди тьмы и метели, я возвращался в Кочубеевскую слободу. Снег, невидимо откуда, летел над полями, шумел ветер, то подхватывая где-то в стороне голые ветви невидимых деревьев, то теряясь в широкой степи. Зги не было видно, даже небо нависло сплошной непроницаемой мглою, без звезды и просвета...

Мой доброжелатель ямщик молчал, внимательно вглядываясь в дорогу, а я одиноко обдумывал и переживал вновь все, что пришлось видеть и чувствовать в эти последние дни... Впечатление такой же, как эта ночь, глухой тьмы все сгущалось, сопровождая эти воспоминания... Я чувствовал какую-то роковую ошибку, какую-то скрытую ложь своего положения, которая лишала меня прежней уверенности и спокойствия. То ли я делаю, что надо, дразня своими крохами эту толпу и давая ей заведомо неисполнимые советы?

Понемногу мои мысли принимали все более определенное направление. Нет, так больше нельзя... Я думал о том, какое огромное дело — государственная помощь, и как ничтожны в сравнении с ней наши благотворительные крохи... И я решил, что необходимо обратиться

к кому-нибудь, кто может изменить все это, кто может вырвать судьбу изголодавшегося народа из враждебных рук политиканствующего крепостничества.

Двадцать шестого марта я был в Нижнем, 27 и 28-го в заседании благотворительного комитета и продовольственной комиссии прочел доклад, в котором, как умел, изобразил «систему» господ лукояновцев,— эти необъяснимые сокращения ссуды, непонятные и бессмысленные выдачи по десяти и пятнадцати фунтов, еще более непонятные «вычеты» господина Бестужева за какую-то «растрату по зделанию общества», вообще — всю эту жестокую систему «вымаривания», которою господа земские начальники ухитрились заменить систему государственной помощи и кормления.

В докладе этом по существу было немного нового. Уже ранее ревизия И. П. Кутлубицкого, которого сопровождал опытный статистик, Д. И. Зверев, вскрыла непривлекательные стороны лукояновской системы. Такие же сведения давали А. И. Гучков и госпожа Давыдова. Мой доклад явился, однако, последней каплей, переполнившей чашу. К тому же он совпал с драматическим моментом междоусобной борьбы губернии и уезда. Как раз в это время в борьбе этой соблаговолил принять участие кн. Мещерский. В своем «Гражданине» он разразился статьей против И. П. Кутлубицкого и против самого ген. Баранова, который, по мнению сиятельного публициста, «выдумал голод в Нижегородской губернии» из каких-то личных видов. Лукояновские земские начальники объявлялись, наоборот, истинными слугами царя, а лучшим из них выставлялся наш добрый знакомый, беспечный земский начальник 6-го участка, С. Н. Бестужев...

Генерал Баранов был задет и возбужден...

Судьба этого несомненно талантливого человека была прихотлива и странна Не в первый уже раз ему приходилось ломать своими руками то самое, что еще недавно он сам же и строил. Некогда в Петербурге, в качестве градоначальника, он обставил город рогатками, которые чуть не вызвали возмущение. Когда ему дали знать о волнении толпы, он прискакал на место и, ухватясь за рогатки руками, крикнул: «Ломай, ребята!» Рогатки были тотчас же сломаны под крики: «Ура, генерал Баранов!..» Теперь ему приходилось ломать лукоя-

новскую систему, которой он же дал укрепиться, ослабив земство, снабдив шутовской диктатурой предводителя Философова, удалив «по высочайшему повелению» Валова. И он принялся за исполнение этой задачи с энергией и блеском, на которые, действительно, можно было залюбоваться... После моего доклада, совпавшего с выходками кн. Мещерского, он заявил, что признает свою вину. Но не в том, что якобы выдумал голод, а в том, что допустил господ лукояновцев так долго применять свою систему. В этом он кается и налагает на себя эпитимью: немедленно же отправляется в Лукояновский уезд, чтобы убедиться в положении дела на месте [1].

На следующий же день (29 марта) почтовая тройка умчала генерала Баранова по испорченным дорогам на Арзамас. На следующее утро он переехал знакомую нам «границу» за Долгой гатью и, как снег на голову, очутился в самом центре отложившегося уезда... Здесь он вызвал к себе воинствовавших земских начальников, заставил господина Пушкина в первый раз посетить Пралевку и Дубровку, водил «начальников» по избам тифозных, причем привезенный им из Нижнего врач Н. Н. Смирнов ставил диагнозы. Это стремительное нападение на вражеский центр поставило лукояновцев перед дилеммой: петербургские «придворные связи» господина Философова были где-то далеко... Далеко был и верный паладин крепостничества кн. Мещерский, а губернатор, сердитый и готовый к самым решительным действиям, был тут, перед ними...

Второго апреля ген. Баранов ранним утром вернулся в Нижний, экстренно созвал в тот же день губернскую продовольственную комиссию и сделал перед ней энергичный и резкий доклад о своей поездке. Подтвердив все, что сообщалось раньше о подвигах господ лукояновцев в борьбе с голодающим населением, он дополнил картину несколькими юмористическими, а отчасти, правду сказать, и неожиданными чертами. «Во всех избах Лукояновского уезда,— говорил он, между прочим,— кроме столовых, я и мои спутники не встретили тараканов. Они исчезли от неимения пищи, так как хлеба с лебедой таракан не ест. Общее исчезновение прусаков из

---

[1] См. протокол губ. продов. комиссии от 28 марта 1892 г.

лукояновских изб,— прибавил губернатор с иронией,— может служить показателем заслуг прежнего состава лукояновской продовольственной организации».

«Теперь,— объявил генерал Баранов в заключение,— эта организация уже изменена. Во главе продовольственного и благотворительного дела поставлен В. Д. Обтяжнов (земский начальник Горбатовского уезда), ему дан в помощь г. Лебедев. Заведывание 1-м участком поручено земскому начальнику Семеновского уезда, г. Ленивцеву, и в помощь ему назначен г. Жедринский. Некоторым из местных сотрудников господина Обтяжнова совершенно ясно поставлено на выбор: *или оставить их занятия, или слепо исполнять требования Обтяжнова. Они выбрали второе»* [1].

Итак, уездная оппозиция сдалась на капитуляцию... Уже до своей поездки губернатор понемногу вводил «своих людей», которые занимали позиции. Теперь решительная атака ген. Баранова укрепила их положение, и на месте диктатуры Философова очутилась диктатура Обтяжнова. Над отложившимся крепостническим уездом водружено знамя губернского «просвещенного абсолютизма».

А главное — отвергнутое лукояновцами дополнительное количество хлеба вновь двинуто в уезд, и ссуды стали выдаваться более широко и более щедро...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«НОВЫЕ ЛЮДИ».— АНТИХРИСТ.— ВЫВОДЫ НИЖЕГОР. ГУБ. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ.— «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».— СИЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.— 1892—1906.—ЗЕМСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯ.— БАРАНОВ И ФРЕДЕРИКС.— МОРАЛЬ ГОЛОДНОГО ГОДА

Мораль голодного года!.. Нет, это решительно мне не по силам, и для этого нужно бы написать не одну еще такую книгу, которая, думаю, и без того утомила читателя однообразием этих суровых и серых мужицких

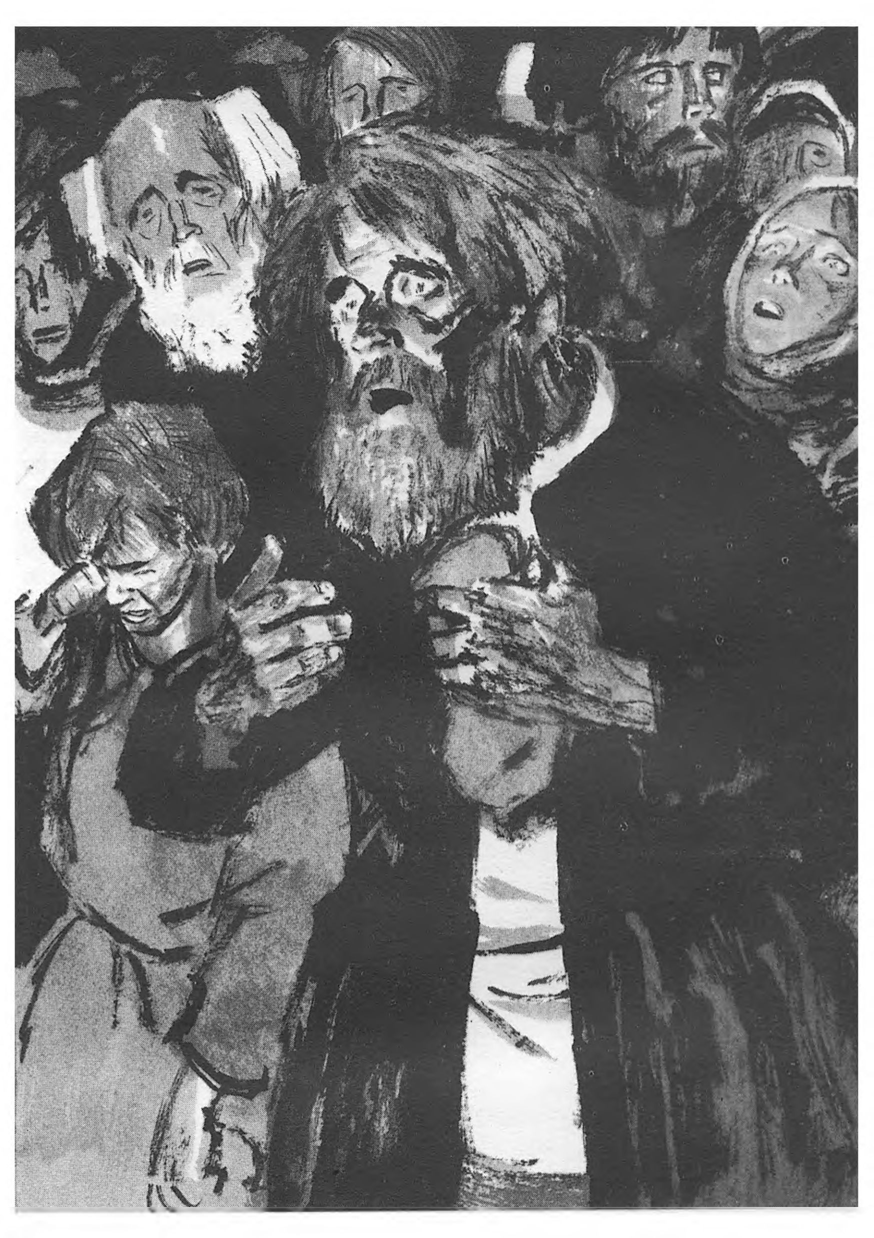
---

[1] См. протоколы засед. губ. продов. комиссии от 2 апреля 1892 г.

впечатлений... А тут еще мораль, десятки, сотни моралей теснятся в голову, и я вижу, что не сделал этой книгой и десятой доли того, что должен бы сделать...

Итак, пусть будет без морали... Вместо этого я расскажу еще несколько эпизодов из второго периода голодного года, когда уже победила губерния и в уезде водворились «новые люди».

Эти «новые люди», если сказать правду, были, за некоторыми исключениями, новизны очень сомнительной... Во главе дела был поставлен земский начальник из Горбатовского уезда, В. Д. Обтяжнов, человек, не лишенный некоторой смелости суждений и известный в губернии своими чисто лукояновскими, дворянско-крепостническими взглядами. В то время, когда ген. Баранов еще не вполне определил свой «курс», В. Д. Обтяжнов в продовольственной комиссии произвел очень бурную атаку на статистику губернского земства, пытаясь доказать, что все эти «цифры и выкладки» никуда не годятся. «Мы, земские начальники, практики и местные жители, знаем все это гораздо лучше»,— уверял г. Обтяжнов,— и значит, «если лукояновские земские начальники утверждают, что у них никакого голода нет,— то сему и надлежит верить, вопреки уверениям земских теоретиков». К своему несчастью, г. Обтяжнов выступил в свой поход слишком налегке, не зная совершенно сил противника. В то время заведывал нижегородской статистикой Ник. Фед. Анненский, и, когда с вежливой улыбкой он поднялся, чтобы возразить на нападения уездного «практика», то положение г. Обтяжнова оказалось очень печальным. Прежде всего г. Анненский доказал с полной очевидностью, что почтенный практик не ознакомился хотя бы с *предисловием* того статистического труда, который взялся критиковать, что затем он спутал даже местные факты, которые статистикам оказались известными гораздо лучше, и что, наконец, все нападение является плодом полного невежества и недоразумения. Вся эта операция над самонадеянным практиком была проделана так спокойно, но и так решительно, что г. Обтяжнов, сделавший новую попытку, еще более неудачную,— сел затем среди общего смеха собрания, чуть не наполовину состоявшего из его сотоварищей, земских начальников и предводителей...



«В ГОЛОДНЫЙ ГОД»

«В ГОЛОДНЫЙ ГОД»

Ген. Баранов обладал — односторонним, правда,— но правильным знакомством с психологией служилого русского дворянина, и теперь, когда ему пришлось посылать «решительных людей» для борьбы с уездной оппозицией на месте, он, нимало не колеблясь, остановил свой выбор на г. Обтяжнове. Ген. Баранов рассчитал довольно верно, что той самой решительности, которой оказалось слишком недостаточно для нападений на статистику и Анненского, вполне достаточно для невежественных лукояновских дворян. И г. Обтяжнов, нимало не обинуясь, принял лестное поручение начальства и отправился в поход против недавних своих единомышленников, которых защищал столь неудачно. Приехав в Лукоянов около 20 марта, он организовал продовольственную комиссию, немного смешной сколок с нижегородской, и здесь, в качестве председателя, принялся донимать недавних союзников длинными витиеватыми речами, материалом для которых отчасти запасся у недавнего противника, Анненского. Поездка губернатора сразу укрепила положение В. Д. Обтяжнова, и на месте опереточной диктатуры Философова оказалась новая, тоже несколько смешная «диктатура» Обтяжнова, направленная на сей раз в другую сторону.

Н. М. Ленивцев, впоследствии председатель семеновской уездной управы, был человек доброжелательный, но не особенно деятельный. Его помощник, г. Жедринский, молодой человек без определенных занятий, видел в своей миссии ступень для занятия должности земского начальника, в которой впоследствии оказался истым лукояновцем по духу.

С Д. Ф. Решетилло читатель уже отчасти знаком. Этот почтенный «казенный врач» (помощник врачебного инспектора) в первый период продовольственной кампании делал в губернской комиссии доклады, в которых положение населения рисовалось успокоительными чертами: нет ни голода, ни голодного тифа. Народ пьянствует и покупает предметы роскоши [1]. Затем, в период неопределенности и колебаний, он рискнул сообщить телеграммой из села Саитовки, что там свирепствует тиф. В Саитовку отправился тогда врачебный инспектор,

[1] См. «Протокол» от 10 ноября 1891.

г. Ершов, и прислал телеграмму, что никакого тифа нет. Покладистый г. Решетилло украсил и эту телеграмму своей подписью. Поездка ген. Баранова обнаружила, что в Саитовке тиф принял громадные размеры. Д. Ф. Решетилло был назначен заведующим санитарною частью в уезде и здесь рассказывал с торжеством, как генерал Баранов в заседании 2 апреля публично извинялся, что не поверил его телеграмме из Саитовки.

— Которой телеграмме, Дионисий Федорович? — спросил я.

Господин Решетилло слегка замялся и ответил:

— Первой, конечно.

Почтенный медик готов был выслуживаться одинаково на отрицании болезней, как и на признании оных, но теперь курс определился окончательно, и официальные цифры тифозных сразу выросли до размеров устрашающих [1].

Читатель видит, что «нового» тут было, во всяком случае, немного. Это были все те же старые чиновничьи меха, но на время их наполнили новым вином. В участке земского начальника Железнова раскрыты явные злоупотребления, и продовольствие отдано в руки А. И. Гучкова. Тифозных лечили, ссуды были почти всюду удвоены...

А там подошла весна и накинула на все свой смягчающий ласковый покров. Земля обнажалась; на поля, еще шатаясь, брела тощая скотина, все, что продышало, «выходило на траву», даже и деревенские ребята... Они то и дело мелькали на полях и по оврагам, собирая съедобные травы: пестушку (коричневые стебли, проглядывающие прямо из-под снега), борщевик, шкерду, дикарку (дикая редька), козлец, от которого трескаются губы, щавель и коневник, куфельки и дягили, коровки (после Троицы) и клевер (калачики). Каждая весенняя неделя дает новую траву и разнообразит подножный корм деревенских ребят... Впрочем, важно уже и то, что

---

[1] Впоследствии г. Решетилло выслуживался на экспертизе земского хлеба и кончил довольно плохо. устранен от должности за поступки, не согласные с обязанностями врача. Что касается до г. Обтяжнова, то и его «обновление» было непродолжительно: во время голода 1906—1907 года он вновь доказывал, что голода нет и что мужики «не идут на выгодные работы на жел. дороге...»

«нужда вышла на волю», на простор и на свежий воздух полей...

Правда, что вместе с весной подходило, собственно, самое трудное время. Свой хлеб, который «обманщики» умели порой скрыть от бдительного ока урядников, от усердных фельдшеров, от «обысков и выемок»,— почти всюду уже окончательно исчез, удвоенная же ссуда все же не могла вполне устранить нужду, и многие, как Савоськин, дошли в трудную зиму до такого состояния, когда нутро не принимает уже и чистого хлеба. Результаты зимнего режима проглядывали всюду. 14 апреля в Пралевке я назначил особое, усиленное пособие Савоськину — а 15-го ко мне пришел пралевский староста и сообщил об его смерти... В той же Пралевке я нашел в избе Михаила Сучкова больную цингой. Нестарая, симпатичная на вид женщина лежала и стонала на лавке. Мужа не было. Другой Сучков рассказывал, что они пошли вместе с базара, да Михайла дорогой пристал.

— Иди, бает, брательник, а я тут ляжу... Так и лежит где-нибудь вторые сутки.

— Беда! — испуганно произносит кто-то из шабров испуганным голосом.— Боль на нас пошла. Боль взялась в нашей деревне.

Действительно, в шести домах Пралевки, как и во многих других деревнях, я нашел уже серьезных больных.

— Как не пойдет боль...— говорят кругом.— С дурного хлеба и завязалась она, *хиль-то* самая. Теперь хоть дышать можно, А то, бывало, дадут полтора пуда на шесть человек, чего ты с ним поделаешь. Вот она, хиль, и взялась с того времени.

У Андреяна Сучкова на печке сидит мальчик, опухший от голода, с желтым лицом и сознательными, грустными глазами. В избе — чистый хлеб от увеличенной ссуды (улика в глазах недавно еще господствовавшей системы), но теперь, для поправления истощенного организма, уже недостаточно одного, хотя бы и чистого хлеба.

У въезда в деревню Роксажон я встретил бабу с ребенком. Она идет из больницы, куда водила мальчика.

— С мальчонком вот что-то толку нет...

— Что такое?

— Рвота, хлеба нутро не принимает.

— А хлеб хороший у вас?

— Теперь ничего. Подмешиваем тоже лебеду, да немного, не как у других. А хворь! Мальчонко измаялся...

В Роксажоне в избе старосты я увидел целый цветник мордовок в причудливых мордовских костюмах. На мои вопросы они стараются сначала отвечать весело, даже с улыбками, но кончают очень быстро слезами. Ребята хворают...

Рвота, золотуха...

— Чем кормите?

Показывают хлеб, и опять все еще лебеда. Даже усиленная ссуда не могла вывести ее совсем из употребления, потому что и усиленная ссуда далеко еще не достаточна в это трудное время, отдаленное от двух урожаев и в особенности после недавно устраненной «системы».

— Старик у нас пукнит (пухнет),— говорит одна на своем наивном жаргоне (мордва-мужики порой говорят по-русски очень порядочно, бабы — большей частью плохо).

— На всю зиму квораит. Распукнит весь, ноги распукнит, сам распукнит.

— Отчего же это?

— Кто знаит. Пукота в нем. Клеб мало давал Дивимся мы, чего ж это, право... Вчера выдавал ему старукой по тридцати фунтов. Да, видно, мало...

Таких отзывов, таких картин весна раскрыла передо мной бесчисленное множество, и я ими наполнил целые страницы моей записной книжки. «Хиль взялась», завязалась неотвязная хворь, нутро не принимало, «горячка» валила целые семьи,— так говорил народ. «В уезде свирепствовал тиф»,— говорили врачи, теперь дружно боровшиеся с признанной и страшно усилившейся болезнью... Приводить здесь все эти случаи, когда я натыкался на тяжелые картины этой *хили* и хвори, значило бы напрасно утомлять читателя, и я приведу лишь один случай, особенно врезавшийся в памяти.

Это было в Мадаевской волости, в деревне Красной Горке. Я проезжал там уже поздней весною и разговаривал с мужиками об истекшей зиме. На вопрос о больных

мне ответили, что есть еще одно семейство, где все больны «горячкой».

— А вон в той келье старик со старухой померли.

Я взглянул на «келью». Она стояла еще пустая и глядела на нас своими оконцами. Из расспросов я узнал, что ее хозяева, Самоткановы, безземельные и безлошадные — старик семидесяти и старуха шестидесяти лет, кормились подаянием. Потом захворали, ходить за милостыней не могли, потом померли.

В «волости» я справился, сколько они получили пособия. Оказалось... за всю зиму тридцать пять фунтов! У мадаевского старшины была своя особенная система: он выдавал тем, кто у него лично просил, и каждый раз особо. Старики, когда захворали оба,— перестали просить... «Умерли *натуральною смертью*»,— показал мне писарь отметку в книге...

Я и до сих пор вижу эту маленькую келью, с странными, как будто загадочно глядевшими на меня окнами... Что она видела в своих стенах, вся занесенная снегами, и сколько таких «натуральных смертей» отмечено еще в Мадаевской волости, управляемой железной рукой «образцового» старшины [1].

Как бы то ни было, все-таки физиономия уезда с весной изменилась. Человек так устроен, что ему всего важнее — надежда. А надежда была. Она явилась и в виде усиленной помощи от людей, и в виде оживающей природы... И чувство народа нашло себе исход в этих двух облегчающих надеждах. В моей практике пралевские кошмары, действительно, уже не повторялись.

Как-то пришлось мне этой весной составлять список в огромном мордовском селе, Пикшени. На открытом воздухе собралась огромная толпа, вернее, две толпы, потому что в селе два общества. Молодой священник с некоторым опасением предупреждал меня, что сход будет беспокойный и бурный. Зимой он пробовал составлять списки беднейших и должен был прекратить: столько поднялось споров и зависти. Вдобавок у мордвы, по его мнению,— гораздо меньше чувства собственного достоин-

---

[1] Об этом старшине упоминалось уже в прежних очерках. Это был номинальный подчиненный и фактический начальник земского начальника Бестужева.

ства и стыда, поэтому он ждал, что на мой призыв колыхнется сразу весь мир... Все это заставляло ожидать нового пралевского кошмара...

Но опасения эти рассеялись после первого же приступа к работе. Вид у мордвы был спокойный, речи разумные, ровные.

— Ежели так ссуду станут выдавать, как теперь...— начал решительно один.

— Да теперь будет все так,— сказал я на этот раз с убеждением,— сбавлять не станут.

— Так промаемся сами! Не пиши меня, не надо...

— И меня не пиши,— сказал следующий.— При этом способии можем кормиться как-нибудь.

— Спасибо, теперь прибавили,— сказал третий.— Мимо меня иди, не надо!

Зато если попадались имена действительно нуждавшихся, то указания были замечательно единодушны.

— Батькина Авдотья,— читает священник по списку.

— Авдотья Петрович это... Старука. Его пиши.

— Слепой девка.

— Авдотья Петрович кормить надо.

И «Авдотья Петрович» вносится в список.

— Точно не эти люди! — с удивлением говорил мне священник, когда мы шли со схода, в какие-нибудь два-три часа покончив со списками в обоих обществах...— Или уж вас это они стыдятся? — прибавил он в раздумье...

Но я помнил, что в Пралевке меня не стыдились, и я понял, что́ именно изменило физиономию этой толпы. Это были: хлеб и надежда...

«Как, однако, просто,— думалось мне в этот день,— водворяется «спокойствие в уезде»... Это простое средство удобно еще тем, что при нем нет надобности разыскивать «возмутителей» даже в среде сельского духовенства!.. А еще важнее, что оно устраняет кошмары, и при нем бледнеют всякие, порой самые превратные толки, «яко же восток от лица огня»...

Через несколько дней после только что описанного схода я въезжал в большое и тоже мордовское село Пер-

меево. Было уже жарко, озими зеленели на солнце, хутора, деревеньки и села мелькали кругом, точно нарисованные ярким красками на плане...

Пермеево — прелестное, небольшое, впрочем, село,— было почти пусто. Мужики ушли пахать яровые поля, которым, увы! и в этом году суждено было обмануть ожидания пахарей, и только на огромных, еще безлистых ветлах посередине улицы суетились и кричали целые тучи грачей, восстановлявших прошлогодние гнезда...

Я остановился в избе старосты, довольно зажиточной и сплошь оклеенной картинками (где, сказать кстати, между генералами я увидел портреты Щедрина и Островского). Хозяйку этой избы, красивую и приятную женщину, с умным лицом, порядочным русским выговором и необычайно большим животом, обличавшим ее положение, я застал в очень нервном состоянии.

— Ты из Болдина, что ли, ехал? — спросила она меня.

— Да, из Болдина.

— Не встречал ли на дороге двоих: большого мужика с мальчишком?..

— Встречал. А что?..

— Да что! Сумлеваюсь я через этого мужика, очень сумлеваюсь!..

Она смотрит на меня, потом подходит к столу, вынимает оттуда надкушенный ломоть хлеба и, держа его в руке, смотрит в окно, как будто в этом окне должен кто-то появиться.

— Вот видишь, какое это дело. Подошел он, этот самый, к окну и просит клеба. Я подаю, думаю Христовым именем. Нет, бает, ты мне за деньги давай. «Мало, говорю, клеба-те у нас, за деньги еще давать...» Ну, а все-таки он дал пятачок, а я ему клеб подаю. Взял он, скусил, опять подает мне в окно. «Неловко нам, говорит,— разрежь». Взяла я нож отрезать. А он, слышишь ты, от окна и пошел. Я ему кричать: «Погоди! Возьми хоть пятак назад». Не слушает: так и пошел, так и пошел, да и ушел вовсе из села! Что такое это, право, какое дело вышло необычайное! Вон и клеб этот самый... Если мало ему, сказал бы, ежели клеб не показался,

деньги бы взял назад. А то на — оставил все. Больно сумлеваюсь, больно сумлеваюсь. Что за человек это может быть... Дивà, право, дивà...

— Отдай нищему и перестань сумлеваться...

— Отдам и деньги, и хлеб отдам, нельзя оставить никак!.. А сумлеваться буду... потому что ди́ва это...

И я видел, что необычайный поступок неведомого странника глубоко волнует эту добрую женщину и будет еще долго волновать все село или, по крайней мере, бабью половину. И, пожалуй, какая-нибудь легенда встанет из этого простого случая, и разнесут ее на хвостах грачи и галки, которые так суетятся над огромным деревом-патриархом, и какое-нибудь «превратное толкование» уже готово в путь по белому свету...

На закате солнца добродушный и очень сообщительный мордвин вез меня по проселочным дорогам в другие деревни, для той же работы. Он очень весело и откровенно рассказывал мне анекдоты о кочубеевских бабах, о своем священнике и о многом другом и при этом прибавлял то и дело:

— Сам видал. Сам не видал — не говорил, сам видал — говорить можно.

Наконец, его подвижное внимание остановилось на моей особе. И тотчас же пошли вопросы: чей будешь? чем занимаешься, чиновник или нет и т. д. Я отвечал, что я из Нижнего, занимаюсь своим делом и не чиновник.

— А сколько получаешь жалованья за то, что теперь к нам приехал?

— Жалованья не получаю.

Мордвин повернулся, посмотрел на меня, подумал, хлестнул заленившегося мерина и затем как-то многозначительно молчал всю дорогу. Он как будто что-то вдруг вспомнил или пришел к какому-то заключению...

Дня через три или четыре я составлял списки в Казаковке, куда пришел из Слободы пешком, в виде прогулки, в прелестное ясное утро. Правда, что мое появление было несколько внезапно, так как ни звон колокольцов, ни тарахтение колес не предупредили деревню о моем прибытии. Тем не менее, вскоре собрались старики. Я заметил, что в избе господствует напряженное молчание, среди

которого как-то странно прорывались по временам вздохи старушонок.

— О гос-с-с-под-ди-и... бат-тюш-ка-а...

Я уже знал, в чем дело, и мне было очень приятно видеть, что тяжелые воздыхания этих старушенций, показавшие мне, что здесь меня уже ждали и много толковали заранее о моем будущем приходе, что все это не мешало мужикам очень толково и дельно давать мне необходимые сведения. Список был составлен быстро, так же быстро найдено помещение, и я тронулся далее, причем на этот раз мне любезно подали лошадь из ближайшей сыроварни, арендатор которой, *швейцарец* г. Гузиер, согласился заведывать столовыми.

Я нарочно подчеркиваю слово *швейцарец*, и опять мне было очень приятно, что именно так случилось и что заведывать столовой будет «немец».

Мой возница — работник из сыроварни, толковый мужик с умным лицом и обдуманной речью, видимо чем-то интересовался, поглядывал на меня и собирался о чем-то спросить.

Я облегчил ему это дело, и мы обменялись несколькими незначительными словами.

— Семейство у вас? — спросил он.

— Семейство.

— Сказывают, и пасху всю проездили? Дома не бывали.

— И пасху.

Он покачал головой.

— Эх, народ у нас какой... ненатуральный...

— Это что значит?

— Ненатуральный народ! Натуры в себе не имеет. Люди из-за них беспокоятся, ради Христа, а они...

— Это вы не насчет ли антихриста?..

Он живо повернулся на козлах.

— Стало быть, слыхали?

— Слыхал.

— То-то вот и говорю: ненатуральный народ. Бабы это все, да начетчицы... сороки!

В его голосе мне послышалось искреннее уважение к моей работе и не менее искреннее негодование против «ненатурального народа».

Да, к сожалению, это была правда. Уже ранее «Московские ведомости» и другие ретроградные газеты сообщали с злорадством, что в народе появилась легенда об антихристе, в применении к графу Л. Н. Толстому и другим лицам, явившимся к народу с вольною помощью. Злорадство этих господ было понятно: широкая частная помощь являлась в таких размерах еще впервые, и шла она не под официальным казенным флагом. Помогала не одна казна и не одни официальные «царские чиновники». На помощь выступало общество и, как ни малы еще были размеры этого выступления,— все же рептильная печать чувствовала в нем новое начало, враждебное монополии бюрократического строя. Понятно поэтому, что она и радовалась суеверной легенде, и готова была ее поддержать.

Однако радость была не вполне основательная, так как легенда на сей раз была удивительно бессильна. Правда, народ не привык еще к вольной помощи и неслужебному участию, которые не оплачиваются более или менее солидными окладами... Кроме того, и вообще помощь в невзгоде — явление для народа не особенно привычное, поэтому неудивительно, что в некоторой его части зародилась эта легенда... Мы слышали, в какой именно части: старые бабы и начетчики-старообрядцы, которые слишком хорошо помнят времена гонений, чтобы без всяких подозрений принять руку помощи...

Итак, легенда ходила, рождаясь в старых или озлобленных головах... У голода были и другие легенды, порой далеко не выдерживающие цензуры, что не мешало им в устной передаче выдержать такое количество исправленных и дополненных изданий, о каком мы, люди печатного станка и книги, пока не смеем даже и мечтать... Но я видел совершенно ясно и с первого дня, что голодной легенде не суждено облечься плотью и кровью, как это случилось впоследствии с легендой холерной...

Один земский начальник Семеновского уезда рассказывал мне, что в его участке тоже появились среди людей древнего благочестия те же толки об «антихристовой прелести» и ему удалось напасть на один из их источников. Распространителя позвали к начальству.

— Послушай, Иванов, как тебе не стыдно рассказывать такие вещи?..

Но Иванову нисколько не было стыдно, потому что он мог привести в подтверждение целые десятки текстов из древних книг, в кожаных переплетах, с застежками... В экклезиасте сказано одно, а в апокалипсисе прибавлено другое, что же касается до святоотческих писаний,— то они дают знатокам неисчерпаемый источник для самых суеверных толкований в этом роде. И все это сводится к тому, что антихрист напоследок будет брать мир лестью, а не гонением, «и будет последняя горше первых...»

Трудно сказать, какой оборот мог принять этот богословский диспут земского начальника с начетчиком, если не предположить, конечно, возможное его окончание кутузкой. К счастью, один сведущий человек, наклонясь к начальнику, сообщил новый аргумент: оказалось, что двое детей самого диспутанта ходят в столовую.

— Как же тебе, Иванов, не стыдно? — опять повторил начальник.

Но Иванову хоть, может быть, и было немного стыдно, но именно только немного... Потому что тексты и толки у среднего человека все-таки отвлеченность, своего рода игра ума, а хлеб есть хлеб, и рука, протянувшая хлеб, видимо давала не камень... И ясный смысл Христовой заповеди, выражавшейся в *реальном факте* любви и милосердия, был и всегда будет сильнее запутанной казуистики всяких начетчиков.

И он был сильнее всюду... Легенда получала самые очевидные подтверждения. На мешках из Особого комитета стояли «печати», в Слободе раздавали детям печение, пожертвованное Эйнемом или Сиу, и на каждой такой лепешке все воочию видели надпись Albert (даже не по-русски), а кругом S. Siou et C-ie... Старцы и бабы внушали, что это-то и есть печати самого антихриста. И все-таки хлеб принимали, печение ели (к великому соблазну не только старых баб, но и одного уездного сотрудника «Гражданина», который написал по этому поводу очень язвительную статейку)... И в мои столовые записывались всюду весьма охотно.

Однажды у окна избы, где я остановился на несколько дней, в Большом Болдине, раздался легкий стук и известный напев имени Христова. Я наклонился и испугал

своим городским видом стоявшую под окном молодую мордовку с жалобно плакавшим ребенком на руках. Она приходила к А. Л. Пушкину просить ссуду, а я хорошо знал, каковы будут результаты просьбы. Поэтому я дал ей немного денег и спросил, откуда она.

— Из Кельдюшева.

Мне предстояло дня через три побывать в этом селе для открытия столовой, и потому я захотел вперед наметить одну кандидатку.

— Как зовут?

— Дарья.

— Прозвание?

— Кюльмаева.

Я вынул записную книжку и видел, с каким непритворным ужасом отнеслась она к таинственной операции записывания ее фамилии... Когда я кончил, она отошла быстрыми шагами, и долго еще, сидя за чаем, я наблюдал в окно кучку мордовок, с участием расспрашивавших Дарью, постигнутую таким своеобразным несчастием, и подозрительно глядевших на мои окна... Легенда в это время уже была в ходу...

Через три дня я, действительно, был в Кельдюшеве и узнал от священника о. Померанцева, что среди его прихожанок есть некая тревога. «Какой-то» записал одну из них с неизвестною целью, и она приходила советоваться со священником, как ей быть в таких удивительных обстоятельствах... Тут же в возможно деликатной форме о. Померанцев сообщил мне, что подозреваюсь в этом коварном поступке именно я, по моему званию «слуги антихриста». Это даже несколько беспокоило батюшку ввиду многолюдного мордовского схода, который я просил собрать для составления списков.

Но я уже знал цену этих толков перед силой реального факта. И, действительно, хотя и здесь перед началом слышались те же старческие протяжные вздохи (о го-сс-под-ди-и), но от желающих попасть в столовую не было отбою. Бабы рвались в избу, и целая толпа стояла за открытым окном, к которому я сидел спиною.

— Дарья Кюльмаева,— прочитал я в очередь по списку.

— Здесь, бачка, здесь я! — послышался резкий бабий голос, и, повернувшись, я увидел мою болдинскую

знакомую, с усилием продирающуюся к окну сквозь толпу других баб.

— Что же, записать тебя, что ли?

— Ой! Пиши, бачка, ради Христа пиши!

Мы с священником оба засмеялись.

— Да ты разве не боишься?

— Пиши, бачка, ради бога, пиши!

И я вторично уже занес Дарью Кюльмаеву в свои списки.

В июле я заканчивал свои столовые и оставлял уезд совсем. Новый урожай не особенно радовал, яровые выгорели от засухи, но ржи все-таки были, хотя и их сильно выбили необычайные бури... А в это время с низовьев Волги уже пришла холера, и холерные бунты, как ураган, поднимались по великой реке, захватывая город за городом, точно пожар. Отдельные головешки залетали и в дальние места, и пожар занимался то там, то сям разбросанными островками. Холерная легенда разносилась по лицу всей русской земли.

В одном месте я остановился вблизи деревни. Столовую здесь уже прикончили без меня, народ был на работе, но все же ко мне собралась кучка народу.

— Не было тебя... а мы вот молебен служили и тебя тоже вспоминали. Спасибо тебе.

Мне казалось, что это говорилось искренно, просто, без задней мысли. Дело было уже назади, и мы прощались, может быть, навсегда.

— А что у вас больных еще не было?

— Холерой-те? Нет, бог миловал. Может, и не будет. А слышь, на низу... беды! Наши оттеда пришли, рассказывают.

И затем я услышал известные уже всей России позорные толки. И между ними фигурировала тоже весьма известная «даровая харчевня», открытая в Астрахани по наговору «англичанки». Как поест человек в этой даровой харчевне,— так и готов.

— Постойте, братцы,— остановил я рассказчика.— Слыхали вы, сколько я у вас в уезде открыл столовых?

— Слыхали! Несколько (много)!

— Умер кто-нибудь от моего хлеба?

— Что ты, бог с тобой! Многие даже живы остались, которым бы без тебя прямо помереть надо. Богу за тебя молились.

— Ну, хорошо. Теперь вы меня послушайте, что я скажу, и отвечайте по совести.

— Ну-ну!

— Вот у вас болезни этой нет, и дай бог, чтобы ее не было. А в других местах есть, могла бы быть и у вас, и она могла придти ранее, ну хоть, скажем, с весны...

— Ну-ну?

— А не стали бы вы тогда говорить: вот не было этого человека, не было и хвори. А как приехал неведомо отколе да открыл «даровые харчевни», так и хворь пошла косить православных. Ну, теперь отвечайте по совести...

— Не-е... что ты, бог с тобой,— заговорили в толпе.— Как это можно... Даже богу молились.

Однако видно было, что в головах шевелится сомнение. Уверения теряли решительность, и, наконец, рослый нестарый мужик, тряхнув лохматой головой, произнес с убежденным видом:

— Ну, ребята, не бай напрасно. Нашлось бы дураков!

Я нашел, что это был именно ответ по совести, и мы расстались очень дружелюбно.

Да, нашлось бы, это верно, но верно также, что не столовые были тут виноваты, что не они облекли бы эту легенду плотью и кровью...

В мае, когда я на время приехал в Нижний-Новгород, Нижегородская губернская продовольственная комиссия заканчивала свои занятия, подводила итоги и вырабатывала «начала» для будущей продовольственной помощи в голодные годы. Генерал Баранов находил наилучшей ту систему, которую сам он стремился осуществить в своей губернии. По его мнению, прежде всего тут нужна «сильная власть». В своих речах он любил сравнивать «голодную кампанию» с «открытием военных дей-

ствий» и находил, что с того дня, как существование «недорода» и возможность голода объявляются официально,— все продовольственное дело должно немедленно и всецело поступать в руки администрации.

Огромное большинство комиссии, состав которой зависел от губернатора, разумеется, вполне разделяло заключение его превосходительства. Ниже, в приложении, читатель найдет особое мнение, которым я, почти невольный участник «продовольственных совещаний при нижегородском губернаторе», пытался протестовать против этого заключения на основании всего, что я видел в голодный год и что описано в этой книге. Мою легкую атаку поддержал и укрепил своей солидной аргументацией Ник. Фед. Анненский, но, конечно, ни эти наши «особые мнения», ни все, что писалось, говорилось, печаталось в русской прессе о роли администрации и земства в продовольственной кампании этих тяжких годов, не остановили хода бюрократической реакции...

Дальнейшее известно: продовольственное дело отнято у земства. Само земство низведено еще на одну ступень ниже и подчинено администрации, которая стала полным хозяином в земском деле. Для нового продовольственного устава взяты все недостатки барановской системы без ее блестящих сторон (как коллегиальность и полная гласность совещаний). Голод повторялся, влияние администрации расширялось. Губернаторы Шлиппе (тульский), князь Оболенский (екатеринославский), споря с земством и печатью, отрицали, вопреки очевидности, наличность бедствия совершенно так, как некогда спорил мудрый лукояновский диктатор, господин Философов. «Лица, которые по христианскому человеколюбию» являлись на места с частною помощью,— тоже совершенно по-лукояновски,— объявлялись опасными. Князь Оболенский выслал административно целый санитарный отряд (доктора Богомольца), снаряженный одесским обществом врачей для помощи голодающим и больным Елисаветградского уезда, и с его легкой руки то же отношение к частной помощи водворилось во всей России. Таким образом, то, что мне казалось нелепой фантасмагорией, на границе крепостнического Лукояновского уезда,— стало общим правилом: границы голодающих губерний закрывались для частной помощи и для гласности...

Весь огромный район, охваченный спорадическими голодовками, был превращен в сплошной Лукояновский уезд, и господа лукояновцы, осмеянные и осужденные в свое время всею русской печатью и общественным мнением,— имели полное основание торжествовать, как победители.

Последствия теперь уже очевидны. Сначала сравнительно скромная растрата чиновника Министерства финансов, г. Касперова, потом — «неосторожная» сделка его высокопревосходительства, товарища министра господина Гурко с темным международным проходимцем Лидвалем, обездолившая сразу целые районы, охваченные ужасами голода. И в том самом Нижнем-Новгороде, где блестящий генерал Баранов «при свете гласности» отстаивал начала «сильной власти» в продовольственном деле,— один из его преемников, гонитель гласности, тусклый и незначительный барон Фредерикс, фактически использовал эту сильную власть для известных уже сделок за счет голодающего населения... В свое время в печати сообщалось, что «новый продовольственный устав» получил начало в Нижнем, в проектах барановской комиссии. Характерно, что и г. Лидваль отправился на арену всероссийской деятельности из того же Нижнего-Новгорода, снабженный благословениями и напутствиями нижегородского администратора...

Пожалуй, в этом сопоставлении и заключается самая очевидная мораль голодного года.

С новым урожаем 1892 года последние мои столовые были закрыты. Я наскоро отобрал у заведующих отчеты и 27 июля мчался уже в Работки с тяжелыми опасениями на сердце. Моя семья жила в это время около Работок, и в нескольких десятках саженей стоял под горой холерный барак. А вокруг него реяли, как черные птицы, отголоски холерных толков...

С тяжелым чувством оставлял я там свою семью и теперь летел, сломя голову, и думал о том, отчего голодные легенды поднимались и падали в бессилии перед фактом, как падает пыль, поднятая ветром над степью. А легенда о холере оделась плотью и кровью и промчалась таким ураганом над нашей родиной...

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ЖУРНАЛА СОБРАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 27 МАЯ 1892 ГОДА

Особое мнение В. Короленко

«К проекту ответа (на запрос мин. внутр. дел), выработанному Подкомиссией, я имею сделать несколько замечаний, касающихся самых начал, на которых строится продовольственное дело, так как мне кажется, что критике должны подлежать ныне не только подробности, но прежде всего самые принципы, из которых эти подробности истекают. Никто уже, кажется, не оспаривает положения, что нынешнее бедствие является результатом не одних стихийных случайностей последнего года. Случайности эти встретились с условиями хозяйства, глубоко подорванного целым рядом предшествующих лет, и оно не нашло в себе силы для стойкого сопротивления. А если это так, то ясно также, что рациональная система, направленная на борьбу с этим явлением, не может ограничиться мерами, рассчитанными на новое такое же бедствие, принимаемыми тогда, когда оно уже разразится. Необходимо прежде всего предупреждать возможность в будущем такой же катастрофы. Необходимо устранить условия, которые истощали и обессиливали земледельческое хозяйство страны, необходимо помогать крестьянскому хозяйству постоянно, чтобы не быть вынужденными делать все это сразу и спешно, как это пришлось ныне. Не дай бог встретить еще в будущем такие годы, а это непременно должно случиться, если прежние условия останутся в силе, и не дай бог, чтобы нам пришлось бороться теми же средствами, потому что это значило бы, что мы ничему не научились.

Мы слышали нередко в течение последних месяцев, что помощь, оказываемая ныне населению, производит деморализующее влияние. Может быть, это и неожиданно, но из всего, что мне пришлось видеть и продумать за это время, я тоже вынес это прискорбное убеждение. Но не потому помощь оказывала такое влияние, что располагала к беспечности, лени и пьянству, как это утверждают многие. Эти соображения кажутся мне совершен-

но неосновательными: в народе привычка к труду создавалась веками и, конечно, не могла исчезнуть в одну зиму. Я имею в виду другую сторону дела. Нас не унижает только то, что мы получаем по праву. Не унижает плата за труд, не унижает кредит, истекающий из кредитоспособности берущего, или страховая премия, выдаваемая в случае несчастия.

Имело ли наше крестьянство, постигнутое неурожаем, право на помощь? — Несомненно. Государственная необходимость и государственная польза требовали поддержки населению, несущему главную массу повинностей и тягот. Но действительно ли на практике нынешнего года пособие выдавалось русскому крестьянину так, как выдается оно человеку, имеющему право на то, чего он просит, как выдается банковская ссуда кредитоспособному заемщику или страховая премия давнему плательщику? Несомненно — нет! Достаточно вникнуть в смысл так называемой «проверки списков на местах», явления, получившего как бы право гражданства и составляющего почти логическую необходимость при нынешней постановке дела, достаточно вдуматься в значение этих обысков в амбарах, избах, подпольях и даже в печках, чтобы понять истинный характер этой ссуды. Крестьянин рассматривался не как полноправный хозяин, приходящий, чтобы заключить известную, хотя бы и льготную кредитную сделку, или страхователь, давно оплативший свою премию, а как попрошайка, который прежде всего подлежит подозрению в утайке имущества с целью вымогательства. С момента просьбы, а часто и ранее ее всякий крестьянин оказывался в положении подозреваемого и обыскиваемого, а то, чем он законно владеет, обращалось в поличное, сообразно взгляду ближайшего начальства на «необходимое» и «излишнее» имущество. Несомненно, что отношения, возникающие на этой почве, недостойны ни русского крестьянства, основного зерна нашего народа, которое только клевета может обвинять в огульной порочности, ни представителей власти. Несомненно, что такая постановка глубоко симпатичного и необходимого дела помощи деморализует тех и других, создавая самые нежелательные взаимные чувства.

А между тем, нельзя отрицать также многочисленных фактов утайки и неправильных показаний об имуще-

стве. Происходят они не от порочности и лживости русского народа, а от неправильной постановки дела. Кому прежде всего выдается ссуда? — Тому, кто докажет, что он совершенно разорен, то есть вполне некредитоспособен. А с кого брали всегда и вперед будут взыскивать выданное за круговой порукой? — С более кредитоспособных, со среднего, еще не окончательно разорившегося хозяина. Совершенно понятно, что те, кто всегда платил, кто будет платить и впредь, считают себя вправе и брать прежде других. В этом есть *внутренняя* справедливость, и если для ее осуществления приходится дать неправильную отметку о наличном (скудном, во всяком случае) имуществе, то ложь считается лишь формальной, что легко встретить во всех, даже наиболее развитых классах общества (вспомним хотя бы оценки городских и иных имуществ, подлежащих сборам).

Что же нужно, чтобы устранить этот глубоко прискорбный характер явления в будущем? Прежде всего: ясное и точное разграничение помощи государственно- и земскохозяйственной, поддерживающей *плательщика*, и филантропической (хотя бы тоже с помощью государства), оказываемой *нищему*. Последнему нужна даровая милостыня, первому — рациональный кредит и страховая премия, которые бы осуществляли и укрепляли его кредитоспособность. Отсюда мое первое положение, что в основание для организации продовольственного дела должны лечь: начало широкого земледельческого кредита и принцип страхования в той или другой форме. Под кредитом же, в широком смысле, я разумею и те производительные затраты государства на улучшение крестьянского хозяйства, которые подлежат возврату косвенному в виде подъема платежных сил населения. Все это, конечно, не легко, но и положение нашего отечества тоже трудное, и было бы прискорбной ошибкой думать, что мы выйдем из него без напряженных усилий. Нужно искать не того пути, который легче, а того, который действительно ведет к цели.

Второй вопрос, подлежащий принципиальному решению, состоит в том, *кто* должен вести продовольственное дело в случае бедствия, подобного нынешнему. Согласно обсуждаемому проекту — в обычное время продовольственное хозяйство остается в руках земства. Иначе, ко-

нечно, и быть не может, так как иначе не было бы и самого земства, которое, как известно, преобразовано, но не упразднено. Но в случаях «обострения продовольственных обстоятельств»,— проект изъемлет дело из рук обычных хозяев и передает в особое смешанное учреждение, состоящее под председательством губернатора. Прежде всего я нахожу не совсем ясным выражение «обострение продовольственных обстоятельств», определяющее момент этого изъятия. Если мы признали, что бедствие, подобное нынешнему, есть результат взаимодействия стихийных случайностей и органического расстройства,— то очевидно также, что характер явления прежде всего — постепенное возрастание. И действительно, голод подкрадывался к нам годами, и уже прошлой весной 1891 года губерния дала кое-где картины бедствия более острого, чем нынешнее, смягченное правительственной помощью. Но в таком случае,— как же уловить момент изъятия продовольственного дела из одних рук и передачи его в другие? Голод в одной волости, в двух, трех, в уезде, в двух уездах, в губернии... Достаточно ли этого для отнятия продовольственного дела из рук земства? С одной стороны, сплошного голода во всей губернии не было даже и ныне, с другой — для существа дела, для его губернской организации почти безразлично, есть такое же обострение в соседних губерниях или нет. Это вопросы, касающиеся государственного казначейства, для данной же губернии достаточно того, что *она* поражена неурожаем, независимо от других. Итак, если земство ведет дело продовольствия, когда неурожай постигает *его* губернию, то дело, очевидно, не должно меняться от того, что и в других губерниях земства вынуждены делать то же. Изменятся подробности, сущность дела останется та же.

Между тем проект предполагает, по-видимому, какой-то резкий поворотный пункт, вроде формального объявления войны, с которого начинается мобилизация военных сил страны. В действительности такого пункта быть не должно, если только дело будет поставлено правильно. Если уже брать это сравнение,— неурожая с войной. то из примера военно-продовольственного учреждения, интендантства, мы не должны упускать одну очень существенную черту: интендантство есть учреждение, про-

довольствующее армию в мирное, обычное время. Единственное, сколько мне известно, изменение по существу в его организации с началом военных действий состоит в выделении полевого интендантства. Но и это изменение вызвано таким условием, какого нет в нашем случае: армия передвигается, губерния же остается на месте. Итак, оставляя в стороне вопросы о достоинствах или недостатках интендантства по существу, мы должны взять из него основной и, несомненно, правильный принцип: то самое учреждение, которое ведет обычное продовольственное дело в губернии, должно вести его и в случае «обострения затруднений». Ломка и перемены ввиду надвигающейся грозы могут повлечь только потрясения, замедление и ошибки. Учреждение должно лишь быть настолько эластично, чтобы могло расширять сферу своих действий по требованию обстоятельств. А для этого земские учреждения имеют законное средство в усилении состава управ на время неурожая. Затем гласность, составляющая в земстве укоренившуюся традицию, и живая связь с населением, с обществом, которое, как это видно из нынешнего опыта, должно быть непременно привлекаемо к делу распределения помощи, являются важными добавочными соображениями в пользу защищаемого мною мнения.

Оба высказанные нами принципа связываются в одно целое следующим образом: земство, как орган государственно-хозяйственной жизни, должно взять на себя проведение широких мер сельскохозяйственной помощи, в виде кредита страхового и сельскохозяйственных улучшений. Эта работа, трудная, но необходимая, составляющая жизненный узел нашего благосостояния, должна вестись и в нормальное время. Неурожаи, хотя бы частичные,— есть всегда, нужда в помощи никогда не прекращается. Нужно только не запускать, а расширять эту работу. Необходимо *определить* и *подымать* постепенно кредитоспособность русского крестьянина. Раз это будет сделано заранее,— нет надобности в экстренных мерах, в обысках и проверке списков. Земская статистика дает общую картину урожая и недорода, учреждения, которые еще должны быть созданы,— имеют наготове необходимый материал для кредита. Общее же руководительство должно находиться в привычных руках, и ра-

бота только усиливается с неурожаем или, вернее, только меняет формы... Администрации же должно принадлежать широкое право контроля. Это отделение власти исполнительной в деле продовольствия и власти *контролирующей* я считаю необходимейшей гарантией успеха дела, гарантией, которая совершенно исчезает с соединением обеих функций в одном, хотя бы и смешанном учреждении.

Позволю себе закончить повторением. Это только общие принципы. Я не обольщаю себя относительно трудностей их выполнения. С делом этим связана, несомненно, необходимость упорной работы в самых разнообразных отраслях нашей жизни. Несомненно, однако, и то, что из трудных положений, вроде настоящего, и не может быть легкого выхода.

1893—1907

У казаков

Из летней поездки на Урал

I

ДОРОГОЙ.— ВОЛЬНАЯ СТЕПЬ.— «РЫБОПОШЛИННАЯ ЗАСТАВА»

Ранним июньским утром 1900 года, с билетом прямого сообщения «Петербург — Уральск», я приехал в Саратов... Только около 3-х часов дня передаточный поезд лениво потащил нас к переправе через Волгу, заходя и останавливаясь на товарных станциях, запасных путях и разъездах. Все это тянулось так утомительно долго, что публика начинала терять терпение, боясь, что уральский поезд уйдет без нас. Привычные кондуктора только насмешливо пожимали плечами.

Наконец, все так же медлительно поезд подполз к волжскому берегу и остановился. По привычке торопясь и толкаясь, публика кинулась на пароход, который должен был доставить нас в Покровскую слободу, откуда собственно начинается уральская железная дорога... Как будто для поощрения этой суеты, пароход дал уже первый свисток, но затем стоял еще неподвижно целый час у пристани. Извозчики, подвозившие из города новых пассажиров, все разъехались, пристань опустела. Мимо нас по зеркальной реке лениво проплывали баржи, буксирные пароходы, лодки... Какой-то рыбак-любитель

зачалил свою лодочку как раз на нашем пути и пробовал наудачу закинуть удочки, а мы все продолжали ждать чего-то, и мне казалось даже, что нас начинает заносить здесь песком и пылью...

Наконец, пароход как бы проснулся, дал быстро два последних свистка, забурлил колесами и, плавно взрезая Волгу, двинулся к другому берегу. Здесь, над яром, за очень неудобным подъемом ждали нас несколько вагонов... Опять суетливая поспешность публики и новое ожидание... Дует теплый ветер, плещется на отмели речная струя от проехавшего парохода, порой пройдет ленивый покровский «хохол», или группа дачников и дачниц иронически оглянется на неподвижный поезд, неизвестно для чего стоящий на пустом берегу. А вдали, на той стороне — затянутые туманом, дымом и пылью, дома и горы Саратова... В окнах вагонов безнадежно скучающие лица пассажиров.

— Д-а-а... Степь-матушка,— говорит один из них, как бы в объяснение и этой смутной истомы, и беспричинных остановок. Он зевает и крестит рот, а рядом, в других окнах, видны такие же апатичные лица, у которых челюсти раздвигаются такой же сладкой зевотой.

Свисток, толчки, скрип буферов, десятиминутное движение — и опять долгая остановка у Покровской станции с тем же теплым ветром, дующим как будто из печки, и с тою же истомой... Наконец — звонок, и наш поезд ползет по низкой насыпи с узкой колеей, на этот раз с очевидным намерением пуститься в путь. Степь тихо развертывает перед нами свои дремотные красоты. Спокойная нега, тихое раздумье, лень... Чувствуется, что вы оставили на том берегу Волги и торопливый бег поездов, и суету коротких остановок, и вообще ускоренный темп жизни. Тут на вас надвигается, охватывает, баюкает вас широкое степное раздолье, ровное, молчаливое, дремотное...

Чудесный закат в степи, потом сумерки, потом тихий звездный вечер спускаются над этой однообразной картиной. Вечером — долгие остановки у маленьких неуютных станций со странно, иной раз по-монгольски звучащими названиями, с раскачиваемыми ветром фонарями и убогими буфетами. Здоровенные, загорелые и ленивые жители степных хуторов и поселков выползают

из синей темноты на огни поезда, чтобы получить приказания от юрких людей, по большей части не русского типа, едущих в вагонах первого и второго класса. Они одни как будто не дремлют и имеют вид властителей степи. Они говорят быстро, быстро выпивают за буфетами, быстро вскакивают на подножки уже трогающегося поезда, который и уносит их дальше, между тем как степные жители с ленивой покорностью направляются к своим телегам и, тихо поскрипывая колесами, расползаются в темноте в разные стороны, развозя полученные приказы...

Полная луна выкатывается над темным горизонтом и точно старается рассмотреть в степи что-то и что-то обдумать... Но степь темна и молчалива. Поезд несется среди однообразного, заснувшего простора...

Наутро кондуктора выкрикивают станцию «Семиглавый мар»... Невдалеке от нее местный житель пытался указать мне в волнистой степи семь курганов (по-местному «маров»), от которых урочище получило свое романтическое название. Когда проводили железную дорогу, один из этих курганов «нарушили», и в нем, говорят, оказался хорошо сохранившийся скелет неведомого воина, верхом на скелете лошади, с лицом, обращенным глазными впадинами к востоку... Но разобрать и сосчитать эти курганы среди однообразно взволнованной степи мне не удалось... По ней то и дело вставали и тонули такие же курганы и, быть может, в каждом из них сидят и ждут чего-то такие же неведомые воины с глазными впадинами, обращенными к азиатскому востоку, между тем как с запада летит громыхающий поезд, и сыплет искрами в ночную темноту, и сотрясает старые степные могилы.

— Тут уж вольна степь пошла, неделеная,— сказал мне молодой казак, высунувшийся рядом со мной в соседнее окно вагона.

Действительно, где-то около этого семиглавого урочища проходит граница Самарской губернии и Уральской области... Теперь поезд несся уже по казачьей земле...

Начиная от Гурьева городка, там, где-то далеко у Каспийского моря, и кончая средним течением Урала и его притоками, от теряющихся в песках Узеней на западе и до киргизских степей на востоке — вся эта

земля не знает ни частной собственности, ни даже русских общинных переделов. Все ее обитатели — как бы одна семья, каждый член которой имеет одинаковое право на родной клок этой земли, раскинувшейся от края и до края горизонта, неделенной, немежеванной и никем не захваченной в личное владение...

Я с любопытством вглядывался в эту однообразную ширь, стараясь уловить особенности «вольной степи». Но она была все та же... Она как будто ленилась проснуться для знойного дня, дали были еще завешаны клочьями тумана, из-за которого выступала та же линия скучного горизонта, кое-где взломанная очертаниями могильников...

Поезд громыхнул по мостику и затем побежал вдоль небольшой речки, на отлогом берегу которой приютился степной хуторок. Несколько строений, несколько деревьев, ветряная мельница, две-три кибитки киргиз-пастухов, кучка скромных крестов на кладбище, как бы скрепляющем степную оседлость...

— Чей это хутор? — спросил я, невольно любуясь своеобразной красотой этого степного поселка.

Казак назвал фамилию известного степного богача, скотопромышленника, владеющего в вольной степи несколькими такими хуторами и десятками тысяч голов скота. Невдалеке за хутором несколько упряжек быков тянули тяжелые плуги, взрезавшие землю. Черная полоса уже поднятой пашни легла во всю степь, начинаясь за пологим гребнем одной возвышенности и утопая за другим. И все время, пока поезд бежал мимо,— волы белыми точками ползли по краю черной полосы без остановки и перерыва...

— А ведь тоже казак,— сказал одобрительно немолодой торговец, когда хутор, купы деревьев и волы исчезли за поворотом дороги.

— Да,— прибавил, усаживаясь на скамье, молодой человек в форме,— такой же вот казак, как и я...

Торговец окинул его строгим, холодным взглядом, в котором виднелось пренебрежение. Казак был одет в поношенную форму. Лицо у него было смуглое, худое; черные глаза глядели печально, как у больного. Он заболел на службе, где-то под Киевом, и теперь ехал на родину, может быть, поправляться, а может быть — и уми-

рать в родной степи. Он подолгу простаивал у окна, рядом со мною, и вдыхал полной грудью родной воздух. В его глазах светилась какая-то особенная радость.

— Такой же, да не такой,— сказал торговец поучительно.

— Нет, такой же,— ответил казак.— Только я вот служил, а он *мою* землю пахал, да *мою* траву косил... Только и есть...

Купец не возражал. Впоследствии эту фразу о службе и о «моей земле» я слышал не раз из уст бедных казаков, для которых эта «вольная степь» с ее общинными порядками часто является мачехой... Явление старое! Нигде, быть может, проблема богатства и бедности не ставилась так резко и так остро, как в этих степях, где бедность и богатство не раз подымались друг на друга «вооруженной рукой». И нигде она не сохранилась в таких застывших, неизменных формах. Исстари в этой немежеванной степи лежат рядом «вольное» богатство, почти без всяких обязанностей, и «вольная» бедность, несущая все тягости... А степь дремлет в своей неподвижности, отдаваясь с стихийной бессознательностью и богатому, и бедному, не пытаясь разрешить наконец вековые противоречия, то и дело подымавшиеся над ней внезапными бурными вспышками, как эти вихри, взметающие пыль над далеким простором...

Вихри и в эту минуту вставали кое-где над степной ширью и падали бесследно... А под ними все та же степь, недвижимая, ленивая и дремотная...

Около двух часов дня вправо от железной дороги замелькали здания Уральска, и, проехав мимо казачьего лагеря, поезд тихо подполз к уральскому вокзалу, конечному пункту этой степной дороги. Мне предстояло получить багаж, и, когда, покончив с этим делом, я вышел на крыльцо вокзала, то увидел с неприятным удивлением, что на дворе не было уже ни одного извозчика. Оживление единственного (в сутки) поезда схлынуло как-то удивительно быстро, вокзал опустел и затих. Верстах в трех к югу, за дымкой густой золотистой пыли, виднелись церкви и дома Уральска. Впечатление получалось такое, как будто казачьему городу нет ника-

кого дела до тех, кто подъезжает к нему по железной дороге. На противоположной, северной стороне выделялись кирпичные сараи и ворота скакового поля, в виде гигантской подковы... Дальше клок степи, дорога с какими-то крестами и полоски садов за Чаганом... Мне нужно было именно в эти сады за Чаганом, где жили мои добрые знакомые и где я предполагал устроиться на лето... Но до садов было верст шесть, а мой багаж беспомощно лежал на каменном перроне.

Какой-то добродушный железнодорожный служащий принял участие в моем печальном положении и послал сторожа к железнодорожным складам. Вскоре оттуда подъехали ломовые дроги, на которых сидел дюжий человек с совершенно бронзовой физиономией, огромной спутанной бородой и в фуражке с малиновым околышем. Мы скоро сторговались. Узнав, что придется ехать «в сады», он запустил руку под фуражку и почесал пятерней в голове.

— Эх, не знал,— сказал он,— что в сады угожу ехать.

— А что? — спросил служащий.

— Косу бы захватил, травы накосить.

— Так тебе и позволят!

— Чего не позволить. Я ведь казак... Ему вот нельзя,— кивнул он в сторону подъехавшего в это время товарища, такого же дюжего и лохматого, только без околыша.— Вам тоже нельзя... А я могу...

— Ладно, ладно, увязывай,— иронически перебил железнодорожник, окидывая полноправного человека насмешливым взглядом...

Вскоре воз, поскрипывая, двинулся с вокзала... Казак шел за возом, а я следовал за казаком, с любопытством присматриваясь к новым местам.

Железная дорога уползала в степь, которую мы только что проехали и из которой тянуло тем же теплым ветром, точно из печки. Влево, за густой пылью высились колокольни городских церквей и затейливая триумфальная арка в восточном стиле. Из города к садам по пыльной дороге ползли телеги с бородатыми казаками, ковыляли верблюды, мягко шлепая в пыль большими ступнями. На горбу одного из них сидел киргиз в полосатом стеганом халате, под зонтиком, и с высоты с любопытством смотрел на велосипедиста в кителе,

мчавшегося мимо. Верблюд тоже повернул за ним свою змеиную голову и сделал презрительную гримасу. Я невольно залюбовался этой маленькой сценой: медлительная, довольно грязная и оборванная, но величавая Азия смотрела на юркую и подвижную Европу...

Велосипедист вскоре скрылся за неровностью степи... Верблюд, киргиз и зонтик еще долго колыхались над раскаленной равниной.

Миновав железнодорожные здания, мы тоже повернули в степь. Мое внимание было опять привлечено неожиданной картиной. Перед мостиком у небольшого вала стояла казенного вида будка, а невдалеке от нее человек с малиновым околышем, задержав проезжую телегу, шарил в ее задке руками с какой-то деловито-ленивой безнадежностью. Проезжий казак даже не оглядывался назад, равнодушно ожидая конца обыска.

Заметив, что я с любопытством наблюдаю это зрелище, обыскивавший перестал шарить и махнул рукой. Владелец телеги хлестнул вожжей свою лошадь ..

— Что это вы ищете? — спросил я, подходя к казаку.

Он как будто несколько сконфузился. По-видимому, всякому человеку свойственно инстинктивное сознание, что шарить в имуществе ближнего есть занятие по самому своему существу как бы противоестественное и возбуждающее невольную стыдливость. Но тотчас же это мимолетное выражение исчезло и, указав на будку, он произнес внушительно:

— Застава.

Действительно, над будкой виднелась надпись: «Уральская, № 4, рыбопошлинная застава». Будка вся была увешана и внутри, и снаружи печатными плакатами. Пользуясь любезным разрешением надсмотрщика, я вошел внутрь и с интересом стал читать многочисленные параграфы, определявшие роль этой внутренней заставы в «вольной степи». Из печатных правил я узнал, что вывозимая за черту города рыба оплачивается пошлиной... Внезапное легкое беспокойство возникло в моем уме, и я спросил:

— А сколько же можно пронести бесплатно для собственного употребления?

— Ни вот столько! То есть ни одного малька,— ответил он решительно.

Тут я уже совершенно определенно почувствовал себя в роли контрабандиста. Со мной было около полуфунта икры и немного балыка, купленных еще в Саратове и оставшихся от дорожного продовольствия.

— Вы взимаете пошлину? — спросил я, намереваясь очистить свою совесть.

— Никак нет, не имею права.

— А что же вы делаете, если найдете, ну, скажем, полфунта рыбы?

Он посмотрел на меня очень пытливо, но затем отвел глаза и ответил с оттенком грусти:

— Протокол и... в город в контору...

— Сколько же там взяли бы за один фунт?

— По такцыи... Копейку, а может, и две.

— И из-за этого в город?

— О-бя-зательно! — отчеканил он.

Его взгляд скользнул по мне, как у просыпающейся ищейки... Но он опять стыдливо отвел глаза и сказал со вздохом:

— Конечно, делаем уважение...

В открытое окно, как в рамке, виднелась широкая городская дорога, и по ней приближалась из города тележка. В тележке сидела дама и молодой человек с околышем. В ногах у них виднелись кульки и свертки. Надсмотрщик насторожился, но остался на месте, только проводив тележку тем же как бы застенчивым взглядом...

— С рыбой проехали? — спросил я, улыбаясь.

— Да уж... не без этого... на дачу, в сады, с провизией...

И, как бы подкупленный тем, что я уже стал свидетелем его слабости, он сказал доверчиво:

— В нашей должности большой ум надо... Дело наше, прямо сказать, суворовское...

— Почему именно суворовское? — спросил я, улыбаясь этому сравнению.

— Да вы про Суворова-то разве не читали? Какой генерал был,— знаменитый! А по такцыи никогда не действовал. Все больше по глазомеру. Так ли я говорю?

— Пожалуй.

— То-то и оно. То же и в нашем деле: станешь всякого останавливать,— скажут: напрасное беспокойство. Не останавливать вовсе, — зачем и поставлен?..

Он вдумчиво и важно посмотрел на меня и сказал:

— Возьмем такой случай: идет в луга косец, несет для своего, напримерно, продовольствия десяток воблов. Ежели ему пошлину платить, в конторе сколько время околачиваться, да и цыфры такой нету: много пол-копейки. Что я должен делать?

— Не знаю,— ответил я с полной искренностью.

— По правилу, я обязан сказать: садись, милый человек, на валу, скушай воблу свою на здоровье, а с рыбой я за вал тебя пустить не обязан. Хорошо! Да ведь он, может, не голоден, а в лугах ему вобла нужна...

— Ну... и по глазомеру? — сказал я сочувственно.

— По глазомеру-то, по глазомеру, а ведь тоже зачем-нибудь и будка поставлена. Начальство скажет: тебя зачем определили,— галок считать?..

И, в последний раз скользнув по мне как бы все еще сомневающимся, но вместе и снисходительным взглядом, он прибавил:

— Делаем уважение... по обстоятельствам.

И затем он спокойно уселся на ступеньках будки, а я перешагнул городскую черту в роли контрабандиста, которому оказана явная поблажка или «уважение»... Отойдя шагов с десяток, я оглянулся. Суворов опять шарил в телеге проезжего казака, но, по-видимому, его снисходительность истощилась, и у будки завязывался крупный разговор. Через минуту телега обогнала меня, и ее хозяин, старый, седой казак, что-то сердито ворчал. В качестве казака, он имеет право беспошлинно провезти около пуда рыбы. Но даже золотника не вправе вывезти, не выправив предварительно билета, что сопряжено с целой волокитой.

Своего возницу я нагнал у спуска дороги, около двух крестов. Здесь же остановился только что обысканный казак и два «иногородних» мужика с косами за плечами,— и все они с раздражением говорили о «рыбопошлинной заставе». А недели через две, когда, проезжая из садов в город, я захотел навестить моего знакомого у заставы, его — увы! — уже не было. Суворовская тактика, по-видимому, в чем-то изменила, и на ступеньках будки сидел Суворов № 2-й, впрочем, как две капли воды похожий на прежнего и так же, с рассмотрением, шаривший у одних и делавший «уважение» другим...

Дорога, извиваясь, подошла к садам, пробежала по бревенчатому мосту за реку Чаган и поднялась на небольшую возвышенность. Здесь на время опять мелькнул простор степи. Целые облака пыли надвигались оттуда по старому казанскому тракту. Киргиз-косячник гнал табун лошадей к своей кибитке, одиноко стоявшей на выгоне, и лошадиные морды мелькали, слабо рисуясь в золотистом пыльном облаке...

Дорога наша прижалась к тихой степной речке Деркулу, причудливыми извилинами как бы переплетавшейся с Чаганом. Пошли сплошь сады. Город, со своей аркой и главами церквей, лишь издали мелькал в промежутках зелени.

II

НА УЧУГЕ.— ГГ. НАКАЗНЫЕ АТАМАНЫ И ОБЫЧАЙ

Первая «достопримечательность» Уральска, так называемый «учуг».

Учреждение это — единственное в своем роде. Идея его очень проста: если в известном месте перегородить поперек всю реку, то красная рыба, подымаясь с моря, остановится у перегородки и будет скопляться в больших количествах в нижнем течении реки.

Такие перегородки, сделанные из шестов и плетня, можно видеть на многих захолустных рыбных речонках. В некоторых северных губерниях их называют «заплотами», и из-за этих заплотов между соседями-рыбаками дело нередко доходит до дреколья. Яицкое казачье войско, сложившееся на степном просторе в величайшую земельную и рыбацкую общину, соорудило также и величайший в мире заплот, перегородивший огромную реку, по величине не уступающую Рейну.

Первые пришли к этой простой мысли астраханские «гости», которые, пробравшись к устьям Яика, наколотили здесь свай и шестов и черпали толпившихся у этой перегородки осетров, белуг и сазанов, точно из садка. В 1645 году купец Михайло Гурьев получил от московского правительства грамоты на свое нехитрое изобретение, с обязательством построить защитный каменный городок, который назван Гурьевым. Понятно, что

«догадка» Гурьева, обезрыбившая весь Яик от учуга до верховьев, не могла нравиться яицким казакам: они долгое время вооруженной рукой отбивали реку и у татар, и у киргизов и считали ее своею. Поэтому между купецким городком и казаками началась ожесточенная тяжба, и казачьи будары не раз беспокоили купецкие низовые ловли. В уральском войсковом архиве хранится целая серия дел «об учуге», которые, вероятно, могли бы дать любопытную страницу к истории Урала.

В конце концов победили казаки. Вся заяицкая сторона была тогда дикою степью, открытою дверью для «легкомысленного степного народа», который то и дело, «перелезши» через Яик, устремлялся на Волгу и даже в заволжскую Русь... Сторожевая служба казаков была очень важна для государства, а казаки жаловались, что астраханские гости «оголодили» все войско. На этот раз *булат* победил, злато уступило. В 1752 году учуг передан в содержание казакам, вместе с кабацкими и таможенными сборами. Казаки решили перенести учуг кверху, на нынешнее его место, а в 1770 году правительство передало казакам и самый городок Гурьев. Все низовье и часть среднего течения реки очутились в нераздельном владении Яицкого казачьего войска, а учуг стал как бы центром промышленной жизни огромной полувоенной, полурыбачьей общины.

В пугачевщине учуг сыграл тоже видную роль. Дело в том, что, вырабатывая самым точным образом свои внутренние трудовые распорядки, казачья община никогда не умела устроить как следует ту «политическую» сторону своего существования, которою община соприкасалась с государством. Старшины всегда грабили и утесняли войско; казаки порой хватались за сабли и расправлялись с одними грабителями, чтобы тотчас же посадить таких же. Получив в нераздельное владение «золотое дно» Яика вместе с таможенными и кабацкими сборами, войско обязалось уплатить правительству около пяти с половиной тысяч рублей. Деньги собирались с тех же казаков. Система фиска была очень первобытна: на Чаганском мосту поставили заставу (вроде, вероятно, описанной мною выше), задерживали рыбаков у моста, как рыбу на учуге, и взимали «по рассмотрению»,

сколько хотелось старшинам. Войско платило, пока старшина Логинов, из «крамольной» семьи, не разъяснил войску, что сборы давно превысили установленную сумму и старшины берут деньги в свою пользу. Войско жаловалось, посылало ходоков в Петербург, императрица приказывала учесть старшин и отстранить их от должности. Но самодержавная верховная власть оказывалась бессильна на далекой окраине. Петербургских посланцев старшины задаривали и продолжали свое, а известный генерал Черепов приказал даже стрелять по казакам, на коленях умолявшим исполнить волю императрицы. Войско потеряло терпение и при новом эпизоде этого рода схватилось за сабли. В схватке был убит генерал Траубенберг и войсковой атаман Митрясов. Тогда, разумеется, казаков принялись усмирять уже по-настоящему. Генерал Фрейман, двинувшись из Оренбурга, разбил их в правильной битве на реке Ембулатовке и занял Яицкий городок регулярными войсками.

Таким образом, еще года за два до пугачевщины в войске кипело характерное российское «возмущение». Люди, боровшиеся с заведомым хищением, оказывались бунтовщиками, а заведомые воры — усмирителями... Царица то обещала унять воровство атаманов, то приказывала усмирять ограбленных и награждала воров. В это-то время, на границе казачьей области, в одиноком степном умете, появился таинственный купец, Емельян Пугачев, и стал зорко присматриваться к событиям... И из всего этого возникла буря, потрясшая всю Россию. Первые вспышки будущего взрыва происходили около рыбопошлинной заставы на Чаганском мосту еще за два года до появления Емельяна Пугачева.

В тот день, когда я, вместе со знакомым казачьим офицером, потомком пугачевца Шелудякова, подъехал к учугу,— был сильный ветер. Река, вспененная крепкой волной, мчалась в крутых берегах, шумя и прыгая, как дикий степной скакун. Перед нами, с одного берега до другого, лежал неширокий дощатый помост на сваях. Вдоль этой настилки, напоминающей простой пешеходный мостик, с левой стороны виднелась частая щетина тонких железных шестов. Эти шесты, проходя через два горизонтальных бревна (называемых «бе-

лоногами»), образуют вместе с ними частую решетку, доходящую до дна. Это—«кошак», через который может проходить лишь мелкая рыба. На обоих концах помоста возвышаются деревянные решетчатые сооружения с дверьми. Над дверьми — надпись: «вход на учуг посторонним строго воспрещается».

Весь помост вздрагивал от быстрой волны. У кошака стоял шум и звон... Кругом на реке не было видно ни лодочки, ни паруса, ни парома... Только две-три будары, принадлежащих учужной водолазной команде, лежали опрокинутые на песчаной отмели. Яик, дикий, красивый, несся на просторе, срывая глинистые яры, и, шипя и клокоча, кидался на неожиданную преграду. Во всей картине чувствовалась дикая прелесть, своеобразная и значительная. Здесь, на месте столкновения свободной реки с железной решеткой — центральное место Урала, настоящая душа его, один из главных ключей к его жизни...

Учуг ставят весной и снимают поздней осенью. В тихие летние утра или перед солнечным закатом уральские жители приезжают сюда смотреть рыбу. Подымаясь с моря, вверх по течению, огромные осетры, толстые белуги и судаки доходят до учуга и здесь недоуменно останавливаются. Начиная с июля, весь август и сентябрь можно видеть, как красная рыба суется вдоль кошака, разыскивая проход, тыкаясь мордами в решетку. Посовавшись напрасно, рыба уходит вниз и потом, выметав икру, располагается на зимовку. А за всеми ее движениями, от низовьев и до самого учуга, следят особо назначенные караулы. Об ее появлении береговые и учужные казаки доносят войсковому управлению, как о движениях неприятеля.

В тот день, когда я стоял на помосте учуга, рыбы совсем не было видно. Вода вся замутилась, железные шесты дрожали и звенели, около решетки река образовала настоящий водопад, отшибавший рыбу обратно. Караульный казак опустил в мутную воду длинный шест, который называется «наслушкой». Суясь вдоль решетки, рыба толкает боками шест и таким образом обнаруживает свое присутствие. Но на этот раз и наслушка дрожала только от ударов речной струи. Глубь реки была мутна, непроницаема и как будто мертва.

— Нет вашего счастья,— сказал казак, добродушно улыбаясь.— Штурма на реке большая, ничего не видно. А вот вчера утром, да и на закате было велие...

— Осетр пришел? — спросил мой спутник, офицер.

— Пришел! Вчера утром все ходил вдоль кошака... Сунет нос меж шестов и идет книзу. Потом опять кверху подымется. Весь кошак этак ощупает... Потом идет вон туда, к яру.

— А судак?

— Судак еще не подходил. А вон там, под дальним яром уже видно Малька хватает...

И казак делится новостями мутной глубины, в которой читает, как в открытой книге. Лицо у него типичное, широкое, скуластое, глаза маленькие, бегающие, то необыкновенно добродушные, то лукавые. На нем неизбежная фуражка с малиновым околышем, кумачовая косоворотка, штаны с малиновыми лампасами засунуты в голенища. Что-то необыкновенно характерное сквозит в каждом его движении. Это не мужик и не солдат, это именно казак. Рыбак, стоящий по-военному на карауле у реки, военный, справляющий войсковую службу у рыбы. Когда я направляю на учуг свой фотографический аппарат, он становится на середине помоста и вытягивается во фрунт, забыв, что мы застали его даже без кафтана, в одной косоворотке. И он выходит на моем снимке в этой вытянутой служебной позе часового... А затем меня опять приятно поражает свободная непринужденность, с какой он ведет беседу с офицером.

Теперь это не начальник и не подчиненный, а два рыбака, обменивающиеся интересующими обоих рыбными новостями. Осетр уже ищет место для «ятовей», белуга еще не пришла, судак уже поднялся к ближним ярам. Вчера водолазная команда поймала большого персидского осетра. Персидским он называется потому, что не зимует в уральских водах. «Выбьет икру и кáтит, подлец, опять в море, к персидскому берегу. И видом отличается от нашего: белее, и жучка (пятна) крупная». Водолазы испугали этого иностранца, и он выкинулся на мель. Как войсковую собственность, его продали с аукциона в пользу войсковой казны...

— Все в нее матушку валим, как в прорву,— насмешливо говорит казак...— А что толку?

В его глазах, пытливо и быстро взглядывающих на офицера, сверкает огонек.

— Мало ли у войска надобностей,— говорит тот вяло.

— У войска? — переспрашивает казак, и огонек в его глазах вспыхивает сильнее.— Нет, ваше благородие,— не видит себе войско от казны пользы... Вот послушай, что я тебе скажу,— поворачивается он ко мне.— Были у нас голодны годы. Отощали казаки до той степени: и есть нечего, и сеять нечем. Тут бы, кажется, вспомнить: есть, дискать, у казаков собственна казна накоплена. Купить хлеба, купить семян, раздать. Так ли я говорю? Потом из урожаю — хоть опять возьми.

Я, разумеется, не находил возражений.

— Что ж ты думаешь: дала нам казна подмогу? Черта лысого! Неправду я говорю, ваше благородие?

— Ты свистунский? — спросил офицер вместо ответа.

— Так точно,— ответил казак, и легкая, чуть заметная усмешка пробежала под его жидкими светлыми усами.

Станица Круглоозерная, в просторечии именуемая почему-то Свистуном, расположена верстах в двенадцати от Уральска. По обычаям, одежде и всему укладу своей жизни она напоминает самые отдаленные низовые станицы, нетронутые новыми влияниями. Население ее сплошь старообрядцы разных толков, народ зажиточный, умный, упрямо подозрительный ко всяким нововведениям и всегда готовый к протесту...

При взгляде на простодушно-лукавое лицо свистунца с его задорными вопросами — мне невольно вспомнилась старина, с поборами старшин и оппозицией войска, напрасно требовавшего «учета». «Войско», то есть собственно огромная хозяйственная община, не имеет и теперь решающего влияния на распоряжение своей «казной». Ведается она чисто бюрократическими учреждениями, над которыми стоит атаман, военный генерал не из уральцев, по большей части не имеющий понятия об этом своеобразном общинном хозяйстве, в котором, однако, он самонадеянно «командует» (порой чисто по-военному) и покосами, и рыбной ловлей... А «чиновники», конечно, часто распоряжаются так же, как и во всей остальной России.

По настилке учужного помоста мы перешли на другой берег реки. Здесь он значительно выше и обрывается крутым, глинистым яром...

— Азия! — сказал мой спутник, указывая рукой на безграничную степь, уходившую далеко к горизонту... Река невдалеке поворачивала и терялась за мысом, но далее, в синевших предвечернею мглою лугах долго еще сверкали ее разорванные, светлые излучины... Правый берег ее («самарская сторона») — издавна казачий; левый, а за ним вся степь до Бухары и Аральского моря — киргизская сторона... Над этой светлой полоской, сверкающей в зелени лугов, кипела вековая борьба и лилась кровь. Орда считала реку своею. Со времен уральского Ильи Муромца, «старого казака Харкушки», она «перелазила» броды и переправы и кидалась «на Русь», уводя оттуда скот и пленных. Казаки сторожили переправы, старались выбить киргиза поглубже в степь и захватить левый берег с поемными лугами и ковыльной степью.

Все это давно миновало. Орда «замирилась», и от Уральска до Каспийского моря можно теперь проехать без оружия... Значение боевой границы Урала исчезло, и он представляет от учуга до моря только огромный живорыбный садок. Начиная отсюда и до самого Гурьева, река лежит в берегах, неприкосновенная и девственная... Ни бударки, ни паруса, ни плота, ни парома. Даже перевозы устроены только в четырех местах.

При взгляде на многоводную реку у меня невольно явилась мысль о пароходстве. В Петербурге я слышал, что от Уральска можно проехать на пароходе до Оренбурга, и мне очень улыбалась мысль о поездке по степной реке. Я спросил, где пароходная пристань.

Мой спутник, офицер, усмехнулся.

— Слышишь? — обратился он к учужному казаку,— вот они спрашивают насчет парохода?

Свистунец насторожился.

— Каки, ваше благородие, пароходы? Ведь у нас никаких пароходов нет,— сказал он с видимой тревогой и потом прибавил:

— А! Это ты видно про ванюшинску машину... Ну-у! — Он пренебрежительно махнул рукой.— Какой это был пароход. Так, г — нная посудина... Я ее на бударке обгонял...

— А ведь все войско, подлец, было растравил! — прибавил он с новой вспышкой раздражения.— Потом отказали: не надо. Так что войско более не желáт...

— Чего же вы боялись? — спросил я с невольной улыбкой.— Ходил он выше учуга, да и сами вы говорите, что посудина дрянная.

— Да ведь... дрянная-то она дрянная, а не надо нам... Почует, проклятая, прибыль, перекинется и за учуг. Пожалуй, не удержишь... Может рыбу распугать... Не пойдет рыба с моря,— войско должно оголодиться... Так ли я говорю, ваше благородие? — прибавил он, пытливо всматриваясь в лицо офицера.

В тоне его звучала опасливая тревога. Может быть, он подумал, что я тут высматриваю неспроста и что в моем лице жадная до «прибыли» машина уже разыскивает себе ходы на девственную реку...

— Верно, верно! — успокаивает офицер.— Действительно,— говорит он, обращаясь ко мне,— попробовали было, да бросили...

— Войско не желáт! — твердо прибавил казак.— Шиш съела, подлая!

Дикий Яик, девственный и вольный, пока свободно бежит между ярами, шипит у железных шестов учуга и баюкает залегающие в омутах «ятови». Казаки уверены, что это навсегда...

— Как это можно,— говорил мне с убеждением казак из одной приуральской верховой станицы.—Вон у меня под яром сазан держится. Вот какой сазан... агромадный! Так ведь он у меня жилóй. Тут и зимует, тут и летом живет...

— Ну, так что же?

— Как что? Пароход его должен испугать. Он, значит, подастся в море. Конечно!

Казаки уверены, что жилой сазан во веки веков не пустит в реку парохода...

В другой раз я подъехал к берегу Урала у Белых горок (верстах в десяти ниже Уральска, в запретной части реки). Здесь, на увале, стояла сторожка. Из нее вышел старый казак в сером пиджаке и форменной фуражке.

Это был караульный пикетчик. На его обязанности следить за рекой. В старину такие пикеты следили за движениями орды, теперь они следят за рыбой. Пикетчик

знает речную глубину так же отчетливо, как и учужный казак, и так же уверенно может рассказать, кто из водных обитателей уже изволил прибыть с моря, кто ожидается на днях, где новоприбывшие избирают места для остановок («ятовей»). Он указал мне рукой вдаль, на «степную сторону» и сказал:

— А вон там — другой пикет.

Вглядевшись, я действительно увидел вдалеке белое пятно... Еще дальше, в млеющей степной мгле мелькала третья, уже чуть заметная белая точка.

— И так до моря? — спросил я.

— Да, до самого Гурьева...

— Ну, а выкупаться тут можно?— спросил я, истомленный жарой.

В глазах пикетчика мелькнуло выражение неподдельного испуга.

— Что вы это, бог с вами! — произнес он с изумлением.— Как можно в реке купаться? Да тут след ваш на песке увидят,— я обязан объяснить, кто и для какой надобности подходил к берегу... А вы — купаться!.. Ах, боже мой!..

Он с искренним недоумением смотрел на человека, который мог сказать такую несообразность... Мой спутник, природный казак, объяснил, улыбаясь, что я приезжий и местных порядков не знаю...

В периоды осенних и весенних плавен войско усеивает бударами все берега и яры. По сигналу (пушечным выстрелом) оно кидается в реку и идет «ударом» на высмотренные раньше ятови. Здесь уже исчезает всякое иерархическое различие. Казачий офицер, будь он даже полковник,— становится в ряд с простым казаком. Будары соединяются по две, в каждой сидят ловец-казак и гребцы (гребцы могут быть и наемные)... Если во время «удара» какой-нибудь ловец, стоящий на ногах в узкой и шаткой бударке, упадет в воду (тогда прямо ледяную), вся флотилия пронесется мимо, как кавалерийский отряд в атаке над упавшим с лошади. Никто не остановится, чтобы подать помощь.

Зимой в период багренья войско двигается на санях от Уральска до Гурьева, останавливаясь в заранее отве-

денных местах. Река кипит тогда своеобразной походной жизнью. За войском тянутся торговцы рыбой, отправляющие ее целыми обозами в Россию, идет торговля съестными припасами, сапогами, рукавицами, шапками, принадлежностями лова... Виноторговцы, по старой памяти о «царевом вине», выставляют над бочками национальные флаги («знямки» — уменьшительное от «знамя»).

Эти походы на рыбу всем войском содействуют в высшей степени сохранению на Урале казачьего быта и типа. Войско в эти периоды чувствует свое единство. На привалах кипят религиозные споры, распространяются политические новости. В старину всякая смута зарождалась в этих походах. Пугачев тоже собирался «объявиться» на плавне, но старшинская сторона и осторожный Симанов отменили тогда осенний лов. Вообще рыба свободно спала ту зиму по омутам, пока степь курилась пожарами, гремела выстрелами и обливалась кровью...

На время севрюжьей ловли и багренья, как вообще на всякое рыболовство, производимое войском в известном месте и в определенное время,— назначается особый атаман рыболовства, обязанный следить за соблюдением правил лова. Но еще более властным распорядителем является обычай. Надо отдать войску справедливость: загородив свою реку, оно сумело завести на ней образцовые порядки, и общинный дух сказался на реке гораздо полнее, чем в земельной общине.

В собрании уполномоченных ежегодно дебатируются вопросы, возникающие на почве общинного рыболовства, и после всестороннего обсуждения осторожно вводятся в практику.

Первый участок реки, с которого начинается ловля, отводится для так называемого «презента».

Это старинный обычай. Уже во времена Михаила Федоровича яицкие «зимовые станицы» ездили на Москву, «кланялись» государям рыбным подарком и отдаривались в свою очередь. Посланцы войска получали «ковши и сабли», войску шли разные милости. Казаки дорожат этой традицией, но уже с давних времен к ней присосалось хищничество войсковых воротил. Участки для «презента» отводятся щедрой рукой, улов получается гораздо больше, чем нужно собственно для царского двора, и

этими остатками атаманы задаривали членов военной коллегии, оренбургского и казанского губернаторов, которые за это покрывали всякое воровство «старшинской стороны».

Это в известной степени сохранилось до наших дней. Войсковая бюрократия бесконтрольно распоряжается презентом и распределяет «войсковой подарок» без участия представителей войска. Это стало своего рода бытовым явлением, и по количеству балыков и икры, получаемых в Уральске чиновниками разных ведомств, жители судят о теплоте или холодности междуведомственных отношений.

Войско сильно косится на это бесцеремонное расхищение своего улова. Однажды даже была отряжена депутация к одному из атаманов, с просьбой передать распоряжение презентом в руки войсковых уполномоченных. Положение атамана было щекотливое. Он вышел из затруднения при помощи патриотической риторики.

— Кто меня сюда назначил? — спросил он у депутатов.

— Известно, кто, ваше-ство. Наказных атаманов назначает государь император.

— Вот видите. Государь доверил мне все войско. А вы не хотите доверить такого пустяка. Значит, вы идете против царской воли...

Депутаты сробели перед этим своеобразным призывом к «верноподданству», и бесцеремонное присвоение войскового труда продолжается до настоящего времени без контроля войска [1]. Кому только не «кланяется уральское войско» своими «презентами». Один атаман, служивший когда-то в кавалерийском полку, ежегодно посылает массу икры и рыбы офицерам этого полка. Офицеры пили за здоровье атамана, за боевую взаимность свою со славным уральским войском... Но,— как только атамана убрали, рыбный стол полка внезапно оскудел...

В старину атаманы назначались из природных казаков. Они грабили войско, но отлично знали его нравы и обычаи. Противник Пугачева Мартемьян Бородин был, если не ошибаюсь, последним атаманом из казаков. После него назначались атаманы из столицы, ничего обще-

---

[1] Писано в 1901 году.

го с «войском» не имевшие. Знакомые (в лучшем случае) с обычным хозяйственным строем казарм,— они становятся распорядителями целой своеобразной области, с ее бытовыми особенностями. По «причетному приказу» такого атамана войско выступает на общий покос и по его же сигналу двигается «ударом» на багренное рыболовство. В этих распоряжениях ему помогает особое учреждение: съезд уполномоченных, своего рода казачье земство. Но его постановления имеют только совещательный характер. Хорошо, если атаман — человек благоразумный. Но ведь это бывает не всегда, и иные атаманы склонны распоряжаться хозяйственным бытом казаков, как строевой шеренгой. Казак на своем гумне, на своем покосе, пашне, на рыбной ловле — представляется им вечным «нижним чином», обязанным тянуться во фрунт и беспрекословно исполнять самую нелепую команду.

На этой почве разыгрываются порой анекдоты чисто щедринского жанра.

Одному бравому атаману не понравилось, что в городе Уральске много плетней. В городе должны быть не плетни, а заборы. Атаман распорядился, чтобы к такому-то сроку плетни были заменены заборами. Совершенно понятно, что приказание не было исполнено: сторона безлесная, материал дорог. В назначенный день атаман собрал так называемых «служилых казаков», выстроил их на площади и с этой армией двинулся против плетней. По его приказу служилые казаки, находившиеся в строю и не смевшие ослушаться,— стали поджигать плетни. Генерал суетился, ругался, командовал, сухие плетни пылали, толпа смотрела в угрюмом молчании. Только один старый казак наконец плюнул и сказал довольно громко:

— А еще говорят: не сумасшедший.

Мне называли этого казака. Атаман, говорят, слышал, но промолчал... А плетни, как местная особенность, и до сих пор украшают улицы старинного казачьего города...

Кажется, с тем же неугомонным атаманом было и другое колоритное происшествие. Он вздумал объехать «свою» область. Всюду были приготовлены парадные встречи. Встречали не только казаки, которые для этого случая оседлали рабочих лошадей, но и все население. Старые казаки, казачки, казачата и девушки. По оконча-

нии парада генерал ходил по площади, сыпал прибаутками в народном вкусе, заигрывал со станичными красавицами.

Особенное внимание старого селадона привлекла девочка-подросток, дочь зажиточного станичника, ходившая по улице с подругами. Его превосходительство подошел к ней с какой-то веселою шуткой. Девочка отвернулась. Зная «ключ к женскому сердцу», он протянул ей двугривенный «на семечки» и после этого попытался милостиво взять ее за подбородок. Девочка бесцеремонно двинула его локтем и сказала:

— Начхать (говорят, она выразилась еще сильнее). У тятьки и своих много...

И крамольная красавица пошла дальше, луща семечки и пересмеиваясь с казачатами, которых, по известной женской глупости, очевидно предпочитала заслуженным генералам.

По этому поводу поселковый атаман получил нагоняй. В приказе было отмечено, что население распущено, не дисциплинировано и не питает должного уважения к начальству... Юная красавица на некоторое время стала очень популярной.

Навстречу этим попыткам командовать вне строя,— население часто готово к отпору. Особенно если эти попытки посягают на обычаи и нравы рыболовства.

Осенью перед тем годом, когда я был в Уральске, берега Яика видели характерную картину, напомнившую старые яицкие времена. Наказной атаман был назначен недавно, обычаев не знал, был человек самонадеянный и склонный к командирским замашкам. Кроме того, говорили, что на него оказывал большое влияние адъютант, человек чрезвычайно непопулярный в войске... В первый же день войско, по обычаю, закончило ловлю на участке, назначенном для презента. Адъютанту показалось, что улов мал. Он сказал об этом атаману, и тот распорядился продолжать лов на следующем участке.

Войско находило, что улов достаточен, но предмет был щекотливый, и войско согласилось продолжить лов на следующий день. Участок, на котором производится лов, по обычаю и по постановлению съезда уполномоченных, ограждается снизу поперек всей речки большой «аханной» сетью, чтобы рыба, потревоженная на участке,

не кинулась вниз и не подняла других ятовей, залегших на зиму.

Но атаман, раз отдав опрометчивый приказ, не хотел брать его назад и опять поставил вопрос на почву верноподданнического благоговения и дисциплины. К нему подошли некоторые офицеры в ловецких костюмах и уважаемые старые казаки и стали убеждать отступиться. Завтра войско готово отдать для презента другой участок, но нельзя нарушить исконные правила лова.

Атаман вскипел. Он топнул ногой и крикнул: «Молчать! Слушать команды».

Старики угрюмо разошлись по местам. Генерал дал знак, по которому войско должно кинуться ударом. Никто не двинулся с места. Атаман посмотрел на это, как на бунт. Это его рассердило тем более, что в это время у него в гостях был саратовский губернатор, стоявший тут же.

— Офицеры, вперед!..

Никто не двинулся. Да это было и невозможно: в рыбной ловле нет офицеров и рядовых: заслуженный офицер часто плывет в паре с простым казаком.

Атаман рассвирепел. Это уже показалось ему бунтом против верховной власти, во-первых, и против его авторитета, во-вторых. Он стал кричать и при этом произнес неосторожную фразу:

— Прикажу на песке осетров багрить,— будете багрить, пока не скомандую отставить...

По войску пошел шум. «Еще солдатских шинелей на казаков не надел»,— кричали казаки. Это был старый лозунг... Из-за «солдатских шинелей» Яик не раз тревожно подымался против Москвы. Шум разрастался. Старики громко ворчали. Среди молодежи, особенно из Свистуна, замелькали багры, и скоро береговой яр, на котором стояло начальство, оказался окруженным взволнованной толпой.

— Чего тут было... И-и!..— говорил, слегка косясь на офицера, учужный казак, рассказавший мне в общих чертах эту историю. И потом, усмехаясь в усы, прибавил:

— Гость-то... Саратовский... Кинулся поскорее к саням, пал кверху тормашками и кричит кучеру: — Гони

в город. Нахлестывай!.. Ну их, дескать... Спасибо на угощении.

Впоследствии ту же историю мне во всех подробностях рассказывали в Свистуне старые казаки в бухарских стеганых халатах.

— Атаман испужался, снял папаху, давай кланяться войску.—«Простите, господа войско. Я по новости ваших обычаев еще не узнал». Ну-мол теперь будешь знать...

— А если бы не уступил? — спросил я.

— И-и! Что ты. Не дай бог,— сказал один. А другой прибавил:

— Не знай, что и было бы... Наше, брат, войско — сурь-ез-ное...

III

СТАРЫЙ ГОРОД.— ГРОБНИЦА КАЗАЧЬИХ ВОЛЬНОСТЕЙ.— КУРЕНИ.— ПУГАЧЕВСКИЙ ДВОРЕЦ И ДОМ УСТИНЬИ КУЗНЕЦОВОЙ

Уральская железная дорога построена недавно. Когда возник вопрос об отчуждении земли под полотно дороги,— казачья община оказалась в затруднении; приходилось в неделенную степь пустить целую полосу, которая отходила в собственность дороги. В конце концов, отчуждение все-таки произошло... Право собственности приобретено дорогой почти за чечевичную похлебку.

Таким образом, коснувшись железнодорожных сребреников, казачий строй допустил к себе опасного соседа: на отчужденной земле стали элеваторы, мельницы, склады, задымились трубы, в темные осенние вечера загорелось электрическое освещение. Затем железнодорожная компания стала отчуждать эту землю третьим лицам, и опять на праве собственности... Первые попытки этого рода вызвали процесс, который община проиграла, и теперь под боком у бывшего Яицкого городка растет целый поселок, живущий своею особенною жизнью, и главное — растут интересы, которые, конечно, когда-нибудь потребуют и своего представительства. Вокзал и линия железной дороги — это вторжение «иногороднего» элемента в самое сердце казачьей общины...

Факт совершился. Казачий город выразил свое нерасположение тем, что отодвинул место для вокзала по-

дальше. Но в последнее время он сам тянется к вокзалу своей северной частью... Паровой свисток, изгнанный с реки, раздается властно и невозбранно, растут склады, магазины, каменные дома... Старый исторический «городок» прижимается южною частью к Яику с его нетронутыми водами и учугом.

Это два полюса, два разных периода истории, Европа и Азия, прошедшее и будущее казачьей страны...

На самом рубеже между ними, как бы заступая дорогу надвигающейся Европе, на «Большой» городской улице стоит старый собор, почтенное серое здание с шатровыми крышами и облупившейся штукатуркой. Это тот самый собор, колокольня которого была когда-то взорвана пугачевцами. До сих пор старожилы указывают груду камней и щебня, отмечающих место этого взрыва. Здесь же около собора находился небольшой «ретраншемент», в котором полковник Симанов с «верными» старшинской стороны казаками отсиживался от овладевших городом пугачевцев.

Все здесь носит характер глубокой, седой старины. Рассказывают, между прочим, что будто старый собор упорно «не принимает новой штукатурки» и уже несколько раз сбрасывал ее с себя, как ничтожную шелуху. Простые казаки говорят об этом факте с глубоким убеждением и суеверной многозначительностью, офицеры с некоторым недоумением. Факт (объясняемый, быть может, особыми свойствами «войсковой» штукатурки) устанавливается многочисленными показаниями: старый собор упрямо отметает новую оболочку и как бы подает пример консерватизма своим смиренным соседям...

Внутри этого собора, на правой стороне, невдалеке от входа, бросается в глаза грубая каменная гробница, в форме саркофага, покрытая частью облупившейся темною краской. Над этой загадочною гробницей носятся сбивчивые предания. Говорят, между прочим, будто один из священников Петропавловской церкви (находившейся вне ретраншемента, во власти пугачевцев) отказался венчать Пугачева с казачкой Устиньей Кузнецовой и за это был замучен. Казаки «верной стороны» похитили его тело и положили в эту гробницу. Кажется, это предание неверно: исторические источники нигде не упоминают об этой казни. Наоборот, после захвата Пугачева

яицкие священники подверглись суровым карам за излишнюю уступчивость требованиям «набеглого царя». По другой версии — под видом похорон попа полковник Симанов и осажденные «старшинские» казаки скрыли в гробнице войсковые регалии,— атаманские насеки и грамоты царей войску,— опасаясь, чтобы все это не попало в руки пугачевцев, если бы они взяли «ретраншемент». Как бы то ни было, таинственная гробница, неведомо кем поставленная в углу старого казачьего собора, привлекает общее внимание. В войске издавна существует легенда о какой-то грамоте царя Михаила Федоровича, в силу которой казакам отдавалась река Яик от вершин и до моря, со всеми притоками. Эта заманчивая грамота, сгоревшая будто бы в большой пожар еще в начале XVII столетия, служила предметом настойчивых розысков, и уже во времена Петра Великого зимовые яицкие станицы потратили немало денег, роясь в столичных архивах. Но никаких следов грамоты не нашлось, значит, она не могла и попасть в гробницу. В войске, однако, существует упорное убеждение, что какие-то реликвии казачьего строя и, может быть, какие-то его «права» дремлют в гробнице, в недрах старого собора, не принимающего новой штукатурки [1].

Вокруг собора и за ним раскинулись «курени»: убогие деревянные домишки, порой плетневые мазанки с плоскими крышами. Здесь уже и не пахнет городом. Казачата играют в уличной пыли и на мураве, мимо церкви бредет старый-престарый казачище с посошком и бормочет что-то про себя. Вдали виднеются крутые, глинистые обрывы Урала, уже на другой, «бухарской» стороне. И под шум степного ветра, налетающего оттуда и крутящего вихрями летучую пыль, как-то даже забываешь, что стоишь на той же улице, в другом конце которой красуется триумфальная арка, европейские магазины, вокзал, элеваторы...

В куренях есть свои исторические достопримечательности. На углу Большой и Стремянной улиц показывают два скромных дома. Один из них, угловой,— деревянный, сложен, очевидно, очень давно, из крепкого лесу.

---

[1] В интересах истории подымался даже вопрос о вскрытии гробницы, но дело это заглохло, кажется, в духовном ведомстве.

Бревна отлично еще сохранились, хотя один угол сильно врос в землю, отчего стены покосились, а тес на крыше весь оброс лишаями и истлел, кое-где превратившись в мочало. Другой, стоящий рядом, в глубь Стремянной улицы, тоже очень старый, сложен из кирпича с некоторыми претензиями на «архитектурные украшения». Он тоже весь облупился. Слепые окна отливают радужными побежалостями, крыльцо, выходящее во двор, весь заставленный кизяками, погнулось под бременем лет до такой степени, что могло бы возбудить любопытство архитектора самым фактом своего равновесия.

Местное предание гласит, что первый дом (деревянный) принадлежал казаку Петру Кузнецову, откуда Пугачев взял себе невесту, Устинью Петровну, ставшую на короткое время «казачьей царицей». В каменном — жил будто бы сам Пугачев во время наездов из Оренбурга...

Есть много оснований считать это предание верным. Местный старожил и литератор, Вяч. Петр. Бородин передавал мне, что несколько лет назад, при перекладке печи в каменном доме, печники нашли целую связку старинных бумаг, по-видимому, тщательно скрытых под печью. Очень может быть, что в связке этой находились интереснейшие материалы для истории Пугачева, но, к сожалению, полицейский надзиратель, знавший об этом факте, рассказал о нем слишком поздно, и отыскать бумаг не удалось...

Эта находка отчасти подтверждает, что старое каменное здание играло какую-то особенную роль в историческом движении. По словам того же В. П. Бородина, каменный дом принадлежал Кузнецову, и в нем жила Устинья уже царицей, а Пугачев останавливался у нее во время своих наездов в Уральск. Мне кажется, однако, что предание, связывающее оба соседние дома и называющее деревянный домик Кузнецовским, вернее. Известно, во-первых, что Кузнецов был казак небогатый, а каменных домов в то время было немного... Во-вторых, г-н Дубровин («Пугачев и пугачевцы») говорит, что перед вторым отъездом в Оренбург Пугачев перевел свою новую жену в Бородинский дом, лучшее здание в городе. Место этого дома указывают теперь различно: это или нынешний атаманский дом на Большой улице, или

еще один дом, давно уже перестроенный так, что от прежнего едва ли остались и стены.

Смутное предание и это точное указание истории легко примиряются, если принять во внимание, что Пугачев приезжал в Уральск еще до своей женитьбы. Как известно, он дважды вел подкопы под ретраншемент и сам постоянно руководил минными работами. Следы одной из этих мин и теперь еще видны в куренях, по направлению от собора — на юго-запад. Очень возможно, что вначале Пугачев сам жил в этом каменном доме, распоряжаясь осадой и подкопом, а Кузнецовы были в это время его ближайшими соседями.

Выдающийся уральский исследователь и знаток старины покойный Иоасаф Игнатьевич Железнов, в первой половине прошлого столетия собрал много живых еще преданий того времени, частью записанных со слов очевидцев и, во всяком случае, по свежим следам. Одна из рассказчиц, столетняя монахиня Анисья Невзорова, говорила Железнову (в 1858 г.) о знакомстве Пугачева с будущей «царицей».

— Сидит, это он, Петр Федорович, под окном и смотрит на улицу, а Устинья Петровна на ту пору бежит через улицу, в одной фуфаечке да в кисейной рубашечке, рукава засучены по локоть, а руки в красной краске (она занималась рукодельем: шерсть красила да кушаки ткала). Тут он в нее и влюбился.

Этот рассказ современницы тоже указывает на близкое соседство обоих домов и подтверждает предание, витающее над этими полуразвалившимися зданиями на Стремянной: из окон этого каменного дома Пугачев мог видеть красавицу Устю, пробегавшую «по домашнему» через улицу. И это определило трагическую судьбу молодой казачки.

В старинных «делах», которые я имел случай читать в войсковом архиве, не раз упоминается о «называемом дворце» Пугачева. Весьма вероятно, что и сватовство и свадьба происходили еще в этом скромном доме. Судя по историческим данным, Устинья шла за «набеглого царя» неохотно. Когда к ней приехали сваты, она спряталась в подполье.

— И что они, дьяволы, псовы дети, ко мне привязались? — говорила она.

Во второй раз к ней приехал уже сам Пугачев, но и тут Устинья и ее отец неохотно шли навстречу высокой чести.

После свадьбы и второго взрыва Пугачев опять уехал в Оренбург, но прежде он образовал целый штат «придворных» около новой «царицы». В бумагах войскового архива, в списках арестантов, содержавшихся во время усмирения бунта при войсковой канцелярии, я встретил, между прочим, имена:

«Устиньи Пугачевой», содержавшейся «за выход в замужество за известного злодея, самозванца Пугачева, и за принятие на себя высокой фамилии».

Сестры ее Марьи Кузнецовой — «по обязательству сродством с беззаконным самозванцем».

Петра Кузнецова — «за отдачу дочери своей Устиньи Петровой за злодея Пугачева».

Семена Шелудякова — «за бытие в самозванцевой партии и за езду от самозванцевой жены к злодею Пугачеву по почте под Оренбург с письмами».

Устиньи Толкачевой — «за бытие при самозванцевой жене за фрейлину».

Старшинской женки Прасковьи Иванаевой — «за бытие у самозванцевой жены стряпухой».

И, наконец, молодого казака-подростка — «за бытие при называемом дворце в пажах».

Брак этот не принес счастья Пугачеву и погубил бедную молодую казачку, захваченную вихрем исторических событий. Свадьба происходила под гром неважных пушчонок из ретраншемента, в котором укрепился Симанов с «верными казаками». В «куренях» пугачевцы тоже построили свою «воровскую батарею» Командовал ею мрачный Карга. Шла постоянная перестрелка. Летали ядра, пули, киргизские стрелы, язвительные слова. На древка стрел и дротиков привязывались разные укорительные письма... Бунтовщики самым язвительным образом отзывались о царице Екатерине. Симановцы осыпали оскорблениями ее невольную соперницу...

Сила Пугачева была в наивной и глубокой народной вере, в обаянии измечтанного страдальца-царя, познавшего на себе гонение, несущего волю страдальцу-народу.

Женитьба при живой жене была яркой, бьющей в глаза неправдой. Увлечение Пугачева было, должно

быть, очень сильно, а оскорбить хороший казачий род незаконной связью он, по-видимому, боялся. Роковая для Устиньи свадьба состоялась. Совесть искренних пугачевцев была смущена. Покорное Пугачеву духовенство отказалось поминать новую «царицу» в ектеньях «до синодского указу»... Крыша кузнецовского дома была видна из ретраншемента. Ликование кощунственной свадьбы доносилось за стены укрепления, поддерживая не одну уже, быть может, колебавшуюся совесть «верной стороны». Если не симановские пушки, то полемические стрелы из рентраншемента приобрели после этого новую силу...

Как бы то ни было,— этот невзрачный, покосившийся дом видел в своих стенах своеобразный «придворный штат» фантастической царицы. Здесь толпились фрейлины — недавние подруги ее по куреням — и пажи-казачата. Пугачев, как известно, относился к Устинье с уважением и доверием. По всем данным, Устинья была скромная женщина, не вмешивавшаяся в дела и никому не сделавшая ни малейшего вреда в период своего сказочного царствования.

Впоследствии, по приказанию Панина, на Яик и в Оренбург были присланы особые вопросные пункты о поступках Пугачева и пугачевцев. Нет сомнения, что это расследование не оставило бы без внимания какихнибудь смешных или предосудительных выходок выскочки-царицы, если бы они были. Но их не было. Устинья в своем исключительном положении вела себя скромно, с каким-то непосредственным тактом, и даже в те времена бездушной формалистики, когда всякая вина была виновата, она была признана по сентенции невиновной...

По временам у нее являлись сомнения... Не раз по ночам молодая казачка плакала и приставала к загадочному человеку, неожиданно ставшему ее мужем, с расспросами: кто он такой, действительно ли царь и по какому праву захватил ее молодую жизнь в водоворот своей туманной и бурной карьеры? Указание на драму, начавшуюся в стенах этого дома, сохранилось в допросах Устиньи, приводимых г-м Дубровиным. Но, разумеется, подлый деревянный язык застеночных протоколов не мог сохранить трогательных оттенков трагедии женского

сердца... Жалобы и слезы юной казачки, смущенные ответы таинственного и мрачного человека, неожиданно вмешавшегося в ее жизнь,— все это теперь стало тайной старого дома. А так как и действительный Пугачев далеко не похож на то «исчадие ада», каким, по старой привычке, изображала его история, то очень может быть, что в эти минуты, наедине с молодой женой, ему бывало труднее, чем на полях битв, на приступах или позднее при «расспросах» с пристрастием Павла Потемкина...

Может быть, отчасти поэтому он не живал долго в Яицком городке и, примчавшись из Берды с небольшими отрядами по зауральской стороне, скоро опять мчался обратно снежными степями, рискуя встретиться с разъездами противников или попасть в руки орды...

Печальна дальнейшая судьба бедной казачьей царицы. Пугачев проиграл свое дело на Яике. Он умчался из-под Оренбурга, чтобы еще раз пронестись ураганом по заводской и крепостной восточной России, а Симанов со старшинской партией вышли из ретраншемента, и началась расправа. Устинья со всем своим штатом попала из «называемого дворца» в тюрьму при войсковой канцелярии. Потом пошли этапы, кордегардии, тюрьмы, эшафоты. Существует очень правдоподобный рассказ, будто бы Екатерина пожелала лично видеть свою фантастическую соперницу. Свидание состоялось. Екатерина нашла, что Устинья далеко не так красива, как о ней говорили. После всего, что пришлось перенести бедной казачке, полуребенку, на пути от этого скромного деревянного домика в куренях до дворца Екатерины, отзыву этому можно, пожалуй, поверить...

Это свидание могло бы послужить благодарным сюжетом для интересной исторической картины. После него Устинья исчезает надолго в казематах Кексгольмской крепости. Более четверти века спустя (в 1803 г.) царственный внук Екатерины, мечтательный и гуманный Александр I, обходя эти казематы, встретил там, между прочим, и Устинью. На вопрос государя, ему сообщили, что это вторая жена Пугачева. Александр тотчас же приказал освободить ее, но, конечно, это пришло уже слишком поздно...

Да, торжественная история имеет также свои задворки, совсем не торжественные и не красивые. Бедная

Устя, скромная казачка из куреней, красивый мотылек, захваченный бурей исторического движения,— и великая императрица... Кто их рассудит, и если кто рассудит, то какой тяжестью ляжет на чашку великих дел Екатерины несчастная судьба скромной казачки?

В обоих исторических домах живут какие-то бедняги-татары. В то время, как я внимательно осматривал их и снимал фотографии, хозяев не было дома. Тусклые окна загадочно глядели на улицу. Двор, на котором некогда толпились казачьи старшины, полковники и «генералы», передразнивавшие графов и князей екатерининской свиты, зарос муравой и был покрыт кучами «кизяка», запасенного на зиму бедной татаркой. Деревянное крыльцо, на котором, вероятно, сиживал казачий царь, творивший свою расправу, уже совсем покосилось, и веревка для грязного белья тянулась между колонками широкой террасы.

Пока я с моим спутником П. Я. Шелудяковым, потомком очень видного пугачевца, ходили вокруг дома, заглядывая во двор, к нам стали собираться обитатели заинтересованных «куреней», казаки и татары. Один из них сообщил с таинственной многозначительностью, что в каменном что-то «непросто»...

— Мотри,— непременно есть что-нибудь...

— Что же именно?..

— Да уж... Чего говорить-то...

Оказалось, по рассказам соседей, что живущая в бывшем «дворце» вдова татарка слышит по временам под полом возню, шум, голоса и стоны. В смутном сознании куренных обывателей полуразвалившееся здание все еще хранит и бурные страсти, и невыплаканные слезы его бывших обитателей.

Самое наше посещение создало в куренях новую легенду: обыватели заключили, что цель нашего осмотра — покупка «казною» пугачевского дома, как бывшего царского дворца. Может быть, в интересах истории это и следовало бы сделать, но... эти достопримечательности куреней — памятники «опальные», о которых никто не позаботится, пока они, покорные времени, не сровняются с землей...

С этими мыслями в голове, с трогательным и грустным образом бедной Усти в воображении оставил я Стремянный переулок. «Дворец» стоял все так же насупленный и молчаливый, в окне кузнецовского дома мелькнуло за стеклом детское личико. Степной ветер взметывал белесые листья тополей над старым руслом реки, а невдалеке, в своих крутых берегах, бурлил и метался дикий Яик...

IV

ПОЕЗДКА ПО ВЕРХОВЫМ СТАНИЦАМ.— НОЧЛЕГ В ТРЕКИНЫХ ХУТОРАХ.— «КОЧКИН ПИР».— ПОСЛЕДНИЕ ОТГОЛОСКИ КРАМОЛЫ.— ОБ «АГЛИЧАНКЕ»

Я собрался в поездку по «верховым» станицам, т. е. кверху от Уральска, до Илека, где уже кончается область Уральского войска.

Для этого я купил себе лошадь. Это был заслуженный когда-то строевой конь, постепенно опускавшийся по ступенькам житейской карьеры и перед моей поездкой исполнявший скромную работу при молотилке на войсковой учебной ферме. Опытный глаз мог еще различить сквозь худобу и опущенность прежние статьи хорошей казачьей лошади.

Добрые люди снабдили меня тоже изрядно послужившей на своем веку тележкой на погнувшихся дрогах, и, наконец, благоприятная судьба послала мне прекрасного спутника в лице Макара Егоровича Верушкина, илецкого казака, учителя с той же учебной фермы. Он ехал в Илек к родным.

На склоне июльского жаркого дня, снарядившись в путь, мы двинулись из садов через Чаган луговыми и степными дорогами. Вся совокупность нашей скромной экспедиции — и костистая лошадь, и скрипучая тележка, и наши фигуры в белых картузах, скоро покрывшихся летучей степной пылью,— ничем не нарушала привычной картины степной дороги, то лениво взбегавшей на увалы, то тянувшейся серою лентой между бахчами...

Солнце сильно склонилось к закату. Последние лучи играли еще на верхушке триумфальной арки и церковных главах Уральска, когда, минуя «Баскачкину ростошь»

и Солдатскую Старицу (старое русло Урала) и переревав пыльный тракт, мы поднялись на широкий увал, и тележка покатилась ровною степью... Перед нами была безграничная степь. Даль обволакивалась легкою предвечернею дымкой, и только вправо зеленая полоска лесной поросли отмечала вдали берега излучистого Урала...

Солнце совсем уже село, и теплые сумерки лежали над степями, когда наша тележка въехала в улицы Трекиных хуторов, где мы наметили свой первый ночлег.

На улицах стояла тишина, свойственная этому неопределенному сумеречному часу. Кое-где на завалинках и бревнах виднелись группы казаков, занятых разговорами. К одной из таких групп мы и привернули со своей тележкой.

— Доброго здоровья,— сказал мой спутник.

— Здравствуйте,— ответили казаки.— Кого надо?

— Где тут живет ваш уполномоченный NN?

Я уже говорил о «съезде уполномоченных», заменяющем казачье земство. Население относится очень сочувственно к этому учреждению, и звание уполномоченного считается очень почетным званием. Один из моих уральских добрых знакомых, Н. А. Бородин, бывший петровец, ученый войсковой рыбовод, предвидя возможность недоверия станичников к иногороднему приезжему человеку, снабдил меня письмами к нескольким уполномоченным. В этих письмах, подписанных тремя интеллигентными казаками, бывшими председателями съездов, сообщалось о цели моей поездки, и уполномоченные приглашались оказать мне содействие по собиранию нужных сведений. Бумага эта осталась без действия, так как в это время почти все «уполномоченные», по большей части почтенные старики, были на бахчах или в полях. Но все же самая возможность ссылки на это письмо давала мне своего рода опорный пункт и служила началом разговора... На наш вопрос об уполномоченных, один из казаков ответил:

— Он в городе. Да вам его зачем?

— Письмо у нас от Николая Андреевича Бородина. Переночевать бы.

— Так что же! Это и у меня можно,— сказал, подымаясь, высокий бородатый казак...— Мы Николая Анд-

реевича тоже довольно знаем.— И он стал отворять плетневые ворота.

Мы, разумеется, охотно приняли приглашение и въехали во двор. Постройки в этой безлесной местности имеют особый характер. Отличительная черта — преобладание плетней и чрезвычайная экономия материала. Маленькие, чистенькие мазаночки с плоскими крышами придают своеобразный вид широким станичным улицам. Дворы тоже обносятся плетнями.

— Где хотите ночевать,— спросил у нас хозяин: — на дворе, а то в светелке?

Он только что вышел, наклоняясь в дверях, из своей избы, куда ходил распорядиться насчет самовара, и я искренне удивлялся, как могут такие большие люди помещаться в таких игрушечных жилищах. Ночлег в жаркой светелке нам не улыбался, и мы попросили устроить нас на дворе.

Вынесли самовар. Вечер был тихий и ласковый. Пламя свечи, поставленной на земле, стояло ровно, не колыхаясь, и освещало группу казаков, собравшихся из любопытства и сидевших на земле по-киргизски на корточках. Одного из них, седого старика, с буйными седыми кудрями, выбивавшимися из-под слишком узкого форменного картуза, позвал хозяин, узнавший о цели моей поездки,— как человека, для меня интересного: дед его хорошо знал Пугачева.

— Как же, как же... Хорошо знал,— заговорил старик, довольный вниманием, и, оглянувшись на слушателей, прибавил с благодушной улыбкой:

— Вместе сурков вылавливали в степи...

— Как это? — спросил я с недоумением.

— А так, очень просто. Найдут сурчину... ямку, значит. Польют воду — сурок и выскочит. Он его сейчас придавит к земле подожком...

— Да зачем ему было сурков давить?

— То-то вот, подумай ты. Бывало, тоже и дедушка спрашивает его: зачем, говорить, это вам, ваше превосходительство?.. А он и говорит...— Старик делает свирепое лицо и таращит глаза.— Этак же, говорит, ваших отцов, старых казаков... вс-сех передавлю...

— Эх,— не то рассказывает,— говорят слушатели.

— Спутал.

— Это он о другом. О Волконском это...

Старик сконфуженно оглядывается... Он действительно спутал. У Иоасафа Игнатьевича Железнова, уральского бытописателя и историка, есть колоритный рассказ старого казака о князе Волконском, оренбургском губернаторе в начале XIX века. Дело тогда шло о введении в казачьем войске «чередовой» службы. Казаки противились: они видели в этом первый шаг к регулярщине... Началось сильное брожение. Казаки отказались послать требуемый начальством полк в Грузию. В это-то время, чтобы ознакомиться с причинами и характером движения, из Оренбурга приехал князь Волконский. Сначала он «принял на себя суворовские замашки», притворился простачком, ходил по домам и толковал с бабами об их житье-бытье, а с ребятами выходил потешиться в поле, выливать земляных тушканчиков... Эта генеральская «блажь» не обманула, однако, казаков, и войско смотрело на него с прежней чуткой подозрительностью. Действительно, месяца через два Волконский вернулся с несколькими батальонами солдат и с отрядом башкир. Казаки встретили его с хлебом-солью, но он хлеба-соли не принял, пока казаки не примут от него то, что он привез.

— От добра, батюшка, не откажемся,— ответили казаки, догадываясь, что дело идет о «штате»,— а что не по нас, не обессудь, кормилец,— совесть претит...

— А это что? — спросил Волконский, указывая на башкир и солдат.

— Не знаем, батюшка. Должно быть, детки твои,— сказали казаки.— И игрушки в руках у них славные. Не бесчестно и взрослым поиграть. У нас, кормилец, есть такие же. На вид немудрые, а в деле добрые. Только не обессудь — мы их дома оставили. Думали, не понадобятся.

Перед генералом был «русский бунт», с хлебом-солью и пассивным упорством. Волконский пригрозил всех расстрелять.— «Стреляй, есть когда не жаль царского пороха».— И казаки стояли на месте.

Волконский расквартировал войска в городе и велел разойтись по домам. Казаки не пошли и около трех суток стояли на морозе «за башней». Неизвестно, что вышло бы из этого бунта «стоянием», но генерал прекратил его.

Он выехал «за башню» и велел разойтись. Казаки не двинулись. Волконский приказал схватить и выпороть зачинщиков. Их схватили, растянули на земле, но остальные бунтовщики кинулись к ним, скидали на ходу штаны и покрыли зачинщиков своими телами:

— Их бить, так и нас бей...

По команде солдаты и башкиры кинулись бить всех не разбирая. Били усердно. После побоища осталась куча избитых и изувеченных тел, но никто не оказал сопротивления. Потом жены приезжали на санях (дело было в ноябре), сваливали на них мужей, как колоды, и увозили в город.

Между городом и садами, на небольшом холмике и теперь стоят еще два креста. Предание приурочивает к этому месту описанное событие. Отрядом командовал майор Кочкин, и самое событие живет в народе под именем «Кочкина пира».

Старик, рассказавший о сурках вместо Пугачева, сконфуженно моргал глазами... Слушатели смеялись.

— Стар дедушка, немудрено и забыть,— заступился я.

— Какое стар,— насмешливо заметил один из казаков.— До сих пор «наемку» плотит.

«Наемка» — старый войсковой обычай, из-за которого тоже было много замешательств. Не желающие служить вне области нанимали за себя охотников. Впоследствии это выродилось в налог, который остающиеся платят в войсковую казну, вместо службы натурой (после обязательного срока). Списки ведутся безобразно, и на этой почве много злоупотреблений. Жертва одной из таких «ошибок» была перед нами. Это был старик с совершенно седыми густыми кудрями и тусклыми, когда-то голубыми глазами. На нем был смешной серый пиджак и форменные штаны с лампасами. Глаза глядели с тупой покорностью, но на лице застыло выражение застарелой обиды.

Судьба его — типичная судьба многих бедняков, сынов вольной, неделеной степи. Он одинок, потому что за службой не успел жениться; беден, потому что за службой не мог пользоваться дарами вольной степи и вольной реки. И вдобавок, теперь, в конце седьмого десятка, когда он уже двигается с трудом, он все

еще вынужден откупаться от этой обездолившей его службы.

Насмешки над беднягой стихли. В нашем кружке водворилось молчание.

— Как же это вышло? — спросил я.— Почему вы, дедушка, не жаловались?..

— Как не жалился!.. Подавал в правление сколько раз... Да что?..

— Ты бы, дед, к студенту какому сходил,— серьезно посоветовал кто-то...

Это упоминание о «студенте» на казачьем дворе меня заинтересовало. Оказалось, что под «студентами» говоривший разумел группу интеллигентных казаков, окончивших высшие учебные заведения и вернувшихся на родину. Один из них, Н. А. Бородин, бывший петровец, обратил на себя внимание в качестве ученого техника по войсковому рыболовству. Другой, Ив. Ив. Шанаев, был войсковым агрономом и еще раньше провел целую земельную реформу в родном Илеке. Третий служил мировым судьей. Деятельность этой группы образованной молодежи быстро выделила ее на общем фоне казачьей бюрократии, и часто старые казаки голосовали заодно с ними в съездах уполномоченных. Исконные казачьи обычаи протягивали руку молодой оппозиции...

Становилось поздно. Казачка принесла свежего сена и постелила на дворе под стенкой избы. Свечка все еще горела ровным пламенем, хотя в ней не было надобности. Луна стояла в зените и заглядывала в наш дворик. Казаки разошлись, но человека три, в том числе и хозяин, продолжали беседовать около потухшего самовара.

Упоминание о Кочкином пире дало направление разговору. Последняя вспышка борьбы «с регулярством» была еще у многих на памяти. В 1874 году генерал Крыжановский, перед какой-то новой частичной реформой, вздумал вперед заручиться покорностью казаков и потребовал, чтобы казаки дали подписку: мы — дескать, такие-то, обязуемся повиноваться верховной власти. Ничего больше. Но эта нелепая беспредметная подписка взбудоражила все войско. К чему? Что значит? На какой предмет?.. Сразу встала старая подозрительность и пассивная крамола...

— Призвал меня генерал Бизянов,— рассказывал мне старый заслуженный казак,— и говорит:— Слушай, Пахомов [1]. Ты, я знаю, верный слуга, вся грудь у тебя в заслугах — Рад, говорю, стараться, ваше превосходительство.— Ты, говорит, Богу и великому государю повинуешься? — Винуемся, говорю, Богу, великому государю всем войском, во всякое время.— Давай подписку — Никак не могу, ваше превосходительство. Подписаться нам невозможно.

— Почему же? — спросил я.

Он посмотрел на меня лукаво и многозначительно.

— Подписаться?.. Легкое ли дело? За эдакие подписки знаешь, что бывает? «Обязуюсь повиноваться верховной власти!..» А они что-нибудь против государя... Тогда как? Тоже обязуюсь повиноваться?

— Да ведь верховная власть это и есть государь.

— Государь император — особо. А верховная власть — высшее начальство... Нет... Знаем мы... Учены...

Таково это степное верноподданство. Оно решительно отделяет царя от реальной власти, идеализирует его, но вместе превращает в отвлеченность. И затем противится реальной власти во имя этой мифической силы..

На этот раз опасный призрак был вызван без всякой реальной надобности. Генерал-губернатор Крыжановский придал истории характер отказа от повиновения государю и раздул ее в целый бунт. И опять повторились сцены «Кочкина пира». Непокорных казаков высылали к Аму-Дарье, на Аральское море. Гнали этих «уходцев» двумя путями. Одних через Уральский мост у города Уральска, киргизской степью, других через верховые станицы с переправой у Илека. Каждый раз, как изгнанников перегоняли на «киргизскую» сторону,— происходили раздирающие сцены. Казаки сбивались в кучу, обнявшись, «ревели в голос» и не хотели уходить с родной земли. Их били нагайками. Старики и молодые держались вместе, а оторванные от кучи,— опять ползли по земле к своим... Теперь большинство «уходцев» уже вернулись на родину...

— Отличные казаки! — говорил мне один офицер.— Но *подписки* и теперь ни за что не дали бы...

---

[1] Фамилия изменена.

Значительная часть, однако, самые непримиримые, и теперь остаются в изгнании. Особенно много «уходцев» из Свистуна.

— Мимо нашего поселка и гнали их на Гниловскую станицу,— рассказывал теперь наш хозяин.— Мы с братом в ту пору в полевых казаках служили, а в дому дед жил, лет девяноста. Так он что же сделал, послухайте... Оделся, посошок взял в руки и пошел себе за уходцами. «Куда, мол, дедушка бредешь?» — спрашивают шабры.— «А куда людей гонят, туда и я». Прибежали к нам, сказывают: вот какое дело, дед у вас за уходцами ушел... Брат скочил на лошадь, догнал в Кирсанове... А уж дедушка наш под караулом идет! — «Что такое? Как могете старика гнать? Ему девяносто лет». Насилу уже отняли, да и сам еще старый туда же, упирается: «куда старое войско, туда — дескать, и я... Помру, говорит, со старым войском»... Ну, взял его брат на руки, как ребенка малого, посадил в телегу, айда назад. Во всю дорогу заливался, плакал... Я, говорит, за старым войском...

— Да, дела!.. Как еще большего худа не вышло!

— Растревожили войско с «подпиской» этой... А ведь наше войско какое...

— Известно: войско сурьезное.

Лежа на сене, я начинаю дремать. В промежутках, раскрывая глаза, вижу силуэты бородатых людей, сидящих в кружок. В центре — говорун хозяин оживленно размахивает руками. Обрывки долетающих до сознания разговоров становятся все фантастичнее... Речь идет о политике, о китайской войне, об «англичанке», о Скобелеве. Скобелев вовсе не умер, неправда!.. Вообще, на Урале знаменитые люди бессмертны... Не умер в свое время Петр III, не казнили Пугачева и Чику, Елизавета Петровна после своей смерти очутилась неведомыми судьбами в пещере на Уральском сырту, император Николай I тоже «ходил» и являлся казакам...

Что касается Скобелева, то он был приговорен к расстрелу: обидел «англичанку»...

— Стал Скобелев на Балканах против Царя-града только руку протянуть... А она, англичанка, загородила дорогу, не пускает... Немец смеется: даром что Скобелев на Балканах... Англичанка юбкой потрясет, он и уберет-

ся... Скобелев услышал и осердился.— Ах она, говорит, такая-сякая... Давай ее, сюда, я ее... Ну, и загнул...

— По-русски!

— Да, по-нашему... Она, конечно, обиделась...

— Все-таки, как бы ни было, королева...

— Само собой... Не то, что королева,— императрица! Ну, нашему царю из-за Скобелева не воевать стать. И скрыли: будто расстрелян за это, за самое... А подойдет война, он тут...

. . . .

— Хитра англичанка страсть!.. Шла раз со своими флотами к нашей приморской крепости. Идет морем, а самое не видать,— все флоты под водой, взять нечем. Однако нашелся тут солдатик один, хитрее ее... Посмотрите, говорит, господа адмиралы, в подзорную трубку. Не увидите ли чего на море? Посмотрели — видно: гусек по морю плывет. Устрельте, говорит, гуська. Навели пушку, устрелили гуська... И вдруг, братцы, из-под воды пошли флоты выходить... Один за одним, один за одним — море укрыли... Ну, тут их, конечно, из пушек...

. . . .

— А слышь, наши из Манжурии пишут — были в гостях у ее...

— Ну?..

— Верно. Угощала. Господ офицеров особенно, ну, и караул тоже... Вино, закуски, все как следует... Хорошо угощала, нечего сказать.

Я слушаю, и в моей голове лениво ползут мысли... Что будет, когда королева Виктория умрет?.. Как это событие отразится на политической терминологии нашего народа, привыкшего отожествлять английскую нацию с лукавой бабой, сильной женскою хитростью и коварством... И вдруг — «англичанка» превратится с воцарением наследника в мужчину [1].

. . . .

— Поймай ты мне, говорит, шипа [2]... Я, говорит, завтра к тебе буду...

Это идет разговор на более современную тему. «Студент», ученый рыбовод Бородин по приятельству попро-

---

[1] Моя поездка была еще до смерти королевы Виктории.

[2] Шип — мелкая порода осетра.

сил нашего хозяина поймать ему икряную самку шипа для каких-то опытов над живой икрой. Лукавый казак вздумал подшутить над ученым. Шипа поймал, но икру вынул, продержал сутки, потом опять положил на место. Самка шипа, несмотря на эту операцию, осталась жива. Я начинаю с интересом прислушиваться...

— Приехал...— «Поймал ли?» — говорит.— Как же, вот она.— «Икряная?» — Так точно.— «И жива?» — Жива... Взял он сейчас стекляночки, налил чего-то.

— Ну, и что же? — живо спрашивают слушатели...

— Поболтал икру, посмотрел и говорит: «Подлец ты, Митрий Михайлович, а еще приятель считаешься. Икру вчера вынул...»

— Ишь ты... Значит ловок...

— Д-да-а... не проведешь...

Я успокаиваюсь насчет репутации моего приятеля и окончательно засыпаю — под отдаленный лай станичных собак. Они то кидаются в степь, то гурьбой убегают от какого-то врага в станицу... На рассвете одна из них возвращается на двор и, увидев нас, решает познакомиться ближе с гостями. А так как я лежал у самого края, то, подойдя ко мне, она стала обнюхивать мой лоб и лицо...

Я приподнялся с похолодевшей подушки... Небо сильно посветлело, бледная луна скрывалась за крыши. Рядом со мной, раскинувшись, спал гигант хозяин и что-то бормотал во сне. Может быть, он брал со Скобелевым крепости или ему грезились бурные времена в сурьезном войске...

V

ПЕСЧАНАЯ МЕТЕЛЬ.— ТРЕБУХИНСКИЙ ПОСЕЛОК.— СТАРЫЙ КАЗАК ХОХЛАЧЕВ.— О ПУГАЧЕВЕ.— О КИРГИЗАХ И ИХ УСМИРЕНИИ.— УБИЕННЫЙ МАР И СТАРОЕ ПОЛЕ БИТВЫ

В дальнейший путь мы двинулись рано. Отдохнувшая лошадь бежала резво, но скоро пришлось ехать шагом.

Подымался легкий ветер и, оглянувшись на Трекины, я увидел поселок точно сквозь метель. Это по степи нес-

ся тонкий сыпучий переносный песок... Песком завалило дорогу, колеса уходили в него чуть не по ступицу и трудно ворочались с тяжелым сухим шипением... Целые гряды больших песчаных бугров, голых или слегка поросших жестким кияком, легли по степи, и верхушки их курились под легким ветром, точно огнедышащие горы...

Эти переносные пески представляют настоящую угрозу нашим юго-восточным степям... В тот год была на Урале образована комиссия для обсуждения мер борьбы с грозным явлением. Но пока что — песок, как столбы снега в зимнюю метель, мчался по степи, курясь по всему степному простору...

Дорога прижалась к длинному узкому озеру, к самому берегу которого уже подступили огромные песчаные холмы... Наметанные бугры лежали, как застывшие волны. И все это курилось, и свистела сухая поросль колючей «солянки», и тонкая пелена песку неслась дальше, ложась на зеленые камыши озера...

Мы миновали посад Гниловский. Когда-то, очевидно, он стоял над самой рекой, на красивой правильной излучине, образовавшей почти полный круг. Но впоследствии река изменила свое русло, прорыла прямой ход, и казачий поселок стоит над обсохшим яром.

Вправо от дороги, красиво расположенный на увале, показался поселок Дарьинский, потом Вшивка и Дьяковский поселок. С последним связано предание о «дьяке», который в старину отговаривал походного казачьего атамана идти на Хиву. Атаман, взбешенный карканьем дьяка в самом начале похода, повесил его на бугре и пошел дальше, но предсказание дьяка сбылось: и атаман, и весь казачий отряд погибли в знойных хивинских песках. Вообще, ряд хивинских походов был чрезвычайно несчастлив для уральцев. Памятный зимний поход ген. Перовского завершил эти неудачи настоящей катастрофой, и на Урале установилось убеждение, что Хива город заклятый и взять ее невозможно... Теперь, конечно, убеждение это уже разрушено, как и много других «заклятий».

В середине дня мы сделали привал в Рубежной на казачьем постоялом дворе, отмеченном, по местному обыкновению, клоком сена, мотавшимся на шесте над воротами. Здесь, под навесами, укрытый в густой тени,

стоял тарантас проезжего торгового казака, и еще один молодой казак, тоже проезжий, сидел, свесив грустно голову, на своей телеге, пока его лошадь жевала сено. Он был отпущен домой со службы по болезни, прожил год на родине и теперь ехал в Уральск, в комиссию, для нового освидетельствования... Он сильно загорел, но глаза у него были больные и грустные. Мне сразу вспомнился больной казак, которого я встретил в поезде. Так же грустно глядели его глаза и так же он говорил мне, что «служба казачья чижолая, нет чижеле, зато — земля вольна». Он этой землей тоже не пользовался, потому что был из бедной семьи и не мог платить наемку...

Задолго еще до вечера приехали мы в Требухинский поселок, расположенный близ устья хорошенькой степной речки Ембулатовки.

Два раза в смутные времена, после убийства генерала Траубенберга и затем во время пугачевщины, генерал Фрейман, шедший из Оренбурга, переправлялся через Ембулатовку со своим регулярным «деташементом» и артиллерией. Оба раза казаки выбегали навстречу к Ембулатовке тоже с артиллерией и «учиняли здесь сражения», стараясь помешать переправе. Но правильная тактика немца опрокидывала сопротивление удалых яицких наездников. Рассматривая подробную карту Уральской области, я нашел на ней, выше Требухинского поселка, близ реки, урочище, обозначенное названием «Убиенного мара». Мне пришло в голову, что, быть может, этим грустным именем народная память окрестила место битвы, и я хотел посетить его.

В Требухах оказался интересный человек, старый 89-летний казак Ананий Иванович Хохлачев. Я слышал о нем, как о человеке любознательном, собравшем в своей старой памяти много преданий. Хозяйка постоялого двора, на котором мы остановились, оказалась крестницей Анания Ивановича и охотно вызвалась пригласить его к нам для беседы.

Через полчаса во двор явился рослый старик, с очень длинной седой бородой, в старинной формы стеганом халате и, несмотря на жаркий день — в валеных сапогах. Глаза Анания Ивановича были старчески тусклы, голос несколько глух, но память ясная, речь связная и толковая. Он был из тех людей, с детства наделенных живой

любознательностью, которые жадно прислушиваются к старинной песне, к преданиям и рассказам бывалых людей и стариков...

Он отказался выпить с нами чаю,— скромно и не объясняя причины (на Урале многие не пьют чаю, считая это грехом), но охотно взял яблоко, которое, впрочем, так и держал все время в руке (дело было еще до яблочного Спаса). Но на вопросы отвечал охотно и даже с некоторой гордостью и удовольствием. Это было удовольствие человека, много узнавшего в свою, уже закатывающуюся жизнь и готового передать другим коечто из этого запаса. О Пугачеве он говорил, как о настоящем царе, приводил очень точно разные предания, называя лиц, от которых все это слышал, и перечисляя степени их родства с самими участниками исторических событий. Заметив, что я записываю кое-что в свою книжку, он выпрямился и, положив руку на столик, сказал:

— Пиши: старый казак Ананий Иванов Хохлачев говорил тебе: мы, старое войско, так признаем, что настоящий был царь, природный... Так и запиши!.. Правда это...

— А как же, Ананий Иванович, он был неграмотен? Указы сам не подписывал.

— Пустое,— ответил он с уверенностью.— Не толи что русскую, немецку грамоту знал... Вот как! — потому что в немецкой земле рожден... Как ему не знать! Царь природный.

От Пугачева мы перешли к временам более близким. О своих соседях киргизах Ананий Иванович говорил с глубокой враждой и недоверием.

— Кыргыз — человек вредной,— говорил он.— Бывало, молодой я был... на покос и с покосу к поселку идем,— что ты думаешь: все кареем, как на войне. Чуть отбился от карея, уж он на тебя насел. Заарканит, пригнется к луке — айда в степь! Человека волоком тащит... Приволокет живого в аул,— ладно, в есыр угонит, в Хиву, в Бухару продаст; а помер на аркане,— в степи бросит. Лежите, казачьи косточки... Ему что: убытку мало. Об нас они так понимают, что мы и не люди...

Ананий Иванович засмеялся и покачал своей седой головой...

— Ох-хо-хо!.. Не любили меня... Да, этак-ту вот... Бывало едет кыргызин от меня. Другой навстречу. «Кем джюрген?» Значит: отколь едешь? — «Капырнэм джюргем» — от проклятого, дескать, еду...— «Вы, говорю, подлые, зачем так говорите? Я не проклятый, я казак, православной веры человек»... Они наш род и теперь помнят, что их мой дедушка когда-то пушкой бил. И то люди мне говорят: не ходи ты, Ананий Иванович, на бухарску сторону: они на тебя старую кровь имеют...

— Да ведь теперь, говорят, они совсем замирились...

Все, действительно, говорят, что «орда» теперь совсем смирна, а один купец в Уральске уверял, что он с деньгами и безоружный проезжал по всей киргизской степи. Нужно только подъехать к аулу и объявить себя гостем, иначе, пожалуй, ночью могут угнать лошадь. Но грабежей и убийств из-за денег не слыхано, и купцы спят среди степи, нисколько не остерегаясь.

— Это верно,— подтвердил и Ананий Иванович, но тотчас же добавил упрямо:— А все когда-нибудь змея укусит... Конечно, теперь подобрели...

Он опять улыбнулся.

— Усмирили мы их... Помню я еще Давыд Мартемьяновича [1]... Вот усмирял кыргыз, ай-ай! Бывало, чуть что — берет сотню казаков, айда в степь на аулы...

Он посмотрел на меня, и в старых глазах мелькнул огонек.

— Так они чего делали, кыргызы-то... Видят — беда неминучая, сами кто уж как может измогаются, а ребятишков соберут в какую ни есть самую последнюю кибитченку да кошмами заложат... Значит — к сторонке... Ну, казаки аул разобьют, кибитку арканами сволокут, ребятишки и вывалются, бывало, что тараканы...

— И что же?

— Да что: головенками об котлы, а то на пики...

Старик говорил просто, все улыбаясь тою же старческой улыбкой... Ветер слегка шевелил седую бороду и редкие волосы на обнаженной голове казачьего патриарха. Мне вспомнилась повесть И. И. Железнова, чрезвычайно популярная среди уральцев, настоящая казачья

---

[1] Давид Мартемьянович Бородин, сын известного старшины пугачевских времен, Мартемьяна Бородина, был войсковым атаманом в первой половине прошлого столетия.

эпопея. В ней герой Урала, Василий Струняшев, тоже разбивает головы киргизских ребят о котлы. «Змею убивать, зубов не оставлять»,— говорит он, и уральский писатель с умилением изображает своего свирепого героя...

— А что, Ананий Иванович,— вам известно об Убиенном маре?..— спросил я.

— Это который?

— Да вот на Ембулатовке, верстах в 7-ми от вашего поселка.

— А, это громом убило зараз четырех человек... Оттого и назвали. А то еще есть Убиенный мар поближе, верстах, может, в полуторых... Тут мы, бывало, ребятишки, оружие выкапывали... Так это Фрейман генерал из Ленбурха шел. Наши с ним сражение делали. Тут он, самое это место, и переправлялся...

Попрощавшись со стариком, мы запрягли свою отдохнувшую лошадь и отправились по левому берегу небольшой степной речки к указанному месту. Большой и широкий курган, каких много рассеяно по степи, вероятно, очень древнего, еще может быть, доисторического происхождения, лежал на заливном лугу, а невдалеке тянулся невысокий увал. Два небольших возвышения, вроде могил, близ этого кургана, быть может, насыпаны над павшими в битве с Фрейманом... Последние косые лучи солнца золотили траву на этих могильниках, и степной ветер шептал что-то невнятное и печальное...

Через час мы ехали дальше по темной уже дороге. На юго-востоке подымалась луна, большая и бледная, а книзу от нее по небу лилась тихая гамма чудесных вечерних оттенков. Степь закутывалась мглою, ленивые увалы тянулись по ней, точно ужи, разлегшиеся на отдых; где-то звенел, как птица, слепыш (маленький степной зверек,— по уверению моего спутника), кое-где отсвечивали степные озера, ильмени и ерики... Впереди нас, поскрипывая, ехали две телеги, одна, запряженная верблюдом, другая лошадью. На одной сидел казак, на другой молодая казачка, но теперь они оба уселись на передней телеге, и по временам до нас долетал невнятный разговор. На подъемах силуэт верблюда рисовался в светлой полоске неба и казался чудовищно громадным...

Мы ехали молча. В памяти у меня все стояло важное лицо старого казака и его эпически бесстрастный рассказ.

— «Старую кровь вспоминают»... «Головенками об котлы... а то на пики...»

И при этом взгляд — настоящего праведника...

VI

В ЯНВАРЦЕВЕ.—КАЗАЧКА-ПОЭТЕССА.—КАЗАК ГРИГОРИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ ХОХЛОВ.— УРАЛЬСКИЕ «ИСКАТЕЛИ»

Январцевский поселок, Кирсановской станицы, имеет вид большого села. В нем до 500 домов, церковь и две школы: одна войсковая (до 70 учеников), другая — церковно-приходская (45). В прежние времена Январцевский форпост (фарфос как называют казаки) стоял несколько дальше, на ровном месте, над озером. В начале прошлого столетия он перенесен на высокий берег Урала, но теперь жители помышляют опять о старом пепелище. С бухарской стороны ветер заметает реку песком, и стесненное течение рвет обрывистый берег, снося огороды, дома и уже приближаясь к церковной площади.

Было уже поздно, когда мы въехали на эту площадь и остановились против дома учителя, Александра Осиповича Токарева, знакомого моему спутнику. В доме огней не было. Пришлось стучать в окно, пока, наконец, не вспыхнул огонек, а еще через несколько минут открыли ворота...

Учителя не было дома, он отправился в луга. Дома осталась старушка мать и сестра, которая встретила нас очень приветливо и, по нашей просьбе, устроила нам постель из свежего сена на дворе, под телегой... Попросив любезную хозяйку ни о чем более не беспокоиться, мы не могли устоять от соблазна — искупаться в близком Урале. Для этого пришлось спуститься вниз по крутым, еще свежим обрывам, над которыми, точно испуганные, склонились уже подрытые заборы и старые бани, готовые рухнуть с ближайшим половодьем... У меня осталось своеобразное воспоминание

об этом вечернем купании под темными обрывами, в черной глубине сердитого и быстрого Урала.

Ночью я слышал, как открылись ворота... Въезжала телега, вбегали лошади, кто-то подходил к нам, с любопытством рассматривая пришельцев. Наутро оказалось, что это с лугов вернулся хозяин...

Это был еще молодой человек, сильно загорелый от полевых работ, в пиджаке и казачьей фуражке. За утренним чаем он любезно старался сообщить мне все, что может интересовать заезжего наблюдателя. Он рассказал, между прочим, что в Январцеве жила казачка-поэтесса М. И. Тушканова. В сборнике местных произведений, с большой любовью составленном Н. Г Мякушиным, я уже встречал ее произведения, ходившие по рукам и сохранившиеся по-видимому случайно. Особыми красотами они, сказать правду, не блещут. В одном Тушканова жалуется, что ее мучит «страсть стихотворения».

С пером на досуге
Горе я делю.
Бумаге, как другу,
Все я говорю...

В столичных редакциях получаются груды таких стихотворений. Убогая рифма, бедный размер, скудные образы... Все это видно сразу, с первых строчек, и редактор с досадой откладывает в сторону тетрадку с наивным почерком неопытной руки...

Но здесь, в далеком казачьем поселке, от этих наивных строк покойной поэтессы-казачки на меня пахнуло живым ощущением тихой, но глубокой драмы... Чем в самом деле отличается эта биография от тех трагедий непризнанных талантов, которые гибнут в глуши для того, чтобы получить позднее признание после смерти... То же одиночество, те же порывания к свету, та же тоска по неведомом... Маленькая случайность: у тех был талант,— у этих его нет... Но за этим исключением,— все та же трагедия налицо...

Тушканову тоже «не признавала среда» и жизнь ее тянулась горько. «Супруг уже старенек,— жалуется она наивно в одном стихотворении...

...Порой обижает.
Слишком горяченек,

Писать запрещает.
И нет мне веселья,
Лишь грущу всегда...

После ее безвестной смерти осталось много рукописей. Семейные сожгли их все, как никуда негодный хлам В данном случае, по-видимому, русская литература потеряла немного... Но разве та же судьба не постигла бы рукописи бедной казачки, если бы они даже были гениальны?..

В Январцеве же оказался и другой интересный человек. Я уже слышал ранее, что уральские казаки два раза уже предпринимали смелые отдаленные путешествия в поисках измечтанного воображением людей старой веры — «Беловодского царства». Один из этих путешественников напечатал даже описание путешествия, и редакция местной газеты издала эти очерки отдельной брошюрой. К сожалению, они явно подверглись литературной обработке, и в этом виде лишились своей непосредственности и оригинальности. Теперь я узнал что один из этих пилигримов (их было трое) живет в Январцеве и что он тоже записывал свои впечатления.

Ради этого мы отложили свой отъезд. Наш хозяин послал к Григорию Терентьевичу Хохлову приглашение придти к нему, а мы в ожидании расположились в зеленой беседке, в саду учителя.

Ждать пришлось долго. Наконец, кусты раздвинулись и в беседку вошел казак средних лет с густо загорелым лицом и умными черными глазами. На нем был серый пиджак и казачья фуражка с малиновым околышем. Войдя, он окинул нас пытливым осторожным взглядом и, поклонившись, спросил сдержанно, с оттенком подозрительности:

— Что надо?

Хозяин объяснил, кто мы и что нам нужно. Лицо казака просветлело...

— Вот оно что.. А я, признаться, думал на другой предмет...— И, повернувшись к хозяину, он продолжал:

— Прибегает ваш парнишка и говорит: «Ступай поскоряе. Там какой-то из Питербурху приехал. Зовет... чтобы ты пришел»... Ну я и подумал: кому быть. Непременно это миссионер...

Лицо его опять стало холодно, взгляд подозрителен.

— А между прочим, вам, господа, тоже известно: частные беседы о вере не дозволены. Вот у меня тут (он порылся в карманах) и листок есть.

Он вынул печатный листок, которым, очевидно, вооружился на всякий случай, и, указывая подчеркнутое заглавие, сказал:

— Вот тут видите: о совращении православных в иноверие... Полагается ссылка в Сибирь на поселение... И бывали случаи...

В те годы как-то вдруг оживилось миссионерское усердие, а с ним, как это часто бывает, и некоторые неприятные последствия для противников господ миссионеров. Я засмеялся.

— Так ведь это, Григорий Терентьевич, за совращение из православия... А мы не совратимся...

— Вы-то не совратитесь, да я-то, выходит, вас совращал. Ну, я и не пошел. Как тут прибегает второй посланец.— «Иди,— дожидаются».— Ладно, думаю,— пойти пойду, ну, только частно о вере беседовать не стану. Угодно,— так назначайте собрание... И опять — то еще сказать: пора рабочая...

— Да нет, Григорий Терентьевич, мы вовсе не за этим.

— Ну, когда так, то и мы будем говорить иначе. Погоди когда... я сбегаю домой, книжечку принесу, в коей я записывал...

Через несколько минут он вернулся и принес небольшую карманную записную книжку. Переплет был сильно потерт; книжка видала виды. Раскрыв ее, я увидел, что вся она вдоль и поперек убористо исписана старинным полууставом, со словотитлами и сокращениями. Владелец бережно относился к ней, следя за нею глазами, как за дорогой, хрупкой вещью, попавшею в чужие руки.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что в лице Григория Терентьевича Хохлова и его двух товарищей-казаков современный старообрядческий Урал посылал в неведомые, а отчасти даже чудесные страны как бы экспедицию в поисках истинной веры. Депутаты добросовестно исполнили поручение. Они отправились в Кон-

стантинополь, проехали Архипелагом, побывали в Малой Азии, Иерусалиме, проехали Суэцким каналом и Красным морем, обогнули Индостан и Индокитай, расспрашивали о русских церквах на островах, населенных дикарями, были в Китае, и в «Опоньском царстве» и, переходя от надежды к разочарованиям, не найдя нигде признаков «истинной веры» и «древлего благочестия»,— вернулись после многих приключений через Сибирь на родину... В маленькую книжку свою Григорий Терентьевич заносил при этом славянскими буквами все факты и впечатления пути, втискивая их при помощи словотитл и сокращений на эти тесные страницы, и теперь, заглядывая в нее — он развертывал передо мною любопытные эпизоды этой своеобразной экспедиции.

Около двух часов просидели мы в беседке январцевского учителя, слушая любопытные рассказы этого современного «землепроходца»... Мне удалось убедить Григория Терентьевича перевести полуславянский текст его книжки на общеупотребительный язык и изложить его гражданскими письменами. Автор согласился и через некоторое время доставил мне в Уральск чрезвычайно убористую рукопись. Как он сам выражался,— он постарался «упоместить» возможно больше текста на возможно меньшем пространстве, считая это почему-то важным. Он не позволял себе ни красных строк, ни особых глав, и был чрезвычайно скуп на знаки препинания. По привычке к старинному полууставному письму,— попадалось много сокращений с словотитлами. Рукопись имела очень своеобразный вид, и Григорий Терентьевич настаивал, чтобы я придал ей перед печатаньем известную обработку. Но, ознакомившись с нею, я убедился, что в сущности она написана очень хорошо. Поэтому, когда (впоследствии) мне пришлось передать ее для издания в Географическом обществе, то я ограничился только разделением на главы, общеупотребительной орфографией и известным количеством знаков препинания. В остальном повесть «о путешествии уральских казаков в Беловодское царство» оказалась написанной очень выразительно, местами почти литературно, и если порой в ней попадались оригинальные и не совсем привычные в литературном изложении обороты, то и это только способствовало сохранению колорита.

Надеюсь, читатель не посетует на меня за передачу здесь некоторых черточек этой казачьей одиссеи [1].

ПУТЕШЕСТВИЕ УРАЛЬСКИХ КАЗАКОВ В БЕЛОВОДСКОЕ ЦАРСТВО

Прежде, однако, несколько вступительных слов.

По своему религиозному настроению Урал глубоко консервативен. В одной статье местной газеты мне попалось перечисление толков, между которыми распределяется население большой казачьей станицы. Тут есть *поморцы* или перекрещеные, признающие, что в господствующей церкви воцарился антихрист, и потому принимающие обращенных не иначе, как после второго крещения; *федосеевцы* или *чистенькие*, отрицающие брак; *дырники*, молящиеся на восток и притом преимущественно под открытым небом; чтобы примирить это требование с условиями климата, они прорубают отверстие в восточной стене дома и молятся, глядя в него, на небо; есть признающие священство *австрийцы*, *окружники*, принявшие Белокриницкую иерархию, основанную греческим епископом Амвросием; *беглопоповцы*, сманивающие священников у господствующей церкви. Есть и *единоверцы*, но особенно много так называемых *никудышников*, не признающих никаких компромиссов и потому не ходящих *никуда*, где молитвы совершают австрийские ли, единоверческие или беглые священники.

Несмотря, однако, на эти различия, вражду и споры, все эти толки объединены одной общей всем идеей. Все они признают существование некоторой формулы, состоящей из совокупности догматов и обрядов, в которой — и только в ней одной — спасение. Формула эта действует только до тех пор, пока в ней не изменена ни одна буква, ни одна иота или титло. Малейшее нарушение обращает ее, наоборот, в орудие гибели, независимо от внутреннего чувства, которое человек влагает в эти внешние символы. Отчасти под влиянием такого настроения

Вышло в 1903 (если не ошибаюсь) году под заглавием: «Григорий Терентьевич Хохлов.— Путешествие уральских казаков в Беловодское царство». Изд. Импер. Географического О-ва, Петербург.

Никон вводил сурово и прямолинейно свои исправления, а Питирим проклинал и казнил двуперстников. Но старообрядческий мир с суровым упорством встал за старую веру. По мнению приверженцев древлего благочестия, Никоновские новшества, наоборот, нарушили спасительную формулу и не только лишили ее таинственной силы, но обратили в орудие антихриста.

Однако, даже радикальнейшие из беспоповцев, никудышники, не отрицают священства в идее. Но в то время, как австрийцы, например, успокоились, «перемазав» для очищения от ереси безместного греческого епископа Амвросия, а беглопоповцы похищают благодать священства по частям у господствующей церкви, переманивая беглых священников,— никудышник не идет на компромиссы и только тоскует об утерянной благодати, не находя ее ни в одной из существующих церквей.

На этой почве возникла странная, почти волшебная сказка, которой, однако, долго верил, а отчасти и теперь еще верит старообрядческий мир. История всего раскола проникнута этой поэтически заманчивой легендой. Где-то там,— «за далью непогоды», «за долами, за горами, за широкими морями» рисуется темному и мечтательному воображению блаженная страна, в которой промыслом Божиим и случайностями истории — сохранилась и процветает во всей неприкосновенности полная и цельная формула благодати. Это настоящая сказочная страна всех веков и народов, окрашенная только старообрядческим настроением. В ней, насажденная апостолом Фомой, цветет истинная вера, с церквами, епископами, патриархом и благочестивыми царями. Среди других, преимущественно ассирских, там есть также и более 40 русских церквей. Ни татьбы, ни убийства, ни корысти царство это не знает, так как истинная вера порождает там и истинное благочестие.

Страна эта называется Камбайским царством или Беловодией. Проникнуть в нее очень трудно, однако, смелые люди все-таки проникали и составили несколько описаний. Из этих описаний или «маршрутов» (как по-военному называют их казаки), по словам Григория Терентьевича Хохлова, особенным распространением пользовался на Урале маршрут известного инока Марка (топозерской обители), который, будто бы, лично посе-

тив Беловодию и вернувшись в Россию, «подтверждал свое путешествие евангельским словом»[1].

Было это еще в XVIII столетии. С тех пор «маршрут» инока Марка ходил по рукам в рукописных списках и жадно читался по станицам, возбуждая в предприимчивых уральцах желание проникнуть в чудную страну. По словам Григория Терентьевича Хохлова, на съездах казаков-старообрядцев вопрос этот подымался много раз, но путешествие пугало своими трудностями и неопределенностью «маршрута». В 60-х годах истекшего века донской казак Дмитрий Петрович Шапошников, житель Новочеркасска, ассигновал на путешествие довольно значительную сумму, но с вызовом смельчаков. Дон почему-то обратился к Уралу. Уральцы согласились, и их выбор пал на казака Головского поселка Варсонофия Барышникова с двумя товарищами. Барышников отправился в путь, побывал в Константинополе, Малой Азии, на Малабарском берегу и даже в Ост-Индии. Но до пределов Камбайского (Камбоджа?) и Опоньского (Японского) царства за какими-то препятствиями не доехал; таким образом эта экспедиция не подтвердила, но и не опровергла сказания инока Марка. Заманчивая Беловодия по-прежнему осталась за далью морей, в таинственном и непроницаемом тумане.

Но вот, через некоторое время на Урале пронесся слух, что в Пермской губернии появился живой выходец из Беловодии, в лице некоего Аркадия, именующего себя архиепископом Беловодского ставления и в свою очередь ставящего попов и епископов. В некоторых местах самые радикальные беспоповцы, отвергавшие белокриницкое и всякое иное священство,— приняли Аркадия с умилением и верой.

Я видел портрет этого странного «архиепископа», происхождение которого даже после нескольких случаев судимости нельзя установить вполне точно. По данным его биографии, это человек необыкновенно предприимчивый, способный, человек, как говорится, «с мечтой» и огромной энергией. В прежние, быть может еще недавние времена, он мог бы, вероятно, увлечь многих, но те-

---

[1] Об этом иноке Марке и его сказании писал П. И. Мельников.

перь уже запоздал и встретил на свете слишком много критики...

Казаки отрядили к «архиепископу» депутацию, в которой принял участие тот же Барышников, уже раз путешествовавший в Беловодию; своими расспросами о «маршруте» недоверчивый казак поставил епископа в крайнее затруднение. Барышников вернулся с убеждением, что Аркадий — простой самозванец.

Это, однако, не остановило попыток Аркадия. Через некоторое время он все-таки проник на Урал, посетив поселок С., где успел убедить почетного казака С-на. Получив таким образом точку опоры, Аркадий поставил уральцам двух попов и архимандрита.

Однако, успехи его не шли дальше, и это чрезвычайно характерно для того двойственного состояния умов, в котором находится огромная часть нашего народа. С одной стороны, наивное невежество, доходящее до признания «русских народов» в Беловодском царстве, с другой — осторожная критика и недоверие. Казаки прибавили к этому еще готовность приняться за самые тщательные не только богословские, но и географические изыскания.

Некоторые беседы казаков с самим архиепископом и его последователями чрезвычайно любопытны. Григорий Терентьевич Хохлов передает свой разговор с «архимандритом» Израилем, человеком простым, даже неграмотным, по-видимому, искренне поверившим Аркадию и принявшим от него свое звание. «Отец Израиль,— спросил у него Хохлов,— скажите, бога ради, чем вы могли увериться в истинности архиепископского звания самого Аркадия, который возвел вас в сан архимандрита?» Простодушный Израиль ответил на это целым рассказом из писания. По его словам,— некогда два старца были посланы от христиан на поклонение св. местам с тем, чтобы, по возвращении, они принесли с собой частичку святыни. Старцы посетили святые места и только на обратном пути вспомнили, что от святых мест ничего (вещественного) не взяли. Тогда, убоясь упреков, они решили так: возьмем простую вещицу наподобие святыни и скажем братии: «принесохом от святых мест». По приходе старцы показали братии лже-святыню. И вот к ним повезли больных, слепых, хромых и разных

калек, которые с верою и чистой совестью приступали к мнимой святыне и по своей вере получали исцеление. Продолжалось это до тех пор, пока старцы не признались явно в своем обмане. Только тогда от мнимой святыни больным «отрада не прекратилась».— «Так вот и я,— закончил Израиль,— верю страшным клятвам Аркадия, что он принял сан архиепископа от патриарха Мелетия в Камбайском царстве Восточного Индокитайского полуострова. Когда он признается в своей несправедливости,— я откажусь от него, а пока по чистой совести верю его евангельской клятве,— то и надеюсь получить душе спасение».

Это простодушное исповедание слепой веры, не рассуждающей и не сомневающейся, встретило, однако, в наши дни сильный отпор. Нашлись даже тексты из номоканона, предусмотревшие такое духовное самозванство: «Божие убо лицемерствующих, безбожных же сущих и противных Богу»...

Впоследствии мне пришлось познакомиться с двумя казаками Круглоозерной станицы, которые беседовали с самим Аркадием. Оба они беспоповцы, начетчики, знающие священное писание, люди умные, страстно преданные своей вере, готовые поверить в существование чудесной Беловодии, но в то же время чрезвычайно осторожные и подозрительные. В обоих этих посланцах Аркадий, очевидно, сразу почувствовал то пытливое недоверие, которое доставило ему немало затруднений на Урале. Казаки явились к нему в Оханск (где он жил тогда под надзором полиции по решению суда) с просьбой ехать с ними и дать доказательства своего звания. Аркадий наотрез отказался.

— Нет,— сказал он,— меня уже раз возили такие же. Отняли на дороге семьдесят пять рублей денег и оставили нага и боса.

— Отче,— ответили казаки-начетчики: — аще ли на земли сокровища собираешь? Вспомни, как поступали апостолы.

Аркадий спохватился и поправился:

— Вы, пожалуй, и меня-то убьете,— сказал он.

— Отче,— ответил опять посланец: — аще убиен будеши на пути проповедническом,— имаши венец мученический и внидеши в царствие небесное.

— Иди от меня, сатана! — закричал Аркадий.— Вы, маловеры, мне не надобны. Ежели в бога веришь, то и в меня верь, потому что я посланец божий...

— Веруем, владыко,— тонко ответили казаки, еще не знавшие вполне, как понимать этого человека.— Помоги нашему неверию.

— Верующий не испытует, но приемлет. Если подлинно уверуете, то и доказательств не надобно. Идите с миром, и да будет по вере вашей...

Эти два течения — безотчетной веры в «Беловодскую мечту» и недоверие к Аркадию, привели, наконец, казаков к решению послать новую депутацию в Камбайское царство. И вот в то самое время, как в центрах и на вершинах нашей культуры говорили о Нансене, о смелой попытке Андрэ проникнуть на воздушном шаре к северному полюсу,— в далеких уральских станицах шли толки о Беловодском царстве и готовилась своя собственная религиозно-ученая экспедиция.

25 января 1898 года на съезде в Кирсановском поселке избрана «депутация», в которую вошли по выбору: во 1-х, урядник Рубеженской станицы Вонифатий Данилович Максимычев, во 2-х, Онисим Варсонофьев Барышников (очевидно, сын прежнего путешественника, в лице которого на поиски Беловодии отправлялось уже второе поколение), и в 3-х — мой январцевский знакомый, Григорий Терентьевич Хохлов. На расходы ревнителями благочестия было собрано 2500 рублей, да жители города Уральска прибавили 100 рублей. Около половины февраля депутаты подали просьбу атаману о выдаче им заграничных паспортов (в чем помог — с благодарностью прибавляет автор записок — безвозмездным написанием прошения «действительный студент» Н. М. Логашкин). 22 мая они выехали из Уральска, а 30 мая сели на пароход, отходивший из Одессы в Константинополь.

С этого дня, собственно, и началось заграничное путешествие депутатов Урала в Беловодское царство, и среди международной толпы купцов, военных, ученых, туристов, дипломатов, разъезжающих по свету из любопытства или в поисках денег, славы и наслаждений,— замешались три выходца как бы из другого мира, искавших путей в сказочное Беловодское царство...

Я, разумеется, не намерен передавать все подробности этого интересного путешествия и ограничусь лишь краткими выдержками. Из Одессы наши казаки выехали вместе с отрядом, отправлявшимся на о. Крит. «Два хора духовой музыки,— пишет автор,— унывно играли, отъезжающие солдаты в печальном виде стояли на палубе». В Константинополе наших путников чуть не арестовали за то, что они пытались провезти с собой револьверы. Этот случай доставил им много затруднений, потребовал вмешательства русского консула и заставил впоследствии быть осторожнее. В дальнейшем путешествии казаки по-прежнему не расставались с оружием, но прятали его как-то так (воинский секрет!), что никакое «таможенство» не могло разыскать ни револьверов, ни патронов.

Пребыванием в Константинополе казаки воспользовались, между прочим, чтобы обратиться к патриарху с замечательной дипломатической нотой.

Всем, я думаю, более или менее известна история босносараевского митрополита Амвросия, который в 40-х годах по каким-то политическим причинам был отозван из своей епархии и проживал (без лишения сана) в Константинополе. В это время к нему явились послы австрийских старообрядцев, иноки Павел и Алимпий, и вступили в переговоры на предмет перехода митрополита в старообрядчество. Для доказательства, что Амвросий «не лишен благодати», они потребовали, чтобы он отслужил публично литургию, и после этого увезли его в Белую Криницу. Так у старообрядцев явился собственный епископ и основалась так называемая Белокриницкая или австрийская иерархия.

Эпизод этот в свое время доставил и константинопольскому патриарху, и австрийскому правительству много дипломатических затруднений, а некоторые обстоятельства этого «похищения благодати» до сих пор прикрыты дипломатической тайной. Понятно, в какой степени весь старообрядческий мир — и приверженцы, и противники австрийской иерархии — заинтересован в выяснении прежде всего фактической истины...

И вот 2 июня 1898 года в канцелярию Константинопольского патриархата явились три уральских казака и на вопрос секретаря г-на Христо-папа Иоанну,—

что им нужно,— ответили, не обинуясь, что они намерены почтительно предложить патриарху несколько важных вопросов.

— О чем же это замечательное дознание? — спросил, усмехнувшись, секретарь.

Казаки объяснили: они желают иметь прямой и точный ответ: точно ли Амвросий, бывший епископ босносараевский, был,— как это утверждает российская синодальная церковь — лишен епископского сана, или же, как говорят его последователи,— он был отозван из епархии по требованию турецкого правительства, но «благодать епископства» с него снята не была.

Христо-папа Иоанну очень любезно ответил смелым вопрошателям то, что обыкновенно отвечают во всех канцеляриях:

— Необходимо подать формальное прошение по сему предмету на бумаге.

Весь день 3-го июня казаки обдумывали и составляли это «прошение» или скорее «ноту» старообрядческого мира, обращенную к патриарху, а 4-го она уже поступила в патриархат. Гласила она так (передаю с точным сохранением правописания):

«Ваше Святейшество!

Нижеподписавшиеся представители старообрядцев уральского края в России, подвергая Вашему Святейшеству и Святейшему Синоду Патриаршему: На обсуждение нижеследующих шесть вопросов, мы имеем честь покорнейше просить Ваше Святейшество не отказать выдать письменно ответ на них.

Вопрос 1-й: По какой вине был отозван с кафедры митрополит Босносараевский Амвросий в 1840 году? Вопрос 2-й: Был ли произведен суд Амвросию от синодального начальства по отозвании с кафедры боснийской? Вопрос 3-й: Остался ли Амвросий при своем сане Митрополита после суда, ежели был над ним суд? Вопрос 4-й: Литургисал ли он в облачении архиерея на сопрестоле в какой-либо церкви по отозвании с кафедры после 1840 года? Вопрос 5-й: Какие сведения имеются в патриархии о смерти Амвросия: умер ли он в соединении с православною греческою церковью или до конца оставался соединенным с старообрядцами в Австрии?

Вопрос 6-й (самый интересный): Какое значение имеет фраза в 5-м пункте данного из патриархии в 1876 г. старообрядцам ответа об Амвросии? Значит ли она, что Амвросий был под запрещением или что он жил в Константинополе без места?

Константинополь, 3 июня 1898 года.

Вашего Святейшества покорнейшие слуги уральского войска казаки: Григорий Терентьев Хохлов, урядник Вонифатий Данилов Максимычев, Анисим Варсонофьев Барышников».

Ответ на эти вопросы, точное решение которых могло бы оказать огромное влияние на настроение значительной части старообрядческого мира,— казаки просили послать через 4 месяца на Урал.

Нет надобности прибавлять, что ответа не последовало и до сих пор... Патриарх хранит «красноречивое молчание».

На следующий день нашим казакам пришлось испытать довольно сильное ощущение, когда, по пути в русское консульство, они воспользовались услугами подземной железной дороги. Прежде всего,— пришлось спуститься в туннель.

«Вошли мы,— повествует Г Т. Хохлов,— в здание, наподобие какой-то магазины: в середине небольшая комнатка, вокруг которой масса людей. Подошли мы поближе и усмотрели, что из этой комнаты человек в окно выдает билеты, а в саженях пяти, в полутемном месте стоят вагоны. Получившие билеты идут к вагонам. Мы также купили билеты и в числе народа пошли в вагоны. В вагонах пристроены по две лампы. Через пять минут дан был свисток, и вагоны резко двинулись вперед под землю...

— Не во ад ли нас повезли, товарищи? — сказал Максимычев.— Везут под землю, да и паровика нет... Чем же двигаются вагоны?

— И я этому удивляюсь,— ответил автор.

Однако, минут через 5 завиделся свет и выехали мы подобно в такую же комнату (из которой отправились). Вагоны остановились, и мы сошли.— Бес, никак, эти

вагоны таскает? — сказал я Максимычеву. Но Максимычев что-то смотрел внизу, под вагонами.— «Эй, смотри, чем действует»,— закричал он. Оказалось, что он заметил привод, и таким образом сомнения относительно басурманской дороги рассеялись.

Затем, узнав, что в этот день султан производит смотр войскам, воины-путешественники не могли, конечно, удержаться от желания посмотреть это военное зрелище и чуть было опять не попали в неприятную историю. Пробравшись в передние ряды зрителей, они хотели проникнуть и в самый дворец. Жандарм, заметив этих странных и подозрительных иностранцев с очевидной военной выправкой, пробирающихся во дворец, хотел арестовать их, но казаки, по картинному выражению автора записок, «дали вилка́ и скрылись в густой толпе».

«Тут опять подошел к ним турок и занялся разговором». Оказалось, что он был в Харькове с пленным Османом и узнал русских по говору и наружности. Завязался разговор о прошлой войне больше, по-видимому, жестами, и казаки очень выразительно старались напомнить туркам, кто был победителем. «Мы,— говорили казаки,— турка гонял! — и при сем показывали ему признак руками». Турок перевел соотечественникам эти и без того понятные речи; в толпе стали смотреть на казаков «недобрыми взглядами», и, пожалуй, дело бы этим не ограничилось, если бы испуганный вожак (какой-то русско-турецкий бродяга) не увел их в другое место.

— Этак вас убьют,— сказал он казакам,— да и мне с вами не уйти.

7-го июня казаки посетили церковь, называемую Балыклы, с которой связано предание о завоевании Константинополя. По этому преданию, царь Константин завтракал на этом месте, когда ему сообщили, что турки ворвались в город. Он не хотел верить этому известию, пока «обжаренные рыбы не соскочили со сковороды в воду». В церкви есть бассейн, к которому наши казаки подошли вместе с народом. «Я наклонился,— пишет автор,— и стал смотреть в родник. Увидал одну рыбу, величиной вершка 3—4». Те ли это рыбки, которые упали со сковороды несчастного царя,— он сказать не может. О тех передают, «что одна сторона у них белая, а другая ожаренная, темно-красная».

10-го июня путники выехали из Константинополя, а 11-го уже «туманно завиднелись скалистые горы Афона». Здесь автор мимоходом рассказывает о страшных «автоподах», имеющих «по 12 ног, долготой по 5 четвертей каждая и толщиной в человеческую руку». Когда человек купается, автопод подкрадывается к нему, хватает его за руки и ноги, и человек от автопода погибает в море. Избавиться от гибели можно только хладнокровием и самообладанием: необходимо схватить автопода за оба глаза...

При посещении в Салониках бывшей церкви Дмитрия Солунского (обращенной в мечеть),— какой-то «турецкий монах», показывавший церковь, возбудил было сильное подозрение казаков, попавших в темные и узкие переходы. Автор уже приготовил нож, чтобы при первых подозрительных признаках «всадить злодею в живот»... «Турецкий монах», вероятно, и не подозревал, как близок он был в эту минуту к порогу магометова рая. К счастью, освоившись с темнотой, казаки увидели, что их привели не в басурманский разбойничий вертеп, а действительно к гробнице. Образ Дмитрия Солунского возбудил недоверие казаков своей славянской надписью. «Этому мы не мало удивились,— пишет автор,— так как местность Салоники принадлежала раньше грекам, и письмо должно бы быть на греческом языке .. Не два ли образа имеются в этой темной комнате: для русских поклонников с славянской надписью, а для греков — по-гречески»...

«Всемогущий бог за грехи наши попустил обладать святыя места неверным народам,— прибавляет автор,— и как в этом месте признать святыню,— об этом предоставляю на обсуждение каждому читателю»...

В городе Лемносе, на о-ве Кипре казаки спросили у провожатого араба — нет ли здесь христианской церкви? Араб ответил, что есть, и повел их туда, но на дороге им попался священник. Это был «человек высокого роста, средних лет, немного побелее араба... На плечах у него была надета черная куртка, панталоны высоко приподняты...» Но что всего более поразило искателей древлего благочестия — «в одной руке он держал кисет, а в другой трубку с длинным чубуком»... Казаки остановились, внимательно посмотрели на эту, без сомне-

ния, довольно живописную фигуру, «и с тем пошли обратно на пароход, не заходя уже в церковь»...

К городу Ларнаку пароход подошел в сильный ветер. «Море ужасно расколыхалось, пароход то подымался на хребет волн, то опускался вниз, как в пропасть». Однако, услыхав, что здесь есть икона богоматери, писанная, по преданию, евангелистом Лукою,— двое из них решились съехать на берег. На возражение третьего товарища,— они «перекрестили себя крестным знамением и сказали: пусть будет над нами воля божия, пусть поглотят нас морские волны и вода послужит нам гробом... а не видавши древнего написания образ богоматери с предвечным,— не возворотимся».

Я пропускаю описание Иерусалима и его окрестностей. Здесь казаки с безотчетным благоговением осматривали все действительные и мнимые достопримечательности и святыни, не подозревая, какая сеть лжи и обмана раскинута теперь (и притом христианскими руками) над святой землей. Они видели, между прочим, «подлинный дом» Милосердого Самарянина и «ту самую смоковницу», на которой сидел Закхей в день, когда его посетил Христос (по счастливой случайности, смоковница эта украшает сад современной гостиницы). Не видали только жены Лотовой, которой «в настоящее время уже нет на том месте, где она окаменела», так как... «ее уже давным-давно увезли англичане»...

В Порт-Саиде наших путешественников встретила большая неприятность: капитан русского парохода «Херсон» (на котором, между прочим, ехали на восток соседи уральцев — оренбургские казаки) отказался принять их... Сильно нагруженный «Херсон» вскоре ушел в море, а казакам предстояло пуститься в дальнейшее плавание на иностранном пароходе.

9 июля они сели на французский пароход, вызвав общее любопытство пассажиров. На вопросы с перечислением разных национальностей, казаки отвечали одно слово «но», и, наконец, сказали «Моску́» (так как, по словам автора, «европейцы русский народ называют Моску́».). Французы стали жать им руки и принесли виноградного вина, желая, очевидно, закрепить франко-русский союз обильным угощением наших соотечественников. Но искатели веры не употребляли ни вина,

ни кофе, ни чаю, и, таким образом, почвы для закрепления союза не оказалось.

В Суэцком канале внимание казаков было занято совершенно особенным обстоятельством. Едва ли кто-нибудь из пассажиров корабля, освещенного электричеством и далеко впереди себя кидавшего снопы электрического света, думал в эти минуты о том, что некогда в этих местах «Моисей-Боговидец перешел по морю, яко по суху с израильским народом». Думали об этом одни наши путники. Им говорили раньше: «когда поедете Красным морем, увидите фараонов. Вылазиют из моря и кричат людям: «Скоро ли будет свету преставление?» Но они проехали Чермное море из края в край и нигде водяных фараонов не видели. Только раз,— иронически прибавляет автор,— спугнули на берегу каких-то «фараонов»-купальщиков, которые убежали в пески. А в море всплывали косяками лишь «адельфины, бежавшие по обеим сторонам за пароходом»...

Индийский океан при выходе из Красного моря встретил их бурными волнами, которые издали казались скалами. «Пароход заиграл под нами, начал поваливаться с боку на бок, так что даже бортами черпал воду». Веселые французы, которые раньше пели песни, теперь валялись на койках. Пятеро суток дул ветер, и рассказчик в течение всего времени не ел и не пил. Только здесь, в бурном океане, среди чужого языка, вдали от знакомых хоть понаслышке мест — наши путники оценили все значение своего отважного предприятия...

Из всего, что я привел выше, читатель также может оценить его. Без языка, с географическими сведениями, почерпнутыми из «маршрутов» мифического инока Марка и загадочного архиепископа Аркадия, с взглядами четиих-миней и цветников, с миросозерцанием, допускающим существование живых наполовину ожаренных рыб, путешествий во ад и появления фараонов, они плыли с неведомыми людьми, по неведомым морям, с чувствами, напоминающими если не Одиссея, то во всяком случае людей XV или XVI столетия... А впереди, за этими неведомыми морями их манила чудесная, таинственная, загадочная и... чего доброго даже не существующая Беловодия!..

Непосредственно за этими грозными валами океа-

на, которые «показались им белыми скалами», начиналась область исследования. В писаниях «архиепископа», которые теперь должны были служить для них главною путеводною нитью, пределы Беловодского царства зачерчены необыкновенно широко и неопределенно: «Есть на востоке за северным, а к южной стране за Магелланским проливом, а к западной стране за южным или тихим морем славянобеловодское царство, земля патагонов (!), в котором живет царь и патриарх. Вера у них греческого закона, православно ассирийского или попросту сказать сирского языка... Царь тамо христианский, в то время был Григорий Владимирович, а царицу звали Глафира Иосифовна. А патриарха звали Мелетий. Город, по их названию беловодскому, Трапезанчунсик, а по-русски перевести — значит Банкон (он же и Левек). А другой их же столичный город Гридабад... Ересей и расколов, как в России, там нет, обману, грабежу, убийства и лжи нет же, но во всех — едино сердце и едина любовь» [1].

Таковы были сведения о пределах и приметах искомого Беловодского (или Камбайского) царства... На ставленных грамотах, которые показывал Аркадий,— «смиренный патриарх Мелетий» именует себя «Божиею милостию патриарх славянобеловодский, камбайский, японский, индостанский, индиянский, англоиндийский, Ост-индии, юст-индии и фест-индии, и африки, и америки, и земли хили, магелланские земли, и бразилии, и абасинии»...

20 июля путники прибыли к городу «Колумбе» (Коломбо на острове Цейлоне), который уже нередко упоминается в обманно-апокрифической литературе, выросшей на почве простодушной веры в Беловодию. 24 июля перед их глазами потянулся цветущий берег Малакки, и вскоре пароход пристал к Сингапуру. Здесь их очень удивили местные извозчики, которые, «не имея на себе ни рубах, ни штанов»,— сами входят в оглобли и возят на себе людей. Один из таких «извозчиков» — на требование казаков доставить их в русское консульство,—

---

[1] Эту цитату беру из доставленных мне казаками же «Пермских губ. ведомостей», где напечатана автобиография «епископа» Аркадия (№ 253, 1899).

долго возил их по городу, и, наконец, привез к какому-то магазину и заявил «русска, русска».

Из магазина, однако, показался хозяин, «человек лет 25, высокого роста, борода и усы выбритые, не имея на себе ни рубахи, ни штанов, как говорится в чем мамынька родила». В магазине извозчик потребовал плату, которая казакам показалась слишком высокой. Григорий Терентьевич Хохлов «вскочил со стула и хотел его ударить врасплох, чтобы он вылетел из магазины». «Я, говорит, с тобой разделаюсь по-казачьи, будешь помнить, как грабить русского человека». К счастью, урядник Максимычев удержал его. «Далеко мы заехали,— сказал он,— и наших кулаков на всех здесь не хватит».

Наконец, после многих еще недоразумений, казаки попали таки в русское консульство. Здесь на дворе, за столом они нашли трех соотечественников,— двух мужчин и женщину,— с которыми вступили в разговор.

— Мы разыскиваем здесь на островах русский народ,— сказали казаки,— который вышел из России ста два лет и более. Нет ли где на этих островах русского православного народа?

Им ответили, что ничего подобного здесь нет.

— Я в этой стране нахожусь уже семь лет,— прибавила женщина,— и не слыхала, чтобы здесь на островах проживали русские, кроме того, как и мы: где двое, где трое.

Узнав, что наши путники ищут целое царство, с церквями, патриархом и епископами,— собеседники их очень удивились.— «Если на каком острове есть один русский — и тот нам известен,— говорили они.— Не токмо быть здесь православным, но даже нет и верующих в распятого, кроме одного острова, на котором живут армяне».

Таким образом, одно из указаний маршрутов было решительно опровергнуто. Огорченные казаки отправились на пароход. По дороге они купили арбуз, который очень обрадовал их, напомнив родные бахчи.

— Вот этот обощь нам знакомый,— сказал Максимычев.

Но и обощь обманул ожидания: попробовав арбуз, казаки «отплевывались до трех раз»...

— Теперь,— решили они,— остается доехать до Беловодии и Индокитайского полуострова, на которые местности указывает Аркадий... Поедем подальше, не нападем ли на след того, на что он указывает,— сказал Максимычев.

— Необходимо нужно,— ответили остальные.

Огибая полуостров Малакку и направляясь к Сиаму, казаки грустно разговаривали о том, что по сличении многих уже виденных мест,— указания Аркадия и «маршрутов», по-видимому, не сходятся с действительностью. На 28-е в ночь пароход достиг до Камбайских (то есть Камбоджских) протоков и целую ночь блуждал между островов реки Камбоджи. На утренней заре поднялись они к городу Сайгону, и здесь, у входа в «Камбайское царство», надежда вдруг улыбнулась нашим искателям. На самом восходе солнца, над густым пушистым лесом понесся навстречу пароходу звон церковного колокола.

— Слышите,— церковный звон,— сказал Барышников.— Уж не верны ли рассказы Аркадия?

Как только пароход подошел к пристани, казаки спустились по сходням, поместились «на двух таких же бегунков», как в Сингапуре, и показали, чтоб везли их в направлении звона. Возчики привезли их на площадь и положили оглобли. Звон все еще раздавался, но возчики не понимали, что нужно казакам, которые, среди окружавшей их полуголой толпы,— указывали руками в направлении колокольного звона и говорили только: «дон, дон, дон!». В толпе смеялись, а извозчики настоятельно потребовали расчета.

Между тем и руководящий звон стих. Казакам удалось все-таки найти место, откуда он исходил, но оказалось, что это была французская церковь, осененная четырехконечным латинским крыжем... Не только признаков русского народа и церквей, но даже и русского консульства здесь не оказалось. Голые жители мало напоминали древлеблагочестивых жителей счастливой Беловодии. Они не только курили табак, но еще и жевали его, отчего улицы все оплеваны, «точно по ним пробежало какое-нибудь раненое животное». В пищу употребляют разную нечисть — в лавках висят на продажу копченые кошки, собаки, крысы...

На базаре наших путников окружила толпа туземцев. «Вероятно этот народ никогда не видал русского человека, поэтому они и дивились нашей обряде»,— замечает Хохлов. Один любознательный парень осмелился до того, что «ощупал наши бороды и под бородами оглядел наши шеи... Не думал ли он, что под бородами на месте горла — нет ли у нас другого рта?».

Вернувшись на пристань, казаки узнали, что на одном с ними пароходе едет русский, г-н К., «прокурор морского ведомства». Он обрадовался землякам и охотно ответил на их вопросы. Страна, где они находились, по его словам, «называется в просторечии Восточно-Индо-Китайский полуостров, жители малайцы, буддийского исповедания». Название довольно точно совпадало с тем, которое упоминалось в маршрутах и грамотах Аркадия... Казаки чистосердечно рассказали г-ну К-скому, чего ищут, и когда он раскрыл перед ними карту и стал указывать «разные города и урочища», они просили найти город Левек.

Но такого города не оказалось...

Становилось уже довольно ясным, что Аркадий — просто, самозванец, и в печальном разговоре с товарищами Григорий Терентьевич Хохлов вспомнил один случай из своего детства: однажды его отцу, тоже «никудышнику», не устававшему, однако, отыскивать чистые источники благодати, сказали во время зимнего лова (багренья), что из Петербурга вернулся казак-гвардеец, которому удалось видеть «настоящего священника». Отец рассказчика в тот же вечер разыскал гвардейца, и тот, сидя за столом с обильным угощением, рассказал казакам, как один петербургский купец пригласил его на тайное служение в своем доме. Он описывал разговоры свои с кротким пастырем, и когда дело дошло до самой торжественной (рождественской) службы,— «у покойного родителя потекли из глаз слезы. Он приткнулся локтями на стол, ладонями закрыл глаза, но слезы у него неудержимо текли, проникали между пальцев и капали на стол. Я сидел (говорит Хохлов), тоже слушал рассказ Изюмникова (так звали гвардейца), и меня также сердечно тронуло: покатились слезы. Мне сделалось совестно, мальчишке, плакать, чтобы видели люди. Я вскочил со стула, выбежал в другую комнату,

уткнулся лицом в кроватную постель и втихомолку поплакал. Потом обтер кулаком глаза, поглядел в зеркало и, заметив, что лицо у меня отекло и глаза покраснели, подошел к умывальнику, умыл лицо и только тогда вышел к старшим».

Нужно ли говорить, что рассказ Изюмникова впоследствии оказался праздным вымыслом, а сам рассказчик обманщиком...

«Считаю нужным,— прибавляет Хохлов к этому эпизоду,— обратиться ко всем поповцам: лушковцы, окружники, полуокружники, духовные и мирские, грамотные и неграмотные лицы приняли за привычку говорить нам в укоризну: вы не имеете при себе священства от нерадения и бесстрашия вашего. Хотите жить своевольно и безнаказанно на всю жизнь. Не обличаете своих грехов священнику, к тому же подтверждаете, что можно спастись и без священника...»

«Однако,— спрашивает автор у этих обличителей,— что же тогда побудило моего отца пролить неудержно теплые слезы!.. Бесстрашие ли тронуло тринадцатилетнего мальчика убежать от людей в уединенное место, удариться на подушку вниз лицом и плакать?.. Или, скажут, и это нерадение, что, в случае, когда проникает туманный слух о том, что в такой удаленной стране народ имеет при себе священство,— тогда мы съезжаемся, обсуждаем и снаряжаем от себя депутацию. Одни щедро ублаготворяют деньгами, от пота и тяжких трудов добытыми, другие... разлучаясь со своими женами и детьми, решаются ехать в отдаленные и неизвестные страны... Придется ли возвратиться и видеть своих домашних, или закроются глаза на море-окияне и послужат могилой волны, а гробом дно окияна?...»

«Да,— говорит автор,— нужно судить, положа руку на сердце». И, положа руку на сердце, каждый искренний человек признает, что здесь мы имеем дело не с «нерадением и бесстрашием», а с искренней верой, слишком только легко поддающейся коварному обману со стороны эксплуатирующих на разные лады эту темную народную веру.

В дальнейшем пути один еще раз улыбнулась нашим искателям надежда. 4-го августа, по выходе из Гонконга, они заметили, что цвет воды изменился: в морях во-

да синяя, но прозрачная. Тут же кругом на далекое расстояние их окружали белые, непрозрачные волны. «Не эта ли самая местность называется Беловодией? — говорили казаки между собою,— так как вода здесь от прочих вод совсем отличная?» И они опять принялись расспрашивать о древле-православных народах и русских церквях. Но ответ был все тот же. А вода белая оттого, что сюда докатывает свои мутные волны «великая река Кианга», несущаяся в океан из языческого Китая...

Они посетили еще Китай и Японию, всюду допрашивая о народах, живущих на Японских, Сандвичевых и Аландских островах, видели китайцев-христиан (не брезгающих употреблять в пищу кошек, крыс и даже червей,— встретили окитаившихся казаков-албазинцев, взятых когда-то в плен и впоследствии обращенных миссионерами в католичество... Но надежда найти Беловодию у них давно уже исчезла. На возвратном пути (через Сибирь) они встретили под Владивостоком казачьего офицера Оренбургского войска. Он видел их, когда они приходили проситься на «Херсон» в Порт-Саиде, и догадался о цели их путешествия.

— Наверное вы ищете истинную веру? — сказал он и, узнав о результатах поисков, прибавил, указывая на небо:

— Истинная вера осталась, видно, только там.

— По всему так, ваше высокоблагородие,— ответили казаки.

Экспедиция была, в сущности, кончена. Отсюда начинались уже чисто отечественные впечатления. Сойдя во Владивостоке на берег, казаки увидали под городом густо расставленные палатки и узнали, что это — переселенцы из донских и оренбургских казаков. Они вызвались охотниками на поселение в Уссурийский край, для чего получили по 600 рублей на обзаведение. Но условия поселения были рассчитаны плохо, казаки истратились и оголодали. Не встретив внимания к своему положению, они самовольно бросили место поселения, прося о возвращении обратно. Мудрое местное начальство взглянуло на это, как на бунт. «Казаки, не имея средств пропитания, обносились до наготы и в летних худых палатках проживали (с семьями!) на возвы-

щенном месте. Подкатила зима, затрещал мороз... а одежды нет, хоть ложись и умирай». На два самых тяжелых зимних месяца им отвели казармы, но затем... генерал Духовской распорядился выгнать их из казарм, и жителям Владивостока воспретили пускать их на квартиры даже с угрозой: «кто пустит хоть одного человека хоть на одну ночь переночевать, того подвергнут штрафу в 50 р.» Теперь подходила уже вторая зима и, когда наши путники посетили этот «бунтующий» голодом лагерь,— «казаки жили в ветхих палатках, иные даже под открытым небом с грудными детьми и 80-летними стариками».

Я не стану приводить дальнейшие подробности обратного пути. За этими первыми отечественными впечатлениями следовали другие, и сами путники постепенно из смелых искателей сказочного царства превращались в обыкновенных русских людей «нижнего чина». «Чернеевский перекат», на Амуре, где застрял пароход «Граф Игнатьев» с несколькими военными и штатскими генералами в числе пассажиров,— видел наших уральцев в совершенно новой роли. Однажды повар-китаец кинул в Амур икру из свеже-пойманного осетра. Один из казаков тотчас же кинулся в холодную воду и вытащил ее, а другой сделал грохотку, просолил и быстро приготовил прекрасную икру к генеральскому завтраку. На следующий день, выйдя на палубу прогуляться, господа тотчас заметили услужливых уральцев и поклонились им. «Что значит икра!» — говорили казаки втихомолку. «Прочие пассажиры,— простодушно повествует об этом эпизоде Г Т Хохлов,— отпускные солдаты и со златых приисков народы удивлялись тому, что господа так приветливо с нами обращались. Мы еще более стали следить за каждым их движением и старались к их услугам. Господа пойдут с ружьями на охоту стрелять птицу, и мы идем за ними. На каждый выстрел бежим, моментально сбросим с себя верхнюю одежду и рубаху, бросаемся в холодную воду и достанем застреленную птицу...»

Все это, по-видимому, лукавые казаки делали в том соображении, что гг. генералов не оставят зимовать на перекате, а с господами выберутся и они... Оказалось, однако, что в конце концов, прибежавший снизу

путейский пароход взял только пять человек, кинув остальных на произвол судьбы...

Мне приходится забежать несколько вперед.

Вернувшись из описываемой поездки по станицам, я застал на своей дачке в гостеприимных садах над Деркулом — небольшую посылку из Петербурга. В коробке петербургских конфект я нашел записочку от своих добрых знакомых, в которой моему вниманию рекомендовались «податели» посылки, два уральских казака, посетившие столицу с совершенно особыми целями. К сожалению, эти «податели» не нашли меня, и посылку я получил уже из третьих рук.

Недели две спустя, я поехал с Н. А. Бородиным в Круглоозерную низовую станицу, тот самый «Свистун», о котором говорилось выше. Вначале и здесь нас преследовала неудача, так как все знакомые Бородина оказались на бахчах. Мы проехали станицу из конца в конец, безуспешно стучась в разные ворота. Большие и богатые избы с резными коньками остались позади, и теперь на нас глядели мазанные избушки с плоскими земляными крышами. Улица старозаветной станицы встречала нас равнодушно и замкнуто, предоставляя, очевидно, свободную дорогу в горячую степь, по которой в разных местах ветер гнал и крутил белые столбы пыли... Они как-то лениво подымались, лениво крутились над степью и изнеможенно ложились опять на жаркую землю...

Это унылое зрелище заставило меня идти напролом, чтобы все-таки остаться и отдохнуть в станице, и я предложил своему спутнику привернуть к первой группе у первых ворот. Мой спутник отнесся к этому плану с некоторым сомнением, но лошадей все-таки повернул. Группа казаков молча смотрела на наше приближение.

— Доброго здоровья,— сказали мы, остановив лошадь.— Нельзя ли у вас отдохнуть и напиться чаю?

Один из казаков усмехнулся и ответил с иронией:

— Уходцы мы. Какие самовары у уходцев?

Уходцами зовут тех, частью уже возвращенных, участников «бунта» 1874 года, которые согласились лучше отправиться в ссылку, чем дать известную уже читателям «подписку» о повиновении. Из старозаветного

Свистуна уходцев было особенно много, и это еще более усилило мое желание побеседовать с казаками. Но разговор не клеился, пока один из них, пристально вглядевшись в меня, не спросил:

— А вы чьи будете?

— Дальний.

— Однако?.. Не петербургский ли?

— Да, петербургский.

— Так это не тебе ли был посылочек от Федора Дмитриевича, господина Батюшкова?

— Мне.

Лицо казака приветливо оживилось...

— А-ах ты господи... Отворяй живо ворота! Вот ведь сам Бог вас направил... Пожалуйте, дорогие гости, милости просим...

Оказалось, что счастливая судьба привела меня именно к дому одного из казаков, которые напрасно разыскивали меня в Уральске.

В лице этих казаков,— Евстафия Мокеевича Кудрявцева и Федора Осиповича Сармина,— я, как оказалось, встретил новых исследователей по делу о беловодском архиепископе. Только поиски их были направлены не на восточные моря-окияны, а на запад. Прежде всего они отправились к самому «архиепископу», в Ханской город (Оханск), где он проживает после многих «судимостей», среди самой бедственной обстановки, без средств и без паствы, как затравленный старый волк. Казаки почтительно обратились к нему за разъяснением сомнений, и при этом у них произошел разговор, который я уже приводил выше. «Мы начали его вопрошать,— писали депутаты после этого свидания,— и он с нами обходился тонко». Впоследствии, однако, разговор обострился, и на указание текста («ежели явится странствующий епископ, не имеяй грамоты от своегоси патриарха и своеяси паствы, таковому не имуть веры») — Аркадий отослал их в Пермский окружной суд, где хранится отобранная у него грамота. «И мы в Пермь отправились»,— писали опять депутаты. Там показали им «ево ризу и антиминсы, и патрахиль, и пояса, и камилаву, и протчии приборы церковны... и ставленной грамоты ево копию. А самую ставленную грамоту не видели (она отослана в восточной иностранных дел ан-ститут)».

Все это не было еще решающим. Депутаты отправились в Москву, побывали (под видом приверженцев Аркадия) в уездном городе Новгородской губернии, где познакомились с сестрой «епископа» (именующего себя, между прочим, князем Урусовым), разыскали и подлинную грамоту «на сирийском языке», которую кто-то снял им на кальку, и, запасшись всем этим материалом, а также печатными сведениями об Антоне Пикульском, именующем себя Аркадием Беловодским,— отправились со всем этим в Петербург, в поисках ученых людей, которые могли бы разъяснить недоумения и перевести сирийскую грамоту.

В. К. Саблер указал им, как на такого ученого, на профессора-санскритолога, академика С. Ф. Ольденбурга. Последний отнесся с чрезвычайным вниманием к запросу казаков, рассмотрел печатные материалы, указал на нелепости географических терминов в Беловодских сказаниях, ставящих рядом Асумпсион, Парагвай, Гельветическую республику и т. д. и, наконец, разобрав копию грамоты, нашел, что это собрание индусских и арабских начертаний, поставленных рядом без всякого смысла.

Депутаты вернулись в полном восторге от Петербурга, от С. Ф. Ольденбурга и других ученых, с которыми им пришлось встречаться. Отражением этой благодарности пришлось воспользоваться и мне в вышеописанном маленьком эпизоде. Но...

Осталось еще одно маленькое сомнение, чреватое, быть может, новыми предприятиями старообрядческого Урала и новыми экспедициями... Рассказывая об Индии, Индо-Китае, Опоньском царстве и других странах востока, об их жителях и религии, Сергей Федорович Ольденбург показал казакам, между прочим, статуэтку, подаренную государю императору в Японии и находящуюся теперь в музее академии наук. Это изображение Майтреи, который, по верованию буддистов, теперь находится на небе, но со временем сойдет на землю, чтобы научить людей истинной вере. Вначале этот буддийский святой, по-видимому, не обратил на себя особенного внимания депутатов. Но впоследствии он все чаще стал возникать в их памяти.

— Видите,— задумчиво говорили мне теперь госте-

приимные хозяева,— в одной руке держит вроде кулганчика (сосуд), а другая изображает как бы двуперстное сложение. И потом — для чего японцы поднесли ее православному царю?

Когда депутаты рассказали об этом своим единоверцам, старики стали упрекать их, что они не собрали точных сведений о местопребывании этого Майтреи и о народах, имеющих такое перстосложение в Японском царстве. И теперь депутаты просили меня, когда буду в Петербурге, попросить у С. Ф. Ольденбурга эти сведения, а если можно, то и фотографический снимок со статуэтки.

— В случае чего... можно бы туда отправить людей,— говорили казаки.

Теперь это все исполнено, и таким образом я со своей стороны вложил свою лепту в розыскания таинственной Беловодии. Во всяком случае мне кажется, что эта апелляция к науке составляет первый еще эпизод этого рода во всей истории благочестивого Камбайско-Беловодского царства!..

VII

ОПЯТЬ ДОРОГА.— КИРСАНОВСКАЯ СТАНИЦА.—КОСЦЫ.— НЕЧТО О «КИРГИЗСКОЙ МЕЧТЕ».— КАЗАК-ПОЭТ И ЕГО ПОЭМА О ПУГАЧЕВЦЕ ЧИКЕ.— ОПЯТЬ ПЕРЕНОСНЫЕ ПЕСНИ.— ДРАМА СТЕПНОГО УГОЛКА

Из Январцева мы выехали довольно поздно, увозя с собой яркие впечатления только что выслушанных рассказов. Как бы для контраста дорога лежала перед нами однообразная и пустынная, с песками и барханами, покрытыми кияком и солянкой. Впереди нас скрипел плохо смазанный колесами казачий воз, запряженный верблюдом, а издали подкатывался клубок белой пыли.

Когда он приблизился, из него выступили очертания трех повозок, запряженных сытыми тройками. В повозках сидели какие-то черномазые люди.

— Откуда бог несет? — крикнул ехавший впереди нас казак.

— Из Сибири,— ответил черномазый возница и хлестнул тройку. Кованые колеса заскрипели в сыпучем песке...

— Цыганы,— раздумчиво сказал казак,— в степе каких народов не встретишь...

Кирсановская станица считается первоначальным местом поселения яицких казаков. Вероятно, наскучив этими непроходимыми песками, казаки решили спуститься вниз, к тому месту, где стоит нынешний Уральск. Разобрав старую церковь, они сладили из ее бревен плот и спустились по реке к благодатной равнине между Уралом, Чаганом и Деркулом. У Кирсановской станицы и теперь еще указывают место бывшего городка и крепости.

В Кирсанове живет станичный атаман, К. Е. Беляев, к которому у меня было письмо из города, и потому мы сделали здесь привал, остановившись на казачьем дворе, невдалеке от станичного правления.

Зной все усиливался, и небольшой казачий дворик, с тесно уставленными навесами и базами, казалось, весь изнывал от истомы. Под одним из этих навесов в тени сидели три мужика. Это были косцы, пришедшие сюда за 300 верст из Самарской губернии, Бугульминского уезда. Они косили у нашего хозяина по 8 рублей за десятину и уже второй день ждали расплаты.

— Э-эх, казаки! — с глубокой укоризной сказал один из них, старик с топорной фигурой и крупными чертами добродушного лица.— Своих обовязанностей не сполняют...

— Бяда! — прибавил каким-то нервным, почти истерическим голосом его молодой товарищ.— Страда чижолая, жар, сухмянь, а тут еще из-за своих кровных наплачешься...

Страда в этот год, действительно, была необыкновенно тяжелая. Над степями навис иссушающий зной, ни ветру, ни облачка, а на пашнях, вдалеке от воды убивались на тяжкой работе тысячи рабочих. Накануне, рассказывали нам, в степи «загорелся» киргиз. Косил-косил и, внезапно бросив косу, побежал к Уралу. Добежав до реки, он, обеспамятев, бросился в быстрые волны и уже не выплыл. Два его брата все сидели пониже этого места, на мысу, ожидая всплытия

трупа. «Загорелся» еще казак на собственной пашне, и, вообще, то и дело слышались рассказы о случаях солнечного удара.

И вот для такого-то труда эти три человека прошли пешком три сотни верст, чтобы заработать рублей по 10 на человека. И вдобавок они узнали, что ошиблись: под Уральском работают по 20 рублей за десятину. Они были в очень дурном настроении и о казаках отзывались очень желчно...

— Самофалы они,— говорил старик своим устало-благодушным голосом.— На работу ничего не стоят, народ легкой...

— А кормят как?

— Иной кормит ничего. А иной — не дай господи... Зимой все отсевки копят, самое которое зерно не годится... Потом смелет,— ладно: рабочие слопают... Ничего, что хлеб хоть ложкой хлебай!..

— Да еще, мотри, брезгуют нашим братом,— опять нервно вскрикнул молодой.— Из одной чашки с тобой есть не станет... Мы вот киргизом, башкуртом не брезгуем, а они руськими людьми брезгуют.

— Да-а,— опять, зевая, прибавил старик: — бывал я у них, всего видал. Бывал и в сите, и в решете: очков много, а не выскочишь...

Тесная, душная изба казаков была наполнена мушиным жужжанием. Хозяйка оказалась больна, бледного мальчишку тоже измучила лихорадка. Старуха угрюмо суетилась по хозяйству, хозяин мыкался по шабрам за деньгами для расплаты с косцами.

— Несладно тоже и казачье житьишко,— сказал с невольной симпатией к своим Макар Егорович...

Здесь нам рассказали, между прочим, странную степную новость. На-днях, будто бы, в Требухинском поселке три казачьи девочки переправились в лодке на Урал, в луга на бухарской стороне, за ягодами. Здесь одна из них наткнулась на молодого киргиза, который лежал под кустом, скинув с себя всю одежду, и глядел на небо. Когда девочка подошла, не замечая его, к этому месту, киргиз, будто бы, вскочил вдруг на ноги, схватил нож и зарезал девочку, почти на глазах у ее перепуганных подруг. Последние кинулись в лодку и подняли тревогу в казачьем поселке. Атаман собрал пять полевых

казаков и, переправившись за Урал, настиг убийцу на том же месте. Тот, будто бы, долго не сдавался...

Рассказ этот мы слышали по форпостам и дальше. Говорили, что киргиза провезли в Уральск под караулом. Меня очень заинтересовала эта странная история, приуроченная, вдобавок, именно к Требухам, где я еще недавно слушал эпические рассказы старого казака о бородинских «усмирениях» и о «старой крови»... Казаки пытались объяснить и этот эпизод пережитками кровной мести. Память об усмирениях и о взаимной борьбе еще не умерла, и немудрено, что она может порой вспыхнуть в какой-нибудь фанатической голове, как марево в знойной степи. Впоследствии, когда я говорил об этом эпизоде с бывалым человеком, илецким торговцем, хорошо знающим киргиз, он сначала усомнился в самом факте, но потом, подумав, сказал:

— А все может быть... Тогда это у него не иначе— от мечты!

Я не мог добиться более точного определения, и мой собеседник только прибавил с убеждением:

— Да, да... Мечта у них, у кыргыз а-гро-мадная!

Вероятно под мечтой он разумел эти еще не замершие воспоминания, питаемые рассказами стариков, преданиями, песней домрачеев-певцов. Из глубины прошлого они все еще взывают к отмщению...

Впрочем, когда на обратном пути мы опять ехали через Требухи, то на месте нам сказали, что у них ничего подобного не было. В Январцеве говорили, что действительно провезли арестованного киргиза, но за что он арестован — неизвестно...

В станичном правлении шли занятия, когда я пришел туда, чтобы отдать письмо и поговорить со станичным атаманом Квинтилианом Емельяновичем Беляевым. В Уральске от нескольких лиц, в том числе от архивариуса войскового архива, очень интересующегося стариной и кое-что печатавшего уже, Ивана Семеновича Алексеева, я слышал о рукописной поэме самородка-поэта, казака Голованова, озаглавленной «Герой разбойник». Герой этой поэмы — известный пугачевец Чика: автор ее — природный уральский казак, служивший по канце-

лярской части в разных учреждениях и, кажется, благодаря строптивому и свободолюбивому нраву, вечно «терпевший по службе». О поэме отзывались, как о произведении интересном, основанном на рассказах стариков, будто бы лично знавших пугачевского атамана.

Сам Голованов в то время уже умер, а поэма, по словам моих знакомых, находилась у его родственника, станичного атамана. К сожалению, это было неверно. Оказалось, что рукопись находится в Уральске.

Впоследствии мне удалось добыть ее. Называется она «Герой разбойник (поэма — предание из времен Пугачева)». Автор говорит в предисловии, что ему в 1877 году пришлось познакомиться с одним 130-летним стариком, «горячим участником пугачевского бунта». В газетах как-то, действительно, сообщалось о двух таких стариках в Самарской губернии (один из них умер уже в 80-х годах). Затем, автору попалась старинная (1828 года) печатная поэма, под заглавием «Чика», и это, «совокупно с собственными превратностями и невзгодами» — побудило его переделать поэму неизвестного автора, соответственно с рассказами старого пугачевца К сожалению, поэт-самоучка увлекся довольно шаблонным образом романтического героя во вкусе шиллеровского Моора, и рассказы очевидца потонули в этом неинтересном вымысле. Чика изображен в поэме страстным патриотом, человеком «очень начитанным» и даже обладавшим «многими разнообразными (хотя и поверхностными) сведениями в области практических наук, философии и политики». «Конечно,— прибавляет автор,— мудрено, даже невозможно объяснить, каким путем простой казак, да еще в XVIII веке, обогатил свой ум такими познаниями». «Он был страстно привязан к своей казачьей родине и разнообразному воинственному образу жизни современного ему казачества». Сначала он горячо верит в Пугачева, потом разочаровывается и, в роли жестокого разбойника, мстит уже всему человечеству за свое разочарование.

Совершенно понятно, что этот образ не имеет ничего общего с историческим Чикой, пугачевским «графом Чернышовым». Надо думать, что даровитый самоучка Голованов более всего вдохновлялся собственными «превратностями и невзгодами» и в уста своего Чики он

влагает свои взгляды и чувства. С этой точки зрения поэма уральского неудачника, тоже «обладавшего (хотя и поверхностными) сведениями», тоже страстно привязанного к своей казачьей родине и тоже потерпевшего, очевидно, большие разочарования,— приобретает некоторый интерес (хотя и не тот, какой хотел ей придать сам автор), и я позволю себе привести из нее несколько отрывков.

Уверовав в Пугачева, Чика ездит по станицам, собирает казаков и говорит в кругах о прежних казачьих вольностях. Но теперь,— продолжает он,—

...пора иная!
Вольность веку отдана,
И старинка удалая,
Как шеренга фрунтовая,
Под ранжир подведена!
И стальная дисциплина,
Точно жадная змея,
В виде тягостной рутины
Поглотила все картины
Прежде бывшего житья.

Рассказывая о своих чувствах, Чика говорит далее:

С мечтами детства возникала
Во мне к свободе милой страсть,
Меня томила, ужасала,
Гиганта северного власть...
Стеснил он волю золотую
На берегах родной реки,
Но, твердо помня жизнь иную,
Скорбят и ропщут казаки...

В таком же тоне изложены все речи пламенного Чики и лирические отступления поэмы. Особенно достается при этом «злым властям».

Да, переходно наше время,
Лукав, коварен этот век,
И современный человек
Несет, как крест тяжелый, бремя
Самолюбивых, злых властей...
Для них народ — пустое слово,
Они не сеяли, но жнут,
С живого, с мертвого дерут...
Им властолюбие, нажива
И глупых титулов почет
Такой продукт — как мухам мед.

Вся гордость черствых, злых нахалов,
Вся грязь змеиных их натур
И пошлых жалких идеалов
Уж стали темой для журналов
И, как постыдный каламбур,
Вошли в отдел карикатур.

В конце поэмы автор дает общую оценку своего героя, в которой опять нельзя не видеть его собственного портрета:

И вот ты сам, казак простой,
Науки светом озаренный,
С душой бесхитростной, прямой...
...Добра и счастья всем желал,
На пользу общую трудился,
Чинов, отличий не искал,
От юных лет с нуждою сжился...
Ты идеал свой воплотил
В свободе, истине и чести...
Но что в награду получил
От прозелитов зла и мести?
Гнилую нищенства суму,
Нужды и голода мученье,
Пренебреженье, отверженье,
Позор и смрадную тюрьму!

Лица, знавшие биографию Голованова, сообщали мне, что, действительно, даже «позор и смрадная тюрьма» не миновали этого даровитого самоучку-казака, строптивая натура которого не укладывалась в рамки затхлого строя казачей бюрократии. Все это, однако, не убило в душе казака-поэта лучших надежд. «Придет пора,— восклицает он в заключение,—

...Русь просветится
И сила титулов, как дым,
По едким качествам своим,
Вся испарится, разлетится...

Голованову не пришлось увидеть в печати свое не всегда складное произведение Только в проезд через Уральск государя наследника (ныне царствующего императора) он поднес свою поэму и получил денежный дар... Теперь уже несколько лет, как он умер...

Выехав из Кирсанова (мимо старого городка), мы миновали два-три чудесных степных хуторка, ютившихся в зелени. Пески здесь кончились, близость Урала

сказывалась свежею лесною порослью, из-за которой как-то неожиданно показались за Иртеком освещенные вечерним солнцем избы Иртецкого поселка, последнего на границе Уральского войска с Илецким.

Почти у самого въезда в станицу, сидел у ворот своей избы престарелый седой казак со старухой казачкой. Остановив лошадь, я подошел к ним и спросил: где живет Наум Гаврилович Баннов.

— Я самый,— ответил казак, подымая свою седую голову с круглыми, детски простодушными глазами.— А на что тебе?

Я объяснил. Мне называли Наума Гавриловича Баннова, как человека, знающего много о старине. До сих пор такие объяснения встречались радушно. Старые казаки любят поговорить о родном прошлом...

— Что ж, ничего,— ответил старик благодушно.— Побеседуем... Чего не знаем, не скажем, а что, может, слыхали от добрых людей,— отчего не сказать... Да ты погоди, я тебе еще одного человека позову... Клима Донскова. У него книги есть вот какие... Ста-а̀рые книги...

И, поднявшись с бревна, он пошел было через улицу, но, увидев Макара Егоровича с тележкой, спросил:

— А это кто?

— Товарищ мой... Илецкий.

— Иле-ецкой? Вишь ты! — протянул старик каким-то особенным тоном, из которого я начал догадываться, что вышло как будто что-то неладное. Макар Егорович проехал на постоялый двор, а старик задумчиво побрел к дому напротив.

Через две-три минуты скрипнула в высоких запертых воротах калитка, и со двора вышел старый казак, угрюмого вида, низкорослый, с огромной, ушедшей в плечи, головой и черными, мрачными глазами. Он шел впереди, а Баннов, с видом как будто несколько сконфуженным и виноватым, следовал за ним. Подойдя почти вплоть ко мне, Донсков круто остановился и, окинув меня недоброжелательным взглядом, спросил:

— Что такое нужно? По какому делу?

Я объяснил безобидную цель моей поездки и сказал, кто меня направил к Баннову.

— Что он знает? Он ведь ничего не знает,— решительно отрезал Донсков, а кроткий Баннов повторил,

как эхо, глядя в сторону своими круглыми простодушными глазами:

— Ничего я и не знаю.

— Одно мы знаем,— отрубил Донсков насмешливо: — этак же вот раз приезжал один. Будят меня ночью: ступай, Клим Донсков, чиновник приехал, требует. Ну, я, конечно, прихожу. Что такое? «Я, говорит, по илецкому делу. По какому, говорит, случаю грань у вас с илецкими казаками за Бородинским поселком, а черными-те водами илецкие пользуются до Утвы?» Слыхал ты?..— повернулся он к Баннову...

Я ничего не понял. Но Баннов прискорбно покачал головой, как будто вопрос неизвестного чиновника был величайшим подвохом, а я подозревался в соучастии...

— А по тому случаю,— я ему говорю,— что у илецких мало черных вод, а у нас мало лесов. По этому собственно случаю мы у них рубили, а они у нас рыбачили... Больше ничего мы не знаем. И ты то же самое, Баннов, не бай... Ни гу-гу... Понял?

Он многозначительно поднял палец и затем, резко повернувшись, пошел прочь...

Когда я рассказал об этом непонятном для меня эпизоде моему спутнику, то он, посмеиваясь в усы, дал ему удовлетворительное объяснение. Мы приближаемся к илецкой границе, а у Илека с Уральской казачьей общиной идет вековой спор: Илецкое войско основано позже и, несмотря на то, что оно несло те же повинности,— уральцы не допускают илецких в свою общину, и в рыбной ловле ниже учуга они участия не принимают. Илецкие казаки в общем пользовании иртецкими черными водами видят указание на свои старинные права...

Узнав, что со мной едет «илецкой», Донсков заподозрил, что и я расспрашиваю неспроста. Из Иртецкого поселка мы выехали как бы сквозь строй внимательных и не вполне дружелюбных взглядов. Очевидно, Донсков уже поднял тревогу...

За Иртеком пошли опять переносные пески. Опять — шорох, шепот, движение и испуг степной природы... Вечер спускался тихо и как-то по-своему печально. Над горизонтом, в пелене туманов, висела большая луна, красная, как червонец... Из сумрака выползали отовсюду, точно стаи гигантских ужей, песчаные увалы и бар-

ханы — все гуще и выше. Степная дорога прижалась к речке, осторожно сочившейся между зелеными камышами к недалекому Уралу, но пески настигали ее здесь, затесняя в узкую лощину.

Меня поразили причудливые силуэты нескольких осокорей, странно рисовавшихся на озаренном луною небе... Они спокойно выросли над речкой под защитой слежавшихся песчаных холмов, а теперь, по странному капризу разрушительной силы, холмы снимались с места. Вершины их точно дымились в лунном свете, с разработанных ветром боков, шипя, неся тонкий песок, и бедным осокорям пришлось первым выдержать этот натиск... Из-под них уже выдуло почву почти на два аршина, и корни, странно искривленные и обнаженные,— судорожно хватались за ускользающую землю... В густых еще вершинах стоял немолчный, тихий, но внятный шорох. Так и чудилось, будто старые деревья ведут печальную беседу о том, что свет портится, что наступает кончина мира, что явились небывалые иссушающие ветры, что в старину, в годы их молодости, этого не бывало, и что все это «за грехи, за грехи, за грехи»...

Луна перекрылась причудливым роем легких облаков, загоревшихся, как в огне, серебристыми краями. Вверху стало ясно, весело, оживленно, а внизу, над померкшею степью, над камышами, над речкой, пугливо кравшейся к Уралу, веяло глубокой и как бы сознательной печалью перед зловещим движением пустыни...

— Да, заносит уже и луговую дорогу,— сказал Макар Егорович.— Я еще помню: дорога была там, за барханами, даже обозы ходили. А теперь уже и здесь трудно...

Вдали мелькали огоньки Бородинской станицы.

VIII

КРЕПОСТНАЯ ДЕРЕВНЯ.— НАЕМКА В ТАШЛИНСКОЙ СТАНИЦЕ.— НОЧЛЕГ НА БАЗУ.— ОБРАТНЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.— СТАЧКА КОСЦОВ И СМИРЕННЫЙ МУЖИЧОК.— БАБУШКА ДУШАРЕЯ.— ГРАНИЦА.— ГОРОДИЩЕ.— ЛЕТУЧКА

Казачий строй принято считать безусловно противником крепостного права. Однако рабство давно уже просачивалось на вольные степи. Старшинская партия

сложилась в крепкую аристократию и вскоре у старшин явились свои «дворовые люди». Первоначально они комплектовались из пленных инородцев или из «киргизских полонянников», выбегавших из степи к уральским форпостам. Впоследствии же, входя постепенно во вкус, старшины стали обращать в «дворовых» также и русских людей, бежавших на Урал от одной крепостной зависимости и попадавших в другую. В уральском архиве сохранилось немало дел о насильственном захвате богатыми казаками даже приезжих из соседних губерний крестьян и женок, а когда такие полонянники пытались убежать с «вольного Яика» на родину,— их уже ловили на степных дорогах казачьи команды и водворяли к «владельцам».

Казачья масса косилась на это явление,— казакам нужно было нанимать беглых за себя в дальние походы. Поэтому старшины населяли «дворовыми» дальние хутора на верховьях степных речек и не занятые никем углы степи.

Особенно широко насаждал эту форму крепостного права Мартемьян Бородин. У него на истоках Иртека и Киндели, на сырту было много хуторов, населенных уже настоящими крепостными, которые сторожили его табуны и рабьими руками распахивали вольные степи. Сын Мартемьяна, Давид, уже покупал на свод целые деревни и селил их на землях слабой и независимой Илецкой общины...

Таким образом основался Бородинский поселок, жителей которого выиграл в карты Давид у какого-то помещика в России... Казачья совесть сурового атамана, по-видимому, и сама плохо мирилась с этим рабством: перед смертью он освободил всех своих крепостных и добился причисления их в казаки... Таким образом, вместе с новой станицей, примежевывался к уральским землям большой кусок илецкой степи, когда-то занятой временно Давидом Бородиным.

Проехав широкие, залитые лунным светом улицы огромной и, по-видимому, цветущей станицы,— мы остановились у ворот обширного постоялого двора. Ворота были отворены, хозяин собирался на мельницу с новым хлебом. Посередине двора стоял столик, на котором кипел самовар, приготовленный для уезжавших.

Это было очень кстати, и мы сели за стол вместе с хозяевами. Казаки были веселы, и весь двор, освещенный луною, был полон радостного оживления. Хлеб в этом году уродился отлично, собрать его удалось вовремя и притом очень дешево.

— Почем платят косцам в Уральске? — спросил у нас хозяин и, узнав, что цены там стояли от 15 до 20 рублей и даже выше,— весело улыбнулся и сказал:

— А у нас по десяти.

— Ташлинский атаман такую цену сделал,— прибавила радостно хозяйка.— «Наемка» у нас нынче отличная...

«Наемка» в этих степных местах — это настоящая военная кампания, где интересы нанимателя и работника становятся лицом к лицу в совершенно откровенных формах. Целые армии косцов сходятся в нескольких пунктах: к Уральску, в Таловую (на границе Самарской губ.) и в Ташлу. Рабочие, сойдясь, прежде всего пытаются организоваться, чтобы поднять цену. Для этого иногда артели жнецов приносят все серпы и косы в одно место и выдают их только при найме на известных условиях. Первые дни обе воюющие стороны крепятся, измеряя взаимные шансы, и порой дело доходит до формальных побоищ. В тот год под Уральском произошли крупные столкновения между рабочими русскими и киргизами (сбивавшими цены). В Таловой победу одержали рабочие, поднявшие цену до 20 рублей; в Ташле, наоборот, рабочая армия потерпела решительное поражение.

— Мужикам, конечно, обидно,— радостно говорила казачка: — а для казаков хорошо. Косцы сошлись в Ташлу и говорят: хлеб ноне у казаков дюже сильный, давайте, ребята, дешевле 25-ти не наймоваться. На том и стали. Кто, может, и хотел бы наняться, не смеет. Ну, станичный атаман собрал полевых казаков и говорит: «дуйте их, дураков, нагайками. Что на них смотреть». Потом стариков-то, которые посмирнее, отделил, а остальных, говорит, гоните вон из станицы. «Вы, говорит, наше место поганите, хозяев огорчаете, не хозяева к вам идут, вы к казакам пришли. Хлеб за брюхом не ходит»... Ну, смирные-те мужики и пошли наниматься. Тут опять казаки сговорились: не давать больше десяти. Тем опять же деваться некуда: пришли работать, не назад идти. Так и стали наймоваться...

Мне вспомнились усталые и озлобленные косцы, которых мы встретили в Кирсанове... Говорят «цены строит бог». На этот раз ташлинский атаман устроил их, хотя и не совсем по-божьему, но с большим успехом...

— А где вы ляжете? — спросила у нас хозяйка.— Ночь-то вон какая тихая, да теплая... Ложитесь на базу.

Мы, разумеется, согласились. Хозяин с возами уехал, широкий двор опустел. Луна поднялась высоко и осветила избы поселка Прямо перед нами, над обрезом соседнего «база» вся в месячных лучах стояла стройная церковка. Огни в окнах станичных избушек гасли.

Я долго стоял на плоском базу, оглядываясь на затихавшую станицу, и в моем воображении проносилось своеобразное прошлое ее обитателей, занесенных бог весть откуда на эту окраину и здесь по капризу сурового казачьего атамана неожиданно нашедших казачью волю...

Наконец, я улегся на душистом сене. Звездное небо все искрилось и сыпало падучими звездами... Необыкновенно яркий метеор с огнистым хвостом, прорезавший небо от самого зенита,— остался в моей памяти последним впечатлением этого вечера...

Наутро я проснулся раньше моего товарища... Было свежо. Небо побледнело, солнце подымалось из-за гряды облаков, ночевавших где-то на далеком степном горизонте. Казачки доили коров и выгоняли их в поле. Наша лошадь напоминала о себе тихим и ласковым ржанием...

Когда, напоив ее, я вернулся с берега Урала, в нашем дворе оказались новые посетители, на распряженном возу сидели, свесив ноги и головы, четыре мужика,— два старика и двое молодых. Вид у них был раздумчивый и печальный.

— Откуда бог несет?..— спросил я.

— Астраханские, а идем с переселения...

— Что же так?

— Да так... Дома-те плохо, да и там не лучше...

— Земля плохая?

— Земля, видишь ты, ничего бы,— ответил медленно старик,— земля гожа, вода близко и луга хорошие, потные... Морозом когда хлеб побьет, ну не часто. Кормиться бы можно.

— Так что же?

— Далеко, дорог нет никуда. За Орск это и дальше, за Кустанай. До железной дороги четыреста верст, до Петропавловска тоже далече, базаров нет, в город не доехать...

— Сыт будешь, а ходи нагой и босой... Куда с хлебом денешься? — пояснил другой.

— Нам один человек говорил: вам, старики, добра уж тут не видать при своей жизни, а дети счастливы будут, когда проведут железную дорогу... А когда ее проведут? Ну мы и повернулись...

— А не надо бы,— опять говорит молодой. У него жизнь впереди, и он не прочь подождать счастья на новых местах...

И опять они сидят, свесив головы, четыре русских человека на распутье между постылым настоящим и неопределенным будущим... А пока что, они тоже работали у казаков.

Хозяева сказали мне, между прочим, что в Бородинском поселке, при австрийской моленной доживает свой век «баушка Душэрея» (своеобразное изменение имени Авдотья), старуха ста десяти лет от роду. Она уже ослепла, но сохранила память и порой бывает очень разговорчива.

Мне захотелось посетить старуху. Разыскав моленную, я вошел в сени. Все ставни были наглухо закрыты. На меня пахнуло запахом масла и ладана, и вначале я не мог ничего рассмотреть в темноте. Через некоторое время, однако, перед привыкшим взглядом замелькали блестками в глубине просторной избы иконные ризы, налой, паникадила...

Рядом со мной, на лежанке в сенях что-то зашевелилось, и старый голос, точно шелест листьев на дереве, спросил:

— Ты, Никитушка? Принес, что ли?

Я разглядел на лежанке, под стенкой, рядом со мной какое-то существо, маленькое, сгорбленное, незаметное.

Старуха пряла, и веретено в ее руках тихо жужжало и стукалось об пол.

— Нет, бабушка, это не Никита. Я — чужой человек,— ответил я, наклоняясь к ее уху.

— Чужой? — спросила она, как будто встрепенувшись.— Что же тебе, чужому, надо? А?.. Ну-ну,— продолжала она, когда я по возможности ясно сказал, что я приезжий, слышал о ней, и хотел бы побеседовать о старых годах.

К сожалению, беседа не удалась. Я попал в минуту, когда старая память потускла и работала, как испорченная шарманка. Какие-то клочки воспоминаний, бессвязные и отрывочные, вспыхивали и тотчас же гасли, а речь переходила в малопонятный шепот...

Я узнал только, что «барин (так она называла Давида Бородина) купил их «по-смерть». Жить было трудно... Барщина была... Нынче вот народ балованный: беременные бабы — уже они и не работницы... А прежде беременные бабы кирпичи таскали... Еще лучше, говорит: положи на брюхо десяточек, и неси... хо-хо... Да, положи, говорит, ничего!..

Она засмеялась, покачала старой головой и прибавила со вздохом:

— Трудно было, дитятко... Управители строгие, работа чижолая... Даст, знаешь, три пудовки... а чистили руками в ступах... Вот, знашь, раз этак-ту... Молоденька я была...

Она зашептала что-то. Все медленнее и тише, потом только кивала головой... Бледные губы шевелились без звуков...

— А откуда, бабушка, Бородин привел крестьян? — спросил я громко.

— А? Что? Ты все здесь? Откуда крестьяне? Да разные народы были. Раз вот ерзалов пригнал... И баяли не по-нашему, по-ерзальски [1].

Она опять смолкла. В темноте моленной водворилась жуткая тишина. Веретено с тихим жужжанием вертелось в привычной руке и стукалось об пол. Бабушка Душа-

---

[1] Ерзя — мордовское племя, живущее в Арзамасском уезде Нижегородской губернии.

рея опять забыла обо мне; но ее память, как заведенная машина, продолжала выбрасывать клочки бессвязных воспоминаний.

— Молоденька я была... молоденька, молодешенька...— слышалось мне в этом неразборчивом шепоте...

Я вышел, не прощаясь с нею, из моленной и невольно зажмурил глаза на светлой улице, где уже ждал меня Макар Егорович с тележкой...

В версте за Бородинским поселком дорогу пересекает большой овраг — крутая ростошь и вскоре за ним начинается илецкая граница. Несколько маров, леса, перелески. Среди них — речки Заживная и Кош пробираются к Уралу. Третья речка — Голубая — падает в Урал на другой стороне. Среди зарослей теряются где-то невидные с дороги древние городища. Одно предание называет Кош-Яицким городком, другое — Голубым городищем. Тут будто бы сидела когда-то Марина Мнишек со своими казаками. Но это, кажется, неверно: убежище Маринки было в низовьях Урала.

Эта часть реки с лесами и речками, очень удобная для «перелаза» — служила как бы воротами для орды. Они посылали вперед разведчиков узнать, нет ли засады, и спрашивали у них: «Кош аман»,— то есть свободна ли дорога? На засады натыкались часто, и «много тут в лугах истлело киргизских костей»...

Мы миновали ростошь и ехали уже по илецкой земле, когда за нами послышался частый топот. В клубке пыли нас обскакал верховой казак... Он был в одной рубахе, босой и скакал, сломя голову... Невдалеке от нас из тороков у него свалился армяк. Казак заметил это, повернул коня и, не слезая, поднял с земли армяк.

— Летучка, что ли? — спросил Макар Егорович.

— Стафета, Иван Иванычу...

Летучка — особый вид почты. Гонец мчится от поселка к поселку, порой даже на неоседланной лошади. Еще недавно к пакету, препровождаемому таким образом, прикреплялось перо, как эмблема быстроты. В данном случае какое-то начальственное распоряжение догоняло

Ивана Ивановича Иванаева, войскового агронома, проехавшего на заре через Бородинский поселок...

Опять частый топот копыт из облака пыли... И летучка скрылась за небольшим увалом.

IX

В ГОСТЯХ У ПОСЕЛКОВОГО АТАМАНА.— ПРЕНИЯ О ВЕРЕ.— ПОГРАНИЧНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ.— ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НОТА АТАМАНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Когда мы подъезжали к Кинделинскому поселку, летучий казак уже возвращался на взмыленной лошади обратно. Он остановился и сказал нам, что поселковый атаман просит нас завернуть к нему и что у него же мы застанем Ивана Ивановича.

Скромная квартира поселкового атамана, Андрея Яковлевича Камынкина, была полна народа. В поселке только что закончилось собеседование о вере, на которое приезжал известный поморский начетчик Надеждин, с четырьмя помощниками. Несмотря на рабочую пору,— собеседование привлекло много народа, и церковная сторона со своей стороны мобилизовала свои силы в лице двух миссионеров и шести священников. Собеседование шло на площади, в присутствии поселкового атамана. Прения были горячие и продолжались четыре дня. Я очень жалел, что приехал слишком поздно и не застал уже этих прений. Теперь в квартире атамана подводились итоги. Казачьи начетчики, в стеганых ватных халатах, были вооружены большими книгами, повешенными в сумках через плечо, как своего рода мечи духовные...

Атаман принадлежал к числу «церковных».

— Нет... Что уж тут,— говорил он, впрочем, совершенно благодушно.— Куда вам. Народ само собой — ученый... Как это он тебе, Семен Павлов, насчет благодати загнул... А?.. Здо-о́-рово...

— Нет,— шумели поморцы.— Ты это, Андрей Яковлевич, неправильно... Сами они не могли ответить: каким чином принимали еретиков по соборному правилу... Ты вот послушай.

Семен Павлов быстро достал из сумки большую книгу и развернул ее на коленях. Но атаман отмахнулся.

— Ну, вас... Давайте лучше выпьем... Его же и монахи приемлют. Будьте здоровы... Ну вот, Иван Иваныч, послушайте, чего у нас тут делается.

— Беда совсем,— наперебой заговорили казаки.— Не знаем, что уж это и будет...

— Стеснили нас иртецкие вовсе.

— До той степени стеснили: пашем, напримерно, у самого Иртека, а скотину поить ступай за десять верст в Кинделю...

— Иртецкие заступили нам берега. Пикеты расставили, точно от киргиз. Не пускают к водопоям, да и нá-поди.

— Тут у нас кажную осень, не то что бой или сказать драка: прямо убийство идет.

— Да,— вмешался атаман.— Прямо военное действие, наподобие, как отцы наши с ордой воевали. Поверите,— даже в плен уводят... Вам,— повернулся он ко мне,— невероятно это и слышать, а я вот вам расскажу пример: недавно казак моего поселка, Игнатий Мякушкин, печку клал. Вы его, Иван Иваныч, знаете... На пашне у него в степи хуторок есть маленький, так вздумал для надобности печурку скласть. Вот сидит себе мой Игнатий, умазывает трубу. Вдруг,— откуль ни возьмись, наехали иртецкие. Атаман, заметьте, с ними... Стащили раба божия с печки, давай таволгами жарить... Потом,— еще мало показалось: связали «свистóм»... Это у нас называется свистóм, если связать кисти рук, а потом локти назад, да под локти шест продеть. Мучительная самая вещь. И этого еще им мало: привязали к задку телеги, шест прикрутили покрепче,— айда по степе целиной, только коней нахлестывают.

— По киргизской моде,— подхватили казаки.— Орда арканом, тут свистóм. А сласть одна...

— Верно! Ну,— Игнат думает: — останусь ли жив? Привезли к атаману в дом, и тут, представьте, надевает ему атаман на голову детский колпак.

— В бесчестье, значит, Илецкому войску.

— Конечно. Как иначе? Потом наливает, варвар, чаю, пускает туда копченую воблу... Пей, сукин сын... Вот какое издевательство.

— Что же он, жаловался?..— спросил Иван Иванович...

— Само собой... Заявляется ко мне с докладом. Так и так, вот надо мною какие сделаны варварские поступки... Я сейчас, конечно, в войсковое правление — отзыв. Честь имею покорнейше донести, что по какой причине атаман Благодарновской станицы может хватать моих казаков...

— А ты, Андрей Яковлевич,— сказал один из слушателей,— ты объясни Ивану Ивановичу подлинной речью, как ты в бумаге прописал...

— Да, да! Объясни, Андрей Яковлевич,— подступили казаки,— и на суровых лицах начетчиков появились довольные улыбки. Видно было, что они доступны и светскому красноречию.

Атаман, видимо польщенный, скромно потупился и сказал:

— В отзыве со своей стороны я действительно выразил так. Всем, говорю, известно, что этак со свирепостью поступали турецкие башибузуки... Так ведь это в турецкой державе и притом до воспоследования войны 1878 года, после чего и воспрещено даже башибузукам. А у нас держава христианская. Но, ни на что не взирая, по примеру башибузуков поступает поселковый атаман Благодарновской станицы... то, надо полагать под влиянием обильного бахуса...

Упоминание о бахусе вызвало особый восторг слушателей. Суровые лица осветились улыбками одобрения и даже гордости.

— Так и подали? — спросил Иван Иванович.

— Так и подал,— ответил атаман.— Разве неправда? Ведь это, Иван Иванович, самая сущая правда...

— Ну, и что же?

— Да что! — Атаман махнул рукой и принялся опять наливать рюмки.— Вызвали меня в Уральск, намылили голову и...

— И посадили на гаутвахту? — закончил Иван Иванович

— Куда же больше? — скромно ответил красноречивый атаман [1].

---

[1] Теперь, кажется, отношения соседних казацких общин до известной степени урегулированы.

X

ПО РЕЧКЕ КИНДЕЛЕ.— КАЗАК ПОЛЯКОВ.— ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА И ВЕРБЛЮДЫ.— СПИРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СТЕПНОМ ХУТОРЕ.— В. А. ЩАПОВ.— НОЧЛЕГ В СТЕПИ

За Кинделинским поселком наш маршрут изменялся: с большой дороги (или «линии» по-местному) мы свернули к северу, к верховьям степных речек Киндели и Иртека. Ближайшей целью этой поездки был хутор отставного казачьего офицера В. А. Щапова, о котором я много слышал в Уральске.

Одному из казаков, участвовавших в прениях, было по пути с нами, и он уселся на передок нашей тележки, бережно уложив сумку с старопечатными книгами.

Я невольно обратил внимание на лицо старого казака, необыкновенно красивое с выразительными правильными чертами. Седые курчавые волосы, вьющаяся бородка, умный взгляд и тонкая складка губ — говорили как будто о старой культуре, покрытой затем несколькими поколениями казачества. Фамилия его была Поляков. Немудрено, что это был потомок какого-нибудь конфедерата, закинутого в далекую степь какой-нибудь политической бурей. В архивных списках, в Уральске, я встретил как-то казака с венецианской фамилией Маркобруно, превратившегося, конечно, в Маркобрунова... Очень вероятно, что когда-то предки Дмитрия Ефимовича Полякова так же ревностно защищали ченстоховскую божью матерь и громили схизму, как теперь их потомок громит троеперстное сложение и защищает древлее благочестие... Да, думал я невольно, как часто наши отношения к небу зависят от случайностей нашего земного существования.

Наша тележка катилась между тем чудесными зелеными берегами красавицы Киндели. Дорога то подходила к самой речке, то углублялась в долинки меж увалов... На одном из таких увалов стояла веха...

— Инженеры это прошли. Дорогу тут погонют...— сказал Поляков...

Я невольно оглянулся. В моем воображении неожиданно встал черный силуэт паровоза на гребне невысо-

кого сырта. Казалось — даже отголоски свистка несутся над пустою степью...

— У моего хутора вплоть пройдет,— добавил Поляков.

— Что же вы — недовольны? — спросил я

— Ничего,— спокойно ответил казак.— Нам она, пущай, не вредна... Вот только, бають, верблюдов давит много ..

Верблюдам действительно грозила опасность. Особенность этого степного обитателя — необыкновенная склонность валяться в пыли на дорогах. Казаки, обыкновенно, объезжают их, не дожидаясь, пока, кряхтя и сердясь, они сами подымутся сначала на задние, потом на передние ноги. Паровоз, конечно, менее внимателен к привычкам степного старожила. Да это и трудно. Поднятый свистками, он не сворачивает в сторону, а бежит прямо по шпалам, вытягивая длинные ноги. Стоит паровозу остановиться,— верблюд спокойно ложится опять, и кондукторам приходится сгонять его палками... Много их гибнет ежегодно жертвами своей неуступчивости прогрессу, и казаки часто выставляют это обстоятельство в качестве возражения против проведения железных дорог. «Жилой осетр» на реке не пустит парохода, нравы верблюдов противодействуют железной дороге...

Что паровоз когда-нибудь изменит всю физиономию степи, раздавит, как верблюда, старинный уклад жизни и, может быть, еще раз изменит отношение казачьих потомков к самому небу, это, по-видимому, Дмитрию Ефимовичу Полякову не приходило в эту минуту в голову...

Вешка исчезла. Опять степь, с волнующимися травами... На горизонте, как застывшие волны, лежали курганы — «мары»...

— В старое время на этих вот марах зажигали сторожевые огни...— задумчиво сказал Поляков.— Значит тревога... Я еще помню... Мальчишка был... В 1845 году орда промеж себя бунтовала, потом и на нашу сторону перекинулась, побила казаков... Так по этим марам от Урала пошли огни... Так всю степь огненными столбами перерезало... В старину, говорят, месяца не проходило... Ночью огонь, днем дым над степью... Тогда уж казаки кидают работу, да на коней... Значит, где-нибудь орда перелезла... А вот и моя хатка... Милости просим ко мне...

Приветливый хуторок беспечно лежал среди степи между бурным прошлым и неведомым будущим. Дмитрий Ефимович сошел с тележки, бережно захватив свое духовное оружие. Мы отказались от его радушного приглашения и двинулись дальше. До ночлега нам было еще далеко.

Закат застал нас в степи на незнакомых дорогах... Закат чудесный, полный задумчивого обаяния... Уже несколько вечеров солнце садится в дымную мглу, и круглые облака выглядывают из-за горизонта, как передовые отряды какой-то рати, готовой к походу. Знойное утреннее солнце разгоняет их, и днем небо опять висит над степью ясное, чистое, раскаленное, и степь млеет под ним со своими сыртами, ростошами и увалами... Но на этот раз, казалось, облачная рать собирается не на шутку. Солнце садилось в густые кровавые тучи, то тяжело утопая в них, то прорезаясь огненным сегментом сквозь свинцовые туманы. Чуялась какая-то молчаливая борьба... Степь теряла краски и бледнела, а тучи подымались все выше. В небе, среди багрово-огненных сполохов, причудливые очертания менялись, как в калейдоскопе. Казалось,— это бледная степь сонно грезит туманными призраками... Облака теснились, выползали друг из-за друга, молчаливо и упорно... Вот какая-то встревоженная толпа, море покорно склоненных голов, по которым скользят отблески пожара. Снизу, колеблясь и волнуясь, взвивается почти к зениту высокое темное облако... Точно сказочный богатырь, выдуманный засыпающей степью, подымается из туманов навстречу буре и ночи... Но скоро его очертания вздрагивают, колеблются, сплывают, и опять новые смятенные толпы, и новые гиганты... А на другой стороне подымается луна, огромная, бледная, как призрак...

Еще немного,— солнце окончательно исчезает. Тучи тяжелеют, мгновенный ветер проносится над степью, как бы торопясь за последними лучами, а бледная луна смотрит неподвижно и зловеще над бесформенным мглистым туманом... Над степью ложится вечер тревожный, полный молчаливых предчувствий грозы...

Вот и щаповская мельница. Прежде всего на гребне холма вырисовались влево от дороги восемь крестов... Это было семейное кладбище Щаповых... Здания терялись в темной массе деревьев, и из нее несся глухой шум

мельничных колес... На плотине толпились какие-то люди... Блеснул широкий пруд, и небольшой островок с красивой группой деревьев стоял на середине, опрокинутый отражением в темной глубине.

В этом уголке первобытная степь с ее неподвижными общинными порядками сделала попытку перехода к высшей культуре. На казачьих землях давно уже являются порой отдельные отрасли хозяйства, требующие продолжительного владения. Под Уральском и в Илецких станицах разведены, например, сады. Многоводные пруды и озера на Киндели находились во владении Щаповых. В. А. Щапов вместе с другим интеллигентным казаком — затеяли здесь целую систему нововведений. Кроме мельницы и обширного полевого хозяйства, они решили эксплуатировать прекрасные воды запруженной Киндели для развития рыбы... Над прудами вспыхнуло даже электричество...

Попытка, поставленная непрактично, не удалась. На наши вопросы о хозяине,— мельник ответил нам, что мельница уже продана другому владельцу. В прошлом году случился пожар. Дело было ночью, и вместе с одной мельницей сгорело несколько рабочих. Здание не было застраховано. Владельцам пришлось продать свои права на этот чудесный уголок... Электрический свет над прудами погас.

— А где же живет Василий Андреевич? — спросил мой спутник.

— Келийка тут у него покамест, в амбарушке у нас... Сам все больше в степи. Купил жнейку с молотилкой,— казачьи хлеба жнет да молотит.

— Ну, а дела у него как?.. Ничего?..

— Дела-то?.. Оно бы ничего... Урожай ныне из годов... Да вы его знаете?.. Ну, знаете, так вам и говорить нечего... В долг много работает... Конечно, благодарят казаки...— прибавил он тоном, в котором слышалось явное пренебрежение к такой дешевой вещи, как людская благодарность...— Теперь, ежели вы к нему,— надо вам вернуться в Герасимовку,— там поспрошаете. В степи где-нибудь ночует...

Мы двинулись обратно... Сзади нас провожал глухой шум мельницы, и кресты семейного кладбища точно глядели нам вслед печальным, загадочным взглядом...

Может быть, причиной был тревожный закат и напряженная нервность природы, только это место на Кинделе в этот сумеречный час произвело на меня впечатление необыкновенной грусти, которая еще усиливалась от воспоминаний об электрическом свете и больших надеждах...

Когда-то (в семидесятых годах) этот уголок на Кинделе приобрел широкую известность, как арена так называемых «загадочных явлений». На хуторе В. А. Щапова раздавались необъяснимые стуки, летали различные предметы, появлялись таинственные огни,— одним словом — происходило все то, что и теперь время от времени повторяется в некоторых «одержимых» уголках нашей матушки России. Но тогда у нас это было еще внове. Первые известия о действиях этой модной чертовщины в казачьих степях появились в войсковых областных ведомостях. Перепечатанные затем столичными газетами, они вызвали интерес к далекой степной мельнице, и на хутор была командирована местным начальством особая комиссия. Сначала члены комиссии принялись за дело очень серьезно, намереваясь производить исследование «почвенного электричества» и т. д. Местное высшее начальство, находившее, что хозяйничанье «неведомой силы» во вверенной ему казачьей области составляет уже нарушение порядка,— требовало скорого выяснения дела и обуздания загадочной силы. Комиссия нашла, «что ни одно из этих явлений не стоит выше того прозаического объяснения, что все сие есть дело рук человеческих. В распоряжении комиссии есть много тому доказательств». Наконец — сообщение в войсковых ведомостях заканчивалось уверением, «что дальнейшее повторение загадочных явлений едва ли возможно и потому еще, что в предупреждение их администрацией приняты дальнейшие меры»...

Проехав по улицам засыпающей Герасимовки, мы остановились у казачьего двора, где, как нам сказали, иногда ночует Щапов. На этот раз его не было, но, узнав, что мы ищем Василия Андреевича, казаки с каким-то особенным радушием взялись указать нам дорогу. Молодой парень вскочил на неоседланную лошадь и поехал впереди. В какой-то лощине он разыскал пастуха-киргиза, перепряг нашу усталую лошадь и повел нас без дороги жнивьями...

Через полчаса, поднявшись на возвышенный сырт, мы увидели в голой степи тихо переливающийся бледный огонек, освещавший огромные ометы соломы, и через несколько минут нас радостно приветствовал хозяин.

Это был небольшой человек, с сильной проседью, но необыкновенно подвижный и бодрый. Он недавно кончил работу и завтра на заре хотел сняться с места, чтобы перекочевать на другой участок в глубь степи...

Скоро вспыхнул новый костер из сухого степного бурьяна, освещая своеобразный рабочий лагерь,— небольшой шалаш из соломы и фигуру киргиза Нурейки, возившегося около телег и лошадей. Хозяин засыпал нас вопросами о новостях из столиц, о политике, о китайской войне, о литературе. Ко всему этому он относился с живым интересом интеллигентного человека, заброшенного в далекую степь, получающего письма и газеты из Илека, «при счастливой оказии».

Полночь застала нас еще за разговорами на мягкой соломе, на краю омета. Тучи еще раз разошлись, не осуществив своих угроз, луна спокойно взбиралась на высоту, освещая оживающие степные дали. Легкий ветер шептал что-то соломе и порой гнал по степи сухие круглые шары перекати-поля. Невдалеке лошади жевали овес, и Нурейка беспечно храпел на обмолоченной соломе...

— Ну, что? — спрашивал меня Василий Андреевич,— что вы скажете о нашей стороне? Каков наш Янк Горыныч?

И, не дождавшись ответа, он живо вскочил на ноги.

— Ах, батюшка! Что это за сторона! Что за народ наши казаки! Есть у Иоасафа Игнатьевича Железнова такое сравнение. Когда веют хлеб, то шелуху там, мелкое зерно и прочую дрянь ветер уносит к черту. На месте остается только отборное зерно, «головка»,— тяжелое, веское, крепкое... Мы, казаки,— «головка» русского народа... Какие только ветры ни налетали на нас в этой степи... Окраина, рубеж... Еще недавно тут лилась кровь, на пашню выезжали вооруженные... Ну, и происходил, понимаете, этот дарвиновский естественный подбор... Все слабое гибло... Оставались одни богатыри... Москва нас знала... Мы колебали в Питере престол царицы Екатерины...

— Все это так,— ответил я на эту горячую речь...— Да подбор-то этот происходил при условиях, которые уже исчезли... Что-то скажут новые времена...

— Выдержим,— сказал он с убеждением...— Наш народ — что ковыль в степи. Иной раз, в засушливое лето, вся трава посохнет, а он зеленый... Отчего? Корень глубоко пускает. Раз, знаете, встретилась нам в степи провалина, вроде пещеры. Спустились мы туда. Над головой пласт земли толще сажени. Вдруг — один казак говорит: смотрите, товарищи, а ведь это ковыловый корень наскрозь прошел... Вот и мы,—как наш родной ковыль. Не выведемся ни от какой засухи...

В этой странной речи звучала глубокая любовь к родному краю. Так нельзя любить ту или другую «губернию», административно-территориальную единицу, лишь условной чертой отделенную от другой такой же губернии. Казачий край имеет свою собственную яркую историю, свои особые нравы, свои типы, свои песни, свой уклад жизни. «Где кровь лилась,— поется в одной уральской песне,— там вязель сплелась. Где слезы пали, там озера стали». Казак еще вживе помнит, где казачья кровь поила сухую землю и где падали на нее слезы казачьих матерей, сестер и жен. И он страстно любит свою степь с этими красными пятнами вязели, с тихими извилистыми речками, ериками, озерами, всю наполненную еще не переболевшими воспоминаниями о кровавой борьбе на два фронта: киргиз и Азия с одной стороны, с другой — нивелирующий Петербург с ненавистным фрунтовым строем... И то обстоятельство, что это прошлое понемногу исчезает, как отголоски песни в сумеречной степной дали,— делает казаков романтиками. В массе — это романтизм бессознательный, непосредственный. У интеллигенции — романтизм сознательный... И тот, и другой до известной степени «крамольный»...

Через час кругом меня все спало. Казаков родная степь убаюкала скоро и крепко, только мне, чужаку, все еще не спалось. Я смотрел на звезды, на волнистые очертания нив, слушал тысячеголосый шепот и шелест сухого жнивья на степной возвышенности, вдыхал пряный аромат хлебов и по временам взглядывал на освещенное луною беспечное лицо Андрея Васильевича. Кто знает,—думалось невольно, не это ли истинный философ,

разрешивший мучительный вопрос о счастье: диогеновское презрение к земным благам, простая и неоспоримо полезная людям работа, душевное равновесие среди родной степи, в которой знаешь и любишь каждую былинку, и доброжелательство окружающих людей... Что нужно еще?..

Так думалось мне... Впрочем, только в эту тихую ночь, после тревожного вечера... Ее дыхание неслось среди безбрежного простора, обвеянного ароматом трав и хлебов и ласковым веянием ночного ветра...

XI

ИЛЕЦКОЮ СТЕПЬЮ.— РЕФОРМА В ИЛЕЦКОЙ ОБЩИНЕ.— ПОКОС «УДАРОМ».— КАЗАКИ-ТАТАРЕ

На следующее утро я проснулся часов в пять... Солнце грело прямо в лицо... Наш табор уже почти снялся с места: имущество кочевых жнецов было уложено на возы, и Нурей с другим рабочим кончали укладку. Андрей Васильевич ждал с чаем.

Я оглянулся кругом, и первое, что меня поразило в это утро — были сплошные хлеба, частью уже сжатые, частью еще колыхавшиеся от одного горизонта до другого...

— Василий Андреевич,— сказал я невольно.— Где же ваши ковыли? Ведь тут сплошь распахано...

Василий Андреевич слегка нахмурился.

— Да, исчезают ковыли,— сказал он со вздохом...— Исчезают... Нет! — заговорил он горячо.— Когда я был станичным атаманом,—я оберегал ковыловую степь... Раз, помню, приходят ко мне старики с жалобой: «Погляди-ка, Василий Андреевич,— плугатари ковылову степь дерут».— Я сейчас полевых казаков на-конь. Айда в степь. Прискакали...—верно! пластают, подлецы, валят ковыль... Велел команде спешиться... Руби у подлецов гужи! Пусть жалуются богатеи... Пострадаем за старую веру... Ну, удалось задержать на время... Теперь точно прорвалось: хлынули эти новости: степь распахана почти сплошь, общие луга делят... А все Ивана Ивановича затеи. Отличный человек, приятель... А за это я не хвалю...

Он грустно махнул рукой...

Иван Иванович Иванаев, о котором я говорил выше,— тоже один из «студентов». Он окончил Петровскую академию и по каким-то студенческим делам был выслан на родину, «под надзор» в родное Илецкое войско. Сначала казаки косились на «политика», но вскоре он вошел во все дела родной общины, завел некоторые усовершенствования в обработке земли, а затем в 1888 году убедил все Илецкое войско перейти от захватного пользования землями к переделам лугов и упорядочению пользования пашнями... Прежняя система вела стихийно к торжеству богатеев и обеднению казачьей массы. Степи все равно распахивались, но делалось это преимущественно зажиточными казаками. Они драли вольную степь усовершенствованными плугами, а беднота оставалась позади...

Луга и ковыль Илецкое войско косило «ударом», как это делается и теперь в Уральской степи. В известный день, из Уральска по низовым и верховым станицам скачут гонцы с «прочетными указами». Наказной атаман назначает день общего покоса. Все выезжают в луга еще накануне и располагаются станами. Каждый высматривает себе участок... Понятно, что на лучшие участки является много претендентов... При этом каждый казак имеет право выставить еще двух рабочих...

Мне очень хотелось посмотреть этот знаменитый общий покос, и я видел его под Уральском. К сожалению, в тот год ковылы поспели одновременно с травой на поймах мелких речек. Казаки говорят в таких случаях, что «обволичный» покос совпал с луговым. Войско в большинстве отправилось на Бухарскую сторону (за Урал), и так называемый «обволичный покос» потерял на местах обычную напряженность. Косцов вышло сравнительно немного... И однако то, что я увидел, далеко не вызвало представления о братстве и общинных чувствах. Наоборот: это была «конкуренция» в самых осязательных и неприкрытых ее формах.

Еще задолго до рассвета, в туманное и росистое утро, я пошел по лугу над Чаганом, на котором в разных местах мелькали огоньки «станов». Подойдя к речной ложбинке, я услыхал осторожный визг косы: около стана в темноте, стараясь не шуметь и не лязгать, несколько темных фигур уже принялись «украдучись» за

покос, не дожидаясь сигнала. Подвигаясь далее, я увидел то же и в других местах, а взошедшее солнце застало уже целые ряды накошенной до срока, т. е. в сущности украденной у общины травы. Никто не дождался сигнала, и кража была, так сказать, тоже общая, т. е. взаимная...

В другие годы картина бывает еще напряженнее. Несмотря на более или менее частые караулы,— редкий покос начинается в свое время. Первый же подозрительный звук сразу подымает все станы. Каждый кидается к лучшей траве, стараясь перекосить другому дорогу. Иной раз два соперника долго, до изнеможения идут рядом, пока один не выйдет вперед настолько, чтобы перерезать дорогу другому.— «Братцы! Обкосил!» — то и дело слышится над лугами отчаянный крик... Семейные и работники со всех ног кидаются на помощь, и кто-нибудь сменяет отставшего, стараясь в свою очередь перегнать и перерезать дорогу врагу. Случаются кровавые столкновения. Говорят, соперники подкашивают друг другу ноги. Задача состоит в том, чтобы «закосить» как можно больший круг в определенное время. Когда таким образом лучшие покосы «закошены», то внутри захваченных кругов косят уже спокойнее. А еще через некоторое время на свободные луга богачи пускают наемных рабочих и даже косилки...

Все это, разумеется, гораздо выгоднее богачам, чем бедноте. Так пользуются и пашнями. Илецкая община со своим старым землепашеством раньше сознала неудобства этого порядка и его несправедливость. Шли раздоры и ропот, пока «студент» не убедил перейти от захватного пользования к переделам, т. е. в сущности ввел в степь русские общинные порядки. Таким образом, в то время, когда остальные 27 уральских общин «подкашивают друг другу ноги» и держатся фикции «вольных земель»,— две Илецкие общины переделили луга... Покосы «ударом» здесь исчезли, но теперь казак, идущий на службу, знает, что его семья продолжает фактически пользоваться землей, хотя бы сдавая ее в аренду...

И вместе с тем дикий ковыль уступает место хлебам...

Утром, напившись чаю в келейке Василия Андреевича на мельнице, мы попрощались с радушным хозяином.

Перед расставанием он отвел меня в сторону и, ласково поглядев мне в глаза своими живыми глазами, сказал:

— Послушайте... Вы мне очень понравились. Кто знает, увидимся ли еще... И мне не хочется расстаться с вами, не сказав одной очень важной вещи...

Он взял меня за руки и, опять пристально глядя в глаза, сказал:

— Познакомьтесь со спиритизмом... Мы ходим около величайшей тайны, имеем возможность заглянуть в нее... Можем завязать сношения с загробным миром и — не хотим обратить на это внимания... Вы слышали уже в Уральске о спиритических явлениях на этом вот хуторе?

— Слышал, Василий Андреевич,— ответил я.

— Об этом, конечно, вам говорили с насмешкой... Но... постойте, не торопитесь с заключениями. Я вам пришлю свою статью в «Ребусе», и дайте мне слово, что вы познакомитесь с нею...

Я охотно дал слово... В Уральске мне рассказывали — и рассказывали действительно с усмешкой,— что все таинственные явления происходили только в присутствии молодой хозяйки и ее прислуги... Официальная комиссия пришла к заключению, что все это — дело рук человеческих... Заключение комиссии было напечатано в уральских областных ведомостях, после чего успокоились и духи, и областное начальство...

— Так прочтете? — многозначительно спросил Василий Андреевич, когда мы уселись в тележку.

Я обещал. Через некоторое время, вернувшись к себе, я получил эту книжку В. А. Щапова, изданную журналом «Ребус», и прочел ее с большим интересом. Это было настоящее свидетельство «очевидца», написанное с большой искренностью и прямо подкупающей правдивостью. В качестве самого поразительного доказательства, автор привел между прочим следующий эпизод. Однажды он и сам заподозрил, «не жена ли сама, притворяясь спящею, барабанит по полу в ее спальне»... Поэтому он незаметно подкрадывался к дверям; но каждый раз, лишь только он заглядывал в спальню, звуки приостанавливались... Но вот, он как-то вдруг ворвался в спальню, лишь только начались стуки, и... «оледенел от ужаса: маленькая, почти детская розовая ручка, быстро отско-

чив от пола, юркнула под покрывало спящей жены и зарылась в складках около ее плеча, так что ясно было видно, как неестественно быстро шевелились самые складки покрывала, начиная от нижнего его конца и до плеча жены (sic), куда ручка и спряталась»...

Мне вспомнился сумрачный вечер над Кинделинскими прудами, глухой шум воды, кругом голая степь с могильниками, тоска степного одиночества, закинутая сюда молодая жизнь, мечтающая даже об Илеке, как о столице... И я подумал невольно, что трудно осуждать бедных духов за их проделки...

Из Кинделинского хутора мы направились наперерез распаханными степями по направлению к Уралу и Илеку. Через несколько часов мы въехали в широкие улицы Мухрановского поселка. Вид у этого поселка был обычный, как у всех казачьих поселков, но белая мечеть на площади показывала, что он населен татарами. На улицах всюду попадались татарские фигуры — народ здоровый, рослый, с очевидной казачьей выправкой.

К сожалению, мне не пришлось ближе встретиться с этими казаками-мусульманами, но в отзывах соседей слышно было какое-то особенное дружелюбие: народ честный, трезвый и надежный. К киргизам казачье население по старой памяти относится с невольной подозрительностью. Слышно много рассказов о заезжих муллах и ходжах, к речам которых будто бы охотно прислушиваются киргизы О татарах отзывы были единодушны:

— Такие же казаки, как и мы. Веру свою держат крепко, а в случае военного действия, хоть тут сам султан приходи, все на конь сядут, все в бой пойдут.

— Товарищи нам настоящие. Вместе кровь проливали...

— И то сказать... Веру ихнюю мы никогда не тревожили, права у них исстари казачьи... Те же, одним словом, казаки... За ту же землю стоят...

За Мухрановским поселком дорога отлогими скатами все более сползала с сырта, впереди все ближе зеленели леса Урала... Далеко, влево, в восточной стороне на синевших увалах мелькали беленькие здания какой-то отдаленной станицы...

— Это уже Рассыпная,— сказал мне Макар Егорович, указывая на эти белые пятнышки.— Конец Уральской области,— начало Оренбургского войска...

Дорога побежала лугами, между обильной лесной зарослью, и еще до заката солнца колеса нашей тележки застучали по настилке широкого моста через Урал. Огромные бугры наносного песку закрывали старую Илецкую станицу, выглядывавшую из-за них только темными верхушками крыш.

Теперь мы были уже на левой, степной или бухарской стороне Урала...

XII

НАЧАЛО ИЛЕКА.— БОРЬБА ДВУХ КАЗАЧЬИХ ОБЩИН.— ОБЩИННЫЙ «ЭГОИЗМ» И ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ И. И. ЖЕЛЕЗНОВА

Основа казачьего земельного права — сторожевая служба государству. Яицкое войско, первое несшее службу на Урале, естественно, считало себя владельцем реки «от истоков до устья», на что по казачьим преданиям получало царские грамоты...

Оказалось однако, что закрыть «линию» даже после основания Оренбургского войска Илецкое войско не в силах. Киргизы прорывались за Урал, набегали даже на Волгу и в заволжские страны, угоняя скот и пленных, которых продавали хивинцам и бухарцам. Ввиду этого в 1736 году правительство стало вызывать новых охотников-поселенцев «для обеспечения свободного движения к Оренбургу караванов и обозов и для содержания башкирской и киргизской сторон в надлежащем подданстве».

На этот вызов первые откликнулись два казака «черкасской породы Изюмский и Черкасов с товарищи». По-видимому, это были украинцы, вышедшие на Илек с какой-нибудь партией своих земляков, быть может, в значительном количестве. До сих пор еще в говоре илецких казаков сохранились некоторые смягчения на украинский лад: так, илечане говорят до сих пор: писок, бида̀, видро, тогда как остальные уральцы произносят их: бяда, пясок и т. д. Сохранились также, хотя и измененные, но явно малороссийские фамилии.

Изюмский и Черкасов построили городок против впадения Илека в Яик в местности, называемой и ныне «кустами». Остатки этого старого городища среди зарослей в лугах видны и до настоящего времени... Место оказалось выбранным неудачно. Во-первых, оно затоплялось разливами реки, а во-вторых, кусты и заросли давали «легкую способность киргизцам и прочим азиятским народам» к переходу за линию и нападениям на городок. Очень вероятно, что старое городище было когда-то свидетелем безвестной степной трагедии. По крайней мере, уже через год в официальных документах самые имена первого атамана Изюмского и есаула Черкасова исчезают, а в качестве нового атамана мы встречаем тоже загадочного выходца с венецианской фамилией Маркобрунова. Можно думать, что он из своей Венеции перебрался сначала в Черногорию и Сербию и уже потом проник к запорожцам, которые поддерживали сношения с славянскими странами. Вместе с этим самая станица переносится из предательских кустов на левую, бухарскую сторону Урала. Очевидно, илецкие поселенцы (после вероятной катастрофы) предпочли стать лицом к лицу с враждебною степью... Прижавшись тыльной стороной к обрывистому берегу Яика, они оградились с юга «перекопом» между Яиком и Уралом, выдвинули вперед дозорные вышки, маяки и пикеты, и люди черкасской породы стали кидать в Яик свои сети и нести сторожевую службу, как прежде в степях тоже порубежной Украйны... Там они воевали с крымской ордой, здесь с ордой киргизской...

Так возникла на среднем течении Урала рядом со старым войском новая казачья община, а с нею вместе и новое общинное право. На обязанности илечан лежала охрана линии от земель Рассыпной крепости до устьев р. Иртека (на расстоянии 70 верст). Здесь илецкие казаки чинили разъезды, содержали пикеты, провожали караваны и казенные пересылки и поэтому, естественно, считали своей всю охраняемую полосу, с рекой, степью, озерами и лесами, в чем их обнадеживали и указы. Но и старое войско не хотело отказаться от своих притязаний на эти угодья. Оно не приняло илечан в свою общину, не дало им участия в своих ловлях, и никогда илецкая будара не смела появиться в заветных водах ни-

же учуга. Но сами яицкие казаки продолжали въезжать в илецкие земли, рубить леса и тянуть рыбу. Вдобавок в 1746 году илецкие станицы подчинены ведению и команде яицкой войсковой канцелярии, которая, разумеется, тянула руку старого войска, а Илек стал настоящим пасынком Урала.

В войсковом архиве мне попалась очень выразительная слезница илецких казаков, жаловавшихся на эти притеснения. «Указами войсковой канцелярии и войску,— писали они,— велено всех казаков вравне удовольствовать как рыбными ловлями, так и прочими припасами, а они (яицкие казаки) не только припасами не довольствуют, но и к рыбным ловлям в равенство свое не допущают. Також пороху и свинцу илецкой станице ниоткуда не определяют, отчего им, илецким казакам, и при воинском случае быть невозможно».

Слезница рисует целую систему злоупотреблений и притеснений яицких атаманов. За взятки они освобождали более зажиточных казаков от тягла, отпуская из крепости, сами завели себе «ординарных», которых тоже отпускали за взятки, отчего тягло ложилось на одну бедноту. «Когда же кто станет об этих обидах говорить, то, не давая суда, бьют мучительно, через которые их страхи уже и домов своих в печалех стали быть лишены» [1].

Вообще старшая община всячески теснила младшую. Так в 1717 году атаман Тамбовцев прислал ордер, коим «приказал илецким казакам отнюдь без яицких казаков ловли (в своих же водах) не производить». Это посягательство Яика, конечно, вызвало неудовольствие. Было это уже незадолго до пугачевщины. На Яик был прислан генерал Чебышев, человек довольно справедливый. Он пытался остановить злоупотребления старшинской стороны, в том числе и по отношению к илецким казакам. Но его сменил Траубенберг, а потом пошли беспорядки и восстания. Илек встретил «Петра Федоровича» с почетом...

После усмирения пугачевщины яицкие казаки продолжали въезжать в илецкие земли, рубить леса, тянуть рыбу в «черных» илецких водах, а в 1776 году войско-

---

[1] Войсковой архив, по оп. I, в. 22, указы и предложения, стр. 135—158.

вая канцелярия шлет новый ордер, которым вовсе запрещает илецким казакам рыбную ловлю ниже илецкой станицы...

Так как илечане все-таки рыбу в своих водах ловили, то надо думать, что право это они отстаивали вооруженной рукой. Вот еще, должно быть, когда начались те «соседские» отношения, отголоски которых мы встретили в пограничном поселке в виде пограничных набегов с одной стороны и в виде красноречивой реплики поселкового атамана — с другой. Стиль атамана Калмынкина имел, очевидно, глубокие исторические корни, в виде многочисленных челобитий, в коих илецкие казаки заявляли, что от таковых притеснений и от нестерпимого глада «в печалех своих и домов стали быть лишены»... что иные казаки отдают уже и детей своих в кабалу яицким казакам, и многие, дабы избежать непосильной службы, уходят самовольно в бега [1].

Бедствия Илека усиливались еще тем обстоятельством, что Илецкое войско было подчинено уральской войсковой канцелярии, и Илек не раз просил слезно, чтобы его перечислили к Оренбургу...

К началу XIX столетия положение осложнилось введением крепостного права. Приложение крепостного труда на вольных казачьих землях было противно самым основам казачьей общины, и более сильное яицкое войско не допустило бы его у себя. Поэтому крепостные поселки Мартемьяна и Давыда Бородиных засели, как лишаи, преимущественно на беззащитных окраинах илецких земель. Все это завершилось образованием большой крепостной деревни, которую Давыд по завещанию перевел в казаки, причислив к Уральскому войску,— вместе с землей.

На почве этой исторической розни еще раз собралась было в Уральском войске «туча каменная», и чуть было не возникли уж в 60-х годах крупные беспорядки [2].

---

[1] Там же.

[2] «Туча каменная» — заглавне одного из рассказов И. И. Железнова. После посещения в 1837 году Уральска тогдашним наследником,— казаки Филичев, Павлов и другие сделали, как говорят казаки, «подачу», т. е. подали наследнику просьбу-жалобу в которой ходатайствовали о восстановлении некоторых старых вольностей. За это постигло казачье войско жестокое наказание.

На этот раз войско противилось не фрунтовой службе, не очереди и ранжиру, а старшая казачья община пыталась отстоять свои привилегии против младшей. В этой истории принимал между прочим участие казачий бытописатель и патриот Иоасаф Игнатьевич Железнов. Фигура этого уральского писателя чрезвычайно колоритная... Это был патриот, романтик, страстно преданный казачьей родине, любивший до самозабвения ее боевое прошлое, ее предания, обычаи, песни, все особенности ее устоявшегося быта... На посмертном издании его сочинений, в качестве эпиграфа, стоят следующие слова:

«Я, если разбирать меня с общей точки зрения,— *гуманист*, но коснись дело интересов казаков, я — *эгоист*. Я и днем и ночью, и наяву и во сне желаю, чтобы казак имел не только необходимое, но и лишнее. Киргиз же для меня — создание совершенно постороннее».

И не только киргиз. В споре двух казачьих общин Железнов был патриот *своей* общины, отстаивавший со всей исключительностью ее интересы. Ради них он был способен на высокое самоотвержение и на величайшую несправедливость. В споре с илецким соседом его не смягчает ни единство происхождения и веры, ни братство по оружию, и когда этот больной вопрос обострился, то уральский писатель, исследователь и историк проявил всю исключительность и страстность любого заурядного общинника.

Случилось это в атаманство генерала Дандевиля. Киргизы и илецкие казаки вспоминают об этом атамане с благодарностью, уральцы с неприязненным чувством. У него были свои недостатки, но, по-видимому, он понимал, что времена борьбы для Урала прошли, что теперь на обеих сторонах Яика Горыныча живут люди, которым предстоит стать равноправными подданными одного государства... Было это в шестидесятые годы, и либеральный губернатор старался найти беспристрастные нормы для разграничения киргизских земель и для разрешения старого илецкого вопроса.

Это настроение начальства заставило уральцев чутко насторожиться. Перед Дандевилем стояла сложная задача; в вопросе киргизском Уральское и Илецкое войско были солидарны. В илецком интересы их стояли друг против друга... Войсковая интеллигенция,—офицерство и

бюрократия войскового управления,— были против атамана, и Дандевиль задумал разрешить вопрос чисто бюрократическим путем — посредством секретных комиссий...

Одна из таких комиссий выработала проект разграничения киргизской степи. Слухи о нем быстро проникли в казачью среду и вызвали в войске настоящее волнение. Почетные «старожилые казаки» потянулись из своих станиц к Уральску, для советов с чиновничеством. Вскоре умный и пламенно преданный интересам казачества Железнов, в то время служивший тоже в войсковом правлении,— стал центром этой оппозиции. Он употреблял все меры, чтобы не допустить в «сурьезном войске» какой-нибудь преждевременной вспышки, так как хорошо знал историю; но сам решительно и стойко вел борьбу против Дандевиля и его проектов. «Убеждение,— писал он в это время,— что бухарская сторона есть неотъемлемая казачья собственность,— вошло в плоть и кровь казака... Учуг, наемка и бухарская сторона — это такие три нежные струнки, дотрагиваться до которых весьма неблагоразумно».

Для Железнова это решало дело, и он не хотел считаться с тем, что у киргизов и у илечан тоже столетиями впитывались в плоть и кровь свои убеждения и что государству приходится как-нибудь мирить эти противоречивые интересы. Он весь ушел в борьбу, замечая, как атмосфера кругом насыщается электричеством. Среди казаков усиливалось брожение... Начальство принимало свои меры... Под каким-то предлогом у казаков были отобраны пушки и переданы в регулярный батальон...

Ходили слухи, что к Уральску вызваны отряды из Ново-Петровского укрепления...

В это время разыгрался характерный эпизод. Получив разрешение из Петербурга, Дандевиль сделал решительный шаг к разрешению илецкого вопроса. Он внезапно выехал из Уральска с топографами в те самые места — Бородинский, Иртецкий и Благодарновский поселки, где меня так недружелюбно встретили старые казаки Баннов и Донсков и где во время моей поездки кипели «пограничные столкновения». Вызвав депутатов от смежных уральских и илецких станиц, он провел временную границу, замежевав к илецкой стороне часть спорных лугов...

Это вызвало большое волнение в наиболее заинтересованных пограничных поселках (Бородинском, Иртецком и Благодарновском) и оттуда тотчас же была снаряжена депутация из самых почетных и заслуженных казаков... Она прежде всего явилась в войсковое правление, душой которого в то время был Железнов, успевший сплотить против атаманских проектов казачью бюрократию. Он внес в эту борьбу, наряду с исключительностью своего местного патриотизма — много таланта, одушевления, самоотвержения, тогда как на другой стороне была бюрократическая рутина и старые привычки произвола. По старой памяти на законный, хотя, быть может, неправильный по существу протест депутатов — Дандевиль посмотрел, как на бунт. Не в меру ретивый прислужник полицеймейстер распорядился арестовать депутатов. А на следующий день почтенных, уважаемых и заслуженных старых казаков выгнали на улицу чистить кочки... И при том,— чтобы больше подчеркнуть унижение,— чистить улицу им пришлось перед атаманским домом.

Это оскорбление, разумеется, всколыхнуло все войско и придало дальнейшей борьбе Железнова с Дандевилем характер защиты против произвола и беззакония...

Я не стану описывать подробно этой характерной борьбы (которая изложена в биографии И. И. Железнова). В ней пострадали обе стороны, и ничего не выиграло существо дела. Дандевиль получил из Петербурга замечание. Железнов испортил свою карьеру, а впоследствии, по каким-то придиркам был даже отдан под следствие, что уже не делало чести его противникам. Биографы уральского писателя говорят, что все это сильно расшатало его здоровье и, может быть, сократило даже его жизнь...

А воз с илецким вопросом остался на месте... На берегах Иртека и Киндели кипела та же борьба, стояли у водопоев пикеты, происходили наезды, побоища, скручивание рук свистóм и захваты в плен противников воинственными атаманами враждебных общин [1]...

---

[1] Уже в самые последние годы мне писали знакомые, что вековая тяжба наконец разрешена в пользу Илецкой общины.

В пугачевском движении Илек сыграл огромную роль. Сначала первые пугачевцы, посылая эмиссаров по верховым станицам до Оренбурга, сильно сомневались, какое положение займет Илек. «Мы с ними не в согласии»,— говорили они Пугачеву и боялись, что царь, которого выводили в люди яицкие казаки, в Илеке встретит упорное сопротивление. Если бы это случилось, то, быть может, самое движение не приняло бы таких размеров.

В первое время пугачевцы действительно пробирались мимо Илека не линией, а степями, и в войсковом архиве сохранились донесения пастухов Мартемьяна Бородина о том, что пугачевцы захватывают на хуторах его лошадей, обскакивая Илецкую станицу. Но затем Пугачев, надеясь на свою удачу, подошел к самому Илеку... Несчастный Портнов попытался оказать сопротивление, но ворота были открыты, и «царь» въехал в крепость под колокольный звон и радостные крики... На мосту старые служивые казаки узнавали Петра Федоровича, которого видели якобы на смотрах в Петербурге. Портнов был повешен...

Мне захотелось посмотреть остатки старинной крепости, прежнего моста, по которому с развевающимися знаменами входили пугачевцы, и место гибели Портнова... Мне указали Ивана Яковлевича Солдатова, глубокого старика, бывшего станичного атамана. Говорили, что он интересуется стариной и читает. Значит, темные предания старины сводит с писаными историческими источниками.

Мы и отправились к старику с Макаром Егоровичем Верушкиным.

Он сидел во дворе своего дома над самой кручей высокого уральского берега. Мы сели на скамейке рядом. Под ногами у нас река катила свои волны, виднелись ее пески, отмели, луга...

На мой вопрос Иван Яковлевич улыбнулся.

— Вот это,— сказал он,— почти вся старая крепость. Только этот уголок и остался... Остальное поглотил Яик Горыныч... Вон там, на самой середине реки, был дом, где я родился. Ваш дом, Макар Егорович, тоже, кажется, в реке?..

— Да,— ответил Макар Егорович...— Наш был по-

дальше... Тут вот были Маньковы, потом Смировы... Наш, пожалуй, придется вот на ту отмель...

— Верно... Еще дальше стояла церковь. Это уже, пожалуй, придется на том берегу...

И они принялись восстановлять по воспоминаниям исчезнувший город. Река по какому-то капризу степных ветров резко повернула свое течение, срыла высокие кручи, свалила дома, огороды, улицы и старые крепостные валы. Потом она остановилась и стала отступать обратно. У величавых круч с уцелевшей частью городка она оставила отмели песков и ила... На этих отмелях успела вырасти роща осокорей... И теперь, глядя с высоты на эту кудрявую рощу, мимо которой весело скакали к водопою казачата, на синюю ленту реки, на заречные луга и далекий степной горизонт с заходившим солнцем,— трудно было представить, что еще так недавно здесь стояли дома, церковь, сады, огороды... Все это лишь с трудом вставало в воображении, подымаясь над рекой призрачными очертаниями ушедшей куда-то жизни...

Набежала минута молчания... Мои собеседники думали, вероятно, о местах, где прошло их детство и юность и над которыми теперь катились волны реки. Я думал о нашей «степной» истории...

В других местах она строилась из железа и камня, закрепляя камнем и железом каждый свой шаг, политый потом и кровью поколений... А степную историю и наносил и разносил буйный ветер, намывали и срывали степные реки, как смыл и разнес молчаливый Яик эту крепостцу, свидетельницу стольких драм... Степь всосала потоки крови, на ней поросли буйные травы, ветер налетел и опять разнес песчаные бурханы... Также пронеслось вихрем знаменательное степное движение. Прошумело и затихло. Кто помнит теперь участвовавших в нем лиц, с их характерами, стремлениями, надеждами... Песен сохранилось удивительно мало. Преданий не слышно. Казенные источники рисуют всю эту толпу на одно лицо: туманное скопище призраков, отмеченных общей характеристикой бунтовщиков и злодеев... Степное марево, как облака в знойный день, как переносные пески, наметаемые изменчивыми ветрами

Современный Илек уже очень мало напоминает бывший боевой аванпост Урала. Теперь это большая станица, пожалуй, местечко, с пятью с половиной тысячами жителей, из которых около двух пятых не казаки, а иногородние. Это тоже своего рода течение, подмывающее устои казачьей жизни, которому в недалеком будущем предстоит произвести в ней свои обрывы... Когда-нибудь эти новые слои населения потребуют, конечно, и своего представительства. Жители Илека занимаются хлебопашеством и торговлей с киргизской степью, и, кажется, здесь более, чем в других местах, заметен начинающийся процесс «расказачения» — перехода к мещанству. В тот вечер, когда мы были в Илеке, шло чтение с туманными картинами. Публики было много, и среди нее попадались киргизы, заезжающие из степи. Жизнь, хотя и сонная, делает свое дело, сглаживая старые грани...

В Илеке — станичное управление, телеграф и почта. Интересно, что почта соединяет Илек не с Уральском, а с оренбургской железной дорогой. Для надобностей войсковой администрации есть станичные казенные пересылки, а в экстренных случаях — «летучка». Когда же мне захотелось отправить письмо в Уральск (150 верст), то оказалось, что оно пошло сначала на север, до оренбургской железной дороги, оттуда повернуло на Самару, потом пошло пароходом на юг, по Волге, до Саратова и затем опять по железной дороге вернулось в Уральск уже с запада. Я имел удовольствие получить его лично, вернувшись и даже успев отдохнуть от поездки... Наконец, нужно упомянуть еще, что в Илеке есть «общественное собрание», гостиница и два биллиарда, на которых богатые киргизы мирно сражаются с торговцами и казаками.

Посередине городка тянутся лавки и палатки огромного илецкого базара с чрезвычайно разнообразной и живописной толпой. Казаки в форменных фуражках, казачки в старинных живописных сарафанах с парчовой оторочкой, мужики, мещане, торговцы, солидные татары. Покачиваясь над пестрой толпой и важно оглядываясь по сторонам, выступает верблюд, на горбе которого сидит киргиз в ватном халате, меховой шапке и под зонтиком. Наконец, пробираясь в густой толпе, едут и еще казаки, но уже в другой форме, с синими околышами.

Это приехали на базар оренбуржцы из-за близкого рубежа. Один отстал и догонял товарищей. Лошадь под ним горячилась; у всадника буйные кудри щеголевато выбивались челкой из-под шапки... Я невольно загляделся на типичную фигуру, какие часто можно видеть на улицах Петербурга, при возвращении с парадов.

— Что, господин, на молодца загляделись?—спросил у меня красивый старый казак, проследив мой взгляд...

— Что-ж, и вправду молодец,— ответил я.

Казак небрежно скользнул взглядом и ответил с усмешкой:

— Мужик это на лошади, а не казак... По-нашему этак... Природы нету...

В это время, труся на своих поджарых лошадках, проехало несколько киргиз... Мне казалось, что сидят они небрежно, некрасиво, без выправки, с поджатыми в высоких стременах ногами. Но старый казак взглянул на них одобрительным взглядом и сказал:

— Вот это всадники природные... Нам не уступят...— И он внезапно вытянул ближайшую лошадь нагайкой. Лошадь шарахнулась, но всадник и не шелохнулся, точно прирос к седлу. Он оглянулся, понял шутку, и они обменялись несколькими киргизскими фразами...

В конце базара, в невзрачном двухэтажном деревянном доме помещается заведение с полинявшей надписью «Трактир Плевна». Двери его то и дело визжали на блоке и хлопали за входившими. Я с моими спутниками Макаром Егоровичем Верушкиным и Иваном Ивановичем Иванаевым решил зайти туда же.

Внизу было полно, стоял сплошной гул, из которого выносились то и дело то громкое «ласковое» ругательство, то обрывки песни. Расторопный половой, с необыкновенно грязной салфеткой через плечо, предложил нам пройти наверх, на чистую половину и провел нас в угловую комнату. Тут было просторнее и как будто чище. Он быстро стряхнул на одном из столов скатерть, обмахнул ее грязной салфеткой и тотчас же устремился за «парой чаю»...

Я оглянулся. Под стенками, у маленьких столов, по большей части в одиночку сидели киргизы в своих тюбетейках... Расстегнув ватные или даже меховые архалуки, они неторопливо и степенно тянули чай. Казаки, наоборот, держались группами. Базар стихал, в трактире становилось все шумнее...

Невдалеке от нас за двумя сдвинутыми столиками у окна сидела группа старых казаков с седыми бородами, в длинных, старинного покроя кафтанах, называемых здесь азямами. На столе стоял графин с вином и налитые рюмки.

— Ну, что ж,— говорил один из стариков, несколько сутулый гигант с бородой до пояса, молодому человеку, почтительно стоявшему около него.— Тебе, значит, надо полечить будару... Это мы можем. Я старый каюрчей, мастерства своего не скрываю, могу тебе помочй... Возьми ты, значит, известки, да горячей смолы...

Молодой человек, по-видимому, из иногородних, почтительно выслушал рецепт и, вежливо поблагодарив «каюрчея», вышел. А старики принялись за прерванную беседу.

Их было трое, три великолепные фигуры в выдержанном старинном стиле. У «каюрчея», кроме длинной седой бороды почти до пояса, были такие же седые нависшие брови, из-под которых глаза сверкали несколько угрюмо и мрачно. Другой имел физиономию довольно распространенного на Урале типа: середина лица как бы раздувалась, уходя в толстый нос и большие губы. Когда-то черная, теперь полуседая, длинная и густая, как войлок, борода курчавилась, суживаясь книзу. Он был пьянее своих собеседников, говорил мало и только иногда покачивал лохматой головой.

Мне показалось, что в третьем собеседнике я узнаю того самого казака, который в базарной толпе осуждал оренбуржца и одобрял киргиз. Наружность его обращала невольное внимание. Красивое чистое лицо, седые круглые брови, из-под которых глядели темные, совсем молодые, пламенные глаза. Небольшие, тоже седые усы оттеняли тонкий рот с приятной, чуть насмешливой улыбкой. Едва заметно выдавшиеся скулы и маленькая остроконечная курчавая бородка намекали на примесь инородческой крови, но глаза были синие. Фамилия его оказалась Юносов.

Старики говорили о китайской войне, исходом которой в то время было чрезвычайно заинтересовано все войско. По старым книгам выходило так, что, когда Китай подымется, настанет кончина мира. Теперь старики подсчитывали признаки близкой катастрофы.

— Погоди,— говорил угрюмый «каюрчей».— Сколько же царей-то выходит? Наш — раз, англичанка, да итальянец, да француз, да японец — выходит пять... Австрияк шесть...

— Ну, американец — седьмой, чего же тебе! — прибавил Юносов.— Сказано семь держав. Семь и есть...

— Верно... По писанию в акурат... А между прочим пока что,— китайца-то державы бьют...

Я уже и раньше слышал, что по Уралу ходят мрачные предсказания, связанные с начавшейся тогда китайской войной... Семь царей,— гласило какое-то пророчество,— пойдут войной на восточную державу и погибнут... И тогда настанет суд миру... Но около собеседников на столике лежал номер «Уральца», и известия его решительно говорили, что державы не погибают, а, наоборот, всюду побеждают китайцев.

— Это, пущай, слава богу...— говорил «каюрчей».— Христианство одолевает...

— Да ведь дело-то еще не вовсе кончено,— возразил Юносов...— С Китаем, товарищи, дело опасное. Сила-то у него копленая. Сколько, можно сказать, веков сидел в стороне, ни с кем не воевал... Теперь как подымется враз... Нарро-ду у него тьма тем... Аки песку морскаго...

В это время в комнату заглянул молодой казак. На голове у него была форменная фуражка, но на плечах пиджак довольно затасканный, неопределенно-серого цвета. Лицо у него было открытое и веселое. Он не совсем твердо стоял на ногах, и добрые глаза искрились веселыми огоньками. Увидев стариков, он остановился посредине комнаты, обеими руками стащил с головы форменный картуз и, расставив широко для равновесия ноги, отвесил низкий поклон.

— Здорово, господа, старое войско...

— Здравствуй, Каллистрат,— ответил приветливо Юносов.— Кого ищешь? Садись с нами...

— Я тут товарищей ищу...

— А мы тебе не товарищи, что ли? — угрюмо спросил «каюрчей».

— Товарищи, верно! — с заискивающей ласковостью сказал Каллистрат, но, когда он оглянулся по комнате, мне показалось, что в серых глазах молодого казака сверкнул насмешливый огонек...

— Вы наши отцы! — сказал он, еще ниже наклоняя обеими руками свой картуз.— Мы за вас... вот!..

— Ну, так садись...

— Я признаю так, что вы достойны старики, что нам с вами сидеть.— Это — мы вас покорно благодарим. Ну, как у нас канпания... Будет соглас, ай нет? Я должен спросить.

— Добро, зови их сюда! — добродушно сказал Юносов.— Вон рядом свободно...

Через минуту Каллистрат вернулся со своей компанией. В ней прежде всего обращал внимание низкорослый, черный, как уголь, молодой казак с большим носом и огромными, как у нетопыря, торчащими врозь ушами. Несколько смешная, сплюснутая к носу голова с тонкой и длинной шеей сидела на узких плечах, но во всей фигуре чувствовалась какая-то дикая, хотя и несильная удаль. Если бы увеличить размеры этой фигуры,— получился бы уродливый образ дикого степного хищника... Теперь это было как бы маленькое его издание... За ним вошли еще две-три незначительные фигуры, и шествие замыкал грузный приземистый мужик, в косоворотке и поддевке, в огромных стучащих сапогах, с рыжей лопатовидной бородой... Войдя, он поклонился присутствующим и сказал с довольным видом:

— Вот, угощаю казаков... Я!.. Песни велю играть...

— Простите нас, отцы,— опять с ласковым смирением сказал Каллистрат...— Стеснили вас.

— Не заест лихота, не заест теснота,— весело ответил опять Юносов.— Чай свои люди, товарищи!

— Верно, отец! Все мы казаки, все, можно сказать, одной Европы. Так ли я говорю?

— Правильно.

— Теперь вот в Китай нас погонют,— продолжал Каллистрат и лукаво оглянулся на товарищей.— Станем Китай воевать рядом с немцем или с англичанином. Вы-

ходит — тоже товарищи... Да что, отцы! Быка запрягут с коровой: идет! Потому — не пойдешь... ударют...

Мужик фыркнул в бороду. Старики насупились.

— Ты к чему это применяешь, а? — мрачно спросил каюрчей.

— Товарищи!.. Старики! — с удвоенной и все более двусмысленной ласковостью заговорил опять Каллистрат...— Вы наши отцы!.. Мы за вас всю кр-ровь...

— Ну, так и садись, чего стоишь... В ногах правды нет,— опять смягчился Юносов.— Давай, товарищи, песни играть. Заводи!

Молодые казаки, пошатываясь, нетвердо заняли места. С ними уселся и их амфитрион, грузный мужик. На ногах остался один Каллистрат. Он как-то жалостно посмотрел сначала на своих товарищей, потом на стариков и сказал:

— Песни?.. Оно бы можно... Да ведь не споемся... Отцы!.. Вот ведь беда в чем. Песни у нас пошли новые, не ваши.

— Ну, что там. Все песни у нас в кармане. На каќу ткнем, ту и споем. Эх,— сказал Юносов с усмешкой и тряхнул седой головой...— Певал и я когда-то. Теперь голос стал, как у старого верблюда́!.. Ну, играй, ребята, заводи хоть свою, новую... Мы послушаем, да и подтянем гляди, враз... Не отстанем...

— Заводи, ребята, не кобенься,— сказал мужик.— Вишь старики поштенные просят... Старое войско. . Погоди, старики... Ничего... Только вот выпить надо...

Он разлил по рюмкам принесенное половым вино. Казаки выпили. Каллистрат, все оглядываясь на товарищей, чокнулся со стариками. После этого тщедушный запевала откинул голову назад и подпер щеку ладонью... Большой кадык на его тонкой шее надулся, и он запел резким, но сильным и своеобразным фальцетом, какой иногда несется в солдатском хоре, покрывая все голоса...

— Буде-ем биться со врагами...

И хор тотчас же подхватил негромко:

— Буде-ем би-и-иться со врагами,
Пул-ля в пулю попадать...
На биваке, пред огнями
Будем водку выпивать...

И, внезапно изменив размер песни, весь хор подхватил громко и разухабисто:

— Пей, друзья, покуда пьется,
Горе в жизни забывай.
На Урале так ведется:
Пей, ума не пропивай!

Пение у молодежи не ладилось. Певцы были пьяны, и, кроме того, голоса у них были усталые. Смуглый запевала имел вид изнеможенный. Под конец он сорвался.

— Ну-у!.. Четыре колеса, два немазаны,— сказал насмешливо каюрчей.— Петух в горле закричал...

— Ничего, ничего,— поддержал благодушно Юносов: — усердие есть, да голоса-те маленько, видишь ты, того... подгуляли...

— Верно,— согласился Каллистрат.— Мы, старики, так что уж третьи сутки крутим. Охрипли. А отчего, спросите, третьи сутки короводимся, так мы вам, старики, можем объяснить... У Сидорова были мы... Товарищ наш... Сидорова знаете вы, старики?.. Да — как чать не знать... Сидорова все войско...

— Не то что войско,— подхватил запевала,— все европейские державы знают...

— В ведомостях печатают,— одобрительно подтвердил мужик...

Уральский казак Сидоров в то время стал газетной знаменитостью. Он только что вернулся из Абиссинии, где служил негусу в отряде генерала Леонтьева. Благодаря одесским репортерам, имя Сидорова обошло все газеты. В статьях наперебой говорилось об его выносливости, бодрости и находчивости в трудные минуты. Урал гордился тем, что Сидоров «заткнул за пояс донцов из того же отряда»...

— Сидоров — нечего сказать, молодец,— одобрили и старики.— Не посрамил уральцев...

— Выпьем за молодца Сидорова... Герройский казак...— сказал мужик.— Ну-ка, ребята, выпей, поправься... Да заводи опять... Уважь старикам, не осрамись...

Певцы выпили, подтянулись, и запевала опять закинул голову... Песня полилась несколько стройнее. Это была действительно новая песня: молодые казаки привезли ее с маневров. Тон был не совсем народный: в песне говорилось о смерти с легкостью и цинизмом, со-

вершенно несвойственным народной поэзии. Только в середине пробилась искренняя задушевная нота.

— Может, завтра в чистом поле
Да кого-нибудь из нас
Между мертвых полумертвым
Будет ждать последний час.

Казаки вели песню уныло, с каким-то воющим отголоском. Но тотчас же опять это сменилось развязной удалью и цинизмом:

— Может, завтра в чистом поле
Нас на ружьях понесут,
А уж водки после боя
И понюхать не дадут.

Хор смолк, оборвав резкой визгливой нотой в чисто солдатском вкусе. Мужик самодовольно крякнул:

— Что, старики... Плохо, что ль?.. Молодцы ребята. Э-эй... водки еще... Услужающий!

Старики некоторое время молчали...

— Эх, товарищи! — искренно и просто сказал затем Юносов.— Старые-те песни много лучше... Годы наши не те... А вы, молодые, старых-те песен уже не поете...

Малый принес водки. Молодежь шумно выпила... Когда суета несколько стихла, Юносов затянул у своего стола:

Ка-ак на Волге реке, на Камышинке...

Он не хвастал, когда говорил о своем прежнем пении. В его высоком, слегка дрожащем теноре была какая-то внутренняя глубина и задушевность. Казалось, стены трактира разомкнулись, и степь отвечает певцу своими дальними замирающими отголосками... Но он вдруг опять оборвал...

— Давай, ребята, воровской кораблички...

Он откашлялся и затянул опять:

— Ка-ак по-о̀-морю было, морю синему,
По тому морю по Каспицкому...

К Юносову присоединился каюрчей. Голос у него был грубый и дикий, но сильный.

— Как стоял там на якоре воровской корабличек...

Старая песня крепла, постепенно овладевая трактирным гамом. Но тут третий старик, с лохматой бородой, сильно пьяный, слегка встрепенулся, поднял голову и прислушался... В его мутном взгляде мелькнуло сознание, сначала неясно, как будто издалека. Но вдруг он весь дрогнул и, поведя по комнате черными, как сливы, немного осоловевшими глазами, рявкнул сразу огромным басом:

— На стулу-то сидит наш батюшка э-да!
Воровско-а-ай атаман...

Несуразный бас, от которого задребезжали стекла в окнах трактира, сразу покрыл и прервал наладившуюся было песню. Юносов благодушно засмеялся и сказал:

— Постой ты, старый верблюд!.. Вишь, голос-то... Пушка! А вы, молодые, что не подтягиваете?

— Это что за песни! — сказал молодой запевала с пренебрежением, а Каллистрат прибавил:

— Говорю я, Астафий Иваныч, не спеться нам молодым с вами стариками.

— Почему так не спеться?.. Одно войско...

— Одно да не одно, служба другая...

— Чем другая служба?.. Все за отечество же кровь проливали.

— Это мы не говорим, ну, только теперь другое...

Он засмеялся, как будто сдерживаясь. Молодые казаки тоже самодовольно ухмылялись. Каюрчей тяжело уставился в Каллистрата своими мрачными глазами и сказал:

— Как не другое!.. Другое и есть: мы на всем своем служили, а теперь вас кормят, поят, одевают, обувают. Все у вас готовое, шеи у подлецов вот какие!

— А Сидоров? — возразил кто-то из молодых.— Сидоров чей? Не наш, что ли?

— Об Сидорове слова нет. Да ты-то где был? Твоя служба где?..

— В Киеве были мы, на маневрах...

— На маневрах?.. Это служба!.. Ты кровь пролей, тогда и хвастай...

— Мы дисциплину знаем,— задорно сказал запевала.— У нас все по форме. Взять, теперича, саблю: она какая должна быть? Форменная сабля она должна иметь

правильное ударение наискось. Видал, как киргиз кугу режет? А у вас какая форма была? Ни у вас мундир, ни у вас, например, муницыя...

— В стеганых халатах на смотры выезжали! — смеясь подхватили в кружке молодежи.

— Из «турок» палили. Турка какой прицел дает? На какую дистанцию?..

— С подсолнушными стволами вместо копий на тревогу выбегали,— прибавил Каллистрат.— Вот оно,— сказал он, поворачиваясь к нам,— старое войско какое было, господа...

Старые казаки заворчали, и каюрчей резко поднялся со своего стула. Но Юносов, все еще веселый и сдержанный, спокойно усадил его на место и сказал опять примирительным тоном:

— Ну, будет, товарищи!.. Зачем вздорить. Давайте лучше опять песню споем, все вместе. «Как за речкою то было», ну, подтягивай, молодые!.. Эту и вы знаете...

Он поднялся, стал в середине, махнул рукой и затянул размеренно и протяжно:

...Как за речкою то было, за Утвою,
За Утвинскими то было за горами...

Старый, приятный, дрожавший сначала тенор Юносова окреп и зазвенел слезами и тоской старинной думы... Стены трактира опять будто раздвинулись, и опять влились в них отголоски степи. Каюрчей, сдвинув лохматые брови, пристал к Юносову, и печаль старой песни полилась ровным могучим потоком...

...Да распахана там пашня яровая...

Третий старик окончательно очнулся и на этот раз уже в лад присоединил к прочим свой могучий бас:

Пашня пахана не плугом, не сохою,
Она пахана булатными копьями,
Взборонена конскими копытáми...

Эта дума, в которой войско до сих пор вспоминает о гибели целого отряда в жестокой степной сече с киргизами,— видимо, не умерла еще и в сердцах казачьей молодежи. Запевала опять вскинул голову, подпер щеку рукой, и его тонкий, несколько дикий фальцет взвился и

заплакал над тремя старыми голосами, точно это был крик чайки над шумящей степью...

> И засеяна та пашня яровая
> Все казачьими удалыми головами...

На несколько минут грустный напев вполне завладел трактирной суетой... В нашей комнате все замолчали, из соседних подымались казаки, толпились в дверях, слушая, одобряя, подтягивая. Хор разрастался... «Кто польет тебя?» — спрашивал высокий фальцет молодого казака и вибрирующий тенор Юносова... И весь хор отвечал им:

> Кто польет тебя?.. Разве с неба дождик.
> Иль источит слезы мать родная...

Последние ноты замерли точно отдаленный стон в темную ночь... Несколько секунд стояло глубокое молчание...

— Да, вот у нас как пели в старом войске,— слезою изойдешь! — сказал Юносов дрогнувшим голосом, и вдруг, распахнув резким движением азям, ударил себя кулаком в грудь.

— Могете вы старое войско оборать, щенки! — крикнул он неожиданно.— Стой, Каллистрат. Мо-ол-чи!.. Вы тут много говорили, мы вас, старые казаки, слушали. Теперь мы скажем, вы, молодые, послушайте. Ты говоришь: где мы служили? Здесь мы служили, на Яике!..

— Огороды караулили,— смиренно вставил Каллистрат, оглядываясь на своих.

— Дурак ты, не понимаешь. Старое войско эту степь наскрозь кровью пролило! Орда тут кругом сидела. Да не нынешняя орда... Не замиренная, злая!.. Баба, напримерно, вышла за реку, хоть, скажем, на ту сторону, за мост,— уж ее кыргызин схватал, через луку перекинул, в степь волокет...

— Баба малое дело,— с беспечным ухарством сказал запевала.

— Малое дело,— ты говоришь? —повернулся к нему Юносов, с загоревшимися глазами.— Дур-рак ты, дурак. Щенок!.. Да ведь она мне жена, моим детям мать, тебе, дураку, может быть, бабушка была!.. Ударят тревогу, собираются казаки, строятся, ждут есаула, аль атамана, а кыргызин мчится по степи, только пыль курится..

А я за ним в степь скакать не моги, не дозволено... За это — расстрел!.. Понял ты, каково это? А ваши теперь ребятишки в Карачаганак задеря рубашонки бегают... Все от кого? От стариков, от старого войска... От нашей крови...

— Да,— подхватил каюрчей,— вот мы где служили... Давно ли старому войску медали даны! Значит, стоило

В толпе слушателей, набившихся в дверях, раздались возгласы и шум. Публика разделялась. Одни стояли за стариков, другие за молодых... А в это время насмешливый бесенок, сидевший в хмельном Каллистрате, опять зашевелился. Он приподнялся и, поклонившись с притворным смирением, сказал:

— Отцы! Дозвольте мне... Я вам скажу, за что вам медали дадены...

— Ну? — протянул Юносов подозрительно.— Говори, есть когда в дело...

— Наделал, скажем так, хозяин горшков...

— Не об горшках дело!

— А вы, старики, слушайте,— крикнул один из молодежи, предвкушая новую выходку Каллистрата.

— Ну, наделал горшков,— продолжал тот, оглядываясь и играя глазами.— Надо их куда-нибудь класть... Так ли, товарищи?

— Верно, верно! — крикнули молодые.

— Ты это к чему применишь? — угрожающе спросил каюрчей.

— А к тому и применю, что, значит, некуда ставить, он их на плетни и надел... То же самое и медалей царь много наделал. Куда их девать? Дай, дискать, на старое войско надену!

Это неожиданное оскорбление упало в толпу, как выстрел. Старики сначала как будто растерялись от неожиданности, молодежь шумно захохотала... Но вдруг три старых казака встрепенулись, как три льва...

— Могешь ты такие слова выражать? — крикнул гигант каюрчей.

— Гол-лову подлецу раскрою вдребез-гии!—раздался неистовый бас пьяного брюнета, и он весь нелепо мотнулся вперед, к столу, подняв руки, всею тяжестью своего тела... Я ждал, что сейчас зазвенят стаканы, загрохочут столы, начнется безобразное побоище. Но

Юносов отбросил пьяного товарища назад и выступил сам...

— Стой, Никифор! А вы, щенки, когда так, выходи на нас!..

— Выходи! — загремели, поднявшись, двое других... И все трое, выйдя на середину с покрасневшими лицами и сверкающими глазами, стали засучивать рукава азямов.

Я невольно залюбовался этой картиной. Три представителя старого войска, седые, крупные, как будто еще выросшие, стояли в середине тесной комнаты, с горящими глазами и выпятив вперед крутые груди.

Это было живое прошлое залитого кровью Урала, строптивая и непокорная боевая старина «сурьезного» войска, боровшегося целые века за свое исключительное местное значение, за степную волю, против дисциплины и регулярства. С другой стороны, в лице этой молодежи выступала победа «регулярства», тщеславная гордость маневрами, строевым ранжиром и дисциплиной. В комнате и у порога ее стоял невообразимый шум. Публика стала разделяться. Возбужденные враждебные крики скрещивались в воздухе, какой-то старик пробился в середину и стал рядом с Юносовым.

— Держись, старое войско... Головы щенкам расколотить за такие речи,— кричал он.— Кто за старое войско... Иди к нам.

— А где наша антирелия, старики, где наши знамена? —выкрикивали молодые...— Старое войско бунтами потеряло. Где атаманска насека? Что-о?.. Все вы потеряли.

— Это вы оставьте! Это дело старое... Этого вы не можете понимать. Это в 1837 году было...

— Даром, что давно... А зачем было старому войску за колесья хвататься?.. Это порядки?.. А?..

Они намекали на крамольную просьбу, поданную наследнику Александру Николаевичу. Говорят, что при этом просители остановили за колеса коляску цесаревича.

— Затем и хватались, что добра войску искали,— отвечали старики.— Не об худом просили... Об деле...

— За все войско страдали... Глупее вас были?.. Не понимали, вишь.

— Товарищи,— крикнул Юносов, и его звонкий голос вынесся над общим гамом.— Не понимают они... Они войску не сыны, не внуки... Выходи! — страстно закончил он...— Выходи, когда так, в степь... Садись на коней...

— Сейчас выходи в степь. Трое на трое. Погляди, как мы, старое войско, вас молодых щенков... и с маневрами вашими с седел снесем.

— Аки вихорем сдуем... А! Вы этак?.. Заслуги наши к горшкам приравнял...

Старые голоса гремели, глаза стариков сверкали, и в ответ им в толпе отдавался ропот и гул... То и дело протискивался еще какой-нибудь старик и становился рядом с Юносовым и его товарищами. Толпа расступалась и пропускала их... Каллистрат, по-видимому, понял, что зашел слишком далеко. Он присмирел...

— Ну что вы, старики,— заговорил он своим вкрадчивым голосом...— Об чем вздорить?.. все товарищи... все кровь прольем за царя, за отечество...

Он вышел вперед и, как в начале этой сцены, опять поклонился старикам в пояс.

— Отцы! Старое войско!.. Простите, Христа ради... Да неужто-ж мы что-нибудь супротив вас?.. Да мы вами живы. Братья, товарищи... Молодые казаки... Правду я говорю? Мы старое войско вот как почитаем... Всю кровь...

Я не видел его глаз и не мог разобрать, искренно ли он просил прощения, или опять готовился отпустить какую-нибудь веселую неожиданность... Я чувствовал только, что если это случится, то вся старая «Плевна» задрожит от последствий молодой наглости. Но вкрадчивый голос Каллистрата звучал подкупающе-мягко, даже заискивающе. Старые казаки, видимо, растерялись от этой внезапной покорности... Юносов посмотрел на молодежъ и отвернулся к своему столу... Каюрчей ругался. Третий товарищ оглядывался с тупым гневом и что-то глухо ворчал про себя...

В эту минуту общей неловкости произошло неожиданное вмешательство. Мужик, угощавший молодежь, надумал что-то и со своей стороны. Растолкав казаков локтями, он вышел на середину комнаты, расчистил место и стал, широко расставив ноги, точно врос в пол...

Потом посмотрел кругом исподлобья каким-то внезапно ожесточившимся взглядом и сказал:

— Эй, казаки! Будет вам выхваляться тут. На-ка вот... подымите мужика... Трешку за руки сейчас — не подымете.

Выходка вызвала смех. Но мужик, очевидно, смотрел на свой вызов серьезно. Оставаясь все в той же позе каменного идола с раскоряченными ногами, он достал из жилетного кармана трешницу и стал совать ее ближайшему к нему Юносову...

Тот посмотрел на него сверху и сказал с пренебрежением:

— Стар я... Молод был,— не эдаки кули подымал...

— Мужик, не суйся промеж казаков... Тебе тут не дело! — крикнул смуглый запевала и стукнул по столу... А Каллистрат прибавил:

— Нашто тебя, дядя, подымать?.. Вас мужиков мало ли! Дешевы. Подымать не стоит...

Мужик оглядывался исподлобья и ждал. Но затем видя, что никто не принимает вызова,— он как-то укоризненно крякнул, спрятал бумажку в карман и нетвердой походкой привалился к столу... Мимоходом он наклонился ко мне и, обдав меня запахом водки, сказал конфиденциально:

— Не подымет... Ни один... Легкой народ казаки... Самофалы...

. . . .

. . . .

Выйдя из «Плевны», мы пошли значительно опустевшим базаром. Оба мои спутника, природные казаки, шли молча. Все мы понимали, что случайность сделала нас свидетелями не простой трактирной ссоры подвыпивших казаков. В памяти моей невольно встали стихи казачьего поэта-самородка, вольнолюбивого и строптивого Голованова:

...И старинка боевая,
Как шеренга фрунтовая,
Под ранжир подведена...

Эта коренная уральская старина сейчас стояла перед нами с ее своеобразной поэзией, с ее понятиями

о широкой степной воле, понятиями странными, подчас полуазиатскими, за которые, однако, старое войско умело когда-то постоять грудью... Теперь эта старина тихо сходит со сцены, а в лице молодежи выступает уже что-то другое, еще неясное и тоже странное... И невольно в уме вставал вопрос: неужели это только фрунтовая шеренга и честолюбие парадного строя?..

XIII

В ГОСТЯХ У СТЕПНОГО САНОВНИКА.— ОБРАТНЫЙ ПУТЬ.— УТВА.— АУЛ ЧИНГИСХАНОВИЧЕЙ.— ОПЯТЬ В ЯНВАРЦЕВЕ.— ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Илецкая станица была последним пунктом нашей экскурсии. Отсюда нам предстояло вернуться обратно, и мы задумали совершить этот путь киргизскою степью. Но раньше мне хотелось еще, пользуясь положением Илека в непосредственном соседстве с аулами — побывать в гостях у кого-нибудь из киргиз.

Мои илецкие знакомые чаще всего называли имя Ирджана Чулакова, бывшего управителя Карачаганакской волости. Сомневались только, вернулся ли он уже из глубины степи. Впрочем, был конец июля, и киргизские кибитки все чаще усеивали берега Урала... Говорили, будто Ирджана видели уже в общественном собрании, играющим на биллиарде...

На третий день моего пребывания в Илеке к воротам дома Верушкиных подъехал незнакомый господин на горячей серой лошади, запряженной в линейку...

— Ирджанка прикочевал,— сказал он, когда мы вышли на зов.— Едем... Иван Иванович с компанией уже уехал... Да садитесь, пожалуйста... Видите — дьявол этот руки мне оттянул. Не удержать никак...

Лошадь действительно рвалась, била копытом и косила кровавым глазом. Думать было некогда... Мы захватили фуражки и уселись на линейку. Я — в середине, Макар Егорович сзади,— и серый сразу рванулся с места. Мне показалось, что в то же мгновение дома, заборы, вся улица понеслись назад в каком-то вихре. Через минуту за нами мелькнули последние избы станицы,

и мы понеслись в степь по пыльной бугристой дороге... Ветер свистел мне в уши, и вместе с запахом травы и хлебов ко мне доносился легкими струйками запах вина... Мне пришло в голову, что едва ли эта поездка кончится добром. Жеребец все мчался, как бешеный, а незнакомый господин только гикал и кричал нам: «держитесь, держитесь»... В одном месте линейку тряхнуло так, что мы едва усидели; она нырнула книзу и резко взлетела на возвышение...

— Вал! — крикнул возница,— граница киргизской степи!..— Я едва разглядел старинный перекоп,— остатки рва и вала, темной разорванной линией как бы змеившиеся по степи. От остального пути у меня осталось впечатление бешеной скачки, какого-то мелькания по сторонам и багрового заката, трепетавшего где-то вдали над горизонтом.

Но вот колеса заскрипели в глубоком песке. «Дьявол» пошел тише. Незнакомый господин повернул ко мне лицо и, пристально оглядев меня,— сказал неожиданно:

— Так это вы... Писатель?..

— Да я,— ответил я ему, переводя дух.

— Странно,— сказал он.

— Почему же? — удивился я.

— Не похоже... Писатель! Должен быть человек гуманный...

— Но позвольте,— улыбнулся я.— Почему же вы знаете, что я не гуманный человек? Ведь вы меня первый раз видите.

— Видел... в общественном собрании... Даже водки не пьете... Гуманный человек,— заявил он решительно,— сейчас бы... к буфету... Мы бы тебя угостили... Ты бы нас угостил... И пошли бы крутить до ночи... Вот это гуманность... Что, не очень растряс я вас?

— Правду сказать,— порядочно,— ответил я покорно.

— Ничего. Это у меня не лошадь, а теленок... Другой у меня есть, тоже серый, в яблоках. Ну, на том пьяный не поедешь... Вон наши едут...

Впереди действительно слышалось тарахтение колес, и через несколько минут мы догнали тарантас, в котором сидели Иван Иванович и еще два илецких обывателя. Коляска остановилась. Мы стали знакомиться. Это

были торговцы «иногородние», хотя и они, и, пожалуй, их отцы родились на Илеке. Но они не казаки. Солнце село, заря угасала над темнеющей степью. Вся эта поездка случилась как-то так быстро, что мне только теперь пришел в голову вопрос:

— Не поздно ли мы собрались, господа?.. В степи, должно быть, ложатся рано...

— Ну, что за церемонии,— ответили мне новые знакомые.— Ирджанка приятель. А только вы вот что,— посоветовал мой возница,— вы того... Вы будьте погуманнее... Надо уважать обычаи. От кумыса не отказывайтесь, ешьте побольше... Да вы смотрите на нас, как мы, так и вы... А первый кусок, который вам подаст хозяин,— отдайте обратно. Ему будет лестно...

Через несколько минут пески кончились, и степь опять неистово рванулась нам навстречу... Впереди замелькали огни кочевья...

Кочевье Ирджана Чулакова состояло из нескольких кибиток, расположенных полукругом над небольшой речкой. Около одной из них горел огонь, работники и работницы доили кобыл. Невдалеке от дороги, разговаривая с киргизом, державшим в поводу оседланную лошадь, стоял сам хозяин. Он был одет в кафтан, вроде поддевки из чесучи, такие же брюки, засунутые в голенища лакированных сапог; на голове у него была темная войлочная шляпа, а когда он повернулся, то у него оказалась прекрасная, длинная с сильной проседью борода (большая редкость у киргизов). Вообще вся фигура напоминала скорее солидного степного помещика, отдающего распоряжения по хозяйству, и при взгляде на эту почтенную и даже несколько повелительную фигуру,— мне казалось странным, что мои илецкие знакомые, в разговорах между собой, редко звали его иначе, как уменьшительным Ирджанка...

Он принял нас со спокойным достоинством. Все остальные были ему знакомы, а с торговцами он давно вел дела. Внимательно оглядев нас и как бы взвесив что-то, он подозвал работника и что-то сказал ему по-киргизски.

Вскоре около одной из кибиток огонь разгорелся ярче, и где-то в потемневшей степи раздался похожий на плач ребенка, крик молодого барашка,— невинной жертвы нашего неожиданного посещения.

Компания шумно ввалилась в кибитку, весело здороваясь с хозяйками, а мы с хозяином пошли гребнем небольшой возвышенности над рекой. Мне хотелось осмотреть кочевье и, кроме того, предложить хозяину несколько вопросов. Степь лежала кругом мглистая и спокойная: где-то на лугу ворчал и кряхтел верблюд, несколько огоньков пронизывали издали туманные сумерки, на багровом еще фоне заката рисовалась темная фигура киргизского всадника, уезжавшего в степь. Это хозяин послал за певцом-домрачеем... Фигура помаячила над обрывом бугра и исчезла... Вся картина казалась мне обрывком прошлых времен, отголоском какого-то далекого и давно пережитого быта.

Ирджан Чулаков отвечал на мои вопросы степенно и толково. О пугачевском бунте в киргизской степи сохранилось мало воспоминаний. Песня домрачеев говорит гораздо больше о борьбе киргиз с калмыками. Род хана Аблухаира, современный пугачевскому движению, перевелся. Из четырех сыновей Аблухаира Ирджан Чулаков знал имена Нурали, о котором много говорят наши историки, и Айчувака... После пугачевского движения киргиз простого рода батырь Сарым-Дач поднял восстание. Ему удалось склонить на свою сторону 7 родов Джетрувской орды, после чего сын Нуралихана Букей ушел со своей ордой за Волгу. Но 12 родов Байлинской орды заступились за Айчувака, и он остался...

Один из сыновей Айчувака был известный Бай-Мухамедов, заслуженный боевой генерал, пользовавшийся большим влиянием в Петербурге. Казаки до сих пор отзываются о нем с большим уважением, а киргизы возлагали на него большие надежды. Благодаря несчастной случайности, он утонул во время бурного разлива Урала. Событие это в свое время произвело большое впечатление. Год его смерти до сих пор зовут «управительским годом». С ним угасли последние остатки влияния Аблухаирского рода. Теперь один из потомков хана Айчувака служит на Сухоречке (около Затонной) ...приказчиком у Михаила Савиновича Сыромятникова. Другой— Данижеш Бай-Магометов, кочует в степи пониже Карачаганака...

На место этих чингисхановичей выдвинулись (благодаря, вероятно, политике правительства) новые люди,

незнатного рода, повышенные за те или иные заслуги. Один из них — Чулак-Айбасов (Бушантаева рода) — был человек очень умный и своего рода реформатор. До сих пор еще около устьев Илека существует урочище, названное именем Чулака, где он построил первое зимовье. Это была яма в земле, прикрытая потолком с окнами. В нее вела крутая лестница... Киргизы сначала относились к этому жилью с суеверным ужасом. Самые суровые зимы они привыкли проводить в своих кибитках. Едва заглянув в подземное жилище Чулака, они торопились выйти на воздух.— «Это,— говорили они,— у тебя, Чулак, не жилье, а могила». Впоследствии Чулак приподнял землянку над поверхностью земли и сделал подобие избы со слегка наклонными стенами и плоской крышей. Теперь во время моей дальнейшей поездки степью — я уже встречал много таких земляных аулов. Правда, летом они более похожи на кучи навоза. Но зимой они все же защищают от холода и жестоких метелей лучше, чем войлочные кибитки.

У этого степного новатора было два сына. Ирджан, наш хозяин,— воспитывался в Оренбургском кадетском корпусе (кажется, недолго), потом служил в военной службе и участвовал в хивинском походе, за что получил несколько знаков отличия. Брат его, Нурджан, не получил никакого образования и представляет партию старины... На последних выборах ему удалось, однако, получить перевес над братом, и теперь он состоит волостным управителем. Отношения у братьев видимо натянутые...

Вот все, что мне удалось узнать о недавнем прошлом от полуинтеллигентного представителя степи. Что касается более отдаленных исторических событий, то в преданиях о них фигуры батырей вроде Сарым-Дача закрывают ханов, которые так или иначе делали историю, сносясь с русским правительством; историческая перспектива давно потеряна, и отражения действительных событий преломляются смутно, неопределенно и порой странно...

Пока мы разговаривали, степь окончательно стемнела, поглотив все отдельные очертания. Только несколько кибиток рисовались над темным обрезом горизонта круглыми верхушками, да полыхал красный

огонь костра, над которым висели котлы. Пола самой большой кибитки была отдернута, и внутри виднелась свободно расположившаяся группа гостей. Мы с хозяином отправились туда же.

Семья Ирджана Чулакова состоит из жены, больной женщины с умным и приятным лицом, двух дочерей, из которых одна замужняя, двух сыновей и зятя.

Гости сидели на полу, по-киргизски, подогнув ноги. Мне, впрочем, подали подушки, что показалось мне гораздо более удобным. Когда появился котел с бараниной, хозяин придвинул его к себе и, взяв голову с тусклыми сварившимися глазами, подал ее мне. Помня наставление моего спутника, я отдал ее обратно хозяину, который слегка кивнул головой и стал крошить мясо. Для этого, вымыв предварительно руки, он брал куски из котла и крошил их ножом в деревянную чашку. Затем, вынув глаза, он с видимым удовольствием съел их и, разломав череп, подавал куски головы гостям.

— Ну, теперь смотрите, как надо есть,— сказал мне один из илечан. Он засунул всю пятерню в чашку и, захватив полной горстью куски баранины, закинул голову и поднес все это ко рту. Жир стекал ему на бороду, но он ловко хватал ртом куски и облизывал пальцы. При этом он чавкал, чмокал и жевал так громко, что вся кибитка наполнилась этими звуками...

Заметив, что я затрудняюсь последовать этому примеру, Ирджан Чулакович кивнул женщинам, и мне тотчас же подали тарелку с вилкой.

— Эх, вы! — укоризненно заметил мне мой руководитель. Он совал пальцы в рот еще дальше и обсасывал их еще громче. Сами киргизы делали почти то же, но как-то иначе и проще, так что от демонстративного «уважения к обычаю» моего спутника мне становилось неловко. Когда какая-нибудь из женщин семьи, прислуживавших гостям, проходила мимо, то один из торговцев, сильно захмелевший, тянулся к ней замасленными руками и хватал проходившую за талию... Хозяин следил за этими манипуляциями внимательным взглядом, как бы готовый остановить проявление «русских обычаев» на известной ступени... Но женщины иногда с улыбкой, а больше частью со спокойным до-

стоинством уклонялись и скользили мимо. Что они сами думали об этих русских обычаях, по лицам сказать было трудно...

Мы уже кончали ужин, и перед нами поставили большие чашки со свежим кумысом, когда перед палаткой раздался топот и в освещенном пространстве показался киргиз-всадник. Легко соскочив с лошади, которую тотчас подхватил молодой киргизенок, он вошел в кибитку и поклонился. В его походке и манерах было видно некоторое достоинство. На ремне через плечо у него висела домбра, нечто среднее между балалайкой и гитарой, с двумя струнами и очень длинным грифом. Ему тоже поднесли кумысу и затем постлали ковер в середине кибитки. Усевшись по-восточному, он настроил домбру, окинул нас взглядом черных быстрых глаз и, слегка приподняв голову с торчащей черной бородкой, стал петь.

Звуки песни были своеобразны и странны. Сначала они бежали, нагоняя друг друга и как бы сталкиваясь, потом становились медленнее и заканчивались долгим тягучим отголоском, как бы замирающим в отдалении. Певец видимо щеголял этими последними нотами, которые дрожали, волновались, ломались и трепетали, то совсем замирая, то оживая вновь и опять разгораясь, чтобы стихнуть едва заметно, задумчиво с какой-то особенной печалью, в которой дрожали отголоски каких-то далей... без конца, без краю, без определенных образов и только с безграничной унылой тоской.

Звуки эти настраивали меня особенным образом. Мне казалось, что домрачей поет что-нибудь о старине этих степей. Оказалось, что я был далек от истины. В кибитке «нового человека» орды домрачей пел только о хозяине, о том, что у него есть жалованные кафтан и сабля, что у него много кобыл и кумысу, что к нему приезжают далекие гости из самой столицы...

Под конец к голосу домрачея присоединился другой: слегка захмелевший илечанин К., закинув голову и выделывая необыкновенные фокусы горлом,— стал подпевать, а затем между ним и певцом установился настоящий диалог... Киргизы и русские, понимавшие значение этого состязания, только улыбались... Все, однако, признавали, что этот «иногородний» житель Урала

поет если не как настоящий поэт, то во всяком случае, как настоящий киргиз...

В заключение, хозяин, подчиняясь просьбам гостей, надел на себя все регалии. Один из сундуков, стоявших под стенками кибитки, был открыт, и любимица младшая дочь с гордостью подавала отцу принадлежности жалованного костюма. Через несколько минут Ирджан во всем великолепии стоял посредине кибитки, освещенный двумя свечами, которые держали дочери. На нем был голубой бархатный кафтан, шитый по краям широким золотым позументом, украшенный многочисленными орденами. На шее была надета лента с крестом, в одной руке он держал жалованную саблю, в другой — тоже жалованные часы. Голова степного сановника была украшена необыкновенно грузным сооружением, очень напоминавшим китайскую пагоду с поднятыми углами крыши... Он стоял неподвижно, с сознанием важности всего этого ансамбля, а женщины смотрели на него с восхищением. Снаружи в приподнятую полу кибитки и в открытый внизу переплет заглядывали работники и работницы... Самые звезды, казалось, с почтением смотрят на безмолвную картину в круглое отверстие наверху кибитки...

Была уже ночь, над степью выкатывалась большая луна, когда нам подали лошадей. Серого жеребца едва держали под уздцы два киргиза. Они отскочили, как только мы уселись, и степь опять рванулась у нас из-под ног. Мне казалось, что мимо меня несутся два каких-то темных волнующихся вала, а над ними вздрагивала и прыгала красная ущербленная луна...

Вскоре мне пришлось все-таки увидеть и последних представителей ханского Аблухаирского рода.

Это было уже на нашем обратном пути из Илека. Мы ехали «бухарской стороной», стараясь не удаляться от берегов Урала, синевшего на севере полоской лесов. Перед нами лежала степь, голая, без кустика, без деревца, с разбросанными кое-где кибитками, лежавшими, как караваи хлеба, на плоской земле.

Около середины дня показались впереди излучины Утвы, тихо катившей свои воды к Уралу. Я с любопыт-

ством посмотрел на историческую реку, и мне невольно вспомнился грустный напев:

...Взборонена пашня яровая
Копытами киргизских диких коней...

Железнов приводит и точную историческую справку относительно этой битвы. «В прошедшем 724 году,— писали казаки в военную коллегию,— подбегали под наш казачий городок неприятельские люди кара-калпаки и киргиз-казаки тысячным числом, и мы войском яицким, выбрав из старшин походного атамана Ивана Логинова и при нем семьсот человек, догнали оных неприятельских людей при урочище Утве реке... и бились с ними 2 дни и нощь. И волею Божиею и нашим несчастием наших казаков 72 человека побито, а других многое число ранены и в полон побраны»...

Утвенских гор нам не было видно. Они, говорят, довольно высоки, мелового характера и легли по степи значительной грядой... Я невольно вглядывался в степные дали, но они были закрыты мглою... Собирались тучи... И с особенной красотой и грустью вставал в памяти задушевный мотив старинной песни:

Кто польет тебя, разве с неба дождик...

Около пяти часов вечера давно уже дразнившая нас Утва, наконец, показалась совсем близко. Она неожиданно выползла из-за степного бугра и осталась у нас вправо. На другой стороне, на небольшом возвышении виднелся зимний аул: убогие землянки, размытые дождями, с плоскими крышами, на которых росли степные травы.

Невдалеке от этого пустого аула через речку был перекинут живой мостик: на жидких столбиках с перекладинами был положен плетень, на котором накидан слой навоза. Когда мы, ныряя и качаясь, не без опасности переправлялись по этому мосту, то за нашей переправой наблюдала целая группа киргиз. Это было несколько женщин, сидевших в тележке, и около них верхами мальчик и пожилой стройный джигит. Они подъехали к речке немного выше и нарочно остановились, ожидая результатов нашего небезопасного пред-

приятия. Когда переправа наша благополучно закончилась, то мальчик хлестнул лошадь и помчался к нам. За ним поскакал и его провожатый. Не доехав до нас сажен десяток, мальчик задержал коня, как будто сконфузившись, и остановился. Пожилой обскакал его и, подъехав к нам, потребовал плату за... переправу. Он очень плохо говорил по-русски, но мне показалось, что требование предъявляется от имени какого-то хана.

— Сколько же именно? — спросил я, улыбаясь.

— Не знаю... Ныка́к,— сказал джигит, предоставляя видимо размер дани на наше усмотрение... Я дал серебряную мелкую монету. Джигит живо повернулся и, подскакав к мальчику, почтительно подал ему нашу дань. Тот видимо обрадовался, и оба понеслись к тележке, где мальчик с детской живостью стал показывать монету. Несколько женских голов наклонилось над нею с любопытством. Оказалось, однако, что, взяв с нас за переправу, сами они не решились воспользоваться ею даже после нашего ободряющего примера и, спустившись к оврагу, благополучнейшим образом переправились вброд и поехали к видневшемуся вблизи аулу.

Во всей этой группе мне почудилось что-то не вполне заурядное,— как будто это — семья каких-то степных помещиков. Приехав на ночлег к Иртецкому базару,— небольшому русскому поселку, выдвинувшемуся в киргизскую степь против Иртека, я спросил у хозяйки, что это за аул мы проехали над Утвой у мостика.

— Да это верно Данякешкин,— ответила она.

— А кто это Данякеш? — спросил я опять.

— Да Чулаков это, Султан...

— А мальчик?

— Да все султанье, племянники да братья́... Дворя-не... Не думай ты...

Не оставалось сомнения: мы проехали мимо аулов последних представителей ханов Аблухаирского рода, может быть, даже потомков Чингис-хана... Хозяйка говорила о Данякеше Бай-Магометове с некоторым почтением. По ее словам, он, хотя ведет образ жизни кочевого киргиза, но человек почетный. Доказательства этого она видела в том, что он грамотный и даже...

составляет казакам прошения в Илеке на базарах Иртецком и Карачаганакском...

— Перо с чернильницей завсегда с ним,— прибавила она почтительно.

В эту ночь я долго не мог заснуть. Спали мы по обыкновению на дворе. По небу теснились и ползли куда-то мглистые тучи. По временам принимался накрапывать дождик. Среди пустого поселка хрипло лаяли собаки, и на их лай издалека отвечали другие, с аулов. Наутро мы решились вернуться обратно к мосту и разыскать кибитку Данакеша.

— Да вы у киргиз спросите,— простодушно советовала казачка-хозяйка.— Где мол тут Даникешкина кибитка?.. Султан, скажите,— Даникешка-султан... Укажут.

Мы без труда разыскали аул и «султанскую» кибитку из белого войлока. Оказалось, однако, что Даникеш не ночевал в своем ауле. Он был в Карачаганаке, и я мог бы увидеть его там третьего дня на базаре.

И, однако, я не пожалел, что вернулся за пять верст на берег Утвы. В дальнейший путь я все-таки увез в памяти картину этого спящего еще аула с белой кибиткой, в которой на полу храпели вповалку потомки грозного Чингис-хана... Солнце только что всходило из-за облаков; над степью стояла мгла мелкого дождя, мочившего кошмы кибиток. Картина была полна какого-то особенного уныния и тихой печали... Я приоткрыл полу и заглянул внутрь, но войти не решился, хотя, вероятно, если бы я заговорил требовательно и громко, султанши и султанята стали бы покорно отвечать на все мои вопросы.

В кибитке заплакал ребенок, бестолково залаяла охрипшая собака, и опять все стихло, только продолжал сеять частый дождь, и степной ветер шептал мне в уши об иронии судьбы, начавшей с грозного Чингис-хана и закончившей мирным составителем прошений на киргизских базарах...

Наша попытка — проехать наперерез киргизской степью закончилась полной неудачей. До Иртецкого базара мы ехали увалами, с которых все-таки была вид-

на полоска уральских лесов. За Утвой нам предстояло пуститься в глубь степи, на юго-восток, причем Урал круглой излучиной ушел за край степного горизонта.

Киргизы, изредка встречавшиеся нам на пути, или совсем не говорили по-русски, или беспечно указывали направление, не понимая, чтобы в степи можно было сбиться. Скоро, однако, большая дорога, по которой мы ехали, разделилась надвое, потом опять надвое и, наконец, наш конек, в полном недоумении, стрижа ушами, остановился у одинокой кибитки...

Хозяев в кибитке не было... Дороги также не было. Пошел дождь, сначала мелкий, как пыль, потом гуще, и скоро степные дали потонули в беспросветной туманной мгле. Усталые, промокшие, мы брели наудачу без дорог, держась общего направления к уральским лугам, как вдруг, к нашей радости, близко на холме замахали крылья мельницы... Здесь мы встретили радушное гостеприимство и указания... Хозяева решительно не советовали пускаться в степь. Киргиз чует направление, как птица. А нам стоит попасть не на ту дорогу, и пойдет на десятки верст степь без жилья и главное без воды.

Это было очень резонно. Дождь становился реже, но тучи клубились над горизонтом, сливаясь в сплошную пелену.... Я с сожалением посмотрел в степную даль, и мы повернули к Уралу...

Солнце уже садилось, когда, пользуясь указаниями хозяев мельницы, мы подъехали к берегу реки... На другой стороне перед нами высились крутые обрывы и над ними крыши Январцевского поселка... Под яром стоял перевоз, закат угасал среди густых туч, по временам ветер кидал косые капли дождя. Становилось холодно, но противоположный берег был безмолвен, точно поселок вымер. Паром покачивался под яром, порой скрипел, но не подавал никаких признаков жизни... Наши унылые крики «паро-о-ом» ветер нес вдоль Урала... Наконец, мой спутник потерял терпение, и эхо отразило от яра крепкое и выразительное русское слово...

Это подействовало... Зачернели над яром фигуры... В их числе оказался, на наше счастье, Григорий Терентьевич Хохлов. Зоркие глаза беловодского искателя раз-

глядели наши знакомые фигуры и таратайку. И он энергично принялся хлопотать. Казачий паром оказался в частных руках, и хозяин уехал куда-то в поле, заперев паром на замок...

Через полчаса мы были опять на казачьей стороне Урала, в уже знакомом Январцеве... С высокой кручи я кинул последний взгляд на неприветливую степь... Она была вся закутана мглой... Где-то синели какие-то пятна, где-то прорезались загадочные огоньки, но туманная пелена опять сливалась в сплошную, задумчивую тучу, все больше насыщавшуюся темнотою близкой ночи...

Наш конек опять уверенно трусил по знакомой дороге к близкому ночлегу в Требухинском поселке, а в моем воображении все еще носились впечатления этого дня: группа киргизской молодежи на берегу Утвы, у пустого зимовья, ровная степь под грустной пеленой дождя, мокрые кибитки Даникешкина аула со спящими потомками Чингис-ханов...

И невольно устанавливалась парадоксальная связь между этой некогда враждебной степью и судьбами казачьего Урала... Она «замирилась» и дремлет в ожидании неизвестного будущего, и вместе с этим умирает своеобразный казачий строй, с его оригинальным бытом и складом... Теперь это только еще случайно сохраняющийся обломок прошлого... Прошлого красивого, сильного, оригинального и поэтического, но все-таки прошлого... Борьба стихла... Ни жилому осетру, ни степному верблюду не задержать новых условий. На реку прорвется пароход, степь со свистом перережет паровоз, и постепенно стихнут даже предания об особенном казачьем быте.

Неспокойные вопли враждебной Азии улеглись, отступили, и казачий строй оказался чем-то вроде кита, выплеснутого на песчаную отмель... На место прежнего войска — пришел уже «ранжир», и с ним потерялся основной нерв, придававший жизнь и смысл особенному казачьему «украинскому быту». Прошлое теперь уже быстро исчезает, а новое... Новое еще в загадочном тумане.

— А жаль,— говорил мне один иногородний, когда я еще только ехал к Уральску и мы заговорили об этом.— Казак — человек особенный. Нет других та-

ких... У него, поглядите,— и речь, и поведение, и даже выходка другая.

Да, казачий строй выработал свой особенный человеческий тип... Что внесет он со своей стороны в ту будущую волю, которая должна теперь вырабатываться не на «украинных началах» борьбы, а на началах одинаковых и для Уральска, и для Илека, и для киргизской степи, над которой в эти минуты перед моим взглядом, там за Уралом, висела туманная мгла...

К вечеру следующего дня мы подъезжали уже к Уральску. И было пора: над степью, по капризу переменчивой погоды, неслось первое холодное дыхание ранней осени...

1901

Пугачевская легенда на Урале

Одна выписка из следствия оренбургской секретной комиссии об Емельяне Пугачеве начинается так: «Место, где сей изверг на свет произник, есть казачья малороссийская Зимовейская станица; рожден и воспитан, по-видимому, его злодеянию, так сказать, адским млеком от казака той станицы Ивана Михайлова Пугачева жены Анны Михайловой» [1].

Все современные официальные характеристики Пугачева составлялись в том же канцелярски-проклинательном стиле и рисуют перед нами не реального человека, а какое-то невероятное чудовище, воспитанное именно «адским млеком» и чуть не буквально злопыхающее пламенем.

Этот тон установился надолго в официальной переписке.

Известно, как в то время относились ко всякого рода титулам, в которых даже подскоблить описку считалось преступлением. У Пугачева тоже был свой официальный титул: «Известный государственный вор, изверг, злодей и самозванец Емелька Пугачев». Красноречивые люди, обладавшие даром слова и хорошо владевшие пером, ухитрялись разукрасить этот титул разными, еще более выразительными надстройками и прибавлениями. Но уже меньше этого сказать <было> неприлично, а пожалуй, даже неблагонадежно и опасно.

---

[1] Чтения в Им. о-ве ист. и древн. 1859, июль — сентябрь.

Литература не отставала от официального тона. Тогдашнее «образованное» общество, состоявшее из дворян и чиновников, чувствовало, конечно, что вся сила народного движения направлялась именно против него, и понятно, в каком виде представлялся ему человек, олицетворявший страшную опасность. «Ты подлый, дерзкий человек,— восклицал в пиитическом рвении Сумароков при известии о поимке Пугачева,—

Незапно коего природа
Низвергла на блаженный век
Ко бедству многого народа:
Забыв и правду и себя,
И только сатану любя,
О боге мыслил без боязни...»

«Сей варвар,— говорит тот же поэт в другом стихотворении:

...не щадил ни возраста, ни пола,
Пес тако бешеный, что встретит, то грызет,
Подобно так на луг из блатистого дола
Дракон шипя ползет».

За это, разумеется, и «казни нет ему достойные на свете», «то мало, чтоб его сожечь» и т. д. Чувства современников, конечно, легко объяснимы. К несчастию для последующей истории первоначальное следствие о Пугачеве попало в руки ничтожного и совершенно бездарного человека, Павла Потемкина, который, по-видимому, прилагал все старания к тому, чтобы первоначальный облик изверга, воспитанного «адским млеком», как-нибудь не исказился реальными чертами. А так как в его распоряжении находились милостиво предоставленные ему великой Екатериной застенки и пытка, то понятно, что весь материал следствия сложился в этом предвзятом направлении: лубочный, одноцветный образ закреплялся вынужденными показаниями, а действительный облик живого человека утопал под суздальской мазней застеночных протоколов. Бездарность этого «троюродного братца» всесильного временщика была так велика, что даже чисто фактические подробности важнейших эпизодов предшествовавшей жизни Пугачева (например, его поездка на Терек, где, по-видимому, он тоже пытался поднять смуту) стали

известны из позднейших случайных находок в провинциальных архивах[1]. Павел Потемкин старался лишь о том, чтобы по возможности сгустить «адское млеко» и сохранить «сатанинский облик».

Нужно сказать, что задача была выполнена с большим успехом. Тотчас по усмирении бунта военный диктатор Панин, облеченный неограниченной властью, приказал расставить по дорогам у населенных мест по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания «за ребро» (!) не только бунтовщиков, но и всех, «кто будет оного злодея самозванца Емельку Пугачева признавать и произносить настоящим, как он назывался» (то есть Петром III). А кто не «задержит и не представит по начальству таковых произносителей, тех селений все без изъятия (!) возрастные мужики... будут присланными командами переказнены мучительнейшими смертями, а жены и дети их отосланы в тягчайшие работы».

Совершенно понятно, какая гроза нависла после этого над всякими рассказами о Пугачёве, когда вдоль дорог стояли виселицы, колеса и глаголи с крючьями, по селам ходили команды, а в народе шныряли доносчики. Все, не отмеченное официально принятым тоном, все даже просто нейтральные рассказы становились опасны. Устное предание о событиях, связанных с именем Пугачева, разделилось: часть ушла в глубь народной памяти, подальше от начальства и господ, облекаясь постепенно мглою суеверия и невежества, другая, признанная и, так сказать, официальная, складывалась в мрачную, аляповатую и тоже однообразную легенду. Настоящий же облик загадочного человека, первоначальные пружины движения и многие чисто фактические его подробности исчезли, быть может, навсегда, в тумане прошлого. «Все еще начало выдумки сей,— писала Панину Екатерина,— остается закрытым». Остается оно неясным и до настоящего времени. Фактическая история бунта с внешней стороны разработана обстоя-

---

[1] Один из современников в письме к самому Павлу Потемкину указывал, что даже после побега из казанской тюрьмы до появления Пугачева на Яике остается не прослеженной значительная часть похождений самозванца.

тельно и подробно, но главный его герой остается загадкой. Первоначальный испуг «общества» наложил свою печать и на последующие взгляды, и на историю...

Как истинно гениальный художник, Пушкин сумел отрешиться от шаблона своего времени настолько, что в его романе Пугачев, хотя и проходящий на втором плане, является совершенно живым человеком. Посылая свою историю Пугачевского бунта Денису Давыдову, поэт писал, между прочим:

Вот мой Пугач. При первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой.
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

Между этим образом и не только сумароковским извергом, возлюбившим сатану, но даже и Пугачевым позднейших изображений (например, в «Черном годе» Данилевского) — расстояние огромное. Пушкинский плутоватый и ловкий казак, немного разбойник в песенном стиле (вспомним его разговор с Гриневым об орле и вороне) — не лишенный движений благодарности и даже великодушия,— настоящее живое лицо, полное жизни и художественной правды. Однако возникает большое затруднение всякий раз, когда приходится этого «лихого урядника» выдвинуть на первый план огромного исторического движения. Уже Погодин в свое время обращался к Пушкину с целым рядом вопросов, не разрешенных, по его мнению «Историей Пугачевского бунта». Многие из этих вопросов, несмотря на очень ценные последующие труды историков, ждут еще своего разрешения и в наши дни. И главный из них — это загадочная личность, стоявшая в центре движения и давшая ему свое имя. Историкам мешает груда фальсифицированного сознательно и бессознательно следственного материала. Художественная же литература наша после Пушкина сделала даже шаг назад в понимании этой крупной и во всяком случае интересной исторической личности. От «лихого урядника» и плутоватого казака мы подвинулись в направлении «адского млека» и лубочного злодея. И можно сказать без преувеличения, что в нашей писанной и печатной истории, в самом центре не очень удаленного от нас и в высшей

степени интересного периода стоит какой-то сфинкс, человек — без лица.

Нельзя сказать того же о Пугачеве народных преданий, которые почти угасли уже во всей остальной России, но чрезвычайно живо сохранились еще на Урале, по крайней мере, в старшем казачьем поколении. Здесь ни строгие указы, ни глаголи и крючья Панина не успели вытравить из народной памяти образ «набеглого» царя, оставшийся в ней неприкосновенным в том самом,— правда, довольно фантастическом, виде, в каком этот «царь» явился впервые из загадочной степной дали среди разбитого, подавленного, оскорбленного и глубоко униженного старшинской стороной рядового казачества...

Попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения,— было одной из целей моей поездки на Урал в 1900 году. Меня предупреждали, что, при замкнутости казаков и недоверии их ко всякому «иногороднему», в особенности же наезжему из России,— задача эта трудно осуществима. И, действительно, однажды мне пришлось наткнуться на довольно комичную неудачу.

От одного из жителей Круглоозерной станицы (Свистуна), старого и уважаемого казака Фил. Сидоровича Ковалева, я узнал, что в Уральске, в куренях, вблизи церкви живет внук Никифора Петровича Кузнецова (родного племянника Устиньи Петровны), Наторий (Енаторий) Фелисатович Кузнецов, человек грамотный и любознательный, сделавший будто бы какие-то записи со слов деда, любителя и хранителя преданий кузнецовского рода. Рассказами этого деда, Никифора Кузнецова, уже пользовался известный уральский писатель Иоасаф Игн. Железнов, но мне было все-таки любопытно повидать его внука, живого преемника этого предания.

Я разыскал его действительно за собором, в куренях, в старом, недавно обгоревшем домике. Однако, когда я объяснил ему цель своего прихода и даже сослался на указание Ф. С. Ковалева — Наторий Кузнецов только насупился.

— Ничего я не могу вам сказать. Приемный дедушка верно что рассказывал... Ну только я не могу.

— Почему же?

— Это есть речи политические...

Я искренно удивился.

— Позвольте, Наторий Фелисатович. Да ведь дедушка ваш рассказывал Железнову, и Железнов это напечатал. Однако никакой беды из этого для вашего дедушки не вышло.

— Железнов писал. Верно. Ну, только дедушка сказал ему, может быть, десятую часть...

Чтобы сломить это недоверие, я раскрыл нарочно захваченную с собой книгу Железнова и стал читать записанный автором рассказ Никифора Кузнецова. Наторий слушал и одобрительно кивал головой, вставляя свои замечания. Я уже стал надеяться, что лед будет сломан, но в это время с порога избушки (наш разговор происходил на дворе) поднялась жена Кузнецова, смуглая казачка с черными решительными глазами.

— Молчи, Наторий,— сказала она зловеще.— Кабы одна голова была... а то у тебя семейство.

На руках у нее заплакал грудной ребенок, и Наторий сразу осекся.

— Нет, невозможно,— сказал он.— Речи политические... Когда бы меня уже не трясли...

— То есть как же это «трясли»?.. И за что?

— А вот за это самое,— за Пугачева...

— Что вы говорите? Кому теперь нужно?

— Видно, что нужно... Видите, как это дело было.

— Молчи, Наторий,— опять сказала казачка.

— Нет, что ж, это можно, ничего. Видите. Значит, еду я как-то по железной дороге до Переметной. В вагоне были еще разные народы, вроде купцов. Стали вот этак же промежду себя говорить: один, например, говорит: царь был настоящий, то есть, как выражал о себе, то была настоящая правда... Ну, другой ему напротив: «Вот, говорит, у Железнова писано: признавается так, что донской казак». И про дедушку мово помянул. Я, как был тут же, и говорю: «Железнову, значит, мой дедушка рассказывал, ну не все. Ежели бы все, говорю, обсказал, то и Железнов написал бы дру-

гое». Говорим этак-то, а тут кондуктор. Знакомый был. Дернул меня за рукав, отвел в сторонку и говорит: «Ты, говорит, Наторий Фелисатов, не моги эти слова выражать».— «А что, мол?» — «Да так, не выражай этих речей. Речи, слышь, политические». Ну, я послушался. Только вдруг на одной станции — жандармы. Заперли вагон, никому чтобы не выходить, и говорят: «Кто здесь выражал политические речи?» Вот оно и дело-то... Договорились...

— Что ж, наверное ничего никому не сделали?

— То-то: они, значит, купцы, говорят: «Мы вот по книжке. Господин Железнов писал, офицер. Извольте посмотреть». Ну, а я, значит, спасибо кондуктору, в стороне. Только страхом отделался. А кабы я все-то выразил...

— Вот и теперь молчи,— отрезала жена.

— И то молчу.

Я был у него два раза. Оба раза он очень охотно разговаривал о своем дедушке, о прежнем жительстве Кузнецовых, об их родстве и при этом косвенно сообщил мне очень много любопытного и в бытовом и в историческом отношении. Но, как только разговор задевал прямее запретную тему, казачка опять пронизывала его своими черными глазами, и он прикусывал язык.

— Не могу, политические речи,— повторял он упорно.— Кабы не трясли...

Впрочем, расстались мы с этим представителем «царицына рода» дружески, и я даже думаю, что едва ли он мог сообщить мне что-нибудь более характерное, чем этот маленький эпизод из нашей живой современности.

В других местах, особенно во время своей поездки по станицам, я был более счастлив. Престарелые казаки более храбры, чем молодежь, и более охотно делились своими сведениями и своим глубоким убеждением по этому предмету.

Собрав то, что удалось мне записать по личным отзывам и что записано другими, и просматривая этот материал подряд,— я был поражен замечательной цельностью того образа, который вырос из этих обрывков, а также глубокой верой рассказчиков в его реальность.

Убеждение в том, что пришлец, поднявший роковую бурю в 1773 году, был настоящий Петр Федорович, держится на Урале не только в простом рядовом казачестве. Мне пришлось довольно близко познакомиться с исторической семьей Шелудяковых, предки которых принимали деятельное участие в роковой драме. Одного из Шелудяковых Пугачев очень любил и называл почему-то крестным батюшкой. Впоследствии он попал в плен под Оренбургом и был замучен в застенке. Таким образом в этой семье, как и во многих других на Урале,— к историческому интересу примешивается семейная традиция. Уже родители теперешних Шелудяковых были люди вполне интеллигентные, и, однако, когда отец умирал (в начале 70-х годов), то выражал сожаление, что не доживет до 1875 года, когда, по общему убеждению, печать тайны с пугачевского дела должна быть снята и тогда должно было обнаружиться, что Яик вообще и семья Шелудяковых в частности служили правому делу. Говорят, Пушкин, в свой приезд и кратковременное пребывание в Уральске,— показывал современникам бунта портрет настоящего Петра Федоровича, голштинская физиономия которого, как известно, нимало не походила на казацкий облик Пугачева. Однако, теперь я слышал из нескольких уст, будто в этом портрете казаки признали как раз того самого человека, который был у них на Яике. Вообще, при указании на решительное отрицание историей всякой возможности этого тождества, даже у интеллигентных казаков вы встретите выражение колебания и скептицизма.

Нужно, впрочем, признаться, что, как уже сказано выше, писанная история страдает большими недомолвками, неполнотой, а иногда и прямо противоречиями. А главное — она оставляет центральную фигуру человека «без лица». С этим народное воображение не может, конечно, примириться. Ему, понятно, чужда историческая критика, но зато полуфантастический образ, рисуемый народным преданием, отличается замечательной полнотой и яркостью. Это живой человек со всеми достоинствами и недостатками реальной личности и, если к этим реальным чертам примешивается порой элемент мистический и таинственный, то это касается лишь его царского звания. Петр Федорович казачьих

легенд — настоящий человек, с плотью и кровью, кипящий желаниями и страстями; царь Петр III — окружен нимбом таинственности и роковых, не вполне естественных влияний.

Причины его низвержения с престола рисуются с особенным реализмом. Казачье предание представляет Петра III широкой натурой, гулякой и неверным мужем. Поведение его из тех, которые приходится оправдывать известной поговоркой: быль молодцу не укор. Екатерина, наоборот, в это время изображается хотя и довольно строптивой, но все же верной женой, старающейся унять мужа. На этой почве разыгрывается катастрофа. Однажды пришел иностранный корабль, и Петр Федорович отправился на него, да и загулял с дворянскою девицей Воронцовой. Указание этого имени, совпадающее с исторической действительностью, показывает, как широко, в сущности, распространялись в те времена разные придворные «комеражи». «Ведь от нас,— говорил Железнову казак Бакирев,— испокон веку кажинный год ездили казаки в Москву и в Питер с царским кусом... Так как же не знать. Шила в мешке не утаишь...» Шпионы донесли царице, что царь проклажается с Воронцовой. Той, как жене, это показалось обидно, она не стерпела и побежала туда сама. Пришла и говорит: «Не пора ли домой?» Но загулявший муж грубо прогнал ее: «Пошла сама домой, покуда цела». Тогда оскорбленная Екатерина пригласила своих приверженцев, подняла образа и объявила себя царицей. Когда загулявший царь, с похмельем в победной головушке, решил, наконец, на третью или четвертую ночь, вернуться домой,— он нашел ворота запертыми, а часовой объявил, что царя нет, а есть царица. Он сунулся было в Кронштадт (опять черта историческая), но и там его не пустили. Тогда, страшась враждебных бояр, Петр Федорович решил скрыться...

Тут уже личность Петра Федоровича исчезает в тумане, а над царем водворяется мистическая власть высшей силы, какого-то таинственного предопределения. Оказывается, что где-то было положено испокон веков, что царственному внуку Петра Великого предстоит познать много горя и страдать, как простому изгнаннику, гонимому и преследуемому в течение пятнадцати (по

другим вариантам двенадцати) лет. Объявиться он должен был не ранее этого срока. Но царственный скиталец, узнавший на себе самом все страдания народа и всю неправду властей, попав вдобавок на Яик, в то время действительно «терпевший великую изневагу», стонавший под давлением вопиющей неправды и страшных репрессий, после дела Траубенберга,— не выдержал и, подчинившись опять, хотя и в другом уже направлении, своей бурной натуре, нарушил веления судьбы и объявился ранее.

Это нарушение веления высшей воли, вызванное состраданием и нестерпимой жалостью к измученному народу, является в преданиях тем трагическим двигателем, который определил судьбу движения. Все было за Пугачева, но выиграть свое дело он не мог именно потому, что начал не в срок. И он знал это. Чрезвычайно интересно, что семейное предание Кузнецовых связывает самую женитьбу набеглого царя с этим трагическим сознанием. В записанных Железновым рассказах женитьба эта мотивируется различными соображениями: во-первых, царям закон не писан; во-вторых, и закон дозволяет жениться после семилетней разлуки; в-третьих, Екатерина явилась его гонительницей; в-четвертых, наконец, в это время на Яике ходили (верные, но запоздалые) слухи о намерении Екатерины выйти за Орлова. Но упомянутый выше Енаторий Кузнецов, среди своей сдержанной беседы, сообщил мне, что и Пугачев, и даже Устинья хорошо знали роковое значение этой свадьбы. Когда Пугачев стал явно выражать свои намерения относительно сватовства, то Устинья, веселая, разбитная и хорошая песенница, сложила будто бы песню, в которой очень смело говорила о муже, сватающемся от живой жены. Пугачев отвел ее в сторону и сказал: «Пусть лучше одна моя голова пропадет, не чем пропадать всей России. Вот теперь идут из Питера ко мне войска и генералы; если они ко мне пристанут,— тогда вся Россия загорится, дым станет столбом по всему свету. А когда я женюсь на казачке,— войска ко мне не пристанут, судьба моя кончится, и Россия успокоится». Повторение этого же трагического мотива я слышал и в других местах на Урале. Таким образом, царь-странник, невольно нарушивший веления

судьбы, покорно шел ей навстречу, а Устя шла навстречу его воле...

Публичная казнь Пугачева в Москве (10 января 1775 г.) в присутствии сотен тысяч народа нисколько не поколебала этой веры. Наоборот, нужно сказать, что некоторые обстоятельства этой казни сопровождались как раз теми неясностями мотивов и странностями, о которых я говорил выше и которые очень на руку стройному народному преданию. По сентенции, утвержденной Екатериной, Пугачев подлежал четвертованию. Сначала ему должны были отрубить руки и ноги и тогда уже голову. Однако известно, что это не было выполнено. По прочтении приговора и исполнении формальностей, палач схватил Пугачева сзади, его повалили и прежде всего отрубили голову. После этого среди водворившейся тишины послышался голос экзекутора, упрекавшего палача и грозившего ему самому казнью за нарушение приговора[1]. Этот неоспоримый факт, установленный и русскими и иностранными свидетельствами, служил предметом удивленных толков. Госпожа Биэльке, восторженная поклонница и корреспондентка Екатерины, прочитав об этом в иностранных газетах, высказала в ближайшем письме предположение, что это было сделано согласно гуманной «воле императрицы, а не по ошибке палача». Екатерина охотно пошла навстречу такому толкованию своей европейской поклонницы.— «Сказать вам правду,— писала она,— вы верно отгадали относительно промаха палача при казни Пугачева: я думаю, что генерал-прокурор и полицеймейстер помогли случиться этому промаху, потому что, когда первый уезжал из Петербурга, я сказала ему *шутя:* «Никогда не попадайтесь мне на глаза, если вы допустите малейшее мнение, что заставили *кого бы то ни было* претерпеть мучения, и я вижу, что он принял это к сведению»[2].

---

[1] Un d'entre-eux que je crois avoir été un des juges censura vwement à haute voix le bourreau de sa méprise («Один из них, я полагаю — один из судей, бранил громким голосом палача за его ошибку»,— корреспонденция очевидца в «Утрехтской газете» 3 марта 1775 г. Чт. в О-ве Ист. и др.). Болотов называет этого чиновника экзекутором.

[2] Сборник Историч. о-ва, XXVII, 32.— Курсив в цитате мой.

Позволительно, однако, думать, что это объяснение не вполне точно. Что перед отъездом Вяземского у царицы были с ним разговоры, это, конечно, естественно; едва ли только они велись *шутя*. Что факт резкого нарушения приговора не мог объясняться также простой ошибкой палача,— в этом сомневаться едва ли возможно. Однако, если бы имелось в виду не допустить излишних страданий *кого бы то ни было*,— то, во-первых, у Екатерины было для этого прямое средство — в смягчении всех казней, и тогда эта гуманность коснулась бы не одного Пугачева. Между тем, в тот же день и на том же месте казнены другие пугачевские сообщники, и никто не упоминает о смягчении также и казни, например, Перфильева. Едва ли логично предполагать, что гуманность Екатерины коснулась одного лишь главного виновника и обошла второстепенных. А затем об этом, конечно, не мог бы не знать экзекутор, своим окриком по адресу палача только подчеркнувший отступление от приговора, которое без этого могло бы пройти менее замеченным.

Как бы то ни было, этот странный эпизод не только явился загадочным для сотен тысяч зрителей, собравшихся в день казни на Болоте, но остается не вполне разъясненным и для истории. К этому следует только прибавить, что среди многотысячной толпы войск и народа стояла также и Зимовая яицкая станица, состоявшая из «верных», то есть старшинской стороны казаков, которые, даже сражаясь с Пугачевым, по большей части все-таки считали его настоящим царем, воюющим против царицы... И возвратясь на Яик, казаки рассказали о странном эпизоде казни.

Легенда прекрасно воспользовалась этою загадкой. Она не знает недоговоренностей и противоречий. Она цельна, стройна, часто очень фантастична, порой нелепа, но совершенно последовательна и логична.

В казнь Пугачева уральское войско не поверило. Царя казнить нельзя. Человек, которого Болотов описывает на эшафоте «совершенно несоответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг», а скорее походившим «на какого-нибудь маркитантишку или харчевника плюгавого» — по мнению казаков и был совсем не тем, кого войско видело на коне и который одним

своим появлением расстраивал ряды противников. Это было, по словам легенды, подставное лицо, какой-то заурядный преступник. И когда он хотел будто бы сказать, что умирает вместо настоящего царя,— ему поторопились отрубить голову...

К этому присоединился новый факт, исторически верный и поразивший воображение народа, а именно скоропостижная смерть Мартемьяна Бородина...

Мартемьян Бородин — самая видная фигура из казачьих противников Пугачева, игравший огромную, почти определяющую роль в допугачевском брожении на Урале, и прямая антитеза Пугачева в глазах «войска». Богач, захвативший неизмеримые пространства «общей» степи, владелец крепостных на вольных казачьих землях, насильник, грабитель, человек с железною волею, бурным темпераментом и в то же время хитрый дипломат, умевший задаривать и задабривать петербургское начальство,— он был душой ненавистной казакам старшинской партии, которая перед появлением Пугачева даже носила название «бородинской». Против него и его действий были направлены даже личные указы Екатерины, но он умел обратить их в ничто, искусно вызывая волнения, после которых оказывались виновны его противники. Можно предположить с большой долей вероятности, что, не будь на Яике Мартемьяна Бородина, не было бы и убийства Траубенберга, предшествовавшего пугачевщине, не было бы, может быть, и Пугачева... Но, как это часто бывает, Мартемьян, истинный виновник, вызвавший в войске общее недовольство и справедливый гнев, которые повели к вспышке,— потом борьбой с вызванным им же движением не только «заслужил» свои воровства и тяжкие вины, но и явился в глазах правительства в ореоле преданности и самоотвержения. В борьбе с Пугачевым для Мартемьяна шла речь о собственной голове, над которой тяготели обвинения и проклятия всего войска, но Мартемьян очень ловко выставил эту вражду к нему войска, как свои заслуги перед престолом. При самом появлении Пугачева Мартемьян понял опасность прежде всего для себя лично,— и кинулся киргизской степью в Оренбург... Впоследствии, когда Пугачев был уже посажен в железную клетку, екатерининские генералы знали,

что Мартемьян будет лучшим его сторожем. И действительно, Мартемьяну было поручено сопровождать пленника в Москву...[1].

Казачьи предания приводят много подробностей этого пути. Прежде всего, за городским валом и башней по казанскому тракту, родня Бородина вышла, по обычаю, провожать его в дорогу. Стали пить водку и наливку. Пугач выглянул из клетки и сказал: «Мартемьян Михайлович! Поднеси-ка и мне». Но Мартемьян грубо отказал. Пугач побледнел от оскорбления и говорит: «Хорошо же! Ты хочешь видеть мою смерть. Не удастся. Я скорее твою увижу». Немного погодя, один из старшин, Михайлов, подошел к нему и поднес ему из своего стакана. Пугач выпил и сказал: «Спасибо, дружище! Не забуду я тебя. Запомните, что я скажу,— сказал Пугач всем тут бывшим: — отныне род Михайлов возвысится, а род Бородина падет...»[2].

Дорогой Пугач тоже предостерегал Бородина и говорил ему с усмешкой: «Мартемьян Михайлович, одумайся, куда едешь, зачем?.. Эй, Мартемьян Михайлович! Поверни-ка оглобли назад, пока время есть...»

Престарелый казак Требухинской станицы, Ананий Иванович Хохлачев, с глубоким убеждением подтверждая мне все записанное от разных лиц Железно-

---

[1] «По преданиям казаков,— говорит Железнов (III, 203),— Бородин был в числе конвойных Пугачева, но по некоторым данным, до меня дошедшим, я заключаю, что он не конвоировал Пугачева, а приехал в Петербург уже в ноябре или даже в декабре 1774». Это не верно. В числе выписок, сделанных мною из войскового архива, есть выписка из Указа Гл. Кригс-Комиссариата из конторы г-ну премьер-майору Бородину от 22 дек. 1774 г., в котором приводится расчет денег, следующих «за приезд с *Вами* от войска Яицкого с рыбою також и для *препровождения злодея Пугачева в Москву*, находящейся в команде Вашей лехкой станице» (всего жалов., прогон., а также на ковши и сабли 633 р.). Таким образом, очевидно, в этом отношении казачье предание не ошибается, и Пугачева сопровождал в Москву Мартемьян Бородин.

[2] Железнов, т. III, стр. 205. Предсказание не вполне оправдалось. Сын Мартемьяна Бородина был войсковым атаманом. Впрочем, умер он бездетным и теперь прямых потомков Мартемьяна нет.

вым, прибавил к этому еще несколько эпизодов, слышанных, по его словам, от самих участников или от ближайших родственников. Между прочим, с Мартемьяном Бородиным, в качестве ординарца, ехал его любимец, молодой казак Михайло Тужилкин. Однажды, где-то на привале, во время роздыха, суровый атаман заставил Тужилкина искать у себя в голове. Находя эту минуту подходящей для интимного разговора, Тужилкин спросил:

— Скажите, Мартемьян Михайлович, кого мы это везем: царя или самозванца?

— Царя, Мишенька,— ответил будто бы Мартемьян.

Тужилкин пришел в ужас.

— Что же мы это делаем! — воскликнул он.

— Да что же делать-то было... Все равно ни его, ни наша сила не взяла бы,— ответил Бородин.

В Сакмарской крепости, куда будто бы прибыл поезд с Пугачевым в клетке,— навстречу им попался фельдъегерь из Петербурга[1]. Подойдя к клетке и увидя там Пугачева, фельдъегерь затрепетал и всплеснул руками (Ананий Иванович очень драматично и картинно изобразил ужас фельдъегеря и его жесты).

— Б-боже ты мой, что такое исделали! — закричал он,— отомкните, сейчас, сейчас отомкните!.. Что ж теперь будет?..

Этот ужас объяснялся, разумеется, тем, что офицер узнал в клетке царя... Потом, выйдя с Бородиным на крепостной вал, тот же фельдъегерь долго уговаривал его распустить казаков и «просто» ехать с Пугачевым в Петербург, к царице. В этом наивном предложении отражается указанная уже выше черта яицких легенд о «набеглом царе». Судьба его, как царя, уже была решена, дело его проиграно, он нарушил веления рока, и царство оставалось за Екатериной. Но особа его была священна, и притом он оставался мужем царицы и отцом царевича, наследника...

---

[1] Интересно, что, по казачьим преданиям, Пугачева везли, по-видимому, через Оренбург. Иначе поезд не мог бы попасть в Сакмару.

Бородин не послушался, и за это его действительно постигла казнь, как и предсказывал Пугач. Судьба покарала Петра Федоровича, нарушившего ее веления, но та же судьба не могла обойти и человека, посягнувшего на достоинство «царя» и везшего его в клетке, как зверя. О самой смерти Мартемьяна Бородина рассказывают различно, но большая часть преданий приписывает ее Павлу Петровичу[1]. Когда Мартемьян явился во дворец к наследнику,— рассказывал мне Ананий Иванович Хохлачев,— тот и говорит ему:

— Что тебе было, атаман господин, мово папу не принять? Ежели бы ты принял, то были бы теперь в Рассее папа мой, да я, да ты третий. Ну, а теперь, атаман господин, не взыщи.

И ударили в большой колокол. Зимовая яицкая станица стоит на площади у дворца, ждет своего походного атамана, но его все нет. И вдруг слышат: звонят в большой колокол, как на помин... Вышел на крыльцо адъютант и говорит казакам: «Нет вашего атамана. Помер атаман в одночасье. Поезжайте себе с богом».

Самый род смерти изображается тоже различно. В рассказах казаков-домоседов, не бывавших в столицах, говорится, будто Павел Петрович, разгневавшись, схватил дверную «запирку» (деревянный засов, которым задвигаются ворота) и ударил ею Бородина по голове. По другим вариантам, казнь была еще жесточе,— вплоть до сдирания кожи с живого. Здесь, очевидно, играла уже творческую роль глубокая ненависть тогдашнего войска к Мартемьяну. Наконец, некоторые предания приписывают гибель Бородина самой Екатерине, которая не могла простить грубого обращения с ее мужем. «Собрался Мартемьян Михайлович ехать из Питера (гласит одно предание, записанное Железновым) и пошел проститься с государыней, а денщику велел исподволь укладываться. Вдруг прибежал на квар-

---

[1] Всю дорогу Мартемьян перекорялся с Пугачом и попрекали друг друга. Мартемьян грозил ему царицей, а Пугач ему наследником. «Дай срок,— говорил Мартемьян,— доехать до царицы: задаст она тебе баню, до новых веников не забудешь». А Пугач ему: «Дай срок доехать до царевича Павла Петровича. Задаст он тебе такого жару, что небо с овчинку покажется». (Железнов.)

тиру испуганный, бледный, словно кто гнался за ним. «Беги скорей за подводами, едем». Дорогой Мартемьян все кричал ямщику: погоняй! Проехали сколько-то станций, Мартемьян говорит ямщику по-киргизски:

— Какое, братец, я чудо видел... Стою у матушки царицы в опочивальне, рассказываю ей, как мы сражались супротив злодея Амельки. А он, Пугач-то, вдруг из-за ширмы как выскочит, словно зверь лютый, да как ринется на меня, с кулаками, я индо обмер... Теперь, братец, вижу, что дал маху: не ездить бы мне совсем сюда. Бог бы с ними... Хоша и публиковали, что он Амелька Пугачев, а выходит — вот он какой Пугач...

Не успел он досказать, как сзади нагоняет их фельдъегерь и требует Мартемьяна опять к царице».

Другой вариант рисует этот же эпизод с еще более реальными подробностями. Пугач лежит в опочивальне за белыми кисейными занавесками,— «похоже, только что вышел из бани: волосы мокры, а лицо красно. У ног его, на стуле сидит царевич, а у окна царица. И все плачут, платочками слезы утирают. А у притолки, словно вестовой солдат, стоит Мартемьян Михайлович,— стоит и дрожит, словно на морозе». (Железнов.)

Ананий Иванович Хохлачев прибавляет к этому, будто вдова Бородина получила собственноручное письмо Екатерины и два платья бархатные: одно зеленое, другое черное. «А в письме было написано, что во твоем, дескать, горе я повинна, я грешница...» И сватья Анания Ивановича, жившая там же, сама видела и письмо и платья...

Надо заметить, что ни точная дата, ни даже год смерти Мартемьяна Бородина неизвестны, и это событие тоже покрыто какой-то неопределенностью. Железнов сомневается, что Бородин сопровождал Пугачева, как в этом уверяют казачьи предания. Он относит смерть Бородина к апрелю 1775 года на том основании, что в мае был назначен новый войсковой старшина Акутин. Но в данном случае ошибается Железнов, а предание право. Во-первых, Бородин не был войсковым атаманом, а только походным, но Пугачева сопровождал несомненно, и есть большое вероятие, что умер он во время этой поездки. В делах уральского войсково-

го архива я нашел указание, что тысяча рублей, назначенная в награду Бородину, получена в Оренбурге, по доверенности вдовы Бородина, пятидесятским Григорием Телновым (о чем последовал указ оренбургской губерн. канцелярии от 28-го ноября 1774 г.). Затем никаких упоминаний о Мартемьяне Бородине мне в делах уже не попадалось до августа 1775 г., когда в одном из прошений совершенно случайно упоминается об *умершем* майоре Бородине. Этот глухой неопределенный промежуток производит странное впечатление после того, как прежде имя деятельного старшины попадалось на всяком шагу... Нет сомнения, что «вины» М. Бородина перед правительством были громадны. Екатерина писала указы, посылала генералов для прекращения злоупотреблений, но старшинская партия, душой которой был Бородин, задаривала генералов и превращала веления царицы в ничто, пока это не вызвало бунта и кровавого усмирения, подготовившего почву для пугачевщины. Эти злоупотребления и бессилия власти войско объясняло тем, что на престоле не настоящий царь, а женщина... И когда появился царь, войско встретило его с восторгом.

Вообще же пугачевское движение представляется мне по своей психологической основе одним из самых верноподданнических движений русского народа. Конечно, в самом зародыше его таился (и то довольно незаметно) сознательный обман. Когда в таинственном купце, одетом в плохой рубахе и простых портах, приходилось признать царя и объявить об этом войску,— то казак Мясников, пожав плечами, сказал: «Ладно. Мы из грязи сделаем князя». Но это думали далеко не все даже из первых участников. Когда же Пугачев, одетый в царскую одежу (кафтан подарил киргизский хан), на отличном коне, с двумя знаменами и отрядом выехал к форпостам,— тогда ему навстречу устремились искренняя вера и искреннее чувство, которые сопровождали его все время до плахи.

Замечательно при этом, что образ Екатерины (как известно, ненавистный и до сих пор народу в крестьянской России) уральское предание окружает тоже какой-то почтительностью и мягкостью. Она была женщина, и это был ее недостаток на престоле. «Мы госу-

дарыни не злословим,— говорили на собрании башкиры.— Она правосудна, но правосудие от нее не отошло и к нам не пришло». То же могли, конечно, сказать и казаки, депутаты которых не раз возвращались из Петербурга, напрасно обнадеженные самой Екатериной. Но это относилось к царице и к делам правления. Лично же предание относится к Екатерине довольно мягко. Оскорбленная, как женщина и жена, она чувствует понятное негодование и решается на переворот. Но вместе с тем она не может простить грубого обращения с мужем и, когда, после стольких приключений, он возвращается,— она укладывает его в постель и плачет об его страданиях. Отношения ее к Устинье Кузнецовой (в действительности несимпатичные и жестокие: бедная Устя была пожизненно заключена в крепость) в предании казаков тоже отмечены великодушием и женственной добротой. Екатерина вызывает Устю в Петербург и обходится с ней очень ласково. Эта тема — встреча двух жен якобы одного и того же бедового мужа — разрабатывается подробно и охотно во многих рассказах, записанных Железновым. Я тоже слышал ее и из уст Анания Ивановича и отчасти Натория Кузнецова. Во всех рассказах упоминается одна черта: когда Устю, вместе с ее сестрой, привезли во дворец, Екатерина велела выводить к ней разных лиц и все спрашивала: не этот ли твой обрученник. Устя все отвечала отрицательно. Наконец вывели Пугача, и она кинулась ему на шею.— Ну,— сказала Екатерина,— попрощайся с ним, более никогда вы не увидитесь.— Пугача увели, а Усте Екатерина отвела дворец на Васильевском острове, где она жила долго и где у нее бывали нередко уральцы, приезжавшие в столицу.

Мне приходится еще отметить один цикл этих преданий, показывающий, какую страстную любовь питал Яик к образу своего «набеглого царя», стоившего ему столько слез, горя и крови. Известно, что страстная любовь не мирится с фактом смерти любимого человека. И Пугачев, пойманный и даже казненный, все еще мелькал на Яике и являлся своим приверженцам то в степях, то в самом городе.

Эти предания о странствующем и вновь преследуемом Пугачеве уже совершенно фантастичны, но им нель-

зя отказать в своеобразной поэзии, полной тоски и грусти. Один из этих рассказов (записанный со слов старого илецкого казака С. В. Крылова, ныне, в 1900 г., живущего в Уральске) застает Пугачева скитающимся по Общему Сырту (после бегства из Берды). Пугачев с небольшим отрядом едет по степи и наезжает на большой камень. Приказав казакам стреножить лошадей и ждать его, Пугачев подходит к камню и падает на него с горькими слезами. Камень подымается, и Пугачев сходит под землю. Через некоторое время он выходит и зовет за собой казаков. В подземелье их встречает величественная женщина, которая приветствует казаков и предлагает им подкрепить свои силы. Для этого у нее есть лишь небольшая краюшка хлеба, но, когда она начинает ее резать, хлеба не убывает. Пугачев зовет ее теткой, и она в разговоре упрекает его, что он не дождался назначенного для испытания срока и, объявившись ранее,— вдобавок женился. Странная женщина, неведомо какими путями перенесенная в Яицкие степи и вдобавок под землю,— была Елизавета Петровна. Попрощавшись с теткой, Пугач опять поскакал со своими спутниками в степь навстречу таинственной судьбе...

Вечером, в тот самый день как увезли Пугача из Яицкого городка,— говорит другое предание, записанное Железновым,— Кузнецовы — его родня — сидели за ужином. Вдруг отворились двери, и входит купец (известно, что и в первый раз Пугачев появился на Яике в виде купца).— «Хлеб-соль»,— сказал он, войдя, и все Кузнецовы вздрогнули, и ложки у них выпали из рук («это, значит, *он* был, по голосу узнали»).— «Не бойтесь, это я,— говорит купец.— Пришел вас успокоить... Я по милости божией не пропаду. Прощайте, живите подобру-поздорову». Сказал и был таков. Выбежали Кузнецовы на улицу, а его и след простыл, только колокольчик прозвенел...

В тот же вечер, часами двумя ранее, тот же купец был даже у атамана. И опять его сначала не узнали, а когда узнал другой купец, пришедший к атаману, то опять все так оторопели, что таинственный посетитель успел скрыться... Только опять колокольчик прозвенел по дороге к Чувашскому умету...

Эта вера в свое время была так сильна, что в бумагах войскового архива мне попадались дела, возникавшие именно на этой почве. Так, старшинская жена Прасковья Иванаева, бывшая кухаркой у «царицы Устиньи» и стряпавшая во «дворце» для Пугачева, два раза была бита плетьми за то, что не верила в окончательное поражение «царя» и, при всякой ссоре с торжествующей «старшинской партией» (а старуха, по-видимому, была нрава строптивого), «говорила о самозванце для общества непристойное и богопротивное» и даже грозила новым его прибытием, о «чем якобы в то время славилось». Известно, наконец, что, вскоре по усмирении, начальство было встревожено появлением якобы вновь Пугачева, под именем Метлы или Заметайла. Но это оказался простой разбойник, жалкая пародия, в которой не было ничего, что бы могло действительно расшевелить усталое народное чувство.

Таковы эти легенды, еще живые, но уже начинающие бледнеть в народной памяти на Урале. Мне они показались интересными. Все они отмечены глубокой верой в истинность царского достоинства Пугачева, и личность, которую они рисуют, очень далека от действительной и несомненной личности ничтожного Петра III. Казачий Петр Федорович нимало не похож на немца (хотя в некоторых рассказах и упоминается, что он был немец). Бурный, легкомысленный, несдержанный, он оскорбляет Екатерину, законную жену, за что вынужден странствовать и нести наказание. Очищенный этим искупительным периодом, он остается таким же несдержанным в своей страстной жалости к народу и нарушает веление судьбы (или «старых писаний»), являясь ранее назначенного срока. Затем он опять дает волю страстной натуре и женится на Устинье. От этого дело его гибнет. И, однако, борьба с ним и особенно оскорбление его личности является оскорблением мистически суеверного народного представления об истинном царе, и главный виновник этого преступления несет должное наказание... Для Яика это было только роковое столкновение двух представителей власти, трагически разделившейся, но одинаково имевшей за себя большие основания... Царица победила благодаря тому, что пылкий царь нарушил веления рока...

Да, этот образ был только тень гонимого царя. Но тень эта потрясла Россию... Степное марево, привидение — и целый ряд завоеванных крепостей и выигранных сражений... Для этого недостаточно было чьего-нибудь адского коварства и крамолы. Для этого нужно было глубокое страдание и вера... И она была, правда, вся проникнутая невежеством и политическим суеверием, которые, к сожалению, долго еще жили в темных массах, как живут и теперь эти фантастические легенды на Урале.

1900

ПРИМЕЧАНИЯ

ОЧЕРКИ

ПАВЛОВСКИЕ ОЧЕРКИ

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1890, №№ 9, 10 и 11.

Основной вопрос, волновавший Короленко в конце 80-х годов,— вопрос о проникновении капитализма в деревню. Народники исходили из предположения, что процесс расслоения деревни и проникновения в нее капиталистических элементов не коснется *основ* русской крестьянской общины. В этой связи народническая литература особое место уделяла жизни кустарей села Павлово, Нижегородской губернии, видя в ней пример некапиталистического уклада, «один из оплотов нашей самобытности, против вторжения чуждого строя», сохранивший характер «народного производства».

Приступив к работе над «Павловскими очерками», Короленко прежде всего обратился к изучению фактического материала о кустарных промыслах и жизни кустарей. С этой целью писатель предпринял поездки в Павлово. Здесь он бывал четыре раза: в июне и декабре 1889 года и в апреле и сентябре 1890 года. Несколько лет спустя после опубликования в журнале «Павловских очерков» Короленко задумал выпустить их отдельной книжкой с собственноручными рисунками. Прежде чем осуществить этот замысел, с целью сбора нового материала и уточнения выводов писатель в 1897 году вновь едет в Павлово.

В записной книжке Короленко за 1897 год читаем следующее: «Я думал, судя по тому, сколько явилось в Павлове перемен, что характер скупки тоже смягчился. Но ничего не изменилось... Опять полились те же рассказы и в них та же горечь. Цены с 1889 года не подымались до прежнего предела. Три рубля в неделю считается очень хорошим заработком». (В. Г Короленко. Дневник, т. III, Госиздат Украины, 1927, стр. 274.)

В письме к жене от 5 февраля 1897 года Короленко пишет: «Третьего дня я был опять на зимней скупке. Приехал сюда нарочно, чтобы посмотреть скупку при более спокойном настроении рынка (тогда <т. е. в декабре 1889 года> был кризис) и думал, что придется смягчить краски. Представь, что вышло наоборот: ничего смягчать не пришлось».

Вышедшие в 1890 году «Павловские очерки» показали, что в решении вопроса о будущем «русского самобытного строя» Короленко решительно отошел от идеологов народничества На страницах его очерков читатель увидел яркую картину нищенской жизни кустарей, ужасные условия их труда и полную зависимость от скупщика-капиталиста. Так называемый «промен» — удержание из заработка кустарей в пользу скупщика за размен денег; особая форма «прижима» — «третья часть»,— согласно которой кустарь обязан забирать у скупщика ненужный ему товар; штрафы и удержания из заработка кустарей, называемые «на гуся»,— вот те формы бесчеловечного «прижима» кустарей скупщиком, на которых фиксирует Короленко внимание читателей. «Нищета есть везде,— пишет Короленко после посещения одной из избушек в Павлове. — Но такую нищету за неисходною работой, вы увидите, пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь городского нищего, протягивающего на улицах руку, да это рай в сравнении с этою *рабочею* жизнью!»

«Благонамеренной идеалистической народнической ложью» назвал Короленко либерально-народническую идею гармонии интересов «единого крестьянства». Основываясь на собственных наблюдениях и фактическом материале, писатель вынес глубокое убеждение в обреченности кустаря в существующих экономических условиях, в неминуемом расслоении крестьянства. «Нет просто мужика,— писал Короленко в очерках «В голодный год»,— есть бедняки и богачи, хозяева и работники».

В широком наступлении капитализма на деревню Короленко видел признак времени. Но он никогда не мог примириться с чудовищным положением русского народа, в котором тот оказался в результате распада всех его устоев. В своем письме к писателю

И И Сведенцову от 17 января 1896 года Короленко говорил: «Признать наступление капиталистической эры совершившимся фактом... не значит помириться со всеми ее последствиями».

Анализируя русский экономический строй в период перехода к капитализму, В. И. Ленин в книге «Развитие капитализма в России» использовал и некоторые материалы «Павловских очерков» Короленко (см. В. И. Ленин. Полное собр. соч., т. 3, стр. 436).

Обращает на себя внимание и художественная форма «Павловских очерков». Важнейшие общественные проблемы, поставленные Короленко в этих очерках, решаются на строгом фактическом материале. Художественное изображение действительности, правдивый рассказ о жизни павловских кустарей писатель умело сочетает с публицистическими размышлениями и отступлениями по поводу конкретных явлений жизни, придавая произведению жанровую самобытность.

Кроме того, Короленко опускает некоторые малозначительные факты и несколько изменяет композицию очерков· в последней авторской редакции они имеют вступление, очерк первый, очерк второй и заключение. В журнальной редакции основной материал произведения был разбит на три очерка.

Стр. 29. *...к Вознесеньеву дню* — церковный праздник, отмечается на 40-й день после пасхи.

Стр. 39. *Давно это было, еще до француза* — то есть до нашествия Наполеона на Россию в 1812 году.

Стр 44. *...клевреты* — презрительное название приспешников, приверженцев.

Стр. 45. *«Новая Элоиза»* — роман французского писателя и философа Жан-Жака Руссо (1712—1778). В этом произведении (1761) наиболее полно воплотился морально-эстетический идеал Руссо.

«Дух законов» — главное сочинение (1748) французского писателя, публициста и философа раннего периода буржуазного просвещения Шарля-Луи Монтескье (1689—1755). В «Духе законов» он выдвинул против абсолютизма теорию правового государства с твердыми законами и разделением власти, которая и легла в основу буржуазных конституций.

«Павел и Виргиния» — роман французского писателя Жака Анри Бернарден де Сен-Пьера (1737—1814), где изображена идиллическая любовь молодых людей, далеких от социальных предрассудков.

Роберт Оуэн (1771—1858) — великий английский социалист-утопист, предшественник современного научного социа-

лизма, считавший частную собственность главным препятствием на пути к справедливому преобразованию общества.

Вольтер Мари-Франсуа (1694—1778) — французский писатель и философ эпохи Просвещения. Имя его было синонимом вольнодумства.

Стр. 55. ...*страстная неделя* — последняя неделя великого поста, непосредственно предшествующая пасхе.

Стр. 56. ...*многие «верующие» люди* — здесь Короленко намекает на либеральное народничество 70—80-х годов, которое уповало на «самобытность» и незыблемость кустарной формы производства.

Стр. 57. ...*«на земли мир, в человецех благоволение»* — несколько сокращенная начальная строка из церковного рождественского песнопения.

Стр. 78. ...*наказание Давидово* — имеется в виду одно из трех наказаний, предложенных богом царю Давиду за то, что он приказал провести перепись населения, считавшуюся, согласно Библии, большим грехом. Бог предложил Давиду на выбор одно из трех наказаний: «Быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении трех дней была моровая язва в стране твоей?»

Стр. 79. ..*клирос* — место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам от алтаря.

...*регент* — дирижер церковного хора.

В ГОЛОДНЫЙ ГОД

Впервые — в газете «Русские ведомости» в ряде номеров за 1892—1893 гг., а затем в журнале «Русское богатство», 1893, №№ 2, 3, 5 и 7.

Очерки «В голодный год» связаны с работой Короленко, в 1892 году в деревнях Лукояновского уезда, Нижегородской губернии, по оказанию помощи голодающим крестьянам. В 1873 году сильный голод охватил Самаро-Оренбургскую часть Поволжья, в 1884 году от голода страдала Казанская губерния, а в 1890—1891 гг. — все Среднее Поволжье.

Зиму и весну 1892 года Короленко провел в деревнях Лукояновского уезда. Вспоминая историю написания и публикации очерков «В голодный год», Короленко так рассказывает об этом в цикле очерков «Земли! земли!» в главе «История одной книги»: «Я решил побывать на местах, присмотреться к бедствию и напи-

сать ряд статей о голоде. Приступая к этим очеркам «Голодного года», я имел в виду не только привлекать пожертвования в пользу голодающих, но еще поставить перед обществом, а может быть и перед правительством, потрясающую картину земельной неурядицы и нищеты земледельческого населения на лучших землях» («Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 16).

Первоначально правительство отрицало наличие голода, затем было запрещено употребление на страницах печати самого слова «голод», которое было заменено на «недород хлебов». Тогдашняя реакционная русская печать, и, в частности, газета «Московские ведомости», оспаривая факт наличия голода, выступала с обвинениями крестьян в «обычном пьяном разгуле», лени, обмане и попрошайстве.

Прибыв в Лукояновский уезд, Короленко поставил своей целью не только помочь в распределении пожертвований голодающим крестьянам, но и вскрыть причину этого огромного социального бедствия. Наблюдения и размышления писателя над увиденным, его заметки и записи в дневнике явились той основой, на которой выросла серия очерков.

На первых же страницах очерков Короленко вскрывает всю несостоятельность «невежественной консервативной лжи по вопросу о голоде», которой была заполнена тогдашняя официальная печать. Писатель подробно освещает весь механизм распрей уезда и губернии: лукояновские власти объявили борьбу оказанию какой бы то ни было помощи голодающим, видя в ней «одно баловство и даже вред».

Буквально через несколько дней после своего приезда в Лукоянов Короленко так оценивал сложившуюся обстановку. «Положение здесь приблизительно таково,— писал он жене 6 марта 1892 года,— как если бы посланник чужой державы заявился в страну, когда объявлены уже военные действия. Приехавши сюда, я узнал, что Лукояновский уезд окончательно выступил против Нижнего-Новгорода и чуть ли не объявляет себя метрополией».

Введение в 1889 году института земских начальников из дворян с подчинением им органов крестьянского самоуправления и новое земское положение 1890 года, увеличившее число гласных дворян, способствовали так называемому «возрождению дворянства», вселяли в представителей господствующего класса «крепостнические надежды». Произвол властей, своеволие помещиков, открытая мужиконенавистническая политика — вот что, по мнению

Короленко, процветает в земских органах губернии, охваченной голодом.

«Ты не можешь себе представить,— пишет Короленко в письме к В. Н. Григорьеву от 16 мая 1892 года,— какие там люди владели и правили. эксплуатация — это что, это еще самое мягкое слово Нет,— систематическая ненависть и презрение к мужику, возведенные в принцип, затем — террор над остальными, недворянскими классами и полная власть в руках. Над священниками, осмеливавшимися говорить о голоде или указывать умирающих,— наряжались дознания!»

Писатель видит основную причину ужасного положения крестьянства в малоземелье, в том, что спустя вот уже тридцать лет после освобождения крестьянства русский мужик остается до сих пор в ужасном положении. «Между тем, «крестьянство действительно рушится»,— писал Короленко в том же письме к В. Н Григорьеву,— и когда после одного-двух урожаев оно увидит, что и урожаи не помогли (а они не помогут), вот когда грозит истинная опасность: угнетенность от стихийной невзгоды пройдет, а сознание безвыходности положения останется».

Наблюдения и размышления Короленко над жизнью крестьян в деревнях Лукояновского уезда приводят его к тому, что в очерках «В голодный год» писатель поставил вопрос о необходимости земельной реформы, хотя бы вначале самой скромной». Только в коренном изменении системы землепользования, в серьезной земельной реформе Короленко видит возможность предотвращения обнищания, разорения и вымирания крестьянства.

Впервые отдельной книгой очерки «В голодный год» вышли в свет в начале ноября 1893 года в издании «Русского богатства» с большими цензурными изъятиями. Уже по одному предисловию, которым открывалась книга, можно судить о цензурной чистке. Повествуя о борьбе уездного продовольственного комитета с губернией по вопросу о помощи голодающим, Короленко пишет: «И взгляды всех мужиконенавистников во всей России обращаются с надеждой на дальний уезд, *где кучка земских начальников с предводителем во главе храбро борется за отстранение помощи* от *голодающего народа*».

Выделенные слова, имеющиеся в журнальном тексте, не были напечатаны в отдельном издании. Полностью были опущены шесть абзацев, составляющих более страницы печатного текста, начиная со слов: «Губернатором в Нижнем в этот памятный год был весьма известный генерал Н. М. Баранов...» до абзаца: «В конце февраля я выехал из Нижнего...» (см. стр. 109—110 наст. тома).

В них Короленко рассказывал о борьбе уезда с губернией в период «возрождения дворянства» и называл имена «предводителей» и сторонников этой борьбы.

Последующие четыре издания очерков без изменения воспроизводили текст этого первого издания. Изменение цензурных условий после 1905 года дало Короленко возможность при шестом издании книги в 1907 году внести существенные добавления. Так, в этом издании он более определенно мог охарактеризовать борьбу губернии и уезда. «Как солнце в малой капле вод»,— в этой истории отражаются глубокие признаки крепостническо-дворянской реакции в нашем «пореформенном строе». Ср. это же место в первом отдельном издании: «Как солнце в малой капле вод»,— в этой истории отражаются, по моему мнению, самые глубокие признаки, самая коренная злоба нашего общественного неустройства...»

В этом же издании впервые было напечатано в качестве приложения «Особое мнение В. Короленко», изложенное им в Новгородской продовольственной комиссии 27 мая 1892 года

Работа Короленко по восстановлению текста очерков была сопряжена и с работой над их стилем, что придало им то своеобразие, которое так характерно для публицистики писателя.

Книга выдержала семь отдельных изданий и была включена в Полное собрание сочинений Короленко изд. А. Ф. Маркса в 1914 году.

Стр. 106. ..*«ён достанет»* — афоризм Разуваева — персонажа произведения Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо».

Стр. 108. *Анненский* Николай Федорович (1843—1912) — журналист и общественный деятель, друг Короленко, товарищ его по работе в редакции журнала «Русское богатство».

Стр. 109. *Кн. Мещерский* В. П. (1839—1914) — редактор и издатель черносотенной газеты «Гражданин», злейший враг даже самых умеренных реформ, вдохновитель реакционной политики Александра III.

...известный генерал Н. М. Баранов, моряк, герой «Весты». — Баранов Николай Михайлович (1837—1908) — генерал-лейтенант, бывший моряк, участник русско-турецкой войны, затем петербургский градоначальник, губернатор виленский, архангельский, а с 1883 по 1897 год — нижегородский.

«Веста» — пароход Российского общества пароходства и торговли. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. пере-

веден в морское ведомство и превращен в крейсер. Под командой лейтенанта Н. М. Баранова «Веста» произвела ряд смелых поисков у берегов Турции и 11 июля 1877 года выдержала бой с турецким броненосцем «Фехти-Буленд».

Стр. 110. *«Русские ведомости»* — русская общественно-политическая газета, орган либеральной буржуазии, издавалась с 1863 по 1918 год. В 80-х годах. после закрытия «Отечественных записок», в газете сотрудничали писатели-демократы М. Е. Салтыков-Щедрин, Г И. Успенский, Н. К. Михайловский и другие.

...камергер — придворный чин старшего ранга.

Стр. 112. *...потомок какого-нибудь «эрзи».* — Э р з и — одна из племенных групп мордовской национальности.

Стр. 120. *Ступинская художественная школа* — Арзамасская школа живописи, организатором и руководителем которой был Александр Васильевич Ступин (1775—1861) — русский художник и педагог.

В лучшие времена Арзамас был приютом муз... — Речь идет о 40-х годах XIX века — периоде расцвета Арзамасской школы живописи (1802—1862 гг.), находившейся под покровительством Академии художеств.

Стр. 123. *«Сельский вестник»* — еженедельная газета, издававшаяся при «Правительственном вестнике» с 1881 года.

Стр. 126. *...секвестровало* — наложило запрет на пользование каким-либо имуществом.

Стр. 128. *..в пользу чисто щедринского кустарного законодательства местных властей.* — Здесь В. Г. Короленко сравнивает упразднение существующих законов вятским губернатором с аналогичной политикой героев Салтыкова-Щедрина из цикла «Помпадуры и помпадурши».

Стр. 130. *...гать* — настил из бревен или хвороста для проезда через топкие места.

Стр. 141. *...в разгар пресловутой «новой дворянской эры».* — Здесь Короленко имеет в виду введение института земских начальников из дворян (1889) с подчиненнем им органов крестьянского управления и новое законодательство о земстве 1890 г., увеличившее число гласных дворян.

Стр. 143. *...котерия (франц.)* — кружок людей, преследующих своекорыстные цели.

Стр. 161. *Мымрецов* — персонаж очерка Г. И. Успенского «Будка».

Стр. 162. *...цейгаус* (цейхгауз) — устаревшее название военного складского помещения для хранения запасов оружия.

Стр. 165. *...из брошюры Л. Н. Толстого.* — Речь идет о статье Л. Н. Толстого «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Статья была напечатана в сборнике «Помощь голодающим», выпущенном 10 декабря 1891 года газетой «Русские ведомости», и вскоре вышла отдельной брошюрой.

Стр. 166. *...нашествие двунадесяти язык в 1812 году.* — Речь идет о нашествии на Россию в 1812 году Наполеона, к этому времени покорившего многие народы Европы.

Авсеенко в одном из своих романов сравнивал нашу русскую жизнь с гороховым киселем.— Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913) — русский писатель, автор многочисленных романов.

Стр. 168. *...славянофильство и народность.*— Славянофильство — одно из направлений русской общественной мысли XIX века, проповедовавшее «теорию» об особом пути исторического развития России. Главные особенности самобытного пути развития России славянофилы усматривали в мнимом отсутствии в ее истории классовой борьбы, в наличии русской поземельной общины, а также в православной религии, которую они представляли как единственно подлинное христианство.

...прасол — устаревшее название оптового скупщика скота и разных припасов для перепродажи.

...монумент Пушкина на Тверском бульваре. — Речь идет о памятнике А. С. Пушкину в Москве работы видного русского скульптора Александра Михайловича Опекушина (1841—1923).

Стр. 173. *...фантасмагория* — причудливое бредовое видение.

Стр. 174. *Александр Иванович Гучков* (1862—1936) — сын богатого московского заводчика. К этому времени являлся слушателем Берлинского университета, специально приехал из-за границы для оказания помощи голодающему населению. В 90-е годы член Московской городской думы, впоследствии (1910—1911) председатель III-й Государственной думы, лидер буржуазно-монархической партии октябристов.

Стр. 193. *«Новое время»* (1868—1917) — петербургская газета, с 1876 года перешла в руки А. С. Суворина и превратилась в крайне реакционный орган.

Стр. 211. *...язвительная «мемория».*— В дореволюционной России название докладной записки, подававшейся вышестоящему учреждению или лицу с кратким изложением сущности какого-либо дела.

Стр. 218. *...это молчалинство.* — Молчалин — персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», в котором дано типическое обобщение лакейского угодничества, подхалимства, лицеме-

рия В данном случае Короленко имеет в виду сатирический роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Молчалины» (1874—1876), где бичуется либерально-обывательская среда умеренности и аккуратности.

Стр. 225. ...*старинного Мурома с его эпическим селом Карачаровым*. — Село Карачарово близ старинного города Мурома (Муромо-Рязанское княжество) — родина героя русского былинного эпоса Ильи Муромца.

Стр. 226. ...*он слывет настоящим Лекоком*... — Лекок — сыщик. Герой одноименного романа «Лекок» (1869) французского писателя Эмиля Габорио (1832—1873) — одного из родоначальников детективного жанра.

Стр. 237. *Прочитайте в брошюре Л. Н. Толстого страницы, где он говорит о «помощи в виде работы»* — см. прим. к стр. 165.

Стр. 277. ...*со времени... Алексея Михайловича* — Алексей Михайлович Романов (1629—1676), русский царь с 1645 г., сын Михаила Федоровича Романова, отец будущего императора Петра I.

Стр. 284. ...*«много есть на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам»*. — Цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» в переводе Н. Полевого.

Стр. 294. *Муравьев* Александр Николаевич (1792—1863) — декабрист, один из трех организаторов первой тайной организации — «Союза спасения». Принадлежал к умеренной группировке «Союза благоденствия». В 1819 году вышел из тайной организации. По процессу декабристов был сослан в Сибирь. Вскоре стал иркутским городничим; в годы крестьянской реформы — нижегородский губернатор.

Стр. 300. ...*авгиевы стойла* — В греческой мифологии — огромные и сильно загрязненные конюшни царя Авгия. Их очистка в один день водами реки Алфея считалась одним из подвигов Геракла. В переносном смысле означает сильно загрязненное, запущенное место.

Стр. 303. *Лицо, одежда, фигура — прямо с картины Маковского*. — Маковский Владимир Егорович (1846—1920) — выдающийся русский живописец, один из крупнейших мастеров бытового жанра в реалистической живописи XIX века.

Стр. 308. *Юпитер* — у древних римлян бог неба, света и дождя, впоследствии ставший верховным божеством римского государства.

Стр. 326. ...*«яко же восток от лица огня»* — цитата из пасхальных церковных песнопений.

Стр. 331. *В экклезиасте сказано одно, а в апокалипсисе прибавлено другое.* — Екклесиаст (в переводе с греческого означает «проповедник») — библейская книга, приписываемая царю Соломону. Пессимистическая идея книги выражена уже в начальных словах Екклесиаста: «Суета сует, суета сует,— все суета».

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова — завершающая книга Нового Завета, повествует о грядущем конце света и наступлении сначала царства антихриста, а потом царства небесного. Это пророчество излагается в виде фантастических видений, явившихся якобы Иоанну на острове Патмос, куда он был сослан за исповедание христианства.

У КАЗАКОВ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1901, №№ 10—12.

Очерки «У казаков» были написаны Короленко по свежим впечатлениям от поездки на Урал, где он провел лето и осень 1900 года, работая в Уральском войсковом архиве, изучая материалы, связанные с жизнью, бытом и нравами уральского казачества. Работу в архиве Короленко сочетал с поездками по казачьим станицам, беседами с казаками, фотографировал исторические места.

В письме к Н. К. Михайловскому от 3 сентября 1901 года Короленко писал. «Я теперь работаю над впечатлениями своего путешествия у казаков и работаю с удовольствием Точно опять еду по станицам и беседую с казаками».

Жанр путевых очерков уже сам по себе требовал от писателя фактической достоверности. Изучение архивных материалов и многочисленные поездки по казачьим станицам помогли Короленко глубоко и всесторонне воссоздать прошлое и настоящее Урала, разрушить иллюзию «вольной степи», показать процесс расслоения внутри казачьей общины, увидеть в удивительном путешествии уральских казаков-раскольников в утопическую страну Беловодию своеобразное преломление веками живущей в народе мечты о справедливой жизни и об обетованной земле. «...здесь мы имеем дело, — пишет Короленко, — с искренней верой, слишком только легко поддающейся коварному обману со стороны эксплуатирующих на разные лады эту темную народную веру».

Обращает на себя внимание связь очерков с задуманным писателем романом о Пугачеве. Интерес к личности Пугачева возник у Короленко во время работы в Нижегородской архивной комис-

сии. Поездка на Урал помогла писателю понять живой облик вождя крестьянского движения, который сохранился в народной памяти.

Короленко опровергает версию о том, что участие уральских казаков в пугачевском восстании было явлением случайным. Рассматривая факты общественной, экономической и политической жизни яицкого казачества за два года до крестьянского движения, писатель вскрывает те объективные социальные предпосылки, которые привели казаков на сторону Пугачева и которые способствовали возникновению самой идеи самозванства. Разрушив иллюзию «вольной степи», Короленко пишет: «Таким образом, еще года за два до пугачевщины в войске кипело характерное российское «возмущение»... В это-то время, на границе казачьей области,... появился таинственный купец, Емельян Пугачев, и стал зорко присматриваться к событиям. Из всего этого возникла буря, потрясшая всю Россию. Первые вспышки будущего взрыва происходили... еще за два года до появления Емельяна Пугачева».

Очерки «У казаков» занимают особое место в художественной публицистике писателя. Яркие бытовые картины современной жизни уральского казачества чередуются с историческими экскурсами в прошлое; лирические пейзажи дикой степи наводят автора на размышления о будущих судьбах казачества, придавая им публицистическую взволнованность и убежденность. Все это наложило отпечаток на повествовательную манеру очерков. Объективность, строгая эпичность повествования сменяются эмоционально-субъективными авторскими рассуждениями и оценками. В этой связи особую роль приобретает образ самого путешественника, чья точка зрения и идейная целеустремленность, основанные на осмыслении прошлого и настоящего уральского казачества, придают им идейно-тематическое единство.

Очерки «У казаков» привлекли внимание Л. Н. Толстого, особенно высоко оценившего сцену исполнения старинных казачьих песен в трактире «Плевна». (См. Ф. Д. Батюшков. «В. Г. Короленко как человек и писатель», М., «Задруга», 1922, стр. 43).

Стр. 351. *Золотник* — русская мера веса, равная одной девяностошестой фунта, или 4,26 г.

Стр. 352. *...к устьям Яика...* — до 1775 года так называлась река Урал.

Стр. 353. *Казачьи будары* — долбленые лодки. Уральская казачья будара отличалась легкостью, тонкостью и чистотой отделки.

Система фиска — устаревшее название Государственной казны.

Стр. 354. *...императрица приказывала учесть...* — имеется в виду Екатерина II.

...известный генерал Черепов — печально прославился при подавлении силой оружия восстания казаков в 1767 году.

Умет — постоялый двор.

Стр. 356. *«Ятовь»* — омут, в который красная рыба ложится как бы на спячку слоями, ярусами одна на другую; в назначенный день и час по пушке казаки сразу вылавливают ятовь баграми.

Стр. 361. *«Презент»...* — Ежегодно после багрения казаки отправляли от лица войска к царскому двору некоторое количество наилучшей икры и рыбы. Это приношение называлось «презентом».

...во времена Михаила Федоровича... — Михаил Федорович Романов (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых, правил с 1613 по 1645 гг.

Стр. 368. *Ретраншемент* (франц.) — старинное военное укрепление, располагавшееся позади главной позиции.

Стр. 372. *...поминать... в ектеньях...* — Ектенье — заздравное моление о государе и его доме, совершаемое во время церковной службы. В Саранске архимандрит Александр принял Пугачева с крестом и евангелием и во время молебствия на ектении упомянул государыню Устинию Петровну.

Панин Петр Иванович (1721—1789), граф — видный военный и государственный деятель. Во время пугачевского движения получил от Екатерины II неограниченные полномочия и жестоко подавлял крестьянское движение.

Стр. 373. *Потемкин* Павел Сергеевич (1743—1796), граф — государственный деятель, в качестве председателя секретной комиссии вел следствие по делу Пугачева.

Кордегардия (франц.) — помещение для военного караула.

Стр. 382. *Скобелев вовсе не умер...* — Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал, видный военный деятель. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Отличился при переправе русских войск через Дунай у Зимницы, командовал казачьей бригадой во время штурма Плевны. Пользовался большой популярностью в России и в Болгарии.

...не казнили... Чику. — Чика (Зарубин) — яицкий казак, с самого начала восстания сподвижник Пугачева, один из вождей пугачевщины, именовался фельдмаршалом. Казнен в Уфе в 1775 году.

Англичанка — королева Великобритании Виктория с 1837 по 1901 гг.

Стр. 387. *...идти кареем...* — карей или каре *(франц.)* — строй войск квадратом.

Есырь или ясырь (татарск.) — пленный холоп.

Стр. 389. *...ильмени и ерики...* — Ильмень — низменное место, окруженное камышами и заполненное водой от разлива рек; ерик — часть старого русла реки, куда весной заливается вода.

Стр. 392. *Пилигрим* — паломник, богомолец, путешествующий «святым местам».

Миссионер — представитель религиозно-политической церковной организации, занимающийся религиозной пропагандой с целью обращения в какую-либо веру.

Стр. 393. *Старинный полуустав* (старший полуустав) — тип рукописного славянского письма, которым пользовались при переписке книг. С XV века старший полуустав заменяется младшим полууставом, отличавшимся не только начертанием букв, но и составом алфавита.

Титло — в древней и средневековой письменности надстрочный знак, указывавший на сокращенное написание слов с пропусками одной или нескольких букв.

Стр. 395. *Окружники, австрийцы, беглопоповцы, единоверцы, никудышники* — раскольничьи религиозные секты.

...греческий епископ Амвросий — босносараевский митрополит, в 40-х годах по политическим соображениям был отозван из епархии и жил в Константинополе без лишения сана. В 1846 г. переехал в Белокриницкий старообрядческий монастырь и положил начало так называемой «австрийской» иерархии.

Стр. 396. *...Никон вводил сурово и прямолинейно свои исправления.* — Никон (1605—1681) — патриарх московский с 1652 по 1658 гг. Провел ряд церковных реформ (исправление богослужебных книг, унификация обрядов, введение проповеди и т. п.). Часть духовенства и верующих не признала новшеств Никона.

В ней, насажденная апостолом Фомой, цветет истинная вера — Имеется в виду Индия, где, согласно библейским преданиям, проповедовал христианство апостол Фома.

Стр. 399. *Номоканон*, или Кормчая книга — сборник законов византийского церковного права.

Стр. 400. *...говорили о Нансене, о смелой попытке Андрэ.* — Нансен Фритьоф (1861—1930) — норвежский океанограф, исследователь Арктики. В 1888 г. впервые пересек на лыжах Гренландию. В 1893—1896 гг. совершил плавание на судне «Фрам» в

высокие широты Арктики. Андрэ Соломон Август (1854—1897) — шведский инженер, применивший воздушный шар для исследований в Арктике. Погиб при попытке достичь Северного полюса.

Стр. 407. ...*с взглядами четиих-миней и цветников.* — Минеи-Четии — «ежемесячные чтения» — церковные сборники жизнеописаний святых, сказаний и поучений, составленные в порядке дней каждого месяца. В середине XVI века в Москве под руководством митрополита Макария были составлены двенадцатитомные Великие Минеи-Четии. «Цветник» — сборник поучений, взятых из различных религиозных книг.

Стр. 408. ...*упоминается в обманно-апокрифической литературе.* — Апокрифы — легендарно-религиозная литература, признанная неканонической.

Стр. 416. *Там показали им «єво ризу и антиминсы, и патрахиль, и пояса, и камилаву...»* — Здесь — предметы облачения православного священника.

Стр. 422. ...*во вкусе шиллеровского Моора...* — Карл Моор — персонаж романтической трагедии Шиллера «Разбойники».

Стр. 433. *Тут будто бы сидела когда-то Марина Мнишек.* — Марина Мнишек (ок. 1588—1614) — политическая авантюристка, жена Лжедмитрия I. После провала польской интервенции Марина Мнишек бежала на Урал, где была схвачена яицкими казаками.

Стр. 435. ...*таволгами жарить...* — то есть стегать тонкими и крепкими прутьями степной березки.

Стр. 436. ...*под влиянием обильного бахуса...* — то есть вина. Бахус — (или Вакх) — бог вина в античной мифологии.

Стр. 444. ...*диогеновское презрение к земным благам...* — по имени древнегреческого философа Диогена (ок. 404—323 гг. до н. э.), проповедовавшего равнодушие к жизни и сведение человеческих потребностей до минимума.

ПУГАЧЕВСКАЯ ЛЕГЕНДА НА УРАЛЕ

Впервые — в журнале «Голос минувшего», 1922, № 10.

«Пугачевская легенда на Урале» была написана Короленко в 1900 году и должна была явиться четвертой главой очерков «У казаков». Но, когда очерки были набраны, автор изъял из них «Пугачевскую легенду». Это было связано, по-видимому, с задуманным Короленко романом о Пугачеве. И только убедившись

в том, что этому замыслу не суждено осуществиться, писатель в 1918 году передал текст «Пугачевской легенды» журналу «Голос минувшего», где она и была опубликована после смерти Короленко.

В своем литературном творчестве Короленко часто обращался к темам русской истории. Особый интерес у него вызывала личность Пугачева. Как и Пушкин, Короленко придавал большое значение народным преданиям о Пугачеве, сохранившим живой облик вождя крестьянского движения.

Замысел романа о Пугачеве возник у Короленко в конце 80-х годов, когда он в нижегородском историческом архиве обнаружил материалы, относящиеся к пугачевскому движению. Мысль показать Пугачева на переднем плане огромного исторического движения завладевает писателем, и в 1899 году Короленко приступает к работе над романом «Набеглый царь».

Летом 1900 года писатель едет на Урал. «Попытаться собрать еще не вполне угасшие старинные предания, свести их в одно целое и, быть может, найти среди этого фантастического нагромождения живые черты, всколыхнувшие на Яике первую волну крупного народного движения, — было одной из целей моей поездки на Урал в 1900 году»,— писал Короленко в «Пугачевской легенде».

Сохранившиеся материалы свидетельствуют о том, что Короленко задумал историческое повествование о Пугачеве на широком фоне общественной и политической жизни России XVIII века.

На основании документов Короленко пришел к интересному выводу относительно пугачевцев. В письме к Н. Ф. Анненскому от 16 августа 1900 года он писал: «Сижу над архивными делами и читаю мелкие казачьи дела и проступки... Интересен общий вывод: среди множества дел, которые я пробежал, а отчасти отметил, — почти совсем не встречается преступлений пугачевцев. Тогда как верные слуги Екатеринушки были народ ой-ой вороватый».

Начатый исторический роман о Пугачеве так и не был Короленко написан. По-видимому, главную трудность в работе над романом представлял образ самого Пугачева, на что писатель неоднократно указывал в своих записных книжках.

В настоящем издании «Пугачевская легенда» печатается по тексту журнала «Голос минувшего», сверенному с рукописью и правленой корректурой журнала «Русское богатство».

Стр. 488. *Сумароков* Александр Петрович (1717—1777) — русский писатель, представитель дворянского классицизма.

«Незапно коего природа... д.» — цитата из «Стихов на Пугачева» Сумарокова.

«...не щадил ни возраста, ни пола...» — цитата из стихотворения Сумарокова «Станс граду Синбирску на Пугачева».

Стр. 490. *Пушкин сумел отрешиться от шаблона своего времени настолько, что в его романе...* — речь идет о «Капитанской дочке».

Денис Давыдов — Денис Васильевич Давыдов (1784—1839) — русский поэт.

«Черный год» Данилевского. — Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — русский писатель. С конца 70-х годов переходит к исторической теме. В романе «Черный год» (1888—1889) Данилевский пришел к реакционной мысли о роли масс в истории как силы, несущей гибель цивилизации и культуре.

...разговор с Гриневым. — Гринев — герой «Капитанской дочки».

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, писатель, журналист.

Стр. 494. *...голштинская физиономия...* — Петр III был герцогом Гольштейна.

Стр. 496. *...после дела Траубенберга.* — Траубенберг — генерал-майор, присланный в декабре 1771 года из Оренбурга в Яицкий городок для выяснения дела о казаках, отказавшихся выполнять воинскую повинность. Жестоко расправился с восставшими казаками, за что и был убит в 1772 году.

Стр. 498. *Вяземский* Александр Алексеевич (1727—1796) — князь, русский государственный деятель. С 1764 года занимал должность генерал-прокурора, был исполнителем мероприятий Екатерины II по укреплению дворянской диктатуры.

Стр. 502. *Павел Петрович* — Павел I (1754—1801) — русский император с 1796 по 1801 год. Сын Петра III и Екатерины II. Убит в результате заговора в 1801 году.

Стр. 506. *Елизавета Петровна* (1709—1761) — русская императрица с 1741 года, дочь Петра I и Екатерины I.

В. Грихин

СОДЕРЖАНИЕ

ОЧЕРКИ

В. Г. КОРОЛЕНКО

Собрание сочинений
в шести томах.

Том V.

Редактор тома
В. А. Грихин.

Оформление художника
Р. Г. Алеева.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 31/X 1970 г.
Подписано к печати 16/III 1971 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. 84×108$^{1}/_{32}$.
Объем 28,14 усл. печ. л 29,43 уч.-изд л
Тираж 375 000 экз. Изд. № 869. Зак. № 3104.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24

Индекс 70679

90 коп.